

**АЙБЕК**  
Собрание сочинений

# АШЪБЕК

---

Собрание сочинений в пяти томах

---

Ташкент  
Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма  
1986

# АЙБЕК

---

Собрание сочинений

---

Том четвертый

## СОЛНЦЕ НЕ ПОМЕРКНЕТ

Роман

## ДЕТСТВО

Повесть

Ташкент

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма  
1986

84Уэ

А 37

Редколлегия

Абдулла Арипов, Джамал Камал, Наим Каримов, Матякуб  
Кошчанов, Зарифа Саиднасырова, Ульмас Умарбеков, Хамиль  
Якубов

Составители :

Саиднасырова З. С., Каримов Н. Ф.

Айбек.

Собрание сочинений: В 5-ти томах. Т. 4. Солнце не померкнет: Роман. Детство: Повесть / [Редкол.: А. Арипов и др.; Сост.: З. С. Саиднасырова, Н. Ф. Каримов]. — Т.: Изд-во лит. и искусства, 1986.—416 с.

1. 1 Сост.

4702570200—128  
А М352/04/—86 85—86

© Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1986 г.  
(офогмление, составление)

# СОЛНЦЕ НЕ ПОМЕРКНЕТ

*Роман*

## *Глава первая*

Кромешная тьма. Цедит дождик — монотонно, гнетуще. И кажется, будто не капли падают сверху, а стальные иголки упираются в самую душу.

По большаку, протянувшемуся вдоль леса, шагает насквозь промокший батальон. Шагает, разбрызгивая грязь, медленно, тяжело. В первом ряду Аскар-Палван и Бектемир, а в последнем, как обычно с трудом поднимая ноги, плетется Али.

Бектемир изучил все привычки своего друга Палвана. Вот и сейчас по тому, как тот фыркает, ясно, что он расстроен, раздражен. Да как же иначе! Бектемир тоже не в силах слова сказать. И это не только от усталости. События, которые пришлось пережить, сделали и его задумчивым, молчаливым.

Не успели бойцы на маленькой станции выбраться из вагонов, как один за другим начали раздаваться взрывы. С пронзительным воем пронеслись самолеты. Но этот вой тонул в гулких разрывах бомб, в грохоте опрокидывающихся вагонов. Ввысь стремительно, точно быстрые чижи, взлетали куски рельсов; поднимались облака пыли и дыма. Вокруг раздавались крики и стоны.

Бектемир впервые видел такую страшную картину.

Когда он выглянул из-за угла уцелевшей каменной стены, ему показалось, что все уничтожено и, кроме него, не осталось ни одной живой души. Но вскоре он увидел других бойцов. Погибло всего лишь около десяти человек и немногим больше ранено. Это очень удивило его. Невозможно было поверить: из такого столпотворения выйти живым!

А из земляков только рябой Сафар пострадал. Да и то отделался легкой царапиной.

После бомбежки батальон снова построился и упрямо зашагал дальше.

На своем пути бойцы встретили превращенный в груды битого кирпича город, дымящиеся деревни. Вдоль дорог валялись опрокинутые, покореженные машины, обугленные повозки.

Бойцы шли молча. Шли, пока не раздалась команда:  
— Воздух!

Немецкие самолеты появились неожиданно. Издалека донесся знакомый вой, и самолеты, словно коршуны, бросились на разбегающихся бойцов.

Спас лес. Стволы деревьев, раскинув ветви, старались прикрыть людей. Но сами деревья гибли. На них жадно набрасывались огонь и металл. Будто ад опрокинулся с неба. Деревья падали со стоном, который, казалось, вырывался из их зеленых-презеленых, безобидных душ.

На ночь батальон остановился в разрушенной, сожженной деревне. В ней не было признаков жизни. Даже собаки не лаяли. Только тоскливо шелестел листьями дождь да неизвестно откуда доносилось тяжелое уханье пушек.

В непроницаемой темноте глаза бойцов старательно искали убежище, чтобы отдохнуть. Ноги то и дело спотыкались о кирпичи, доски, оконные рамы, бревна. Немного поднимало настроение веселое перемигивание огоньков самокруток да короткие, приглушенные фразы:

— Здорово ты пятками сверкал!

— А своих, случайно, не было видно?

— Свои не бросаются в глаза.

Бектемир сел на корточки, прислонившись к толстому стволу дерева, тут же, на обочине дороги. Он проголодался, но было лень снять вещевой мешок, развязать и вытащить хлеб. К тому же Бектемир вспомнил, что мешок завязан крепко-накрепко, а хлеб, вероятно, весь промок.

Широко открыв глаза, смотрел Бектемир из-под густых бровей в темноту. Только раз он шевельнулся: мокрым рукавом шинели, папахивающей гнилым войлоком, стер с лица воду.

Смотрел Бектемир, но ничего не видел и устало опустил голову. Словно того момента и ожидали воспоминания. Они сразу же обступили его со всех сторон. Вначале отрывочные, щемящие душу, они постепенно связывались

всегда собой, и Бектемир возвращался в близкий ему мир.

Их было пять братьев. Жили они хорошо, относились друг к другу с большим вниманием и заботой. В кишлаке их семью уважали, говорили о ней с доброй улыбкой.

Старший брат, Тахир, уже несколько лет был на руководящей работе в городе, а второй, Кадыр,— в колхозе бригадиром. Камал учился в институте в Ташкенте, но в прошлом году ушел в армию. Он был моложе Бектемира. А пятый, самый маленький, Туйчи, недавно стал зоотехником.

Вспомнилась бойцу и любимица семьи, единственная сестра, семнадцатилетняя Зайнаб. Вероятно, по-прежнему возится с буйной ватагой ребят в детском саду. Они вокруг нее так и вьются, любят свою веселую воспитательницу.

В последнем письме Камал сообщал, что служба в артиллерии ему нравится, что они готовятся к боям.

Но пока письмо шло, многое могло измениться. Перед глазами Бектемира прошли яркие картины шумных, звонких дней детства. Камал был почти одного роста с Бектемиром и всегда участвовал во всех играх.

«Что же с ним сейчас!— невольно бледнея, подумал боец.— Где он? Может, рядом, сражается под Москвой, а может...» Но последнее предположение он сразу же отогнал.

Бектемир почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь из близких, рассказать о своей жизни, подробно расспросить об их делах.

Перед глазами встал знакомый до каждой морщинки образ матери, сухонькой, подвижной женщины. С любовью и заботой воспитывала она своих детей, отдав им всю жизнь, до последней минуты.

— Чтобы не стыдно было перед богом,— случалось, говорила она.

Но уж, конечно, не это было причиной ее постоянного внимания к детям.

Вспомнил Бектемир и своего отца — крупного, сильного. Совсем недавно, казалось только вчера, он слушал его слова.

— Кости мои окрепли в работе,— сказал отец однажды.— Есть еще сила во мне. Если уж мои джигиты держат колхоз, если уж они шагают сквозь огонь и воду, то и мне не пристало думать об отдыхе. Люди работают, и я буду. Грохот мельницы как раз мне по душе.

Односельчане уважали этого много повидавшего. В жизни человека, умевшего говорить мягко, убедительно, посвятившего себя труду. Вероятно, повседневный труд и подарил редкое обаяние его открытому лицу, внимательным глазам.

Посмотреть бы в эти глаза, поцеловать бороду...

Бектемир словно прошел через двор своего дома, увидел оставшийся от дедов навес для скота, вновь постренные комнаты, темный, морщинистый ствол тутовника посреди двора. Почему-то тутовник вспомнился с набухшими, спелыми ягодами, из которых вот-вот брызнет сок. Увидел Бектемир и забор, тыквенные коробки с молоком и сливками... Он словно почувствовал запахи теплого вечера, услышал ленивый, приглушенный шелест листвы.

На какой-то миг очутился Бектемир и в доме старшего брата, полном звонкого смеха, криков и визга детей. А потом воспоминания вывели его на широкий простор полей. Любил Бектемир землю. С наслаждением вдыхал он весенний запах травы, любовался вершинами гор. К ним особенно тянуло его. Но Бектемир мечтал не просто бродить по горам. Воспитанный в трудовой семье, он не мог жить без работы.

— Буду чабаном,— решил юноша.

И эту мечту ему помогли осуществить.

Без сожаления Бектемир расстался с городом, где он жил около года у старшего брата.

— Что же ты сбежал из Ташкента?— смеялись люди.— Там весело, интересно жить, а ты...

— Нет. Скучно там,— серьезно отвечал Бектемир и, махнув рукой, объяснял:— Правда, город хороший, но на улицах стоит шум, грохот. Весь день. А во дворе у брата ни росточка, гладко вокруг. Воду пьют из железной трубы. Ветер и тот редко залетает.

Отец одобрительно отнесся к поведению Бектемира.

— Что поделаешь,— говорил он,— вырос парень в кишлаке. Пусть и работает здесь. Важно, что с душой относится к своему делу.

...Многое бы еще вспомнилось, да помешали. Подошли земляки. В батальоне узбеков было немного, около пятнадцати человек. Держались они вместе. Когда выдавалось свободное время, сразу находили друг друга. Было у них что вспомнить о прошлом.

В последние встречи они чаще всего говорили о близости передовой. О фронте зашла речь и сейчас.

Сафар-чутир, мягкого нрава человек, который ночью



даже ходить в одиночку боялся, с тяжелым вздохом произнес:

— Что же будет завтра, попробуй догадайся. Кто-то останется жив, кто-то умрет.

Бектемира порой тоже преследовали такие мысли, но он голосом беспечного джигита бодро сказал:

— Что будет, то и будет. Кому что суждено. А за упокой души молиться рано. Посмотрим еще!

— Точно,— подхватил таким же тоном его сосед — веселый ташкентец.— Одной смерти не миновать, но зачем спешить? Не к чему нам торопиться. И нос нечего вешать. Мы, узбеки, дети одного отца и должны поддерживать друг друга. Где бы ни были, что бы с нами ни случилось. Все за одного, один за всех. Жизнью должны жертвовать. Или пусть наши тела затопчут враги.

— Зачем ты выделяешь узбеков?— удивился Бектемир.— Посмотри, как дружно живут все бойцы! Одна семья. В армии мы все должны держаться друг друга.

— Хвала тебе,— поддержал Аскар-Палван.— Ты дело говоришь, Бектемир.

— Все это правильно,— осторожно согласился Али.— Но следует помнить и о другом. Если с кем-нибудь из нас случится несчастье, пусть другие быстро выроют могилу.

Его почтительно слушали.

Али был маленького роста, узкогрудый, рыжий. Из-за пустяка он становился нервным, раздражительным. Слово спичка, вспыхивал и, втянув тонкую шею, начинал ругаться. При этом рыжие усы его вздрагивали.

— Ты что заладил одно и то же?— перебил его Бектемир.— И в лагере твоя голова печалилась о могилах. Неужели не о чем думать больше?

— Действительно,— веско сказал Аскар, — нужно думать о жизни. Джигит с надеждой — джигит с крепкими крыльями.

Аскар был на два года старше Бектемира. Выделялся он продолговатым лицом с ястребиным носом, хорошим, высоким ростом, крепким телосложением. Правда, грудь его была не такой широкой, богатырской. Но известные палваны, изучающе рассматривая Аскара, делали свой вывод: «Мясо жилистое силу придает, до старости не растреплется».

Откуда-то вынырнул Ахмедов, живой, подвижный.

— Какие новости, братья-узбеки?— Сидите мокрые под

дождичком. Неужели лень подняться? Вон напротив вас большой сарай. Вошли бы туда — и порядок: сухо, тепло, тихо.

— Об этом ли нужно думать?— взялся за свое Сафар.— Что-то с нашими душами завтра будет?

— А что в душах-то у вас есть?— засмеялся Ахмедов.— Да и существуют ли они? Жизнь хороша. Это верно. Ее и нужно ценить, беречь. А душа? Сгорит ли тело в огне, растерзают ли его собаки — все одно смерть. Только не стоит о ней думать. Нужно фашиста бить, давить, жечь. Вот о чем пристало думать джигитам, а не о смерти. Будешь драться с песней — и смерть обойдет тебя, даже не поцарапает.

— Это уже мужской разговор,— восхищенно потер ладони Аскар-Палван.— Именно так нужно жить, так воевать. Только трус бежит от боя и находит смерть.

Ахмедов посмотрел на товарищей и обратился к Аскару:

— Здесь друзья вели разговор о том, чтобы поддерживать друг друга, быть опорой в каждом деле. Окрылять друг друга. Это тоже отлично.

— Разговор шел о любви к человеку, Ахмедов. Мы даже кость джигита должны ценить больше золота.

Беседу прервал надсадный от простуды голос капитана Стеклова. Раздалась команда.

И сразу все зашевелились. Послышались шутки:

— Поночевали — и хватит...

— Да... Отлежали бока.

Люди привычно находили свое место в строю.

Снова раздался голос комбата.

Батальон тяжело качнулся и шагнул в кромешную тьму.

Наутро батальон столкнулся с противником. Немцы, видно, рассчитывали дать решительный бой и прорвать фронт. Но батальон успел оконпаться. Бойцы выгодно расположились на возвышенности. Цепи гитлеровцев были перед ними как на ладони. Несколько атак, даже поддержанных танками, не дали возможности продвинуться врагу. К вечеру гитлеровцы утихли.

Снова наступила ночь. Вдали, придавленный облаками дыма, замер лес. Дым полз над искореженной, искромсанной землей.

Небо нависло усталое, печальное. Под его покровом отдыхали люди, используя каждую минуту наступившей тишины.

Оглядывая усталых, запыленных солдат, медленно шел генерал Александр Васильевич Соколов. Его сопровождали несколько командиров. Генерал беспрерывно курил. Как всегда подтянутый, гладко выбритый, он шагал мимо солдат, внимательно слушая торопливое объяснение капитана Стеклова.

Комбат, вероятно, докладывал о положении в своем подразделении.

Возле небольшой группы солдат командиры остановились.

— Ну, как дела?— просто, как у давних знакомых, спросил генерал. Ответив на приветствие, он внимательно рассматривал строгие лица.— Увидели немца? Пощупали?

— Танки у него, товарищ генерал,— нахмурив брови, уныло произнес один из бойцов.— Танки— это сила. Что с ними поделаешь? Руки коротки у нас.

Генерал понимал настроение солдат. Он только вздохнул, продолжая молча рассматривать их. За него ответил комбат:

— Наши дрались хорошо. Конечно, если бы не танки, мы погнать бы могли немца. Танки— это точно, сила.

Капитан говорил сдавленным, озабоченным голосом, косясь на генерала: если бы тот сказал что-нибудь утешительное, веское, подбодрил бойцов.

Генерал еще раз осмотрел сгрудившихся вокруг него солдат и твердо, чеканя каждое слово, сказал:

— Позади Москва. А перед нами сильный, страшный враг. Опасность сейчас велика. Но вы подумайте, что случится, если мы дрогнем, если отступим.

Солдаты молчали. В их сознании не могла удержаться эта мысль и на какую-то долю секунды. Они не могли представить, чтобы Москва... Да нет... Не может этого быть...

— Конечно, у немца много техники,— продолжал генерал.— Он все сейчас собрал в один кулак, думает обрушить удар на Москву и покончить с нами. Сразу со всей страной покончить.

— Ишь ты! Быстро решил.

— Посмотрим, чем он кончит, немец-то.

— Заставим повернуть.

Солдаты плотнее обступили генерала.

— Я думаю,— довольно улыбнулся Соколов,— заста-

вим повернуть. Обязательно. Мы дружны, едины. Нам и карты в руки.

Трудно ему было говорить, генералу. Трудно обещать то, чего у него нет. Где она, техника, где они, воспетые в песнях танки, которые несутся быстрее ветра?!

Генерал повернулся к командиру батальона:

— А вот насчет слаженности в бою — у нас не всегда хорошо. Случается, воюем кто как может. Немец это, может учесть. Смотрите. Вот как нам нужно держаться, — генерал сжал кулак и взмахнул им.

Соколов понимал, что говорит не то. Ничего конкретного пока не мог пообещать. А как бы добрая весть подбодрила усталых людей!

Генерал вытащил пачку «Казбека», взял папиросу, помял ее и, сжав в зубах, закурил.

— Всегда думайте о том, что за нами Москва, что мы должны ее защитить.

— Сможем, товарищ генерал...

— Отстоим...

— Выдюжим!

Соколов одобрительно кивнул и, простившись с солдатами, пошел дальше. Он верил этим бодрым словам. Верил непоказному оптимизму. Такие люди не дрогнув встретят смерть. Но сквозь бодрые голоса прозвучала и трезвая, с каким-то укором, фраза: «Танки у него...»

Солдаты могут не двинуться с места, но по ним, по солдатам, пройдут танки...

Бектемир, сидевший в стороне, прислушался к разговору и заинтересовался:

— Кто это?

Сосед Бектемира, молодой солдат, многозначительно поднял брови:

— Наш генерал... Соколов. — Солдат принялся сворачивать козью ножку. — Большой человек.

— Да, — согласился Бектемир. — Каждое слово его обдуманное, нужное.

— Замечательный человек, — продолжал солдат. — Правда, чуть-чуть горд. Но это ничего. Воюет хорошо. Пришлось мне быть с ним в Западной Украине. Показал он себя там.

Солдат покосился на Бектемира, проверяя, какое впечатление произвели эти слова, и с наслаждением затянулся крепким, густым дымом.

Бектемир с интересом смотрел вслед удалявшимся командирам. Он неожиданно почувствовал себя спокойнее.

Вон как твердо, уверенно шагают много повидавшие в жизни люди.

С ними, наверное, не пропадешь.

## Глава вторая

Все вокруг изменилось. Иначе выглядят и величественный русский лес, и необозримые поля. Иначе выглядят и люди. Живут они так же дружно, так же порой шутят, смеются. Но теперь в их разговорах иногда слышатся тревожные нотки:

— Сколько же у него самолетов?

— Откуда только берутся танки?

— Ну и сила прет на Москву!

Однако никакой паники. Люди трезво оценивали обстановку. Они твердо знали, что немцам не видать Москвы.

— Победа или смерть!

Нет. Это был не лозунг. Эти слова шли от сердца. В них было одно желание — своей грудью защитить Родину от врага.

И пусть по вечерам звучали грустные песни. Пусть. Эти песни посвящались родному краю, милым березкам, далеким матерям и невестам. Тому, что нужно было беречь от врага, тому, что хранилось в самых заветных уголках сердца.

Разве можно отступать, разве можно поднимать руки перед врагом? Нет и нет!

— Победа или смерть!

— Уничтожим фашистов!

Этими мыслями жили солдаты всех национальностей. Жил весь фронт. Жила вся страна.

Солдаты ждали встречи с врагом, чтобы с ним расчитаться.

Вначале фронт показался Бектемиру не очень страшным. Окопы, блиндажи, проволочные заграждения — это даже интересно, любопытно. Где-то неторопливо, тяжело ухают пушки, изредка нервно стрекочут пулеметы. Бектемир озирается кругом. Особенно его подмывает посмотреть вперед. Но он много слышал об осторожности, потому не решается. Наконец, терпение его иссякает и он, словно подсматривая из-за забора, вытягивает шею.

На поле, сплошь покрытом увядшей, пожелтевшей травой, боец видит два черных танка: один — накренившийся

набок, другой — уткнувшийся в землю. Бектемир подобно рыбе, которая, с плеском вынырнув из-под воды, снова в мгновение исчезает, несколько раз высовывал голову... И вдруг мимо него с визгом пронесли пули. Бектемир, выругавшись, поспешно опустился.

Сзади кто-то дернул его за ремень.

— Ты что? В своем ли уме? — молодой солдат погрозил ему кулаком. — А что, если сюда немец мины пошлет?

Бектемир, глядя на смуглого казаха, плечистого и подвижному, ловкого, виновато произнес:

— Хотел на немца посмотреть. Увидеть его физиономию.

— Пропади он пропадом со своей харей. Зачем тебе смотреть? На свинью он похож...

— А далеко ли до немцев? — уже осмелев, спросил Бектемир.

— Четыреста шагов, — без малейшего колебания ответил казах, словно он сам только что измерил это расстояние.

— Ближе, — согласился Бектемир.

Солдаты разговорились.

Бектемир узнал, что боец родом из Чимкента.

— Давай руку, брат. Земляки мы. Недалеко от нас живешь. Зовут-то тебя как?

— Кулумбет.

И казах, прищурив и без того узкие глаза, заговорил о своем ауле, колхозе. Рассказал, что он уже месяц как на фронте, поведал о страшных боях, в которых участвовал, о том, сколько видел крови, скольких похоронил товарищей.

— Вот что значит фронт, — заключил Кулумбет.

Вытащив из кармана маленький шелковый кисет, вышитый, видно, с большой любовью, он протянул его Бектемиру:

— Закуривай.

— Кисет у тебя замечательный, как тюльпан весенний, — произнес Бектемир, потрогав пальцами мягкий шелк, и взял щепоть махорки для большой самокрутки.

— Земляки подарки шлют. Этот кисет чудесная девушка вышила, — вздохнув, произнес Кулумбет. — Моя же там осталась, дома. Ни письма, ни весточки нет.

— Жена?

— Да. Жена. Всего три дня обнимал. А когда уходил, много слез пролила она... Так и оставил ее в слезах. Сам голову потерял. Шутка ли. Как она теперь одна?

— Не тужи, друг,— успокоил Бектемир, стараясь говорить бодрее.— Вернешься — бутон твой, яркий, полный красоты, снова раскроется для тебя.

— Здесь коса у смерти большая, как радуга. Хотя в народе говорят, что от богатыря и смерть бежит...

— Верно говорят,— согласился Бектемир и неожиданно спросил:— Вот ты скажи мне, почему наши не наступают? Почему не гонят немца от Москвы?

— Командиры знают,— неопределенно ответил Кулумбет,— здесь приказ сильнее бога. Наверное, для атаки не очень удобное время. Наступит время.— пойдём в наступление. Ждут.— И вдруг откровенно сознался:— Ой-бой! Ты еще не видел огня немцев! Ох какой огонь!

Долго еще размышлял Бектемир после разговора с молодым казаком.

Окоп казался тесным, тихим, как нора суслика. Но враг был рядом с этим «спокойным местом». И это лишало бойца покоя.

Бектемиру захотелось выстрелить. Он даже вытер винтовку рукавом, щелкнул затвором. Однако на какое-то мгновение ему стало не по себе.

«Зачем я тороплюсь?— подумал он.— Жизнь не мила, что ли? Все будет впереди».

В эту минуту взгляд его упал на находившегося неподалеку Али. Лицо земляка странно менялось — то краснело, то бледнело, глаза бегали, ноги пританцовывали, словно наступили на горячий уголь.

— Что это с тобой случилось?— приблизившись, спросил Бектемир.

— В животе у меня урчит! А тут тесно. Кругом люди... Что делать?

— Вот забота! Садись где попало, ведь кругом-то грязно.

— Стыд-то какой!— продолжая пританцовывать, воскликнул Али.

Молодой узбек, сержант, торопливо проходивший с пакетом, остановился на миг, поняв, в чем дело, весело рассмеялся:

— Ие! В окопе нет места? Садись на лопату, а затем вышвыривай вон!

Он подмигнул Бектемиру и, торопясь, пошел дальше.

Воздух начал наполняться усиливающимся гулом. Бектемир, чуть приподняв сжимавшую виски каску, уставился в небо. Северное солнце казалось бодрым, ласковым. На прозрачной, чистой лазури неба он увидел, словно

груды хлопка на хирмане, белые облака. Они легко плыли по небу, меняя очертания. Вдали, из-за дымящегося леса, появились самолеты. Их было много. Они, хвастаясь своей неотразимой силой, приближались уверенно, грозно. Черные крылья, все увеличиваясь, закрыли небо. Бектемир невольно впился пальцами в вязкие стенки окопа. Он лишился способности смотреть, думать, понимать... Земля вздрогнула, качнулась. Воздух прорезал какой-то дикий, словно при светопреставлении, грохот. Буйная, огромная сила, сталкивая горы, опрокидывала их. Со стоном разлетались в стороны комья земли. Бектемир замер, он не чувствовал kloкотавшего в груди сердца. Перед его широко открытыми глазами были только дым, пыль, смерть. Вот-вот втянет его в свою пасть взбесившийся, зазывающий буран.

И вдруг сразу наступила жуткая тишина. Бектемир словно очнулся после страшного сна. Он дышал тяжело, прерывисто. Доносившиеся издали редкие выстрелы казались каплями, которые падают звучно из желоба крыши и подчеркивают наступившую ночную тишину. Бектемир пополз к телу, распростертому неподалеку от него. Он с трудом узнал лицо молодого русского солдата, которого совсем недавно видел. Чуть дальше лежал другой боец. Дышал он тяжело, с хрипом, пытался поднять голову. Бектемир хотел ему помочь, но воздух снова наполнился гулом. И снова с неба низвергся огонь. Бектемир обнял землю. Поблизости раздался страшный грохот.

Подобно тому как морская волна вышвыривает купающегося на берег, какая-то сила оторвала Бектемира от земли и подбросила вверх.

Открыв на мгновение глаза, он увидел, что лежит засыпанный землей. Потом Бектемир услышал орудейную стрельбу. Снаряды, которые, выворачивая душу, летели с жутким стоном, разрывались рядом. Бектемир выполз из-под земли, грязной пятерней вытер лицо, обляпанное глиной, и поднялся на ноги.

Перед ним лежала разорванная колючая проволока. Царапая руки и лицо, Бектемир перелез через проволоку. Только сейчас он ощутил, как неприятный холодок прошелся по стриженной голове. Надев подвернувшуюся под руки каску, он вспомнил и про оружие. Взгляд упал на винтовку, валявшуюся поодаль, узнал — его винтовка. Схватив, он торопливо почистил ее рукавом, затем зашагал к группе бойцов. Нужно быть с ними рядом. Одному нельзя. Одному сейчас легко пропасть.



Бектемир увидел капитана Стеклова. Лицо комбата было гневным, глаза тревожными; осторожный и одновременно уверенный в своей силе, он бросал короткие команды. Махнув рукой, капитан вдруг пополз вперед. Бектемир подумал про себя: «Сердце с огоньком!»

Бородатый, насупившийся боец, выбрав, как он, вероятно, думал, самое удобное место, лежал притаившись.

И вдруг Бектемир услышал крик Аскар-Палвана. Он осмотрелся, но ничего не увидел вокруг, кроме дыма, пламени и густой пыли, взлетавшей в воздух. Через мгновение уже ясно донеслись голоса его земляков. Бектемир проворно пополз.

Земляки, опустившись перед кем-то, плакали. Бектемир, задыхаясь, торопливо подошел к ним.

— Лишились мы Азимджана. Ах, несчастные мы! — причитал Сафар.

— Ах, братишка любимый наш! — закричал Палван.

Грудь Азимджана поразил осколок мины. На глаза Бектемира навернулись слезы. Он поцеловал покрытое пылью холодное лицо и, поднявшись с колен, посоветовал товарищам:

— Увидит командир, ругаться будет. Разойдитесь по местам! Ведь бой идет. Разойдитесь!

Он потащил труп Азимджана, то взваливая его на спину, то осторожно волоча за собой, и уложил его поодаль на густую пожелтевшую траву, под низкорослым деревом с изуродованными ветвями. Перед глазами Бектемира в мгновение прошла вся небольшая, но интересная жизнь друга. Если бы можно было в стороне вырыть глубокую могилу и, пусть не прочитав молитву-фатиху, своими руками предать его земле! Боец с минуту молча смотрел на труп. При виде раны и безжизненно блестящих, как черное стекло, глаз земляка сердце Бектемира сжалось и он только тяжело вздохнул. Так же ползком прижимаясь грудью к земле, Бектемир вернулся в окоп.

— Снова «юнгерсы»! Тьфу, сволочь! — хмуро выругался бородатый боец. — И откуда они? Туча тучей.

Бектемир уставился в небо. «Три... девять... одиннадцать, семнадцать... двадцать два...» Он сбился со счета. Прижимая людей ко дну окопов, с каждым мгновением небо все более захлестывала волна нарастающего гула.

— А где наши самолеты? — крикнул Бектемир бородатому соседу.

— Четверть уничтожена на земле, четверть сгорела в небе. Половина в других местах была немцев. Вот так! — неожиданно ответил тот и выругался.

— Чтоб они в преисподнюю провалились! — сквозь сжатые зубы добавил Бектемир. — Фрицы проклятые!

Русский что-то еще сказал, но Бектемир уже не мог его расслышать. Самолеты рванулись вниз с резким воем, протяжным свистом. Казалось, они не выйдут из пике, а начнут буравить землю. Появилось желание тоже уйти в землю. В глаза лезла пыль, перемешанная с дымом. Стало трудно дышать.

Бектемиру эти крылья казались неотразимой, дикой силой. Гордый, смелый парень сейчас почувствовал себя слабым, пришибленным. Все его существо наполнилось гневом, в глазах горела ненависть, но Бектемир сознавал, что свои силы он не может сейчас использовать. Он не может даже шевельнуться.

Удаляющийся гул самолетов еще не совсем утих в небе, а вдали уже замелькали танки. Они росли, увеличивались, приближались тяжелой, внушительной волной.

Разгоряченный Стеклов криками и резкими жестами расставлял бойцов по местам. Вперед пробрались броневой бойщики. Длинные стволы противотанковых ружей спрятались за кустарниками и горами земли.

Танки приближались ровным строем, словно подвижные железные крепости. Они нагло и уверенно покрывали расстояние. А вот, кажется, даже увеличили скорость. Все вокруг наполнилось скрежетом металла.

Бектемир одним из первых заметил немецких автоматчиков, бежавших за танками. Сколько их было? Трудно сказать. Очень много. Автоматчики, спрыгнув с машин, приближались под прикрытием этих железных чудовищ. Стволы пушек на танках начали изрыгать огонь. Поле наполнилось неопишуемым шумом.

Бойцы встретили немецкую пехоту огнем из винтовок. Бектемир тоже начал стрелять. Но как ни пытался он совладать с собой, как ни пытался, собрав весь гнев, прицеливаться верно, все-таки при виде грозных машин не мог поднять голову.

Неужели пройдут? Неужели ничто не сможет их остановить?

Но вот противотанковые пушки встретили железную лавину сплошной волной огня. И внезапно два передних танка клюнули землю, словно споткнулись. Они стреляли, но бессильны были сдвинуться с места. Через мгновение они потонули в густом черном дыму. Вслед за ними замерли еще три больших танка. Но другие продолжали упрямо двигаться вперед. Их было около десяти. И вдруг

одна за другой четыре машины, бешено взревев, остановились. Танкисты в ужасе выпрыгивали на землю, пытались бежать. Одежда на них горела. Но гитлеровцев настигали пули. Наконец оставшиеся машины, резко повернув, стали удаляться.

— Уходят, уходят! — раздались радостные возгласы.

— Ага! Удирают!

Но в этот миг Бектемир увидел слева тяжелый танк, который с лязгом стремительно лез вперед. Сердце бойца захолонуло. Через мгновение своим огромным, как гора, туловищем танк вдавит в землю живых людей! Вдруг словно из-под земли появился молодой русский парень. Он, спокойно взмахнув рукой, швырнул гранату, и она взорвалась на башне танка. Вторую гранату бросил, прицелившись в самую гусеницу, Ахмедов и камнем кинулся на землю.

Танк окутался облаком дыма.

На поле горели танки, словно драконы, погибавшие в гневно изрыгаемом ими же огне. Воздух наполнился горьким запахом. Куда ни взглянешь, всюду трупы.

«Попал ли я? — думал про себя Бектемир и ответил: — Нет, если враг не перевернется перед глазами, как дикий кабан, этот выстрел не в счет!»

Губы Бектемира высохли, дыхание словно застряло в гортани. Солдат поднес флягу к губам — там ничего не было; запрокинув голову назад, он прижал флягу к губам — хотя бы несколько капель.

Бектемир с удивлением посмотрел на флягу. Она была пробита пулей. Зло отшвырнув ее, он попросил воды у соседа, бородатого солдата.

— Что, жарко? — протягивая флягу, спросил боец.

Бектемир кивнул головой.

Желание было необычным, думал, что не утолить ему жажды и ведрами воды. Однако, сделав два маленьких глотка, он вернул флягу. Бектемир почувствовал блаженство не только в теле, но словно ощутил его в самой глубине души. Стало легче дышать, посветлело в глазах. И боец крепко сжал винтовку. Как только исчезли танки, горизонт снова закрыли своими крыльями самолеты. Они надвигались стремительно, упрямо, уже знакомой дорогой. Опять раздались гулкие разрывы бомб. Воздух застонал. Многострадальная земля взвихрилась пылью. Не успели затихнуть разрывы бомб, как посыпался град пуль.

Бектемир уткнулся лицом в стену окопа.

«Теперь всё кончено! Кажется, кости мои останутся в злой яме. О боже!» — сказал он про себя.

Но вскоре стихло! Боец, подняв голову, осмотрелся вокруг и опять вдали увидел танки, которые темными рядами стремительно надвигались на окопы. Через голову снова начали перелетать снаряды. За танками Бектемир успел заметить автоматчиков. Они бежали, падали, вставали. Снова атака! Боец, тяжело дыша, начал стрелять. Какой-то жар охватил все его тело, казалось, пламя добралось до самых костей. Мельком взглянув по сторонам, он увидел, что товарищ справа замер. Голова его была окровавлена. Бородатого солдата с левой стороны не было видно. Танки, рассеявшись по полю, ползли и ползли. Все громче слышались пьяные выкрики немецких солдат. Автоматы и пулеметы словно соревновались между собой в бешеной трескотне. Мины со злостью рвали землю. В этот момент Бектемир заметил в низине горстку бойцов, которые, поднявшись, побежали навстречу танкам. Хотя он не слышал никакой команды, он был не в силах больше прижиматься к земле. Он выскочил из окопа и ринулся вперед. Но из-за пыли, дыма, визга пуль, летевших густо, как саранча, сразу закружилась голова. Бектемир, словно споткнувшись, упал на изрытую землю.

Что делать? Где ему преклонить голову? Неужели танки все же пройдут, вдавив его в землю, как инжир?! Бектемир решил приготовить гранаты. Он ощупал ремень, но там их не было. Понял, что потерял.

— Проклятье! — вырвалось у Бектемира. От злости и бессилия он затрясся. Кто-то, перешагивая, задел его и, внезапно остановившись, потянул за плечо. Бектемир поднял голову и увидел бородатого солдата, по щеке которого стекала струйка крови.

— Вставай! Назад! Команда была! — вне себя крикнул боец.

Бектемир, падая, перепрыгивая через трупы, проваливаясь в воронки от бомб и снарядов, побежал за товарищем.

Он не помнил, как они добрались до широкой дороги у густой стены леса и присоединились к группе бойцов. Куда они шли? Куда торопились? Нет, этого никто не знал, об этом никто не спрашивал.

Некоторые из бойцов, перевязав на скорую руку раны, шли, стиснув зубы. Шли, чтобы не отстать от товарищей.

Раненые даже пытались бежать изо всех сил. При резких движениях из ран начинала сочиться кровь. Капитан

Стеклов шел прихрамывая. Иногда он невольно хватался за колени, словно успокаивал боль. Капитан то и дело подозрительно посматривал на небо. Но оно пока было тихим, пустым. Солдаты шли молча. В этой группе Бектемир увидел Сафара и Али. Сафар неумело перевязал шею, лицо его было бледным. Али, звякая лопатой о винтовку и надвинув каску на самый нос, еле передвигал ноги.

— Где остальные?— спросил Бектемир Сафара, слегка тронув его за плечо.

— Умер бедняга Касымджан. В клочья разорвало. На моих глазах.

— Другие?

— Живы. Палван впереди.

— Что с тобой случилось?

— Задело,— облизывая сухие губы, произнес Сафар.— Осколком. Слегка задело.

— Значит, смерть поиграла с тобой,— вступил в разговор Али.— Просто пошутила,

— Чтоб черт побрал ее шутки. Чем так, лучше бы стукнула прямо и вогнала в землю,— махнул рукой Сафар.

Мимо Бектемира, тяжело ступая, прошел боец. На плече он нес раненого, ноги которого почти задевали землю. Голова раненого была туго перевязана. Но Бектемир все-таки узнал в нем друга.

— Ахмедов? Ты? Что с тобой, Ахмедов?

Из-под бинта смотрели глаза тускло, бессильно, с горечью.

— Ну, как ты? Рана тяжелая?

— Тяжелая. Плохо...— едва шевельнув губами, ответил Ахмедов.

Бектемир, затянув ремень, обратился к русскому солдату:

— Давай мне! Давай я теперь понесу.

— Ничего, я сам,— тяжело дыша, ответил тот.— Еще немного.

Бектемир видел, что боец не в силах идти, и, не обращая внимания на его возражение, подставил плечо. С помощью друзей он взял Ахмедова на спину и торопливо зашагал, словно намерен был занести его в ближайший дом и уложить в постель.

На перекрестке дорог бойцов догнала большая машина. В ней вповалку лежали раненые. С борта машины кадала кровь.

— Положить всех раненых,— приказал комбат.

Бектемир положил Ахмедова. Пожав его холодную руку, погладив лицо, со вздохом отошел.

Машина еще не успела скрыться, как внезапно показались два самолета. Все бросились в лес.

Бектемир лежал в траве, за толстой стройной сосной. Опять гул самолетов, который казалось готов был вырвать сердце из груди. Опять вдали одна за другой разрываются бомбы. Самолеты начали пикировать. Бектемир вскочил и, сделав несколько шагов, уткнулся лицом в стелющиеся ветви низкорослого дерева. Словно он надеялся, что дерево спасет его. Перебегая от одного к другому, к третьему, Бектемир искал у деревьев помощи.

Самолеты пронеслись совсем низко над верхушками. Лес наполнился свистом пуль. На Бектемира посыпались сучья.

Из-за деревьев, из травы и кустарника слышались крики и стоны.

Внезапно наступила тишина. Раненые притихли. Будто они не верили в тишину и сейчас хотели убедиться, что теперь никто не нарушает покоя.

Поредевший батальон тронулся в путь. Сейчас он не походил на боевое подразделение. Это скорее всего была группа бойцов — запыленных, грязных, усталых.

Лицо Стеклова показалось Бектемиру худым и бледным, а большие голубые глаза, прищуренные сейчас, — полными горя. Капитан пытался преодолеть боль, шагал прямо, но, сделав несколько шагов, останавливался и, кусая губу, смотрел на солдат.

— Подтянись!— вдруг крикнул он.

Знакомая команда ободряюще подействовала и на самого Стеклова и на его подчиненных.

— Подтянись!— повторил комбат.

Этой короткой командой он навел порядок в подразделении.

Нахмутив брови, капитан Стеклов упрямо двинулся вперед.

Не пройдя и двухсот шагов, батальон остановился посреди дороги. На разбитой машине и рядом с ней были груды человеческих тел. На эту машину совсем недавно положили тяжелораненых. Сейчас на ней не было ни одного живого, ни одного сохранившего человеческий облик. Только шофер машины, уткнувшись носом в землю, хрипел и вздрагивал. Даже старые солдаты, много раз видавшие смерть, отвели глаза в сторону. Ноги Бектемира за-

дрожали. Но все же он узнал Ахмедова и замер над его телом. Глаза невольно наполнились слезами.

— Хороший был парень, очень хороший был,— покачивая головой, произнес Стеклов.

...Батальон свернул с дороги в лес, из леса — в болото. Из болота вышел на открытое бездорожье. Долго шагал, не останавливаясь на ночлег. Только к рассвету батальон добрался до скопления таких же малочисленных, вышедших из боев, подразделений.

### *Глава третья*

Так получилось в этой сумятице, что Аскар-Палван и Али сами не заметили, как оторвались от батальона и вынуждены были нырнуть в густой лес. Палван, ввиду своей природной беспечности, пока не придал этому никакого значения.

— Спрашивая, Мекку нашли. Пока ноги целы, будем себе двигаться,— произнес он, покручивая свои запыленные усы.

Али был доволен:

— Слава богу, вышли на край преисподней. Во всяком случае, отодвинулись подальше от напасти!

— С помощью аллаха дойдем до своих! — подбодрил Палван.

— Конечно дойдем. Не могли же мы от них далеко уйти...

Спокойствие Аскара передалось и Али. Тем более, что в лесу было тихо, и боец ни о чем не хотел думать.

Аскар-Палван, опустив голову и заложив руки за спину, словно возвращаясь, как некогда, с поля домой, солидно вышагивал, разговаривая неторопливо, вполголоса:

— Диву даюсь. Не укладывается в голове... Гм... Как звенья в цепи, были связаны друг с другом, а расстались. Эх, судьба! Судьба так всеильна, что будь ты хоть из камня сделан, одним щелчком, как орех, разобьет тебя! На войне и ангел беспощаден, дорогую жизнь не станет долго отнимать... Удар — и руки, ноги отлетают. Удар — и голова на дереве...

— И глаза смотрят вниз, на тело... Интересуются, как оно там поживает... — хрипло прибавил Али.

— Гмм... — промычал Аскар-Палван. — Все может быть, все! А где Бектемир? Что с Сафаром? Пыль смерти ослепила наши глаза. Разбрелись мы в разные стороны.

— За Бектемира я спокоен,— авторитетно заявил Али.— Голова у него работает, он сумеет постоять за себя. Но Сафар пуглив и растерян, как теленок.

— Голова, говоришь!— резко прервал Аскар-Палван.— При чем тут голова? Вон с Касымджаном что случилось. А с тем русским парнем? Говорил, что в четыре года начал читать. Одна пуля, и он рядом со мной землю прикусил, бедняга. Судьба, значит!

— Какая там судьба! Заладил: судьба да судьба. При чем тут она? От такой силы и судьба вдребезги разлетится!— сердито сказал Али.— Если тугай загорятся— что сухо, что мокро— все равно. Такие напасти, как снаряд и мина, заставят треснуть и железную крепость судьбы.— Али вдруг перестал ворчать.— Эй, куда мы идем? Есть у тебя такой компас, как у командира?

— Глаза мои— компас,— недовольно бросил Палван.— Шагай, не разговаривай.

Они продирались сквозь плотную стену деревьев. Тишина леса постепенно успокоила бойцов. Прошло немного времени, и тяжелые думы выветрились. Необычно чистая, свежая зелень дарила людям силу. Особенно для них, сыновей края, где отсутствуют леса, зрелище казалось необычно прекрасным и удивительным. Они уже побывали во многих лесах. Но тогда шли бои. Тогда свистели осколки и пули, стонали их товарищи... Сейчас все выглядело иначе. Чище, красивей, первозданней... Сейчас словно впервые они увидели лес и смотрели на него с жадностью. Стройные, могучие сосны невольно притягивали к себе взгляд. Али, восторженный, обнял одну из них.

— Ты помнишь боковую балку на потолке колхозной конюшни?— неожиданно спросил Али.

— На спине вашего брата она взобралась на крышу,— улыбнулся Аскар-Палван.

— Та балка, наверное, младшая сестра вот этого самого дерева,— Али погладил ствол.— Срубить бы, обстругать гладенько, как зеркало, и тогда строить дом. Пусть семь слонов танцуют на крыше— не качнется.

Аскар одобрительно кивнул головой. Действительно, было бы хорошо из таких деревьев построить добротный, красивый дом. И пусть в нем живут хорошие люди, пусть к ним приходят гости...

Верхушки деревьев, обнявшись, образовали большущий шатер. В лучах склонившегося к горизонту солнца через зеленоватый отблеск теней просачивалось голубое небо:



Бойцы срывали и пробовали лесные ягоды, дувствуя себя точно на прогулке. Им, привыкшим к сочным сладким плодам, лесные ягоды не понравились. Аскар-Палван поморщился:

— Какая кислятина!

— Наверное, их не едят,— сделал вывод Али.

Встретился небольшой овражек со стоячей водой, покрытой грязной пеной, Али, вытянув вперед винтовку, по стволу упавшего дерева, подобно канатоходцу, живо перебежал на другую сторону. Аскар-Палван неловко сделал два-три шага и оказался по пояс в воде. Ругаясь, он выбрался на берег.

— Не все же время красотой любоваться,— философски заметил Али.

Бойцы выбрались на возвышенность, которая сплошь была покрыта березами. Глаза Али снова заблестели. Эх, если бы мог он сейчас с острым топорком в руках срубить самое стройное деревцо и взвалить на плечи, чтобы построить хороший дом. Проклятая война! Сколько можно было за это время сделать.

— Она схожа с нашим тополем. Но ее можно назвать дочуркой тополя — гладенькая, ровненькая,— по-своему определил Али.— Посмотри, как свеча. А кожица ствола нежная, будто шелк. Так и поблескивает.

— Если бы одно из тысячи этих деревьев было яблоней или грушей, русский край можно было бы назвать раем,— медленно и веско сказал Аскар-Палван.— Пошли туда, вниз.

И он стал спускаться.

— Эй, дурень, куда?— закричал Али.— Ведь нога человека там не ступала.

— На дорогу или в деревню выйдем. Не весь же мир покрыт деревьями?— ответил Палван, не останавливаясь.

Скоро перед их глазами открылась полянка, поросшая густой травой. Как толпа людей обступает в день, большого кураша площадку борьбы, так лес со всех сторон обступил полянку.

— Эй, «компас», самый точный! — съехидничал Али.— Удивляюсь тебе. Не различаешь, где право, где лево, а еще знатоком себя считаешь.

— Выйдем. Говорю, что выйдем,— упрямо твердил Аскар-Палван, тяжело опускаясь на траву.

— Нет, ты все-таки скажи, куда мы идем?

— Примерно на восход солнца, куда же еще?— прерывисто дыша, произнес Аскар и, сняв каску с головы,

положил ее рядом.— Весь лоб отдалил этот чугушый колпак!

— Нужный камень не тяжел,— заметил Али, удобней устраиваясь на траве.— Этот самый колпак для нас — как панцирь для черепахи. Ведь только вчера около тебя мина взорвалась. Если хочешь знать, осколок ее стукнулся о самую мою голову. Ничего, обошлось. Шишка только вскочила, но остался жив-целехонек. И колпак ничего. Стал лишь кривой, как колхозный кузнец Азим.

Али снял каску с продавленным боком и, потрогав шишку на голове, снова надвинул на самые глаза.

Помолчав, боец провел рукой по животу и недовольно заворчал:

— Ой-бой, что-то внутри посасывает, горько... Сколько можно без еды жить?

— А у меня? Аппетит мой разинул рот карнаем, бросай, мол, что угодно.

Аскар-Палван, прищутив глаза, посмотрел на лес, тянувшийся до самого горизонта и подернутый каким-то зеленоватым дымком.

— Тишина-то какая!— почти шепотом произнес Палван.

Но вдруг невдалеке зашуршала листва: бессильно упали осколки.

— Ого, и здесь напоминает о себе немец,— оглянулся по сторонам Палван.— О боже! Что он здесь делает? Никого же нет вокруг? А может, это партизаны? Вот бы встретиться с ними! Накормили бы нас и вывели на нужную дорогу... Ну, что скажешь?

— Что скажу? Бог дал тебе целый батман силы и только один мискал разума!— раздраженно проворчал Али.— Если немец прорвал плотину, можешь теперь встретить его где угодно. Вставай!

Аскар-Палван неторопливо поднялся, и товарищи, поразмыслив, свернули в сторону.

Наступал вечер. В этом тихом лесу день устало закрывал свои глаза. Подходило время сна.

В лесу темнеет раньше, быстрее.

Бойцы улеглись на мокрой траве. Несмотря на усталость, они долго не могли заснуть. Ветер наполнил лес таинственными шорохами. Ночную тишину изредка нарушал гул. Это высоко в звездном небе пролетали самолеты.

На рассвете друзья, крепче подтянув ремни, отправились в путь. Шли молча, сберегая силы.

Все явственнее слышался гул моторов. Не было сом-

нения, что где-то вблизи дорога. Аскар-Палван внимательно, изучающе посмотрел вперед.

— Дорога!— воскликнул он.— Наши идут по дороге. Смотри, Али!

— Вижу, «компас»,— не сдержался друг.— Пошли быстрее.

Через несколько минут они вышли из леса.

— Теперь никуда не свернем!— обрадованно крикнул Али.— Если и помрем, так уж на самой дороге. Боже, никого не заставляй шататься по лесу.

По дороге нескончаемым потоком двигались машины с солдатами. Машины, груженные военным снаряжением, были искусно замаскированы ветками. Здесь же, в пыли, медленно шли женщины, дети, старики. По обе стороны дороги, настороженно рассматривая этот поток, стояли молчаливые деревья.

Аскар шагал по обочине дороги уверенно, широко. Стараясь не отстать от друга, за ним катился шуплый Али.

Мучительной, шумной дороге, казалось, не будет конца. Только к вечеру подвела она друзей к городу— маленькому, чистому, зеленому. Хотя на улицах было много солдат и шли военные машины, ужас войны здесь пока не чувствовался. Но город готов был уже к отпору. На стеклах окон были наклеены крест-накрест узкие полоски бумаги. По улицам патрулировали солдаты. У зенитных пушек дежурили артиллеристы. Фронт был далеко, но мало ли что может случиться.

Как в мирное время, не обращая на бойцов внимания, спешили девушки.

Они знали, что на них смотрят восхищенные глаза, слышали и грубоватые солдатские шутки.

Всем своим равнодушным видом девушки давали понять: «Можете говорить что угодно...»

Равнодушие придавало им особую прелесть, они еще больше расцветали от своих легких, скромных улыбок. Иногда острым словом они заставляли покраснеть шутника, вызывая хохот его товарищей.

Шутник только разводил руками:

— Ну и девка... Отбрила— и все тут.

Али тоже решительно остановился, намереваясь сказать что-то проходившей мимо молодой работнице. Аскар-Палван сердито тряхнул его за плечо:

— Не прибавилось в тебе разума! Состарился, а все еще нет мужского достоинства. Тебе ли распутничать?

— А сам-то? Как верблюд тянется шеей в цветник, так и ты заглядываешься на каждую девушку! — сердито отрезал Али.

— Ладно, ладно. Пойдем вон туда. Там, должно быть, веселое зрелище.

В самом центре города, на площадке, окруженной цветами, уже поблекшими от дыхания осени, веселятся бойцы. В центре круга танцуют несколько девушек — живо, быстро, задорно. Развеваются пышные, золотистые волосы, выбившиеся из-под белых, красных и зеленых беретов.

С дымящимися самокрутками в губах втиснулись в ряды озорно кричащих бойцов Аскар и Али. Удары широченных, как рукавицы для отделки лепешек, ладоней Палвана привлекали внимание.

— Вот силища.

— Да, руки бог дал ему. Позавидуешь...

В круг вошли несколько бойцов. Солдатские сапоги гулко топали по асфальту. Плясуны ловко ударяли ладонями по коленям, шли вприсядку, пронзительно свистели. Увлеченный гармонист тоже выскочил в круг.

Когда веселье было в самом разгаре, площадь внезапно наполнилась гулом. Через город проходила артиллерийская часть.

Танцы прекратились.

Сейчас земляки вспомнили, что они по-настоящему голодны. Палван попросил друга подождать у площадки, сам куда-то сбежал и принес буханку хлеба. Али был вне себя от радости.

— Вот это понимаю — солдатская сноровка. Молодец, Аскар!

— Спрячь! — Аскар протянул хлеб.

Али проворно засунул хлеб за пазуху, предварительно отломив кусок.

Палван, покручивая реденькие усы, хитро прищурил глаза, произнес:

— Здесь, земляк, не следует вешать носа!

— Ча-чай-чайхана, — произнес Али, с трудом прожевывая хлеб. — Вот бы в чайхану. Как ты думаешь, Аскар?

— Это было бы здорово!

— Но где найти чайхану?

Внимательно осмотрев несколько улиц, бойцы не обнаружили чайханы.

— Город-то хороший, чистый, а вот про чайхану забыли.

— Русские не ценят чай,— с сожалением добавил Палван.

— Город без чайханы некрасив, как чапан без рукава,— вынес решение Али и подозвал мальчишку лет десяти-одиннадцати.

Положив руку ему на плечо, боец спросил:

— Где-нибудь чайхана есть в городе?

Мальчик попытался назад и удивленно ответил по-русски:

— Что сказали?

— Чайхана... Большой самовар, сидишь, чай пьешь,— смеясь, косноязычно перевел Али свою же просьбу.

Мальчик, с ног до головы осмотрев бойцов, улыбнулся.

— Чай? Это можно... Пойдемте со мной,— он показал рукой.

Бойцы, ускорив шаг, двинулись вслед за побежавшим мальчиком. Они свернули на маленькую улицу.

Конечно, никакой чайханы, где собираются любители почаевничать, они не видели, а вошли в темную комнату. Мальчик провел бойцов через набитую разной утварью переднюю, где гудел всюду примус, и поманил мать во двор. Через минуту он вернулся и пригласил бойцов в комнату. Над большим столом сверкала электрическая лампочка. Аскар-Палван, чуть прищурившись от света, благодарно улыбнувшись, посмотрел на хозяйку — женщину средних лет, рыжеволосую, высокого роста. На ее лице, несколько поблекшем от забот, он заметил какое-то внутреннее волнение и испуг.

— Хорошо. Рахмат. Чай есть?— спросил Аскар-Палван и, вытащив из-за голенища свой неразлучный острый нож, разрезал им хлеб. Женщина смотрела то на нож с красивыми узорами на ручке, то на неожиданных гостей. Потом, не скрывая своего недовольства, повернулась и ушла в переднюю.

Али, наполнив рот хлебом, жевал с большим аппетитом. Его взгляд неторопливо скользил по обстановке, расположенной, словно принадлежности куклы у девочки, в строгом порядке.

— Вон, оказывается, и патефон есть,— кивнул он.— После чая послушать бы разок. Может быть, Халима-ханум споет какую-нибудь чудесную песенку!

Аскар-Палван глубоко вздохнул:

— Однажды я пластинку «Румалым» купил! Вот радость была, вот времечко! Все теперь прошло, уплыло.

Хозяйка поставила на стол большой медный чайник, стаканы и беспокойно взглянула на двери.

— Марджа, садись, бери хлеб!— пригласил Али.

— Муж есть? На фронте? Скучна-а, да?— спрашивал Аскар-Палван, осторожно поднося к губам горячий стакан.

Женщина сидела молча, рассматривая людей, разговаривавших на незнакомом языке. Вдруг она, побледнев, встала с места.

Бойцы многозначительно переглянулись.

— Для этой милашки мы как стружка в глазу,— произнес Аскар-Палван, почувствовав себя неловко.

— Пей скорей. Пойдем отсюда. Она боится нас,— продолжал Али.

— Нужно идти. Хватит чаевничать.

Но хозяйка, поняв, что они собираются уходить, внезапно изменила свое отношение к неожиданным гостям.

— Да вы сидите, пейте чай, отдыхайте. Пожалуйста, сидите.

Она взяла с полки фотографии, разложила их на столе и, показывая каждую отдельно, принялась объяснять, кто и когда был запечатлен на этих снимках.

Хозяйка рассказывала неторопливо, но ее глаза, полные тревоги, невольно то и дело посматривали на двери. Не успели еще бойцы допить чай, как в сенях раздались гулкие шаги. И вот в комнату вошли два милиционера. Один — небольшого роста, круглый, полный старик с наспуленными бровями, усатый; второй — молодой, высокий, сухощавый. Должно быть, от быстрой ходьбы они дышали прерывисто. С ними пришел и мальчик, он стал у дверей, прислонившись к стене, по-взрослому серьезный, гордый. Заметив разложенные на столе фотографии, мальчик хмуро посмотрел на мать.

Полный старик решительно, грубо приказал:

— А ну-ка покажите ваши документы.

Аскар, не поднимаясь с места, спокойно начал шарить за пазухой. Али, нервно скривив губы, встал с места и осторожно сделал шаг. Он намеревался взять и повесить за плечо прислоненную к стене винтовку. Молодой милиционер вырвал винтовку из его рук, тщательно осмотрел ее и снова приставил к стене.

— Не тронь.

— А ну давай винтовку! Давай! Видали его?!— закричал Али.— Это моя винтовка. Как вы смеете распоряжаться?

— Не кричи!— зло взглянул на него милиционер.— Без криков разберемся, что вы за типы.

Старик вертел документы в руках, долго, внимательно рассматривал их, даже поднял на свет. Будто разочаровавшись, протянул своему товарищу. Тот смотрел то на бумаги, то на владельца, затем бросил красноармейские книжки на стол. Старик, тяжело опустившись на стул, еще раз многозначительно осмотрел бойцов:

— Значит, свои. А откуда вы взялись? И куда путь держите?

Бойцы переглянулись и только вздохнули.

Описать все приключения было чрезвычайно трудно. Знакомые русские слова, словно ведро из колодца, выходили наружу с огромным трудом. Али, пытаясь объяснить, что он из колхоза «Красная звезда», даже вспотел.

— Понимаешь... Красный... Ну красный...

Он никак не мог сказать по-русски «звезда». Наконец, сообразил показать на звезду. Старый милиционер засмеялся, тряся животом, и, повернувшись к растерянному мальчику, произнес:

— Что, богатырь! Вот мы и взяли за горло фрицев! Приказывай, как с ними справляться.

— Сказал, что в доме у них сидят шпионы. Целых два. Ну мы и побежали сломя голову. Шутка ли сказать? Фрицы!— пояснил другой милиционер.

Мальчик виновато отвел глаза. Но кажется, он хотел еще постоять на своем:

— Надо хорошенько дознаться. Возможно... Кто там знает еще... Кто они такие? А может...

— Оставь, Миша, свои глупые подозрения,— перебила мать.— Они наши. Посмотри на них. Они из Средней Азии. Знаем «Ташкент — город хлебный». Ты не читал эту книгу...

Бойцы до сих пор думали, что вся эта история просто одна из проверок, самых обычных в дни войны. Теперь стало ясно, в чем дело. Палван расхохотался. Али сердито покачал головой:

— Надо же, за шпионов приняли.

— Нечего обижаться,— добродушно заметил старый милиционер.— Война. Нужно брать на заметку каждого, кто вызывает малейшее подозрение. В городе, да и вокруг него, нередко встречаются шпионы. А вы уж нас извините, друзья.

— Ничего, ничего,— примирительно сказал Аскар.

Милиционеры, закурив, попрощались и вышли из комнаты.

Хозяйку точно подменили. Она стала такой, какой была в жизни.

На столе появились варенье, сахар, печенье.

— Пожалуйста, пейте, ешьте.

Бойцы не заставили повторять приглашение.

За чаем хозяйка рассказала о муже, ушедшем на фронт, о своей работе и жизни.

— Как я испугалась, когда узнала, что у меня в доме шпионы, — откровенно призналась она. — Даже сердце остановилось, ноги отнялись.

Аскар, улыбаясь, покачал головой.

— Надо такое придумать, — рассмеялась хозяйка. — А ведь я на всякий случай присмотрела в сених топор. Кто знает, чем бы все это кончилось, пока не пришла помощь...

Мальчишка, вначале чувствовавший себя виновным и потому сидевший с насупленным видом, понемногу оживился. Он притащил и раскрыл свои тетради, отцовские книги, стал показывать картинки.

— Что сейчас на фронте, а? — спрашивал он. — Бьем мы фрица?

С деловым видом Миша высказал несколько личных замечаний о положении на фронте.

По его рассуждениям выходило, что войну ведут одни танкисты. Была бы возможность, он, кажется, сейчас же забрался бы в танк и отправился на фронт. Расспрашивая о танкистах, он сам приводил примеры их отваги, героизма.

Хотя джигиты понимали только кое-что, огонь в глазах юного «бдительного воина» покорял их.

Когда огромные, красивые стенные часы солидно пробили девять раз, Палван, моргнув другу, поднялся:

— Спасибо!

— Куда же вы? Оставайтесь ночевать.

Гости невольно переглянулись, заколебались. Хозяйка, видя их нерешительность, быстро отодвинула столы и стулья в сторону, постелила на полу. И бойцы, не раздеваясь, легли на эту постель. Свет погас.

...Шум, заполнивший тесную комнату, заставил в одно мгновение освободиться из крепких объятий сна и вскочить на ноги. Палван, споткнувшись в темноте, стукнулся головой о шкаф. Ноги застряли в стульях. Он никак не мог их вытащить, задвигал, застучал.

Девочка, лежавшая в кровати у изголовья бойцов,



пронзительно заплакала. Хозяйка, хлопотавшая в темноте, растерянно кричала:

— Миша, лампу, штепсель... Ах, проклятые собаки, и до нас дошли. До города нашего. Миша, беги к тете Марусе. В подвал, к тете Марусе!

В небе нарастал гул фашистских самолетов. Стали глухо взрываться бомбы. Сквозь вздрагивавшие стекла можно было видеть огонь. Солдаты, взяв на руки девочку, протянули ее матери:

— Успокойте... Укачать надо...

Миша по-взрослому зло ругал фашистских стервятников. Схватив мать за руку, он, босой, без шапки, потянул ее во двор.

Хозяйка, прижимая ребенка к груди, послушно шла за сыном.

Бойцы наощупь разыскали винтовки и выбежали на улицу. Погруженный в дым и пламя, полумесяц на небе, искривленный словно от боли, блестел тускло, печально. Бомбы ныряли с пронзительным воем, взрывались. Земля вздрагивала, здания валились. Двери, рамы отлетали, будто у них появлялись крылья. Стекла разлетались вдребезги, осыпаясь мелким песком под ногами.

— Немцы!

— Сюда! Мама, сюда!

— Ой, что же будет!

Эти крики слышались со всех сторон.

Люди бежали из домов, бежали в ужасе. Стремясь не отстать от своих владельцев, летели вещи. Звенели стекло и металл, глухо падали деревянные балки.

Из общего шума вырывались людские голоса, крики детей и женщин, стоны раненых.

А в воздухе не прекращался гул самолетов. Бомбы беспощадно рвали богатырское тело города, большую жизнь, поднятую силой и трудом миллионов рук.

Прожекторы, вытягивая гигантские лучи, щупали бездонное небо. Зенитки огрызались металлом и огнем; А бомбы продолжали методично рваться во всех концах.

Город в пучине огня. Пламя, обглодав его и словно не насытившись, бросалось вверх, желая обнять и небо.

Дым, пыль, копоть, огонь...

Аскар-Палван и Али бегали в круговерти адского бурана, надеясь найти клочок безопасного места. Они то обнимали деревья, на которые натыкались, то прижимались к каменным стенам домов.

Снова и снова в грохоте раздавались полные ужаса голоса.

На центральной площади города бойцы застыли на месте. Здесь пожар бушевал с полной силой. В воздухе уже прекратился гул, и люди вступили в дерзкую борьбу с огнем. Аскар и Али по зову какой-то внутренней силы рванулись в охваченный пламенем дом.

— Дети там... Дети!— кричала вслед Аскару женщина.

С неожиданной ловкостью воин вскарабкался по лестницам на верхний этаж. Задыхаясь в горьком дыму, обливаясь потом, он бешено работал топором.

С первым ребенком спустился Аскар вниз и, вдохнув свежего воздуха, снова полез в облака дыма. И так несколько раз.

Али тоже пустился за другом, отдавая всю силу, тающую в его маленьком сухошавом теле. Вместе с сотней воинов они, обжигая руки, швыряли в сторону железо, кирпичи, камни, раскапывали лопатами груды земли, искали засыпанных людей.

— Вот бы кетмень сейчас достать,— сокрушался Али.— Эх, не понимают русские, что такое кетмень...

Боец вовремя отпрянул в сторону, чем и спас себе жизнь: из сарая, охваченного пламенем, с широко вытаращенными глазами выскочила лошадь. Испуганное животное мчалось прямо на Али и быстро исчезло где-то в темноте. Если бы боец растерялся — прощай жизнь...

Али облегченно вздохнул.

Рассветало. Сквозь дым и пыль постепенно начал проступать город. Улицы были полны кирпичей, земли, скрюченного металла, обугленных досок, перепутанных проводов. Валялись осколки посуды, разная утварь, поломанная мебель. Ветер листал страницы обугленных книг, качал едва державшиеся вывески.

Бледные, дрожащие люди со стиснутыми зубами стояли около своих жилищ.

Земляки, с трудом волоча обессиленные ноги, отошли от горящих зданий и присели на корточки под искореженным, обуглившимся деревом. Они то и дело сплевывали угольную пыль.

— Какая несчастная ночь!— разглядывая пожарище, вздохнул Палван.— Не дай бог никому таких дней.

— Да... Страшно... Но зачем столько бед на мирных жителей? В чем их вина? Проклятые фашисты совсем не ведают о боге!

Вдруг земляки посмотрели друг на друга и неожидан-

но рассмеялись. Лица их от копоти и пыли стали неузнаваемыми.

— Пойдем умоемся. Вон там река,— предложил Аскар.

В медленно текшей воде плыли вещи, обрывки бумаги. Бойцы вымыли руки, протирая их песком и глиной, вымыли лицо, голову.

— А теперь как?— пытаюсь улыбнуться, спросил Палван, поворачиваясь к другу.

— Ты выглядишь, точно наши возчики угля. Отлично!— ответил Али.

Холодная вода освежила. Почувствовав себя значительно лучше, войны пошли к площади. Среди больших черных воронок, против груды земли и золы, с поникшими головами стояли дети и женщины. Палван нежно погладил золотисто-желтые волосы мальчика. Это был Миша. Лоб его сморщился, глаза смотрели печально, беспомощно. Он поднял голову, но ничего не сказал. Лицо женщины, босой, без платка, в изорванном платье, так изменилось, что бойцы едва признали вчерашнюю хозяйку.

— А как дом?— машинально спросил Палван.

— Вот!— женщина едва шевельнула губами и показала на холмик земли.

Дом, видно, был разрушен в одно мгновение. Бойцы смотрели по сторонам и никак не могли узнать вчерашнюю улицу. Сплошные развалины...

— А девочка?— страшная догадка заставила побледнеть Аскара.— Девочка где?

Женщина вздрогнула.

— Погибла она. Погибла в этой кутерьме... Нет дочурки...

— Как? Совсем пропала?— взволнованно спросил Али, поняв, в чем дело.

По лицу женщины покатались слезы.

— Не плачь, не плачь!— зачем-то произнес Палван.— Горе не только у тебя, сейчас оно у всех. А фашиста когда-нибудь постигнет месть. Самая страшная месть.

Сжав руки, женщина воскликнула:

— Бейте их, собак, чтоб ни один не остался. Бейте их, где только увидите... Ой, дочка моя!..

— Уничтожим фашиста,— глухо сказал, глядя в землю, Палван.— Семя его уничтожим.

— Марджа,— пытаюсь утешить, Али тронул женщину за плечо.— Мы никогда не простим врагу. Фашист плохой! Очень плохой!

Понурился, земляки отошли от пепелища.

Когда они уже сидели на широкой цементной ступеньке разрушенной станции и жевали хлеб, к ним неожиданно подошел знакомый лейтенант — бухарский парень. Он в лагере некоторое время обучал солдат.

— А, земляки! Как дела?— лейтенант протянул руку.

Бойцы поднялись и предпочли широко, по-узбекски, обняться.

— Курбан-ака, садитесь, ешьте хлеб,— обрадованно пригласил Палван.

— Так что вы здесь подельваете? Почему не на фронте? Пришли пожар тушить?— насмешливо осведомился командир.

Палван коротко рассказал лейтенанту о пережитых приключениях. Али изредка осторожно вступал в разговор.

На смуглом, худошавом лице лейтенанта мелькнула улыбка. Прикурив папиросу от какой-то чудной зажигалки, он вдруг строгим голосом заговорил о военной дисциплине:

— Это что же получается, друзья? Если каждый боец будет бродить где захочет, чем все это кончится?

Бойцы смущенно переглянулись.

— Так мы и войну проиграем.— Помолчав, лейтенант добавил:— А для вас это пахнет трибуналом.

— Мы не дезертиры, товарищ лейтенант!— тяжело топтался на месте Палван.— Так получилось...

— Ну ладно. Пойдемте. Хотя у меня нет времени, но я попытаюсь узнать, где сейчас находится ваша часть.

Аскар пошел рядом с лейтенантом.

За двумя богатырями покатился на коротеньких ножках Али.

### *Глава четвертая*

Бектемир, положив винтовку на колени, немного вздремнул, чутко и настороженно, как птица. Внезапно вздрогнув, он поднял голову и открыл глаза. В его груди все сжалось: только что ему снились горы родного края, где он вырос и где ему был знаком каждый дикий камень, каждая тропинка, где в зарослях арчи гуляет приятный, веселый ветерок.

Он даже увидел баранов с большими подпрыгивающими курдюками. Он даже услышал клекот воды, скачущей по камням, переливающейся на солнце. И захотелось чабану, чтобы сладкий сон повторился. Закрыв было глаза,

он невольно улыбнулся. «Вот и стал я похож на Насредина, который сожалел, что ему не удалось во сне сосчитать петухов!» — подумал про себя Бектемир. Приподняв тяжелую каску, опущенную по самые брови, он воспаленными от недосыпания глазами взглянул вокруг себя: был туманный, осенний рассвет.

Деревья с переломанными ветвями, почерневшие от пожаров, погрузились в какое-то страшное безмолвие. Вдали, из-за смутных очертаний возвышенности, выползла густая черная завеса, она тяжело стелилась над землей. Наверное, это горела всю ночь, обнимая небо дымом, деревня.

Ночью огонь большого пожара казался Бектемиру очень близким.

«Где-то рядом горит, — думал он. — Каждую ночь. Сколько деревьев превращается в золу!»

Боец снял мешочек с шеи, развязал его и вытащил кусок хлеба, остатки сахара и большой кусок колбасы. Колбасу он брезговал есть. Другие узбеки, прибывшие на фронт раньше его, с аппетитом уминали ее, словно она была из конины, домашнего приготовления. Они упрашивали Бектемира, а иногда и дразнили:

— Ну что особенного? Мясо. Обыкновенное мясо...

— Нет, — упрямо твердил Бектемир, — не буду.

Сейчас Бектемир толкнул молодого русского бойца, который сидел рядом с ним, дымя папиросой:

— На, возьми... В узбекском законе нет этого... свинина.

Боец неуверенно взял колбасу.

— Спасибо. Но вообще закон твой не годится. Бросай его. Приучайся жить по-солдатски.

Бектемир, не желая спорить, только махнул рукой и крепкими зубами стал хрустеть... Сахар и хлеб. Это было хорошо, вкусно. Вот если бы сейчас чайник крепко заваренного зеленого чая! О! Бектемир в этом деле понимал толк!

В летние дни, когда чабану приходилось пасти коров, он даже не обращал внимания на молоко. Но зато под маленьким черным кумганом огонь почти никогда не потухал. Когда прозрачная горная вода начинала клокотать, Бектемир, размяв на ладони в порошок заварку, бросал ее в кипяток.

Потом, растянувшись на траве, с наслаждением вдыхая аромат, не спеша, с достоинством тянул этот неповторимый напиток.

Сейчас Бектемир из фляги сделал только несколько глотков и снова закрыл ее — он берег воду.

— Ты фрица хоть одного уложил? — с лукавой искоркой в голубых глазах поинтересовался русский.

— Нет, — уставившись, в землю, вздохнул Бектемир.

— Боишься, что ли, их?

— Ты сам боишься, — бросил Бектемир, широко раскрыв черные, большие глаза.

Лицо Бектемира, только что по-детски ласковое, простое, теперь сразу стало сердитым, гордым.

Русский даже удивился такой перемене и, оглядев с ног до головы этого широкоплечего, по-видимому, сильного парня, виновато улыбнулся:

— Не обижайся. Я так сказал. Просто интересно. Знаю, среди вас много хороших солдат. Один твой земляк, по фамилии Камбаров, около Смоленска такое показал фрицам... Эге!

— А где он сейчас? — наклонился вперед Бектемир, заинтересовавшись таким сообщением.

— Убит.

Бектемир, ошарашенный, с чувством горького сожаления покачал головой. Он молча, как всегда, с большой охотой принялся чистить винтовку. Не придавая значения своей одежде, он бережно, любовно относился к оружию.

Когда Бектемир привел в порядок винтовку, он внимательно посмотрел по сторонам. Вон и Али. Шинель у него до самых пят. Боец сосредоточен, напряжен. К Али подошел и присел на корточки Аскар-Палван. Бектемир поинтересовался, как земляки провели ночь.

— Хотя гром на небе не прекращался, но немножечко все же уснули... — степенно ответил Аскар-Палван.

— Какой уж там сон! — скривил губы Али. — Большой запас пороха, видно, у этого самого гада.

— Если даже наши стреляют, то все равно кажется, что немец! — прищурил глаза, вставил Аскар-Палван. — Не так ли?

— Откуда это ты все знаешь? — Рыжие усы Али задрожали.

Вытащив из-за пазухи сверточек превратившегося от сухости в пыль насвая, он кинул щепотку под язык.

— Если бы даже привезли с собой целый батман, и то, наверное, поберегли бы, — заметил Бектемир. — Нужно учиться такой бережливости.

— Курим, пока курится, — смакуя табак и выплыв-

вая слюну, произнес Али.— Кругом одна смерть: сейчас я существую, а через минуту, возможно, отправлюсь в путешествие на тот свет.

— Верно,— согласился Бектемир.— Базар смерти в самом разгаре. Но, слава богу, пока живы.

Али повернулся и, безнадежно махнув рукой, пошел. Бектемир с грустью глядел ему вслед.

— Вспоминая детей, поплакал ночью,— догадался Аскар-Палван.

— Да. Нелегко ему,— подтвердил Бектемир.

Аскар-Палван тоже откровенно признался, что истосковался по маленькой дочурке.

— Как она лепечет, вертится вокруг. «Папа, папа!»— стоит только войти в комнату.

— Друг, пусть пришлют карточку твоей дочурки. Напиши домой,— только так Бектемир мог почувствовать земляку.

— Знаешь, в нашей стороне вряд ли отыщется фотограф.

— Найдется!— уверил Бектемир.— Ты напиши. Пусть карточка будет у тебя.

Аскар-Палван, словно почувствовав облегчение, выпрямился во весь свой рост:

— Обязательно напишу.

Потом они снова заговорили о войне. Бектемир пожалел, что до сих пор ему не пришлось участвовать в настоящем бою.

— Не поймешь, что это за бой,— согласился Аскар-Палван.— Только одна перестрелка минами, снарядами. Да с неба еще постреливают. Если уж бой, так чтоб был настоящий!

— Ты что, пришел с немцами бороться, как на кураш?— засмеялся Бектемир.

— Нет. Вот если дерутся саблями или, скажем, ножами— это бой. А сейчас человек— словно муравей. Его придавит, и не заметишь.

— Верно, но есть богатыри, которые проявляют себя и в этом железном аду. Просто нужно уметь воевать.

Аскар-Палван задумался и не успел еще ответить, как артиллерия наполнила воздух протяжным гулом. Бектемир невольно сжал винтовку. Гул нарастал с каждой минутой. И вот уже стремительно взлетают вверх комья земли и оседают пылью, смешанной с огнем и дымом.

Что делать Бектемиру, в кого стрелять? Он лежит, кусая от злости губы. Как он желал смерти гитлеровцам,

покрывшим все вокруг пламенем. Если бы по велению судьбы какое-нибудь несчастье вмиг поглотило их и наступил повсюду покой и мир!

Но этого не случится. Враг существует, враг наступает, и его нужно уничтожать своими руками.

Бектемир переполз в одну из ближайших зияющих воронок. Теперь мины начали разрываться в значительном отдалении от него.

Опять вдали показались черные танки. Они стремительно приближались, стреляя на ходу. Но и перед ними стали рваться снаряды. Одновременно три машины, словно пораженные параличом, остались стоять неподвижные, обессиленные. Бектемир, обрадованный, отпустил крепкое словечко:

— Так ему... Так...

И вот уже совсем неожиданно из леса со скрежетом и лязгом выскочили около двадцати советских танков.

Они неслись вперед, словно давным-давно ждали минуты, когда можно будет рассчитаться с врагом.

Немецкие солдаты, следовавшие за своими танками, растерялись. Они начали в панике отступать, падая, поднимаясь и снова падая. Бектемир принялся стрелять, ему захотелось выбежать вперед. Но он вспомнил, что этого делать без приказа нельзя.

А навстречу шли новые и новые танки гитлеровцев.

Враг решил во что бы то ни стало прорваться вперед.

«Что же делать?— Бектемир посмотрел по сторонам.— Отступать? Что я, трус... Ведь никто не двигается с места».

— Гранаты к бою!— пронеслась по цепи команда.

Тут только Бектемир вспомнил, что есть надежное оружие против танков. Но он волновался. Свои две гранаты он бросил в спешке, хотя и со всей силой. И гранаты разорвались значительно ближе, чем предполагал боец. Бектемир обругал себя.

Вот его друзья, опытные бойцы, встретили врага хладнокровней, действовали умело. Одна за другой летели гранаты. А как отважно дрался сибиряк Дубов. Гранаты он швырял, встав во весь рост. Его будто не касалось, что вокруг свистят дули. Одну за другой перехватив две пущенные немцами гранаты, он моментально отправил их хозяевам.

— Вот это здорово!— восхитился Бектемир.— Ловит и бросает, как мячики.

Когда передние вражеские танки застыли на месте, а остальные повернули назад, прозвучала команда к атаке.



Бектемир увидел впереди капитана Стеклова. Громкое «ура» потрясло воздух.

Бектемир вскочил с места и, крепко держа перед собой винтовку, побежал вперед. В этот момент все его существо было охвачено каким-то особенным чувством. Бектемир бежал изо всех сил. Казалось, он летел на волнах мощного «ура».

Однако ноги фашистов были еще проворнее.

Бектемир, задыхаясь, посмотрел вокруг. Помутившимися глазами он искал хотя бы одного вражеского солдата. В поле кипел штыковой бой. Усатый боец схватился с тремя немцами. Бектемир побежал ему на помощь. Один из немцев уже показал пятки. Когда же Бектемир подбежал ближе, усатый ударом опрокинул второго и напал на последнего...

«Усатый, конечно, убьет и этого!» — подумал про себя боец и погнался за убегающим немцем. Минувя тяжелый вражеский танк, окутанный дымом, он выскочил прямо наперерез немцу. Гитлеровец от неожиданности замер на мгновение, но, вдруг крепко сжав автомат двумя руками, высоко поднял его, намереваясь размозжить голову Бектемиру.

— Боец рванулся на врага!

— Или ты, или я!

Колебание и трусость — это смерть. И Бектемир, подскочив беркутом, вонзил в живот фашиста штык. Вонзил резко, со всей силой. Немец, покачнувшись, судорожно глотая воздух, стал падать, автоматом задев бойца. Убить врага вот так, руками, — это уже другое дело! Так думал Бектемир.

Будто исчез какой-то камень, давивший на сердце. Облизывая пересохшие губы, задыхаясь, боец устремился дальше. Перепрыгивая через трупы, воронки, сломанные мотоциклы, он бежал со своими друзьями за отступающими гитлеровцами, догоняя их пулями.

Торжествующее «ура» не утихало.

В этом громе был и голос Бектемира.

Боец, преследуя врага, сейчас ощутил опьяняющее наслаждение. Ведь недаром голодного волка, который бежит из овчарни с ягненком в зубах, преследуешь до тех пор, пока он, лишившись ног, падает ничком.

Внезапно сзади раздался голос: «Ложись!» Это предупреждение не сразу дошло до сознания бойца. Команда звучала в ушах, а он бежал.

Оглянувшись, Бектемир увидел в нескольких метрах

от себя распластавшихся бойцов и тоже бросился на землю. В горле у него пересохло, в глазах потемнело. Смертное дыхание пуль, со свистом пролетавших над ним, напоминало, что нужно быть осторожным. Через некоторое время Бектемир, приподняв голову, посмотрел вокруг. Не видно врага.

«Хорошо замаскировались, собаки», — подумал Бектемир, и пули гитлеровцев подтвердили эту мысль.

Они посыпались градом. Бектемир решил переменить место. Ползком он добрался до засыпанного землей, чуть-чуть торчавшего пня и притаился за ним. Отсюда, словно охотник, разыскивающий добычу, острым взглядом посмотрел в сторону противника. Лежал он долго, а вражеский огонь не утихал. Вот впереди шевельнулась пожелтевшая трава.

Ветер? Нет. Трава вокруг, стройные веточки на корнях низких кустарников стояли неподвижно. Боец не сводил глаз с подозрительного места. Он заметил темное, едва различимое тело гитлеровца, который ползком двигался к нему. Бектемир выстрелил. Немец застыл неподвижно. За травами, кустарниками можно было заметить торопливые движения других немцев. Боец выстрелил еще несколько раз. Оттуда не отвечали. Бектемир хотя и не видел результатов своей стрельбы, но был счастлив.

— Хоть один из вас потерял кровь! Здорово!

Но когда кустарники зашевелились и под прикрытием своих минометов фашисты начали продвигаться вперед, Бектемир с ужасом обнаружил, что у него кончились патроны.

Солдат без патронов — ножны без сабли. Бектемир оглянулся назад и, заметив два трупа, пополз к ним.

Один из убитых — молодой боец. Бектемир знал его, веселого, бодрого парня. Как он ловко отплясывал! И совсем недавно. А как свистел, как ловко подражал крику петуха!

Второй, казанский татарин, был его товарищем. Встречаясь с Бектемиром, он обыкновенно говорил: «Эй, малая, как жизнь?»

Вот и этого нет.

— Вы еще отомстите, — шептал Бектемир, вытаскивая из их подсумков патроны. — От этих пуль не один еще немец ляжет.

...Почти два часа продолжался бой. Только с наступлением темноты он постепенно прекратился. И сразу же воздух показался особенно приятным, необычным. Бек-

темира словно вытащили из душного, зловонного подвала. Сильная, широкая грудь дышала ровно. Твердая земля под боком показалась мягкой, ласковой. Эта земля была для него дорога, любима. Она была маленьким клочком, очищенным от грязной ступни врага; она была вырвана у врага ценою крови, гнева и мук Родины.

## Глава пятая

Над деревьями с ободранными ветвями редкие звезды устало открыли свои глаза. Бектемир долго смотрел вверх. Из его сознания на время исчезла тяжелая тень войны. Сердце наполнилось щемящей болью. Вновь нахлынули воспоминания. Но они оборвались, когда упрямый, назойливый запах солдатской пищи стал щекотать обоняние. Голод давал о себе знать. Бектемир даже проглотил слюну, поглядывая в сторону кухни.

Старшина, длинный как каланча, которого узбеки звали между собой «лайлак», начал распределять хлеб и кашу. Бектемир, взяв котелок, побежал вслед за другими бойцами. Ковш словоохотливого повара с постоянно улыбающимся круглым лицом и в темноте не ошибся — положил норму.

Бектемир, услышав вблизи голоса своих земляков, подошел к ним, присел на корточки, деловито подул на кашу и погрузил в нее вытасченную из-за голенища ложку.

Кроша хлеб, Бектемир брезгливо посмотрел на свои руки:

— Три дня, как они не касались воды!

— Похлопай руками о землю и считай, что ты содер-  
жил омовение. Душа посветлеет, — улыбнулся Аскар-Палван.

— Очень мы загрязнились, — тихо и смиренно вздохнул Сафар. — Что делать...

Звякали ложки о дно котелков. Бойцы ели с аппетитом. Каша была вкусной. Вслух хвалили повара:

— Молодец!

— Просто мастер! Чудесная каша!

Только Али был недоволен. Но не поваром, а старшиной.

Покончив с кашей, он сообщил:

— Нашему старшине не хватает щедрости!

— В нем то плохо, — согласился Аскар-Палван, — что все бы он делил и делил... Будто больше нечего делать.

— Верно. Не будь у него этой болезни, золотым парнем был бы,— добавил Бектемир.— Вот командир Стеклов совсем другой. Правда, он сердитый человек. Из-за всякого пустяка выходит из себя. Но зато никогда и ничего не делит. К тому же относится ко всем одинаково.

— Справедливый человек,— подтвердил Аскар-Палван. Земляки, скрутив козы ножки, с наслаждением закурили.

Курили молча. Только порой вспоминали прошедший бой: Бектемир, стараясь говорить спокойно, сообщил, что в коротком штыковом бою он убил немца.

— Убил?! Сам?!

Земляки радовались этой победе, словно своей.

— Сегодня охота нашего кишлака закончилась удачей,— потер. руки рябой Сафар.

— А у вас какие приятные вести?— поинтересовался Бектемир.— Например, у тебя, Палван, как дела?

Аскар-Палван не хотел рассказывать о своих удачах. Даже когда он в больших курашах не касался спиной земли и достаивался заслуженных аплодисментов, все равно возвращался домой молчаливым, с опущенной головой. Но сейчас по настоянию земляков он все-таки рассказал:

— Когда я приблизился к оврагу, дыхание у меня сперло. Вокруг дым. Хоть бы каплю воды. Но где ее возьмешь? Сижу. Потом смотрю — на противоположной стороне под низкими деревьями ползет фашист. Вижу, остановился он и застрочил из автомата вниз, по нашим. Тут же я пустил пулю. Фашист, как мячик, полетел вниз...

— Надо уничтожать их, чтобы они сыпались, как ягоды тутовника. Вот тогда можно будет спокойно жить,— сквозь зубы произнес Бектемир.

— Я тоже стрелял вовсю. Но не уверен, что пули лети туда, куда я хотел,— откровенно признался Али.

— Значит, вы стреляли, спрятав голову под мышку,— проворчал Бектемир.

— А то как же! Носом землю копал,— засмеялся Али.— Гитлер весь мир в ад превратил. Его бы этой самой проклятой миной, какую он придумал...

— И в этом аду, Али-ака,— сказал Аскар-Палван,— много совершают смелых дел. Видел Машу? Она под пулями вытаскивала раненых. Хоть и девушка, а в сердце у нее огонь десяти мужчин...

— А пулеметчик Кашкаров!— восхищенно напомнил Бектемир.— В такие места таскал патроны, что пройти

туда по земле не посмеешь. А когда он оказался среди немецких автоматчиков? Нужно было увидеть эту картину. Мы бросились выручать его с сержантом, но он швырнул две гранаты и выбрался из беды сам. Каждый день сулит смерть. Но он всегда весел, жизнерадостен.

Слова Бектемира были прерваны. Пролетев с злоеющим воем над деревьями, в стороне взорвалась мина. Рябой Сафар, испугавшись, спрятался за спину Бектемира. Все засмеялись. Сафар попытался оправдаться:

— Рискованно же. Здесь шуточки не к месту! Черт ее знает, куда она летит.

— Знает фашист. Он только услышит какой-нибудь шум — сразу посылает проклятую мину.— Али, выругавшись, поднялся с места.

— Это оттуда, издалека, стреляют наобум,— определил Аскар-Палван.

Но мины начали падать чаще и ближе. Бойцы покинули удобное место, рассыпавшись по укрытиям.

Когда обстрел закончился, по цепи передали команду — окопаться!

Видно, что небо здешнего края было как сито и не могло удерживать воду. Дождь лил все лето. Земля стала мягкая, рыхлая. В движениях бойцов чувствовалась усталость. Бектемир, который обычно рыл окоп быстро, сноровисто и помогал друзьям, на этот раз тоже работал без всякой энергии. Копал он долго, то и дело отдыхая, дышал тяжело. Али вслух ругал глину, налепывшуюся на лопату, и, конечно, свою «несчастную судьбу». Закончив, как всегда, последним, он подошел к землякам и прилег на бок. Снова пошли шуточки о его старости и слабости. Али, не поняв шуток, вспомнил Большой Ферганский канал:

— В Учкургане земля как камень. А я так кетменем махал, что она отскакивала. За короткое время выполнял норму. И думаете, после этого отдыхал? Нет, снова работал. Потому что сила была.

Почти все участвовали в строительстве канала. Вспомнили те веселые, торжественные дни, карнаи и сурнаи, шум и гомон могучего труда, смех, игры, пиры, где торжествовал удалой азарт молодых голосов, вспомнили богатые, полные плодов сады, а над ними щедрое, жаркое солнце.

Бойцы знали, что на хлопковых полях сейчас в самом разгаре сбор урожая. Но до сих пор никто из них не получил весточек от своих семей. Земляки догадывались, что

дела колхозные плохи, потому что много юношей ушло на фронт, и план, возможно, не выполнят.

— Что одни женщины и дети сделают?

— Да. Трудно им приходится...

...Похолодало. Сырость пробиралась сквозь шинели. Знобило.

Можно было, сжавшись в комочек на земле, вздремнуть. Но опять началась перестрелка. Она продолжалась несколько минут и снова утихла.

— Не поймешь, что делать,— ворчали бойцы.

— Смотреть в оба,— посоветовал один из командиров.— Пора привыкнуть к повадкам фашиста.

— И что он, на ночь глядя, затевает?

Вражеские ракеты огненными крыльями вздымались в небо, освещали окрестности желтоватым, холодным светом.

Вдали над деревьями, закутавшимися в черный шатер ночи, оставляя огненный длинный след, летели тысячи трассирующих пуль.

Какая-то фантастическая, кошмарная ночь...

Бектемир лежал, подперев руками подбородок, и наблюдал это зрелище. Если ему суждено каким-нибудь чудом вернуться живым, то это станет воспоминаниями, которые никогда не забудутся. Он думал: если он в кругу друзей и близких расскажет все, что видел, ему не поверят.

Сафар как-то говорил, что, впервые увидев вздымающиеся вверх за лесом тысячи разноцветных огней, он предположил, что это пиршество джинов, и поэтому до самого рассвета шептал молитвы.

— Сами джины, напялив штаны на голову, побегут от такого зрелища,— хмуро добавил Палван.

В небе послышался знакомый, размеренный гул самолетов. Бектемир поднял голову.

— Наши!— определил солдат-москвич, выглядевший самым молодым в роте.— Сейчас как по заду немцев хватанут...

Через некоторое время запад подернулся багровым светом. Но огонь, распространяясь волнами, с каждым мгновением поднимался все выше. Издали казалось, что этот огонь может схватить весь мир. Москвич, широко раскрыв глаза, задыхаясь, кричал радостно:

— Ага! Вот так! Отлично! Богатыри, соколы! Не будет гаду спокойного сна на нашей земле! Бейте его, сволочь фашистскую...

— Ты знаешь, какой город горит?— торопливо спросил Бектемир:

— Не город. Немецкий аэродром, склады,— уверенно ответил солдат.— Так им...

— Да. Но ведь неделю назад эта земля была наша!— с горечью произнес Бектемир.

— Война! Будем терпеть. Настанет день, когда мы по-дождем и землю Гитлера!— твердо сказал москвич.— Он еще попляшет на нашем огне.

...Крепкий сон навалился на Бектемира, но он часто просыпался. Ноги сводило от холода. Однако усталость все-таки брала свое. Проснувшись, боец грязной ладонью смахнул прилипшую к лицу мокрую землю. Через голенища грубых сапог помассировал ноги.

Сквозь холодный туман как-то недобро смотрел узкий серп тусклой, печальной луны. Бектемир будто только что избавился от гнетущего, неприятного сна. Все вокруг казалось каким-то бессмысленным, неуместным, нелепым.

Постепенно Бектемир стал различать своих друзей, которые сидели съежившись. Некоторые из них медленно двигались в тумане. В этот момент кто-то положил руку ему на плечо.

— А, Дубов! Садись,— пригласил Бектемир.

Солдат присел, покрутив свои мокрые усы толстыми, грубыми пальцами. У него, словно у человека, который неожиданно нашел утерянную семью, глаза были довольные, сверкающие.

— Где ты был? Спал?..— спросил Бектемир.

— Мыши спят, забившись в норы,— ответил Дубов.— Мы ходили в разведку...

— Ну как?— оживился Бектемир.

— Э, чуть-чуть бы и отправился на тот свет. Сам не верю, что жив остался.

Бектемир не расспрашивал подробностей, ему уже хорошо известно, что может случиться на войне.

— Но получилось неплохо,— продолжал Дубов.— Заглянули в самую душу фашистов. К тому же прихватили с собой одного из них.— Дубов внимательно вглядывался в туман, словно кого-то разыскивал.— Вообще сейчас дела наши лучше... Видно, собираемся с силами. Не жить немцу на этой земле. Это уж я точно знаю. Наверное, будем наступать.

Дубов оглядел товарища, словно говорил: «Подпоясывайся крепенько, узбек! Дела ждут». Хотел еще что-то сказать, но, заколебавшись, умолк. Однако солдат не в силах был сохранить в тайне свою радость. Он по привыч-

ке, затянувшись, пустил дым вниз и, нагнувшись к Бектемиру, произнес:

— Меня хотят представить к медали...

— Поздравляю. Справедливое решение.— Бектемир тихо положил ладонь на руку товарища и поинтересовался:— А какая медаль?

— Конечно, «За отвагу»,— гордо ответил Дубов.

— А до этого как дела у тебя шли?

— Один танк поджег. Это ты сам знаешь. Девять гадов отправил в преисподнюю да несколько раз в разведку ходил.

— Счет твой, друг, солидный. Можно позавидовать.

— Но это же в течение двух месяцев. А между тем есть такие, которые в первый же день вышли из боя с орденом Ленина. Конечно, дело не в орденах. Когда я, простившись с женою, детьми, приехал сюда из далекой Сибири, разве я думал об орденах? О нашей земле, о нашей свободе я думал. Я не хочу, чтобы врагу перепала даже горстка родной земли. Не хочу, чтобы даже кусок болотистой глины враг унес на своей подошве! А сейчас что творится? Он идет, перепрыгивая через целые реки. захватывает деревни и города. Его танки ползут по косям наших людей. Желание у него одно — на Москву напасть. Хочет в самое сердце ударить... Москва ведь сердце русского народа.

— Постой, Дубов,— перебил Бектемир.— Почему русского? Зачем ты меня в сторону оттираешь? Москва — мать и узбека!— Бектемир даже пересказал товарищу смысл стихотворения «Москва — наша мать», которое он прочитал недавно в случайно попавшейся в руки узбекской газете.

— Я не буду спорить с тобой. Кремль — всем нам голова. Ленин ушел, соединив руки народов всей России. Я о другом говорю. Натура русская широка. То есть не жадная. Уразумел ты это? Но не можем мы назад шагать. Это — позор! Ведь если на твою страну напал самый оголтелый бандит, если он обращает в золу твой дом, если он вздергивает на виселицу седые волосы твоей матери, позорит жену, дочерей... Да разве перечислишь все его преступления? Что делать с врагом? Только уничтожать! Чтобы духу его не было. Правда, есть у нас и такие шкуры, которым кажется, что если их шея лишится головы, то весь мир перевернется вверх дном. Говоря правду, Бектемир, встречал я и трусов.

... — Есть такие,— согласился Бектемир.— Узбеки гово-



рят: «Трус даже телячье стадо грязнит». Верно, война трудная. Это кровь, муки. Но для джигита бежать от врага разве не хуже смерти? Удивляюсь, почему некоторые не могут понять этого? Вот я в горах жил, тысячи колхозных баранов находились в моем распоряжении. Сыт, одет. Молоко дешевле воды. Сам свободен, как ветер. Но я любил русскую землю. А она горит. Как же спокойно смотреть на пожар? Ведь это горит наша земля! Огонь подбирается к нашей жизни.

— Не подберется. Мы-то здесь на что?! Сохраним и землю и жизнь...

Дубов не закончил фразы, его позвал командир взвода.

Уже научившийся курить, Бектемир взял самокрутку у товарища и посасывал ее до тех пор, пока она не стала обжигать губы. Он думал о Дубове, о событиях последних дней.

Предутреннюю тишину нарушила советская артиллерия. Вдали, на вражеской стороне, в воздухе поднялась куполом черная пыль.

Бойцы начали готовиться к атаке. Лица их стали тревожными.

Дубов нахмурил брови и то и дело подкручивал усы. Рябой Сафар под самым боком Бектемира взволнованно прошептал:

— Скорее бы выйти из окопа!

— Зачем волнуешься?— уставился на него Бектемир.— Куда это ты заторопился?

— Не знаю, что будет на этот раз. Но нет терпения ждать. На душе тяжело почему-то,— поежился Сафар.— Скорее бы начинали бой. Ох эта неопределенность...

— Возьми себя в руки!

— Не уходи далеко от меня, брат!— неожиданно попросил Сафар.— Ладно?

Бектемир кивнул головой...

Уже давно наступил день, но солнце, словно боясь взглянуть на измученное лицо земли, своей дочери, еще не вышло из-за хмури облаков.

Прижавшись к земле, лежат солдаты: Лежат в ожидании команды.

И вот слышится зычный голос:

— За Родину! Вперед!

Один за другим поднимаются бойцы. Сжав винтовки, они бегут туда, где притаился враг.

Впереди пехотинцев мчатся танки. Люди в шинелях

и касках среди железных чудовищ, сотрясающих землю, показались Бектемиру слабыми, бессильными. Он невольно сравнил их с маленькими цыплятами, на которых напала стая беркутов. Но он уже знал силу людей, верил, что перед их волей, напоенной гневом, ненавистью, перед их отвагой не устоят железо и камень.

Бектемир бежал рядом с друзьями. Теперь он знал, какое огромное счастье быть вместе с ними. Самый опасный враг не страшен.

— Вперед! Вперед!— не смолкают голоса командиров.

Бектемир бежит по полю. В глазах у солдата упорство, на лице твердость. Он идет не за тем, чтобы стать кормом для смерти, а за тем, чтобы одолеть ее.

В такое решение солдат поверил и не изменит его.

Он идет против сильного, хитрого, дикого врага, топчущего своим кровавым сапогом священную землю. Враг когтями вцепился в грудь его Родины. Чтобы врага выгнать, надо пройти через стену огня, через свинцовый ливень. Надо шагать по земле, каждый вершок которой, сотрясаясь от ужаса, горел и задыхался.

Трудно пройти так называемое «ничейное» пространство. Что в сравнении с ним «волосяной мост» над адом, по которому, как утверждают верующие, надо пройти, чтобы попасть в рай!

— Вперед! Вперед!— подгоняет команда.

Бектемир и без нее побежал быстрее.

— Вперед! Вперед!

Вот упал один из бойцов. Второй... пятый...

Бектемир увидел, как покачнулся командир, и сразу кинулся ему на помощь. Младший лейтенант, могучего телосложения, по-крестьянски скромный и простой, лежал беспомощно.

Бектемир помог командиру взвода проползти до ближайшей воронки. Здесь он перевязал ему разбитые ноги. Младший лейтенант, прикусив губу, с сожалением произнес:

— Как жаль, что так быстро задело! Проклятая невезучесть! Нужно же, в самом начале боя...

Бектемир, нагнувшись, предложил:

— Садись, вынесу.

— Спасибо! Не надо. Вперед иди...— ответил младший лейтенант.

Широко открытые глаза Бектемира выразили удивление. Он все еще настаивал:

— Садитесь же.

— Иди вперед! Как-нибудь уж поползу сам. Иди,— приказал командир.

Бектемир еще раз осмотрел младшего лейтенанта. Как же он один останется?

Словно поняв мысль бойца, командир натянуто улыбнулся:

— Ничего... Подберут... Иди...

Бектемир побежал вперед, но вдруг перед ним взорвалась мина. Он кинулся на землю. Через мгновение снова вскочил. Ничего не видя, ничего не чувствуя, он бежал, казалось, долго-долго. Вдруг какая-то внутренняя сила опять швырнула его на землю. Рот был полон земли. Затошнило. Бектемир сплюнул, начал искать флягу.

— Друг,— раздался рядом чей-то голос.— Ты посмотри.

Бектемир растерянно повернулся. Недалеко от него лежал боец.

— Ранен ты. Посмотри!— он показал на локоть. Бектемир осмотрел левую руку — от плеча до пальцев. Затем взглянул на правую. Повыше локтя из продырявленного рукава сочилась кровь.

Бектемир заполз за бугорок. Осторожно освободил руку. Рана заставила его вздрогнуть — обнаженное мясо было разодрано. Подвигал рукой — болит, но работает. Видно, кость не повреждена. Здоровой рукой Бектемир перевязал рану.

Конечно, сейчас он имеет полное право покинуть поле боя. Что тут плохого? В санбате ему сделают настоящую перевязку. Говорят, там, в санбате, хорошо. Покой, питание, постель — все честь честью. И нет никакого риска. Даже пошлют в какой-нибудь госпиталь. До тех пор, пока не заживет рана, он будет чувствовать себя великолепно. Разве не встречались бойцы, которые из-за пустячной раны на пальце бежали в санбат?

Да... Но не о них ли говорил Дубов? Конечно о них.

Бектемир, потирая лоб здоровой рукой, раздумывал. После мгновенного колебания он твердо решил:

«Нет, у труса судьба, черна... Если рука может стрелять — что еще нужно? Твое место здесь».

Он стал медленно продвигаться вперед.

Вражеские танки, подкравшись, вылезли из оврага и устремились в атаку. Четыре советских танка мчались навстречу гитлеровцам.

Бектемир, приподняв голову, с удивлением и восхище-

нием смотрел на стремительный порыв советских машин. Но все же страшновато. Четыре танка против нескольких десятков!

Танки почти одновременно стреляли прямой наводкой, обрывая железные «души» друг друга. Члены экипажей выскакивали из горящих машин и сразу же, сжимая пистолеты, начинали искать противника. Здесь, в дыму, завязывалась перестрелка. Пожалуй, остался в живых только один советский танкист. Он, волоча свое тело по земле, уползал в сторону, но не успел спрятаться... Прямо на него мчался танк. Два метра, один и...

Бектемир закрыл глаза...

Он только услышал лязг гусениц, а человеческий крик, наверное, просто почудился.

Гусеницы немецких танков подминают под себя живых людей.

— Врешь! Не пройдешь!

Конечно, это голос Рядченко. Бектемир хорошо знает огромного, широкоплечего украинца. Это он бросился на железную тушу танка. Взрыв заставил тяжелую машину остановиться. Тело Рядченко медленно-медленно сползло на землю.

А вон и Дубов. Живой, здоровехонький. Выпрямился и смело, с подчеркнутой небрежностью швырнул одну за другой две гранаты. И другой танк остановился.

Бектемир с высоты, позволявшей ясно все видеть, от радости и волнения крикнул:

— Дубов, расцелуем в самые усы!

Не удержавшись, он тут же добавил в адрес врага несколько крепких словечек...

Бой заметно утихал. Поле, сплошь покрытое густым дымом, словно готовилось ко сну. Только стрельба из винтовок и автоматов, которая «подбирала» одиночных гитлеровцев, продолжалась.

В сторону Бектемира полз советский танкист. На него было страшно смотреть. Обуглившаяся, безволосая голова, черная половина лица... И весь он был в дыму. Тлели шинель, гимнастерка, сапоги. К танкисту бросились медсестра и несколько бойцов.

Бой утих. Но ненадолго.

Вскоре над черневшим вдали лесом опять показались самолеты. Они пронеслись над полем. Снова земля вздрогнула от разрывов бомб, снова шарахнулись люди от свинцового дождя.

Самолеты летели волна за волной. Неужели там, за

лесом, их скопилось бесчисленное количество? Неужели этому не будет конца?

Бектемир лежал, кусая губы. Что он мог поделать? Он лишен крыльев. Если бы он мог полететь и выколоть глаза фашистам! Если бы могли это сделать его товарищи!

Но они вынуждены закапываться глубже в землю, маскироваться.

В это время в небе внезапно появились и красноезвездные истребители. Их было меньше, чем вражеских. Бектемир не отрывал взгляда от неба.

Сердце его билось тревожно, нетерпеливо.

Когда его другу Аскару на больших курашах приходилось сталкиваться с могучим гордым Палваном, сердце Бектемира билось так же взволнованно. И до тех пор, пока Аскар с присущей ему честностью в борьбе, покрутив волчком богатыря, не положит его на обе лопатки, Бектемир сидел напряженно, почти не дыша.

Фашисты вначале чувствовали себя коршунами, неожиданно столкнувшимися со стаей воробьев. Однако это было первым впечатлением. В небе разгорался бой — неравный, но дерзкий, решительный.

Вот задымил один стервятник и, быстро окутавшись черно-красным пламенем, нырнул вниз. Загорелся второй самолет, третий, четвертый...

Не выдержав натиска истребителей, немецкие самолеты уклонились от боя, уходя в сторону.

— Уходят, уходят! — крикнул кто-то из бойцов.

— Им бы свободно летать. Там они смелые.

— Теперь не выйдет. Не пройдет.

Бойцы с восхищением провожали взглядом своих истребителей.

— Молодцы!

— Герои.

К тем известиям, которые облетали фронт, Бектемир относился с некоторым недоверием, хотя ему несколько раз приходилось видеть, как стервятники обращались в бегство. Сейчас же и он был восхищен нашими летчиками. Он поверил в свою силу.

Бектемиру хотелось с кем-нибудь поговорить, но не было времени. Не до этого сейчас. Стрельба не прекращалась, даже когда на обгорелое поле опустилась холодная темнота.

Правда, стрельба становилась реже, глуше, словно не утихала, а удалялась куда-то в сторону.

Воспользовавшись темнотой, старшины раздали сухари и консервы.

На фронте и желудок знает свое время. Только когда бой в разгаре, он не беспокоит.

Бектемир присел, насыпал насвай на ладонь, бросил под язык, пососал. Может ли быть большее наслаждение?

Напоминала о себе боль. Бинт расслабился. Бектемир попытался завязать его снова, но от этого боль стала острее. Он, показав руку, чистосердечно сказал сержанту: — Не знаю... Чуть задело, но начинает болеть все больше.

Получив разрешение, Бектемир присоединился к другим раненым и отправился в санбат.

Большая землянка в лесу была светла. В глазах Бектемира, пришедшего из густой темноты, зарябило, выступили слезы. Люди, вещи постепенно вырисовывались, будто проступали из тумана... Здесь были в основном легко раненые. Но несколько человек стонали, метались от боли, бредили.

Врачи и сестры работали молча, спокойно, легко, хотя их лица выдавали, что они очень устали.

Бектемиру пришлось подождать. Затем с ним начала возиться полненькая девушка с коротко подстриженными золотистыми волосами. Голова ее была туго перевязана белым платком.

Медсестра, словно с ребенком, разговаривала с ним ласковым, утешительным тоном. Спросила о национальности, откуда он родом.

Бектемир, насколько хватало русских слов, отвечал.

За разговором он даже не заметил, как ему промыли и перевязали рану.

— Вы, конечно, теперь пойдете в тыл. Хотя рана ваша не очень тяжелая.

— Верно, рана моя легкая, поэтому я снова пойду в бой,— ответил Бектемир, стараясь, чтобы эти слова прозвучали проще.

— О... Это хорошо!— улыбнулась девушка.— По моему, тоже можно. Только почаще надо перевязывать.

Простившись с медсестрой, которая уже осматривала другого бойца, Бектемир собирался уйти, но услышал узбекскую речь. Высокий, стройный врач с густыми черными волосами старательно что-то объяснял бойцу-казаху. Вдали от родного края такая встреча особенно радостна. Да еще здесь, на фронте, в лесу.

— Вы узбек?— приблизившись к врачу, спросил Бектемир.

— Да,— ответил тот и, окинув его взглядом, в свою очередь поинтересовался:— А ты?

— Э, да я истинный узбек, брат.

— Хорошо. Я здесь служу, доктором. Может, чем помочь? Рану твою перевязали?

— Все в порядке, доктор-ака. Вы недавно приехали? Что там нового, в Узбекистане? На фронте только вспоминаешь. Даже поговорить с друзьями некогда. И ночью и днем в ушах грохот стоит.

Доктор непринужденно рассмеялся.

— Есть у меня один интересный анекдот о Насреддине, да вот нет времени рассказывать.— Он положил руку на плечо бойца:— Я, брат, ведь выехал из Ташкента на второй день войны и до сих пор не получил ни одного письма. Вот так-то.

Доктор поинтересовался, откуда Бектемир родом. Услышав название кишлака, доктор удивленно поднял брови:

— Уринбаева знаешь? Из твоего кишлака...

— Уринбаева? Который это?— насторожился солдат.

— Туйчи.

— Как же не знать? Туйчи — мой младший брат,— взволнованно ответил Бектемир.— С острым носом, маленький, худенький. Да? Где же он? Что вы о нем знаете?

Доктор сказал, что он долгое время был вместе с ним, что сейчас точно не знает, на каком участке Туйчи, но, по его предположению, должен служить где-то поблизости.

На фронте не может быть большей радости, чем добрая весть. Бектемир словно увидел своего брата. Словно сам побывал в родном доме.

С легким сердцем ушел боец из санбата. Он шел, не замечая начавшегося дождя. Холодные капли падали на лицо, шею. Ветер, развевая полы шинели, охватывал его своим дыханием.

Лес был полон таинственного, печального шума. В песнях листьев звучали грустные нотки.

Бектемир, шагая в темноте, крепко стукнулся головой о дерево. Где дорога? С какой стороны он явился? Отвратительная штука — бродить дождливой ночью, да еще по незнакомой местности. Тихо, медленно студая, Бектемир словно выходил из черной пучины. Начали постепенно вырисовываться предметы. Затем боец обнаружил, и до

рогу. Но все-таки он отказался от мысли возвращаться в батальон сейчас, боясь заблудиться и попасть к немцам.

Бектемир прилег у дерева и закрыл глаза. Чтобы забыть усталость, чтобы не слышать холодные, неприятные звуки дождя и ветра, он попытался представить себя в другой обстановке. Это состояние затуманило голову, и сон одолел его.

Он проснулся, резко встряхнувшись... Тускло освещая черную, глинистую поверхность земли, которая поблескивала лужицами, подъехала большая машина. По голосам Бектемир определил, что это свои, русские.

Начали сгружать раненых. Вслед за машиной с тарактением подъехали телеги. Лошади лениво пофыркивали.

Бектемир промок насквозь. Шинель отяжелела, словно войлок, и давила на плечи. С каски стекала вода. Чтобы найти убежище, он пошел в сторону от дороги и натолкнулся на палатки. Сунулся в одну из них. Услышал грубые ругательства и стоны — тут были тяжелораненые. Прислонившись к холодному брезенту, он постоял несколько минут и перешел к палатке, откуда слышались солдатские шутки и смех. Он присел у входа на мокрое и приятно пахнувшее сено. Сыпались анекдоты, воспоминания. Мелькали огоньки самокруток. Раздавался громкий храп. Здесь Бектемир переждал ночь.

Когда над деревьями облачное небо слегка посветлело, Бектемир, увязая в мягкой глине, отправился дальше. Дождь шел теперь лениво, не спеша, будто кто-то выдавливал его из жалких туч.

Добравшись до своего окопа, солдат лег на глину. Неприятный, гнилой запах ударил ему в нос. Руки в глине, лицо в глине, хлеб в глине. Кровь течет в глину. Бектемир невольно передернул плечами.

Только на второй день батальон решительно пошел вперед, устремившись к деревне. Но у большака бойцы были встречены сильным огнем.

Пришлось залечь.

Фашисты не давали возможности поднять головы. Вокруг начали падать мины. Одна из них взорвалась совсем близко. На Бектемира брызнуло глиной. Он невольно кинулся в большую лунку с дождевой водой — другого выхода не было.

Вначале это место показалось Бектемиру очень удобным. Но через пять — десять минут боец почувствовал, что тело его словно покрывается льдом. Вода была очень холодной. Он постарался пожинуть свое убежище.



Вдали, вслед за лучшим пулеметчиком батальона Абдуллаевым, Аскар-Палван тащил волском пулемет.

«Расчет, должно быть, погиб»,— подумал Бектемир. Лежать было неловко, да и холодно. Он помог санитару, который тянул за собой раненого бойца, положив его на шинель. Голенища наполнились водой. Прилипая к телу, мучила мокрая одежда. Ветер сковывал холодом руки, посиневшие губы дрожали.

«Чего-нибудь бы горячего,— подумал Бектемир и усмехнулся сам над собой:— Будет тебе горячее...»

Пулемет Абдуллаева с нового места открыл огонь. Бектемир, прислушавшись к тому, как стрекочет пулемет, мог определить, насколько опытен его земляк. Не зря Абдуллаевым восхищался весь батальон.

К Бектемиру подполз боец, принявший его за азербайджанца.

— Юлдаш!— обратился он.— Командир приказал двигаться вперед, за ним...

Взвод полз за старшим сержантом Красновым.

Бойцы продвигались незаметно через лужи. Старший сержант посмотрел в бинокль. Приблизившись к дереву, он, тяжело дыша, вскарабкался и осмотрелся вокруг.

Когда Краснов слез с дерева, его рыжее лицо выражало твердую уверенность. Это подбодрило бойцов. Бектемир забыл трудности, пережитые в пути. Ему захотелось как можно быстрее выйти к деревне и встретиться там с врагом.

Дальше ползти было опаснее. Нужно быть очень осторожным, чтобы не обнаружить себя. К счастью, встретилось засеянное поле — нескошенное, затоптанное. Бойцы поползли быстрее. Когда осталось около сотни шагов до цели, они приготовили гранаты и по команде Краснова с криком «ура» поднялись. Не ноги несли, а словно буран подхватил бойцов!

Немцы не ожидали такого нападения.

Бойцы бежали, сметая на своем пути растерянных гитлеровцев.

Даже Али, с обляпанным глиной лицом, азартно крикнул Бектемиру:

— Еще бы одного фрица уложить!..

Путь в деревню был открыт. Бойцы стреляли на ходу, догоняли гитлеровцев, опрокидывая ударами прикладов. На дороге валялись брошенное оружие, фляги, одежда и другие солдатские вещи. Никто не обращал на это внимания.

Только на окраине деревни, у первых домов, внезапно затараторил пулемет. Бойцы сразу же рассеялись, кинулись на землю. Враг стрелял из-за разбитого забора.

«Оставив у калитки одну собаку, сами, подлецы, бежали! — подумал Бектемир. — Но мы эту собаку уничтожим».

Взгляд его упал на бойца, который ловко и смело полз вперед. Бектемир догадался, что это москвич, молодой паренек, решил уничтожить вражеский пулемет. Бектемир с замиранием сердца следил за товарищем, который прополз уже половину расстояния, остановился и внимательно огляделся вокруг. Затем начал продвигаться к маленькому возвышению, но тут же был сражен пулей.

В сердце Бектемира словно что-то оборвалось. Он посмотрел налево, где на расстоянии двадцати шагов лежал Краснов. Уловив тревогу на его лице, Бектемир дал понять, что готов идти. Командир поколебался, но кивнул: «Можно!»

Бектемир, сжав в руках две гранаты, вначале осмотрел все вокруг себя и сразу же уверенно пополз. Ему казалось, что все сейчас его выручало: каждый бугорок земли, каждая травинка, каждая щепка... Он полз, плотно прижимаясь к земле. До врага оставалось тридцать — сорок шагов. Бектемир увидел каску пулеметчика. Не было ни секунды колебания, но от волнения руки заметно дрожали. Бектемир, стремясь овладеть собой, прикинул расстояние, нацелился и бросил гранату. Пулемет умолк.

Боец со второй гранатой в руках взобрался на кирпичи. Два гитлеровца, спотыкаясь, пустились наутек. Бектемир выстрелил из винтовки. Один упал навзничь, второй успел скрыться за разбитыми досками.

Бектемир замахал в воздухе винтовкой, подавая знак товарищам.

Через несколько минут бойцы уже бежали по улицам пустой деревни.

Дома почти все были разрушены — двери сорваны, окна разбиты, во дворах валялась разная утварь...

Несколько человек, оставшихся в деревне, высыпали на улицу. В основном это были дети, женщины, старики. Во всем их облике, в движениях были заметны волнение и растерянность, словно людей, которых подвели под виселицу, в тот момент, когда на шею накидывали петлю, неожиданно освободили.

Они, обнимая бойцов, со слезами, задыхаясь от волнения, спешили рассказать о пережитых черных днях.

Бектемир остановился у развалин снесенного школьного здания. В этот момент к нему подошла старуха.

На ее морщинистом лице боец увидел не простое бессилие старости, а, скорее, пережитое за последнее время горе. Старуха с плачем что-то рассказывала. Бектемир ничего не понимал и, желая как-то успокоить, гладил ее костлявые плечи.

— Бабушка, все будет хорошо, плакать не надо! — наконец подобрал он несколько русских слов. — Мы отмстим. Для плохого и мы плохи.

Старуха насильно сунула Бектемиру черствую лепешку и дрожащей рукой показала на развалины школы.

— Проклятые! Им и школа, и конюшня — все едино... Какое красивое, светлое здание было... Новенькое-преновенькое... В прошлом году только построили. Всегда отсюда доносился смех детей. Как хорошо было! Чтоб отвалились руки у проклятых! — причитала она.

Бектемир, словно растолковывая малышу, все повторял и повторял:

— Для недоброго мы недобры. Для плохого мы плохи!

За несколько часов, проведенных в деревне, Бектемир услышал невероятные, одна другой трагичнее истории. Каждый кусочек земли был свидетелем дикого разгула фашистов.

Бектемиру показали место, где повесили молодую учительницу. Показали могилу старика, которого расстреляли только за то, что ночью его калитка осталась случайно открытой. Показали развалины дома, в котором сожгли колхозную активистку вместе с детьми.

Бектемир видел бледных детей-сирот, ковыляющих на костылях стариков...

— Что наделали! Это же звери. Дикие звери... — вздыхал солдат.

Если бы ему просто рассказали обо всем, Бектемир вряд ли поверил. Но сейчас он ходил и сам все видел. Все видел своими глазами.

...В деревне наступила тишина. Друзья Бектемира — Дубов, Аскар-Палван и несколько других бойцов разместились в одной двухкомнатной квартире. Хозяйка, глуховатая, полная многодетная женщина, сновала по дому.

Бедная, но уютная халупа, вертевшиеся в ней дети, ленивый пестрый кот показались Бектемиру воплощением

счастья. Хозяйка словно впервые в своей жизни дождалась самых дорогих гостей. Ни на минуту не умолкая, она подавала на стол, вероятно, все, что до сих пор бережно хранилось в доме.

Женщина рассказывала о муже, взятом в армию на третий день войны и пропавшем без вести, о его брате, танкисте, о своем младшем брате, летчике, награжденном орденом Ленина, о неугомонном старике тесте, ушедшем в партизаны. Она сыпала проклятия гитлеровцам, предателям.

Некоторые бойцы, забыв про голод, заснули вповалку на посланном сене. Бектемир, опустившись на корточки перед печкой, принялся сушить сапоги, одежду.

Ярко, с треском горели, распространяя приятный запах, березовые дрова. Боец ощутил во всем теле сладость отдыха, одуряющего, как сон, улаждающего, как вино.

На дворе гудел ветер, хлопал в маленькие, низенькие оконца. Когда открывалась дверь, холодный воздух вривался вместе с шумом леса и по привычке настораживал бойцов.

Бектемир широко зевнул, опустил голову и задумался. Он вспоминал далекий край, мать, отца, большую семью, трудолюбивую, со множеством забот, криком и визгом детей. Домой он писал несколько раз, но до сих пор почему-то не получил ответа.

Он хотел примоститься около окна, на котором тускло поблескивала лампа, и сейчас же написать письмо. Но усталость и тепло разморили его.

Аскар-Палван во сне спросил:

— Плов уже готов?

— Голова твоя готова... Иди сюда! — засмеялся Бектемир.

Палван молча положил голову на пол и снова захрипел.

В сенях послышался голос Али. Он старался втолковать хозяйке что-то на ломаном русском языке. Бектемир крикнул:

— Входите, сын доброго отца.

Али вошел, широко распахнув дверь.

— Значит, убегаем от своих! А еще говорите — земляки, а? Дети одной матери! Сами бросили меня, спрятались...

Бектемир засмеялся, пригласил сесть.

— Соскучился?

— Нет. У нас тоже шум, кутерьма. Затесался один

среди русских. Гармонь, песни... — ответил Али. — Все в порядке, но если не вижу вас — тоскую...

— Братья же мы. Куда же ты денешься?

Али расцвел от этих слов. Погладил блестящие при огне рыжие усы и, вытащив из кармана маленькую изящную тыквянку-табакерку с насваем, протянул Бектемиру:

— Возьми шепоточку, братец! Сам приготовил. Такой насвай получился! Хвала рукам, сотворившим его.

Али от удовольствия даже прищелкнул языком.

— Как приготовили? — поинтересовался Бектемир.

— Размельчил в порошок махорку. Добавил немножечко золы и перемешал. Вот и получился насвай. Русским понравился. Смеются. Говорят, такой табак, что голова ходуном идет...

Бектемир, кинув под язык шепоточку «сотворенного» насвая, подержал немного и сплюнул.

— На навоз смахивает, — откровенно сознался Бектемир.

— Ну ясно. Ты же чабан. И во сне ты видишь бараний помет, — обиделся Али.

— Ну-ну. Насвай хорош. Конечно, лучше бы нашего, но и этот хорош.

Али тяжело вздохнул:

— Нашего, домашнего? Где уж там.

Потом они вспомнили о сегодняшних боях. Али ожил:

— Оказывается, легко убить врага, если не боишься его. Вот сегодня даже не заметил, как уничтожил немца.

— Конечно, если не бояться — и жив останешься, и не с пустыми руками вернешься. Много раз уже испытал. Касым-мираб говаривал: если не будешь бояться, с любой страшной рекой справишься. Вода сама вынесет тебя на берег.

— Касым, сувчи! Да, хороший человек был. — Вдруг Али хлопнул Бектемира по плечу: — Видел! Все видел! Тебе должны дать орден. Нешуточное дело ты выполнил. Проси самый большущий из орденов. Да не уступай!

— Не знаю, что скажут командиры? — пожал плечами Бектемир.

— Эти большие твои командиры иногда отступают от справедливости, — серьезно предупредил Али. — А вот мы увидим...

Али вытащил из-за пазухи разные помятые бумаги и осторожно начал разглаживать и раскладывать их. В

печке, распространяя клубы пара, с бульканьем кипела вода. Хозяйка дома не знала покоя: чистила обувь и одежду красноармейцев, присматривала за детьми.

За работой она продолжала расспрашивать бойцов.

— В ваших краях, оказывается, очень много фруктов. И арбузы такие — человек не может от земли оторвать.

Это верно? Но только, говорят, очень жарко у вас. Я все это слышала. Летом, когда фашисты отсюда были еще далеко, у соседа стоял один узбек, командир. Очень красивый он был. Русский язык знал лучше меня. Ученый. Девушки вовсе разума лишились... Ты тоже неплох. Глаз острый. Грудь могучая. Должно, хорошо воюешь? А?

Бектемир смущенно улыбнулся, не зная, что ответить. Выручил Али. Взяв одну из бумаг, он протянул товарищу.

— Читай это, — глухо сказал он. — Что он там говорит? Недавно немец сыпал их с неба, как листья. Наши слова, только буквы другие. Он, проклятый, оказывается, знает и по-латински, и по-узбекски. Читай!

Бектемир развернул лист бумаги, поднес к печке. Нахмурившись, пробежал глазами. Али разинул рот — через плечо Бектемира смотрел то на бумагу, то на лицо земляка. Бектемир усмехнулся. Скомкав бумагу, кинул в печку. Пламя вспыхнуло ярче.

— Йе! Грубее чурбана ты! — зло крикнул Али. — Растолкуй хотя бы смысл.

— Что же вас тут интересует, ну?

— Ведь это написано для тебя, меня, Эшмата-Ташмата\*... — возмущался Али. — Ведь надо же знать, что там.

— Не стоит того, чтобы об этом говорить, — проворчал Бектемир.

— У тебя всего одна ветка грамотности, — продолжал злиться Али. — А я слышал от человека достаточно мудрого, что в этих бумагах есть интересные вещи...

— Например, какие вещи?

— Вроде того, что на узбеков немцы смотрят другими глазами.

— Хвала! Вместо головы вы таскаете, оказывается, пустую тыкважку! — строго произнес Бектемир. — Мало вы крови и пожаров видели? Идите за тысячу верст отсюда и снова увидите кровь и золу. Гитлер, который швыряет в огонь дитя русское, смилостивится к узбеку? Если вы будете считать черта ангелом, а волка бараном, то в

\* По-русски — «для Ваньки-Петьки».

таком случае можете ждать милости от Гитлера. На бумаге можно написать все, что угодно. Разве есть у бумаги язык, чтобы сказать: «Ложь!»? Если ваш враг коварен, то он яд, как шербет, заставит вас выпить.

Али растерянно смотрел на товарища, а тот продолжал:

— Враг, оказывается, очень страшный. Правильно. Война есть война. Но зачем осыпать пулями головы детей, женщин, стариков? Зачем поджигать дом мирного народа?..

Али, смущенный, сидел не двигаясь. Все, что говорил товарищ, он понимал. Но, будучи от природы упрямым человеком, он все же хотел что-нибудь возразить. Бектемир, словно догадываясь об этом желании, взясь кочергой в огне, равнодушно спросил:

— Что, брат, неправ я?

— В твоих словах есть правда. Действительно, проклятый фашист жесток, — ответил Али. — Но не забывай того, что Узбекистан далек, на другом конце мира...

— Хвала! — повернулся к нему Бектемир. — Вот уже наступает зима, а в нашем краю в эту пору на лозах еще виноград, на грядках дыни, на деревьях гранаты. Но дело не в расстоянии. Гитлер сейчас по всей стране бьет топором под самый корень. А корень — русский солдат. Мы должны сохранить этот корень. Тогда мы сохраним от напасти и Узбекистан.

Бектемир сжал кулак:

— Вот в чем наша сила... В том, что мы объединены. А враг хочет ослабить наш кулак, внести раскол.

Али, поднявшись, выпрямился и, уверенный в силе нового возражения, произнес:

— Ладно, корень сохраним! Ты, набравшись ума на войне, становишься ловким в словах, — иронически улыбнулся он. — Ладно, мы, узбеки, будем проливать свою кровь в этих тугаях и болотах. Но русские будут ли нам благодарны? Ведь наши деды, бывало, воевали с русскими...

Бектемир, поддерживая раненый локоть, уселся поудобней. Он смотрел на огонь, нахмутив брови, и казалось, о чем-то думал, не слыша слов товарища.

Али теперь несколько не сомневался, что поставил Бектемиру мат. Довольствуясь его молчанием, Али попытался переменить разговор.

Но Бектемир неторопливо продолжал:

— Верно, царь Николай много горя причинил. Слы-

шали от стариков. Но все это в прошлом. Что только не происходило в прошлом? Разве не стоял город против города, кишлак против кишлака? Разве не текли реки крови? Сегодняшние русские — совсем другое племя. Русские — рабочие, крестьяне. Они дети Ленина. Они создали одну жизнь для всех народов Советской страны, одни законы.

Али, соглашаясь, кивал головой.

— Вот возьмем немцев: большой народ. С высокими знаниями народ. Об этом можно судить по их машинам. Но большой порок у него. Он говорит: я хочу быть хозяином всего мира. Преклоняй колени передо мной, или морду в кровь разобью. Гитлер взбешен. Совсем взбешен. Как саранча, опустошает землю.

Бектемир внимательно посмотрел на друга и продолжал:

— А русские говорят: все народы равны, все народы — братья. Если кто-то просит у тебя помощи, протягивай руку. Истинный сын земли — трудящийся. Паразиты, лентяи не будут подмогой нам! Истинно правильный путь. Узбекский народ тоже идет по этому пути.

Али погладил морщинистый лоб. Он уже не знал, что возразить Бектемиру. Да и как возражать, когда его земляк говорит правду.

— Разум у тебя цел, мой бек, — вздохнув, сказал он громко. — Есть в твоём сердце огонек Уринбая-ата. Отец твой чистый, хороший человек. Добрый ангел кишлака он. Я поверил в тебя.

Бектемир, довольный законченным разговором, поднялся и подошел к котелку. Обжигая губы, попробовал пшеничную кашу.

— Ого... Готова.

Он разбудил Дубова и Аскара-Палвана. Друзья вскочили, словно по тревоге. Палван развел в стороны могучие руки, широко, с наслаждением потянувшись, и протер глаза.

Попробовал ложку горячей каши, похвалил ее, но тут же спросил:

— А где соль?

— Что мы, на соляных разработках? — ответил Бектемир. — Все нежничает. И так пойдет.

Хозяйка принесла соли, положила в котелок, ловко помешала.

Дубов с сосредоточенным видом разлил из фляги водку



и, торжественно подняв одну из кружек, обратился к Бектемиру:

— Выпьем за твои успехи!

— Да, да, пей! — настаивал Палван.

— Знаю, тянет тебя горло промочить, — засмеялся Бектемир и нерешительно взял свою кружку.

Он совсем не пил. Иногда раскаивался даже в том, что приучился курить. А водку обычно отдавал Палвану. Оттого, что два друга подняли кружки за его здоровье и смотрели на него, Бектемир не смог отказаться.

Словно больной, которому нужно выпить лекарство, он приблизил кружку к губам.

— На войне, если не будешь пить, не будут считать тебя солдатом! — подмигнул Дубов.

Бектемир неловко, большими глотками выпил. Рукавом шинели вытер губы, встряхнул головой.

— После этого будешь искать райскую воду! — засмеялся Аскар-Палван.

С кашей расправились по-солдатски быстро. Дубов подошел к чадившей лампе, развернул письмо и начал читать его про себя. Он долго смотрел на старый потрепанный лист бумаги, по красивым усам скользнула улыбка.

— Неплохо. Дети учатся. Жена работает. Корова есть, — ни к кому не обращаясь, сказал Дубов и, осторожно свернув письмо, положил его в блокнотик.

— Сколько раз читал? — спросил Аскар-Палван.

— Не счесть, — откровенно сознался Дубов.

Он снова лег на сено.

— Письмо на фронте — великое дело. Оно как вино. Вино чем дольше хранится, тем крепче. И письмо: чем больше его читаешь, тем больше находишь в нем смысла.

Аскар-Палван, посчитав на пальцах, сообщил, что, по его предположению, в эти дни корова должна отелиться.

Бектемир думал совсем о другом. Он спросил, как погиб Абдуллаев.

— Абдуллаев, оказывается, остался один... — медленно начал рассказ Палван. — Я пополз на помощь. Три раза мы с ним меняли место. Наконец, хорошо замаскировавшись, залегли между двумя деревьями. Гитлеровцы приближались. Они были нам ясно видны. Абдуллаев — ни звука...

Аскар-Палван повернулся к окну.

— «Освобождай ленту. Самый момент!» — сказал я ему. — Нет, он не шелухнулся. Немцы все ближе. А пулемет молчит. Толкаю Абдуллаева. Нахмурившись, он

сжал губы. Наконец, когда фашисты подошли на сотню шагов, не больше, Абдуллаев прилип к пулемету. Передние — как туювник посыпались. «Бей! — говорю, — хвала твоему отцу!» Но вдруг мина упала рядом с ним. Всю спину ему сорвало. Я кинулся к пулемету. Тоже весь разбит. Уполз подальше и начал стрелять из винтовки. Потом гранатой нескольких уложил. В этот момент подоспели наши. Я взял орден и документы Абдуллаева, отдал командиру. Так и пропал джигит. Эх, не думай, друг! Дорожи настоящей минутой. А что будет завтра — не допытывайся.

Аскар-Палван бросился на сено. Бектемир, нагнувшись над столом, задремал.

Через некоторое время он проснулся и только было разлегся около друга, пришел связной:

— Вызывают в штаб...

Резкий, холодный ветер шумел в листве деревьев. Воздух был пропитан сыростью и гнилью. На небе тускло мерцали звезды. Деревня спала настороженно, чутко.

Бектемир, спотыкаясь, добрался до штаба. В маленькой деревенской комнатке при свете коптилки сидели несколько командиров. Бектемир доложил, что явился по приказу. Стеклов кивнул в сторону генерала.

Бектемир покраснел, на мгновение растерялся, затем обратился к генералу. Но слова его не прозвучали по-солдатски ясно и отчетливо. Генерал Соколов, что-то рассказывавший молодому смуглому офицеру, встал и подошел к Бектемиру. Он крепко пожал ему руку.

— Молодец, Уринбаев. — Генерал отступил на шаг, осмотрел солдата: — Ты проявил сегодня большое мужество. Советский боец, сын узбекского народа, должен быть именно таким. Твое сегодняшнее дело — большое дело. Пусть все берут пример с тебя. А потом, глядишь, в какой-нибудь день ты — Герой Советского Союза. Имя твое будет произноситься с любовью во всем Узбекистане, во всей Советской стране. Народ тебя будет благодарить.

— Товарищ генерал, — волнуясь, произнес Бектемир. — Я еще ничего не сделал. Это — один процент моего плана...

Генерал засмеялся. Положив руку на плечо джигита, произнес:

— Один процент? План твой хорош! Замечательно ты сказал. Один процент! Уринбаев, мы представляем тебя к награде. Стоит? Право, стоит... А ну, Хамракулов, поговори с земляком, — обратился генерал к смуглому офицеру.

Капитан Хамракулов, важно поздоровавшись с бойцом, заговорил по-узбекски:

— Ну, джигит, как жизнь? Крепка? Как война? Я сегодня приехал, уже слышу о вас. Вы, оказывается, приготовили большой подарок. Доволен я вашими успехами. Очень рад за вас...

— Говори по-русски, Хамракулов, — попросил генерал.

— Стосковался я по узбекской речи, товарищ генерал, — улыбнулся Хамракулов. — Узбеки в эту войну должны показать себя. Лучше умереть на поле битвы, чем быть рабами Гитлера. Разве не так? — обратился он к Бектемиру.

— Конечно так, — подтвердил Бектемир.

— Узбекский народ, — продолжал капитан, — только начал расправлять крылья. Только вышел на солнечную дорогу, а Гитлер хочет окутать солнце черным облаком. Но цыплят по осени считают... Мы не будем волочить немецкое ярмо. Все равно мы одолеем. Придет день, когда мы будем гнать, уничтожать врага.

— Скорее бы дожить до таких дней, — произнес Бектемир. — Чем лучше будем драться, тем быстрее будет победа.

Земляки долго беседовали. Капитан участвовал в войне с первого дня. Ему было что рассказать. Много повидал, в страшные переделки попадал.

Бектемиру понравился этот умный, простой командир. Казалось, что они давным-давно знакомы. Командир видел, что глаза бойца слипаются, и предложил ему отдохнуть. Бектемир, простившись, вышел из штаба.

## *Глава шестая*

Солнце, изредка выглядывая из-за туч, на какое-то мгновение освещает пожелтевшие деревья. И снова лениво погружается в пышное одеяло облаков.

Аскар-Палван угрюмо сидит на сваленном дереве против дома, где он остановился. Солдат во власти каких-то неопределенных, навевающих грусть чувств. Унылый вид деревни — разрушенной, раздетой, разграбленной — вызывает острую боль в сердце Палвана.

Крестьяне, прятавшиеся в окрестных лесах с детьми, начали возвращаться один за другим в свои разоренные гнезда. Они с опаской входили в деревню, где родились, выросли, где покоились кости их дедов.

На большой дороге играли дети. Они шумной гурьбой окружили Аскар-Палвана.

Боец замечает, с какой благодарностью глядят в его сторону женщины.

На сердце у Палвана становится светлее. Ловко свернув козью ножку, он закуривает и еле слышно напевает на один мотив все знакомые песни.

Размахивая маленькой газеткой, явился рябой Сафар. Он мягок, обходителен, вежлив и совсем не похож на солдата. Шинель на нем, обувь и все армейское снаряжение выглядит так, словно это артист второпях нарядился для исполнения минутной роли.

— Про Бектемира написали. И про тебя есть хорошие слова, — Сафар протянул газету Аскар-Палвану.

Аскар обрадованно, словно разыскивая жемчужину в темноте, приблизил газету к лицу, но, убедившись, что прочесть не может, осторожно сложил ее.

— Для русского языка глаза мои слепы. Был бы Абдуллаев, он бы растолковал нам все подробно. А ну, садитесь сюда, — вздохнув, продолжал Палван, — с самого утра скверно у меня на душе... Плохой сон я видел. Похоже на то, что мать моя умерла.

— Ты что, с ума спятил? — побледнел рябой Сафар. — Расскажи свой сон!

— Во сне видел, что она в белом саване, — серьезно начал Палван. — Идет, значит, по дороге, посыпанной щебнем, и никуда не смотрит. А жена с растрепанными волосами, поникнув, сидит во дворе...

Сафар, как никто другой, верил в сны. Каждое утро он старался вспомнить свой сон, часто составлял его из отдельных, смутно сохранившихся в памяти видений. Он в самом деле считал, что сон Палвана предвещает несчастье, и тоже расстроился. Но, чтобы утешить товарища, объяснил:

— Не стоит раздумывать, братец. Старуха твоя была же крепка... Ты просто на левом боку заснул. Дурные сны от этого бывают.

— От этого? Ты точно знаешь? — с детской наивностью осведомился Палван.

— Точно, точно. Я-то знаю. Вон спроси даже у Бектемира.

Бодрым, ровным шагом подошел Бектемир. Узнав, в чем дело, он рассмеялся:

— Нашли дело. Достойно ли оно джигитов? — И он,

считая этот разговор законченным, спросил Аскара: — Написал? Мое готово. Пойдем пошлем.

— Ты помоги, Темирчик, — вздохнул Палван. — Когда я пишу, у меня буквы — как немцы, убегающие от штыка.

Бектемир сел, разложил бумагу на сумке противогаза.

— Ну что ж, говори!

— Любимой матери, подруге Шарофатхон, милой дочурке Гуландом, — начал Палван, — родственникам дальним, близким, всем знакомым приносим привет... Я жив, здоров. И желаю, чтобы вы тоже ходили живыми-здоровыми, среди веселья и смеха. Прошу у природы...

— Скажи, у бога! — обиженно поправил Сафар.

— Старые говорят: бог, а молодые — природа. Но это должно быть, одно и то же. Разве не так? — улыбнулся Палван и продолжал диктовать: «Мама, вспоминая меня, не плачь, не убивайся. Слава богу, тело мое здорово, одет-обут, аппетит хорош. С друзьями-приятелями день и ночь кружусь среди войны. Суждено нам увидеть то, что написано могучим карандашом судьбы. Жалею, что я, единственный твой сын, мало слушал тебя... Шарофатхон! Я очень тоскую по тебе и дочурке Гуландом. Ее милые детские слова всегда звучат в моих ушах. В прошлом письме я просил фотографию. Глаза мои на дороге — жду я... Шарофатхон, работайте в колхозе хорошенько... Если сыт будет колхоз, и мы будем сыты на фронте. Пусть будет хозяйство ваше в изобилии. И еще просьба к вам такая: не обижайте старуху. Старость, как малое дитя, становится балованной. Сколько можете, служите ей, чтобы быть достойными ее молитв. Поцелуйте за меня дочурку мою. У Аскара-Палвана единственное сокровище в мире — Гуландом. Пишите почаще. Письмо на фронте — половина свидания. Аскар-Палван».

Бектемир закончил письмо и вложил его в концерт.

— Да... Чуть не забыл. А если мы и статью пошлем? Вырежем и пошлем.

— Ты посылай, я не буду, — возразил Палван.

— Не дури! Первая лепешка с кончика теста, — решительно произнес Бектемир.

— Хорошо, — поддержал Сафар. — Напомнит эта газета всем колхозникам о нас. Посылай, Бектемир...

На третий день батальон вышел из деревни, направляясь к передовой.

Шли ночью. Перед рассветом, заняв позицию, бойцы начали окапываться.

Вперед был враг. Он держал железнодорожную станцию в крепких руках. Он приготовился отразить любую атаку и не собирался отступить ни на шаг. Он был уверен в своих силах и, вероятно, ждал подкрепления.

Артиллерия старательно крошила укрепления гитлеровцев.

Люди работали у пушек, будто истопники ада. Они решили перемешать на станции землю с металлом и бетоном. И земля гудела цыганским бубном — глухо; устало.

Облака почернели, деревья покрылись угольной пылью, войны были словно в масках.

Батальон топтался у станции два дня. Ни одна атака не увенчалась успехом. Ему пришлось выдержать почти шестичасовой бой. Бектемир смутно помнит, что он несколько раз лицом к лицу встречался с врагом. колот его штыком, бил прикладом, стрелял в упор.

Аскар-Палван бешено бежал за выскочившим из воронки немцем.

Но эти схватки шли только на подступах к станции.

Немцы оделись в броню и выползли навстречу.

К гулу танков прибавился рокот самолетов.

Гитлеровцы перешли в контратаку. Так вон какая она, психическая атака!

Густая волна фашистов, как черная туча, покрывшая пространство, двигалась ровным, размеренным шагом. Страшная картина! Думаешь, что через мгновение эти наглые, взбесившиеся и вместе с тем холодные, как смерть, создания пройдут, затоптав и придавив все к земле...

— Огонь!

Эта команда, пролетая над рядами бойцов, возвращает к действительности — нужно драться. Гитлеровцы уже рассчитывали на легкую победу. Они приближались, наступая на трупы своих же автоматчиков. Они торжествовали.

Но торопливо, перебивая друг друга, заговорили пулеметы. Плотная стена огня вначале заставила гитлеровцев вздрогнуть. Они растерянно потоптались на месте и побежали врассыпную.

На станции немцы цеплялись за каждый камень, за каждый бугорок.

На второй день после полудня бойцы все-таки ворвались на железнодорожную станцию. Здесь еще долго не умолкала стрельба. Немцы с крыш домов, из-за различных построек продолжали огрызаться короткими очередями.

ми автоматов и частыми винтовочными выстрелами. Разрушенная станция была в огне и густом дыму. Горели склады, десятки перевернутых вагонов.

Бектемир, шатаясь, отошел в сторону и бросился на землю. Все тело его было охвачено горячим жаром. О, если бы глоток воды, если бы вдохнуть холодного, чистого воздуха!

Прошло довольно много времени, прежде чем он отдышался. Но голову, словно наполненную свинцом, трудно было поднять. Боец лежал и видел солнце, которое сквозь дым и копоть просматривалось, будто через черное стекло.

Стало жаль солнца. Оно, словно дымясь, начало плавиться. Но скоро оно вымоет свои золотые косы в прозрачной горной воде и его улыбка будет переливаться на чистом, как снег, теплом пуху хлопка в его далекой стороне. Эта улыбка будет гореть в песнях, на девичьих зубах, в ярких серьгах сборщиц.

Боец отвел взгляд на перевернутые вагоны. Их тоже стало жалко. Для Бектемира паровозы были живыми, могучими существами. Сейчас и они беспомощны!

Повернувшись, он ощутил на лице какую-то шишку величиной с орех и острую боль в правом бедре. Но медсестрам сейчас было не до него. Они едва успевали смотреть за тяжелоранеными. Кое-как он перевязал сам себя.

Закончив перевязку, Бектемир вспомнил Аскара.

«Что с ним? Не случилось ли беды?»

Эти два дня многих унесли из жизни. Вчера на командный пункт ворвались три немецких танка. В неравной схватке погиб старший сержант Краснов.

С трудом доходило до сознания, что капитан Стеклов на глазах у гитлеровцев, остервенело бросившихся, чтобы взять его живьем, сам себя взорвал последней гранатой.

...Сафар, раненный в ногу, был отправлен в госпиталь. А сегодня утром Али, поддерживая перебитую руку, через лес отправился в санбат.

«И Аскара не видно,— оглянулся боец.— Неужели с ним что либо случилось?»— не давала покоя мучительная мысль.

Бектемир, поднявшись, медленно пошел разыскивать Аскар-Палвана.

— Ну, что у тебя? — спросил он глухо, сдавленным голосом, когда нашел Аскар-Палвана с перевязанной головой.

— Смерть слегка задела меня и пролетела мимо. Се-

годня она чересчур пошутила со мной. Э, и с тобой, вижу, заигрывала.

— Кажется, она нас будет медленно жевать. — Бектемир через силу улыбнулся. — Долго будет жевать.

— Лишь бы не проглотила, — согласился Аскар.

Откуда-то появился Дубов. Он весело оглядел солдат:

— Ну как живете?

— Живем... — пожал плечами Палван. — Пока живем... Отогнали фрица.

— Голова нового командира, оказывается, мудрая... — похвалил Дубов. — Смелый человек. А не то бы нам это место не очистить от эсэсовцев даже за неделю. Да и не знаю, что было бы с нами.

— Хороший командир... — согласился Палван. — Хотя по виду не скажешь, что богатырь.

— Это правильно. Показал себя. — Дубов покрутил усы. — С таким не страшно рядом быть.

Аскар-Палван хотел еще что-то добавить. Но улыбка сошла с лица.

Все повернулись в сторону, где пламя поднялось в бешенстве, словно намереваясь проглотить небо.

— Россия, Россия, — прошептал Дубов. — Ты в истории много раз горела. Но каждый раз выходила из огня, закаленная — как сталь, блестящая — как сталь.

Глаза солдата повлажнели. Не скрывая своих чувств, он продолжал стоять и смотреть вдаль, на бушующее пламя.

А вечером бойцы ушли на похороны. Друзья в последний раз взглянули на капитана Стеклова, старшего сержанта Краснова и многих, многих других.

## *Глава седьмая*

Всю ночь под грохот вражеских пушек шла подготовка к новым боям. Пехотинцы, артиллеристы, саперы, танкисты, связисты — словом, все ждали команды, чтобы перейти в наступление.

Враг, пытаясь прощупать наши силы, предпринял несколько разрозненных боевых действий. Его атаки были отбиты.

У Бектемира поднялось настроение.

Среди бойцов, которые впервые оказались на передовой и с опаской поглядывали вокруг, вздрагивая из-за



каждого пустяка, Бектемир чувствовал себя опытным, закаленным.

По возможности он пытался учить их, как вести себя в бою, как уберечься от опасности.

— Вот это мина пролетела. Слышите звук? Она упадет далеко. А это снаряд. Тоже далеко взорвался.

Новички с почтением слушали Бектемира.

Даже в короткие минуты затишья Бектемир не отрывал глаз от вражеских окопов. Мало ли что может случиться? Иногда он «шутил» с немцами. На край окопа пристраивал какую-нибудь помятую каску, и немцы мгновенно открывали огонь. Боец находил цель и спокойно нажимал на спусковой крючок. В батальоне Бектемира не считали снайпером, но сам он чувствовал себя в стрельбе уже сильным, хотя никогда никому об этом не говорил.

Бектемир хорошо знал не только свою винтовку. Он присматривался и к другим видам оружия.

— На фронте все пригодится, — говорили опытные воины. — Все нужно знать.

И Бектемир помнил об этом.

Оружие постепенно становилось послушным ему. Он даже изучил трофейный немецкий автомат Ивана Самарина — невзрачный боец с рывим пухом на лице и тонким голосом. Автомат достался солдату в подарок за то, что ночью ходил за «языком» и, накрыв немца на посту, связал ему руки и приволок в батальон.

Бойцы получили обед и наклонились над котелками. Вдруг заговорили вражеские пушки и пулеметы. Полетели комья черной земли. Бектемир только успел послать в рот первую ложку, как вынужден был, крепко обняв котелок, прижаться к стене окопа. Некоторые, не успев проглотить то, что было во рту, окровавленные, припали к земле.

Когда стрельба прекратилась, Бектемир выбрался из окопа. Посмотрев на котелок, неопределенно промычал: каша была покрыта толстым слоем земли. Он принялся осторожно счищать грязь. Но когда положил в рот одну ложку, ощутил, что это была не каша, а глина. Сплюнул и выругался:

— Гады. Не дадут поест по-человечески.

Бойцы дружно засмеялись:

-- Что? Вкусная каша?

Аскар-Палван хмуро сказал Бектемиру:

— Как у Насреддина весь скандал произошел из-за чапана, который никому не достался, так и вся вот эта кутерьма из-за каши. Вкусный, теплый запах еще не дошел до носа, как с треском котелок вылетел из рук.

— Вот, оказывается, и котелок может щитом стать... — улыбнулся Бектемир.

Вечером бойцы получили подарки из тыла. Бектемир развязал мешочек. В нем были две пачки папирос «Наша марка», пара носовых платочков, несколько печений, горсть шоколадных конфет, зубная щетка, туалетное мыло, карандаш, бумага и конверты. Дрожащими руками развернул белые шелковые платочки. По краям тоненькая нежная кайма. По уголкам зелеными, голубыми, розовыми нитками были вышиты красивые цветы. В середине платочка красными нитками слова — «За Родину».

Глаза Бектемира загорелись. Эти цветочки показались ему горными, живыми, нежными. Хотелось с наслаждением вдохнуть их запахи.

Когда-то бывший чабан лежал на траве и его окружали вот такие милые, озорные, напоенные тишиной и светом цветы.

С хрустом грызя печенье, он машинально рылся в конвертах. Внутри одного из них боец обнаружил маленькое письмецо. Уставившись в письмо, он долго изучал его. Наконец обратился к одному русскому бойцу.

— Нет. Ты сначала послушай мое письмо, — захлебываясь от восторга, сказал тот. — Каждое слово, как огонь, жжет сердце. Нет... Пьяным становишься от этих слов.

Он читал волнуясь.

— Посмотри на нее. Сама она красива, и почерк красивый, — боец протянул фотокарточку.

Бектемир посмотрел. На фото была девушка с выбившимися из-под беретки завитушками, с полненьким лицом и прищуренными глазами. Она, словно ласкаясь, склонила слегка голову набок. На ее свежих губах сохранилась нежная улыбка...

— Удивительная девушка. Бьется сердечко? — спросил Бектемир.

— Эх, если бы была возможность полететь мне в Москву дня на три, — мечтательно произнес боец. — Как только кончится война, обязательно поеду. А пока буду разговаривать в письмах. У меня почти никого нет. Поклонюсь ей. Как ваше здоровье, как жизнь, Тонечка, ска-

жу. Потом крепко, крепко поцелую... — Взглянув еще раз на фотографию, боец вздохнул: — Ну, давай твое письмо!

Бектемир попросил читать медленно-медленно, растолковывая ему некоторые слова, и приготовился внимательно слушать. Девушка из далекого города Фрунзе писала:

*«Здравствуйте, товарищ боец! Я не знаю, кто вы — русский, украинец, узбек, казах, киргиз? Но я знаю хорошо, что вы истинный сын великой Родины, что вы герой. Мы гордимся вашими отважными делами. Хотя мы далеко от фронта, сердца наши с вами.*

*Рука бессильна, чтобы описать варварство фашистов. За слезы несчастных матерей, за кровь детей, за оскорбленных девушек боритесь до последнего дыхания!*

*Дорогой боец! Все советские люди самоотверженно трудятся для фронта, для победы. В этом году я окончила десятый класс. Я мечтала поступить в институт и стать художницей. Я хотела своим искусством прославить красоту Родины. Но началась война. Я поступила на завод.*

*На нашем заводе рождаются все новые и новые герои. Я не желаю оставаться позади. Два моих брата на фронте. Сестра учится. Она будет связисткой. Мать моя занята тем, что подыскивает для эвакуированных детей добрые семьи советских патриотов.*

*Хотим быть похожими на вас.*

*С любовью и уважением, целуем вас.*

*Клара Пронина».*

Бектемир от волнения даже побледнел.

— Пожалуйста, прочти еще раз, — попросил он.

Не шелохнувшись, прослушал Бектемир письмо еще раз.

— Умная девушка. Благородная девушка. Очень правильный путь избрала. Вначале надо сберечь от врага Родину, а для этого надо лить пули, делать винтовки, пулеметы. Узбеки так говорят: каждому делу свое время.

Джигит аккуратно сложил письмо и спрятал его за пазуху. Несколько раз проводил он рукой по шершавому сукну шинели: там ли письмо?

...Наступила ночь. Изредка лениво взрывались немецкие снаряды. Враг этим хотел предупредить — не спим, мол, всегда наготове...

Бектемир не мог сомкнуть глаз. Густая темнота давила на него, холодный ветер гудел в ушах, колот лицо.

Ночь была длинной, бесконечной. Откуда-то доносился приглушенный стон раненого. А Бектемир ничего не слышал, ничего не чувствовал.

Аскар-Палван, положив голову на его колени, задремал. Что ж, пусть отдыхает солдат. А Бектемир думает о девушке Кларе Пронинной. Хорошо бы послать ей письмо. Конечно, он попросит кого-нибудь из русских товарищей написать.

Только все слова должны быть его, Бектемира.

Думает, с чего бы начать. Ищет красивые, звучные слова. А что, если написать ей так:

«Фархад, увидев в таинственном зеркале Ширин, влюбляется. Отправившись в ее страну, он рушит там горы и проводит воду. Дерется с врагом, вторгшимся со своей армией в ее страну. Я увидел вашу красоту в вашем письме...»

Подкрадывается рассвет — бледный, облачный. Над деревьями стелется туман, окутывая голые ветки. Влажный и холодный воздух пронизывает уставшее тело до самых костей.

Бектемир зевнул, погладил затекшие ноги. Вспомнил золотые зори рассвета в родном краю. Но они казались какой-то яркой мечтой и неповторимым, далеким сном.

Солдаты сидели в пыльной одежде, грязные. Некоторые лениво жевали хлеб.

Как обычно по утрам, началась перестрелка.

Когда молоденькая медсестра, полная, постоянно улыбающаяся, перевязывала рану Бектемиру, появился Дубов.

Он ушипнул девушку за нос, потянул за ухо. Девушка недовольно поморщилась.

Дубов засмеялся, шевеля усами.

— Все, что осталось от человека — усы, — съязвила сестра.

— Ну-ну, сестричка, — Дубов примиряюще поднял руки, — не обижайся.

Девушка передернула плечами и ушла.

— Надо с-шуткой жить, — сказал Дубов Бектемиру. — Кровь живет по жилам течет. Шутка на фронте — большое дело. А не то тоска съест.

Бектемир в знак согласия молча кивнул головой.

— А у немцев совсем плохо дело, — продолжал Дубов. — На всех кишат вши. Вот недавно я одного видел. Офицера. Он, пьяный, заблудился ночью. Старик один привел его прямо в штаб. Восхищаюсь я нашими стари-

ками! Выросли в трудах и лишениях, а чудеса могут творить. В сердцах огонь у них горит.

Дубов с восхищенным доказывал преимущество старого поколения перед молодым.

— А что молодежь? Им бы обниматься с милыми под кустами. Вот и вся забота.

Бектемир хотел возразить товарищу, но Дубов горячо продолжал:

— Жаль, уходят старики. Земля зовет их. Но они уходят со спокойной душой. Счастье для молодых расцветает на земле. Нечего о молодых беспокоиться. — Дубов вдруг тряхнул головой: — Да что это я отвлекся! Так вот. Немецкий офицер, как бешеная собака, чешется. С волос, бороды, одежды вши сыплются... Тьфу!

— Значит, целый базар вшей, — определил Бектемир. — Пусть им еще хуже будет! Кто звал их в эти места? Жили хорошо, богато. Нет же, явились. Пусть потомство их пропадет!

Бектемир передохнул и спокойно продолжал разговор:

— Но вот ты, Дубов, насчет молодого поколения не прав. Не будем ходить далеко, возьмем наших ребят. Вася Серов? Уничтожил немецкий взвод. Курочкин? За день поджег два танка, убил тринадцать фашистов. Приходько? Своим телом накрыл пулемет. А наш друг сержант Бейметов? Из пушки отправил на тот свет целый взвод гитлеровцев. Да всех не перечислишь! Хороших ребят очень много!

— Все это правильно, — ответил Дубов. — Но должно быть так, чтобы фашист лишь только заметит нас, только услышит наш голос — и сразу за штаны хватался.

— Будет так, подожди. Наши солдаты закалятся в огне.

— Вот об этом и речь. Молодежь должна быть, — Дубов выразительно сжал кулак, — вот какой!

Завтрак прошел сравнительно спокойно. Но взорвался один снаряд, за ним другой, третий. Показались танки. Вслед за ними крались автоматчики. Немцы, пригнувшись, подходили все ближе. Первые пулеметные очереди прошлись по рядам автоматчиков, и они врассыпную отступили.

Но через несколько минут снова атака.

— Огонь!

Это крикнул новый командир батальона Никулин.

Капитану не более тридцати лет. Аскар-Палван не видит в нем ничего мужественного. Но на самом деле этот

человек с тонким нежным лицом не думал отступать ни на шаг.

Он смело ходил среди града пуль и всегда был в тех местах, где больше всего нажимал враг. Капитан подбадривал бойцов.

— Ничего он с нами не сделает,— спокойно убеждал Никулин. — Мы на своей земле, и, что бы он ни замыслил, ничего у него не выйдет.

— Враг только намечал свои планы, а капитан Никулин определял их по еле заметным признакам и принимал решения.

Капитану сообщили по телефону, что на соседнем участке положение стало тяжелым и что там необходима помощь.

Для Никулина в этот момент был дорог каждый боец. Он только было раскрыл рот, чтобы объяснить собственное положение, как связь прервалась.

Никулин зло ударил кулаком по коробке телефона:

— Чтоб ты провалился...

— Сейчас, товарищ капитан. Минутку.

— Они с ума сошли. Какая помощь? Нам самим помощь нужна...

Связисты, рядовой Анохин и юркая девушка Соня Хабибулаева, уже ползли вперед с удивительной быстротой. Связистов несколько раз засыпало землей, но, снова поднявшись, они спокойно, неторопливо принимались за свой труд...

Никулин нетерпеливо взял трубку — работает. На вытянувшемся, похудевшем от тревог лице командира выразилось удовлетворение.

— Молодцы связисты!

Среди ужасающего гула капитан нервно, хрипло объяснил серьезность своего положения. Но, вероятно, у соседей дела были еще хуже.

— Хорошо... — наконец выдавил из себя капитан. — Поможем.

Положив трубку, Никулин тяжело вздохнул:

— Нужно же так...

Младший лейтенант, широкогрудый, черноглазый грузин со сросшимися бровями, задумчивыми глазами и большим ястребиным носом, понял, в чем дело.

— Отправляйтесь со своим взводом в распоряжение...

Капитан назвал фамилию командира соседнего батальона.

Никулин пытался быть в курсе боевых дел не только

подразделений, но и каждого бойца. Он с беспокойством оглядывал солдат, зная, как ограничены боеприпасы — все подъездные пути находились под сильным артиллерийским огнем противника.

— В белый свет не стреляй, фашиста ищи, — поучал Никулин на ходу какого-то бойца. — Каждый патрон дорог сейчас.

— Знаем, товарищ комбат, — раздался бодрый голос.

— Знать-то знаете, да не все выполняете.

Еще раз оглядев подчиненных, офицер посмотрел на часы. Скоро атака. Как поведут себя бойцы на этот раз?

...Пытаясь унять волнение, с бледным лицом, Никулин поднялся и подал команду:

— За Родину, вперед!

Голос командира потонул в мощном «ура».

Капитан Никулин с наганом и гранатой бежал впереди бойцов.

Но их встретил огонь, заставивший залечь.

Никулин тоже бросился в какую-то яму.

Казалось, он совсем оглох, голова была горячей и тяжелой, но мысль работала ясно и быстро.

«Что делать? Возвращаться назад? Невозможно. Лежать? Через некоторое время враг всех погубит. Самый лучший выход — наступать. Именно наступать».

Но вдруг где-то в глубине души шевельнулось сомнение:

«Ну, а если бойцы после команды не поднимутся?»

Вспомнились лица воинов, всех, которых он близко знал.

— Поднимутся... — теперь уже уверенно прошептал капитан.

Он знал, что в ответственные минуты личная отвага и пример командира обладают огромной силой, способной в мгновение окрылить сотни людей.

Никулин снова подал команду:

— Вперед, товарищи!

Первым поднялся Васильев, лежавший шагах в двадцати от комбата. Взяв винтовку наперевес, он поддержал команду зычным голосом:

— За Родину, друзья!

Васильев бежал впереди всех. Остальные хотя и не так, как прежде, дружно устремились вперед.

Никулин добился своей цели, получилось точно так, как он предполагал. Враг дрогнул и побежал, бросив даже своих раненых.

Только на одной маленькой возвышенности фашисты еще держались.

— Вперед!

К возвышенности приближался один из взводов батальона.

Никулин с восхищенным взглядом смотрел ему вслед. Он уже твердо верил, что и с высоты противник будет выбит. Рядом с собой комбат увидел смуглого, сильного бойца. Глаза солдата сверкали. Это был один из тех, кто первым поднялся в атаку.

Никулин, положив руку ему на плечо, сказал по-братски:

— Рахмат! Молодец, Бектемир. Ты повел за собой людей.

— Товарищ капитан, был же такой момент: если бы остались лежать — раздавили бы нас, как лягушек. Раз встал, лети, как лошадь в скачке!

— Сколько ты сейчас убил?

— Мало, мало, — с сожалением сказал Бектемир. — Можно было больше.

Бектемир с трудом выразил свою мысль по-русски, но по-детски искренне, непосредственно.

Никулин слушал, улыбаясь.

Бой снова разгорелся.

На помощь солдатам подошли два танка. Под их защитой продвигаться стало легче.

Враг был в замешательстве. Нужно было немедленно воспользоваться этим, и бойцы снова поднялись в атаку.

До немецких окопов первыми добежали Аскар-Палван и Дубов. Они начали обстреливать удиравших немцев.

Бектемир, опустившись на колени, тоже стрелял. Но вот вблизи застрекотал автомат. Со свистом пронеслись пули. Боец осторожно посмотрел вокруг. За увядшей помятой травой он увидел силуэт автоматчика. Бектемир выстрелил, и немец медленно повалился на бок.

Бектемир решил взять оружие врага и начал приближаться к гитлеровцу, ради осторожности, ползком.

Раздвинув шелестевшую траву, джигит осмотрелся. Фашист лежал вверх лицом с окровавленной грудью. Внезапно он поднял голову. Это был плечистый парень. Одной рукой он схватился за пустой диск автомата, намереваясь стрелять в Бектемира. Но боец прикладом винтовки ударил гитлеровца, и тот упал как подкошенный.

Решив, что возвышенность в руках русских, немцы начали поливать ее огнем минометов и артиллерии.



Взлетали комья земли. Высотку заволокла пелена дыма. Из-за него ничего невозможно было увидеть. Многие бойцы уже не могли подняться. Они лежали не шевелясь. Вот и старший сержант Дьяков, схватившись за грудь, рухнул на землю.

— За мной! — зычно скомандовал Дубов.

Рядом с Бектемиром бежали братья Қасымджан и Хашимджан. Оба растерянные. Этот бой в их жизни был первым.

Они родились близнецами, мало чем отличались друг от друга.

Хашимджан был учителем, Қасым — студентом. В бою братья старались не разлучаться друг с другом. Приходилось ли подниматься с земли или бросаться на землю, они делали это вместе.

Вдруг около Қасымджана разорвалась мина. Сквозь дым к нему бросился Хашим с криком:

— Ой, братец милый!

Он стонал, плакал.

Бектемир, не сдержавшись, изо всех сил закричал:

— Вставай, беги вперед, или и ты погибнешь!

Хашим не мог выпустить из объятий брата.

Бектемир подбежал и, дернув его за плечо, крикнул:

— Что ты уселся? Мсти за брата!

Хашим ничего не понимал. Он тупо посмотрел на Бектемира, схватил окровавленную винтовку брата, вскочил и, обгоняя других бойцов, бросился вперед.

Фашисты, должно быть полагая, что русские уже не двинутся с места, прекратили огонь. Ошибку свою они поняли с опозданием.

Бойцы уже занимали окопы по другую сторону возвышенности.

Хашим бежал, ничего не видя, не слыша. У него было одно желание — отомстить.

— Стой! — закричал ему Бектемир. — Ложись.

Опомнившись, учитель упал на землю.

Солнце заходило за облака, оставляя кровавую дорогу. На поле начала спускаться темнота. За хмурыми деревьями из какого-то здания медленно поднимался дым.

Бектемир растянулся на земле усталый, разбитый. Сейчас он только почувствовал, как голоден — с утра во рту маковой росинки не было.

— Здоров ли ты? — Аскар-Палван положил руку на плечо друга.

Джигит, словно проснувшись, поднял голову. Только сейчас осознал, что наступила тишина. Слово человек,

который в летний день зашел в ледяное помещение, он от вечерней прохлады ощутил озноб в теле.

Друзья молча смотрели друг на друга.

Подошел Хашим.

— Садитесь,— предложил Бектемир и, вздохнув, почувствовал:— Что поделаешь?! Война.

— Души наши висят на волоске. Сегодня наш волосок не оборвался,— утешил Аскар-Палван.

— Пусть даже остался бы он без рук и ног, но был бы жив,— заплакал Хашим.— Какой удивительный парень! Если узнает мать, сердце ее разорвется! Друзья, пойдемте похороним в сторонке.

Все молча поднялись. Хашим, оказывается, уже спрятал тело брата в траве.

Бектемир помог Аскар-Палвану отнести убитого в местечко поукромнее.

Появился маленький бугорок.

В небе сверкнули две звезды, как свечи на могиле безыменного солдата! Слово в трауре по молодому солдату из далекой Азии, печально простонал в деревьях ветер.

Учитель, глубоко вздохнув, едва поднялся с места.

— Мсть. Это и есть исцеление от горя. Говорят же: кровь за кровь! Смерть за смерть! Это справедливо,— произнес Бектемир.

— Я начал мстить.— Учитель опустил голову.— Но трудно утешиться одной мстью. Сотни вражеских жизней не стоят одной капли его крови!

## *Глава восьмая*

В землянке генерал кратко, деловито беседует с группой офицеров. Землянка окутана густым табачным дымом.

Генерал недовольно морщится:

— Нужно же так накурить! Прокоптились дымом. Папиросы, папиросы... Хватит курить.

— Очень тяжело нам...— Капитан Никулин не отходит от основной темы разговора.— Но будем держаться. Сумеем. Не отступим.

Он, несколько раз глубоко затянувшись, вдавил папиросу в пепельницу.

Генерал одобрительно кивнул головой:

— Мы надеемся. Верим вам...

Соколов поднялся: нужно было прощаться и ехать.

— Ваши просьбы учту. Боеприпасы дадим. Об остальном решим...

Офицеры стояли молча...

Генерал еще раз напомнил о серьезности положения. «А ведь так на каждом участке фронта,— думал Соколов, разглядывая сосредоточенные лица командиров.— Готовы голыми руками остановить поток разгоряченного металла. Если бы в эти руки сейчас подходящее оружие!»

Потом еще раз оглядел офицеров, поднял стакан с холодным чаем, допил.

— До свидания, товарищи!

Нужно было ехать, разобраться в обстановке, подбодрить людей. Он сам еще не знал, генерал Соколов, что скоро придется отдавать совсем иные приказы.

...На другой день опять несколько раз произошли короткие, но ожесточенные схватки. Возвышенность переходила из рук в руки. И все же ее удалось удержать. Батальон капитана Никулина со своей позиции не отступил ни на шаг.

Это был огромный успех, если учесть, что все атаки противника отражались без прикрытия с воздуха, без танков.

Когда время перевалило за полдень, генерал Соколов, стараясь говорить спокойно, передал по телефону приказ отступить. Глаза Никулина, покрасневшие от недосыпания, расширились от удивления. Он не успел и рта раскрыть, как генерал на другом конце провода бросил трубку.

Опять приказ отступить! От гнева худое лицо капитана искривилось. «В чем дело?.. Что это за решение?»

Никулин пытался вникнуть в смысл приказа. Он с трудом заставил себя трезво оценить обстановку. Конечно, отступление продиктовано общими неудачами.

Никулин, сжав зубы, кружил по землянке, окутанной дымом коптилки. Он зажег ручной фонарик и нагнулся к карте. Положение действительно было тяжелое. Если срочно не принять меры, то утром враг сожмет батальон со всех сторон в крепкое, железное кольцо.

Капитан оторвался от карты, которая, словно зеркало, отражала замысел врага.

Через несколько минут были собраны командиры рот и взводов. Они заходили в землянку спокойно, не проявляя спешки, растерянности. Капитан тоже пытался взять себя в руки.

Стремясь не обнаружить волнения в голосе, Никулин разъяснил положение. На мгновение головы словно по команде опустились.

Один из лейтенантов глухо произнес:

— Возможно, уже сейчас мы в окружении. Немец наловчился в этом деле.

Никулин решительно шагнул к нему. Рядом с лейтенантом с широкой могучей грудью он выглядел подростком. Сжав кулаки до боли, Никулин строго, почти шепотом спросил:

— Что ты хочешь сказать? Чтоб мы сдались?

— Товарищ капитан, я... несколько... Не говорил...— испуганно отшатнулся лейтенант.— При чем же тут — сдаваться?

— Таков был ваш голос...— Никулин пробежал глазами по лицам других командиров. Все стояли, обдумывая неожиданный, ошеломляющий приказ.

— Будем отступать. Запомните порядок отхода. Первыми двигаются...

Командиры стоя выслушали капитана.

Никулин вышел из землянки последним.

Небо снова затянуло тучами — густыми, сердитыми. Упали первые капли дождя. Через несколько минут дождь усилился.

«Не вовремя,— покачал головой Никулин.— Нужно же именно сейчас».

Показалась машина. У землянки она остановилась. Это подъехал генерал Соколов.

Никулин встал навытяжку, отдал честь. Генерал протянул руку.

— Я не понимаю...— волнуясь, начал Никулин.— Оборона станции была прочной...

Генерал молчал. Внутренне он переживал, может быть, больше других.

— Ничего не поделаешь,— стараясь говорить как можно бодрее, сказал генерал.— Временное явление.

Он закурил.

— Не забывайте нашей славной истории,— произнес генерал.— Это уже бывало.

Он сам понимал, опытный воин, что ссылка на историю — очень слабое утешение.

В нескольких шагах от генерала остановились бойцы — печальные, хмурые.

— Быстрее, быстрее,— обратился к ним генерал.— Нужно отходить.

У бойцов, казалось, руки не поднимались, чтобы собрать нехитрые солдатские пожитки.

Больше дел было у артиллеристов. Они быстро, сновисто готовили к маршу пушки.

Дождь уже хлестал всюду.

Машины едва тянули пушки. За ними не спеша тронулись обозы.

Когда батальон отошел от своих позиций, вражеская артиллерия внезапно открыла огонь. Снаряды рвались, преследуя отступающих бойцов.

Первый же снаряд достиг цели. Взлетело несколько телег и одна машина. Раненые, которые только что сквозь зубы ругались, были раскромсаны осколками.

После другого взрыва загорелись ящики с боеприпасами. Никулин первый бросился к опасному месту. Его примеру последовали еще несколько человек. Руками, шинелями, землей они начали сбивать желтые языки ненасытного пламени. Несчастье было предотвращено.

Никулин дул на обожженные руки, отдавая приказание.

Шли всю ночь, низко опустив голову, молча, торопливо. Бектемир, хотя и не различал лиц, чувствовал, что все хмуры, расстроены.

Неожиданное отступление вносило в сердца людей чувство опасения, излишней осторожности, даже растерянности.

Бектемир по отрывочному, злому ворчанию некоторых бойцов догадывался, что кое-кто подозревает капитана Никулина в предательстве. Он сам испугался этой мысли.

«Нет, глаза этого человека чисты. Глаз не дырка на овчине,— подумал Бектемир.— Все расскажет».

Невольно вспомнилось по этому поводу мнение отца.

Однажды в кишлаке появился какой-то незнакомый человек — уже в летах, с приятным лицом, мастер на все руки. Он шил сапоги, чинил замки, штукатурил... Односельчане начали его лелеять, как дорогого гостя. И только отец Бектемира Уринбай-ата сразу стал врагом этому незнакомцу.

— Плохой гость, — сказал он своим землякам. — Он человекоубийца.

Все удивились этому, а Уринбай-ата пояснил:

— Весь грех в его глазах.

Действительно, не прошло и месяца, как предсказание Уринбая-ата подтвердилось.

Бектемир был уверен, что причина отступления одна — необходимость избежать окружения.

Тронув Дубова за руку, Бектемир спросил:

— Скажи, может фашист положить нас в мешок?

— Э, неужто не поймешь, Темирчик, — сердито ответил Дубов. — Если соседи твои никуда не годятся, то путь к тебе вора́м открыт. Прямо средь белого денечка разграбят.

Что так смотришь? Немец хорошо знает тактику. Слева будет бить, справа будет бить, прыжком обойдет тебя, потом скажет: а ну иди по-хорошему ко мне, а не то буду сжимать петлю. Немцу большой бой не по душе. Его генералы только и ищут случая, чтоб закричать: «Рус, сдавай!» Словом, если только избавимся от его клещей — большое счастье!

— Большое счастье! — с иронией повторил Бектемир. — Если мы оставляем землю, где каждый метр облит кровью, разве это большое счастье? Не вижу в этом ничего хорошего.

— Да, но отступать нужно уметь. Как говорят великие люди, это тоже искусство.

— Вот если бы я увидел, как гитлеровцы с искусством отступают, то умер бы без сожаления... — покачал головой Бектемир.

— Генералам нашим скажи, братец! — не выдержал Дубов. — Твои и мои руки коротки. Но со своим делом мы справимся.

Он зло сплюнул.

— Если мы будем действовать самостоятельно, можем взять за горло только один какой-нибудь взвод. Ну, а генерал? Он может спокойно проглотить армию.

Бектемир промолчал, а Дубов, уже успокоившись, продолжал:

— Раз человек он высокий — и аппетит у него должен быть большой. Но среди генералов, по-моему, есть и такие, которые могут ошибаться...

Бектемир представлял себе генералов как очень уважаемых, известных людей, которые знают всю премудрость войны. Мысли Дубова показались ему сложными, странными, своевольными.

Опустив голову, расстроенный, Бектемир продолжал молча идти.

На рассвете батальон остановился около небольшой речки. На привале пришло известие о том, что враг следует по пятам, не задерживаясь ни на минуту.

Никулин приказал открыть артиллерийский огонь.

— Это заставит немцев остановиться, — рассуждал капитан. — Неожиданный огонь внесет растерянность...

И снова в путь. Вскоре подошли к реке.

Бойцы медленно входили в прозрачную воду, которая, казалось, текла сквозь густой утренний туман. Погружаясь в воду, воины начали карабкаться на противоположный берег.

Но оттого, что берег был крутой, почти невозможно было вывезти обозы. Бойцы задыхались, подпирали повозки плечами, подталкивали колеса, помогали лошадям.

Телеги пришлось разгрузить и выносить все на себе. Промокшие насквозь, дрожащие от холода, бойцы, не задерживаясь, пошли дальше.

Только некоторые, разувшись на обочине дороги, успели вытряхнуть воду из сапог. Настроение было вконец испорчено.

— Надо было нам остаться и драться до последней капли крови, — стучал зубами Аскар-Палван. — Эта переправа хуже всякой смерти.

— До смерти вроде есть еще время. Жив ты. Смотри, пока смотрится, — без оптимизма ответил Бектемир.

Вскоре батальон вошел в деревню. Бойцы не могли смотреть на женщин, стариков, детей, которые вышли им навстречу. Они не могли смотреть даже на маленькие, без стекол, пустые домики.

Куда бы спрятать свои глаза?

Женщина поставила ведро на землю и, покачав головой, закричала:

— Давайте винтовки нам, бабам!

Бектемир готов был залить свои уши свинцом, чтобы не слышать этих слов. Вот бы треснула земля и он провалился туда!

Слова, сказанные незнакомой женщиной, показались криком родной его матери. Улицы деревни будто обжигали пятки. Бойцы ускорили шаг. Но Бектемир стыдился и этого. Казалось, что люди говорили: «Эй, врага-то не видно, что вы так летите?»

Старик, крепко перепопаянный поверх белой истрепанной одежды, в лаптях, с пышной бородой, внимательно разглядывал проходящих бойцов. Голос его дрогнул:

— Сыночки, на кого вы нас оставляете?

Капитан Никулин отозвался громко, бодро:

— Отец, не печалься, хребет русского и гора не сможет сломить. Мы возвратимся.

Бектемир понимал переживания жителей.

Их глубокая любовь к Родине, безграничная ненависть к врагу были укором для отступающих. Но вместе с тем глаза жителей наполнились лаской.

Сейчас простые люди не могут приостановить отступление, но они готовы раскрыть объятия, отдать бойцам все, что имеют.

Это не успокаивало Бектемира. Он еще глубже понял свою ответственность.

С наступлением темноты капитан Никулин вывел батальон на открытое место. После нескольких минут марша по дороге, заваленной исковерканными телегами, сгоревшими машинами, мертвыми лошадьми, телами людей, усыпанной разбитым военным снаряжением, батальон остановился на привал. Откуда-то появившиеся дети предупредили капитана Никулина:

— Впереди деревня... В нее вошел немец. Дальше дороги нет.

Батальон вынужден был углубиться в лес, где и остановился. Хотя Никулин ничего не говорил, бойцы почувствовали, что они окружены.

Бектемир сел, прислонившись головой к дереву, и вытянул ноги.

«Отступление, конечно, допустимый маневр,— подумал он.— Не такое случается на войне. Займешь новую позицию — новыми силами встретишь врага. Если рука твоя окажется сильнее, обратишь и путь отступления в путь победы. А что значит остаться в окружении? Это — петля!»

К нему приблизились Дубов и Аскар-Палван. Бектемир, не глядя на них, только произнес:

— В капкан попали.

— Теперь мы словно мыши. Тяжелые дни...— выругался Дубов.

— У командира много ума. Наметил бы своим компасом, нашел бы маленькую дырочку, проскочили бы — и все тут...— добавил Палван.

Ночь прошла без происшествий. Бойцы, закутавшись в шинели, спали неподвижно на сырой земле, как камушки на дне реки. С рассветом была послана разведка.

Она выяснила, что окрестные деревни заняты гитлеровцами.

Лес, казавшийся безграничным, тихим, сейчас становился опасным — неожиданно можно было натолкнуться на засаду. Ни у кого не осталось даже крошки хлеба. Голодные бойцы пересекли болото, проваливаясь в топь, затем мокрые пошли дальше сквозь лес.

Отступление и возможность очутиться в клещах врага окутывали настроение солдат черной, гнетущей пеленой.

Говорили мало, шутки и смех, казалось, были забыты вовсе.

Подошла еще одна ночь — холодная, туманная. Бойцы растянулись на влажной земле. Счастливы, которым удалось сохранить махорку, закурили. Запах табачного дыма беспокоил всех. Вокруг каждого курильщика собралось по несколько человек. Слышались умоляющие просьбы:



— Дай докурить! Оставь!

Черный шатер ночи стал багровым от огня — вдали горели деревни. Где-то послышалась ружейно-пулеметная перестрелка. Видно, какая-то часть решила с боем пробиться из окружения.

Капитан Никулин послал разведчиков, чтобы узнать, где еще есть советские войска.

Бойцы почувствовали облегчение. Но разведчики после долгого отсутствия вернулись ни с чем.

Капитан Никулин приказал спать. Все утихло, но в полночь караул поднял тревогу. Сонно переругиваясь в крошечной тьме, стали готовиться к бою.

Через несколько минут выяснилась причина тревоги. Оказывается, бойцы, отставшие во время отступления от своей части, в долгих поисках дороги натолкнулись на батальон. Они шли вместе с тяжелораненым младшим лейтенантом.

В течение четырех дней бойцы несли полуживого командира то на плащ-палатке, то на плечах. От голода и усталости они не могли говорить.

Наступил тусклый рассвет.

С опухшими глазами, грязными лицами, солдаты снова вышли в путь.

Раненого младшего лейтенанта, бледного, притихшего, несли на плащ-палатке. Это был совсем еще юноша, у которого даже не пробились усы. Его нежные, как шелк, русые волосы слегка трепал утренний ветерок. Сердце Бектемира сжалось от боли. Но чем он мог помочь ему, да и другим!

Аскар-Палван, взваливший на себя ствол пулемета, шагал тяжело, широко.

Впереди всех с полевой сумкой, свисавшей до самых колен, шел капитан. Он старался идти бодро, изредка украдкой поглядывая на бойцов.

Почти весь день не отдыхали. Разведчики донесли, что по всем дорогам беспрерывно двигаются вражеские машины, танки, пехота.

Никулин решил не выходить из леса. Но в какую бы сторону он ни направлялся, через некоторое время вынужден был менять курс. В лесу встречались бежавшие от врага старики, женщины, дети.

Они безнадежно сообщали одно и то же:

— Там немец!

— Туда нельзя... Там немец!

Аскар-Палван, стерев пот с пожелтевшего лица, прошептал на ухо Бектемиру:

— Пусть командир спрячет подальше компас и карту. Самый лучший путеводитель — это риск!

— К чему без пользы лезть в огонь головой? Сейчас нужно семь раз отмерить, один раз отрезать,— ответил Бектемир.

— Чтoб семь раз мерить, живот должен быть сыт,— проворчал Аскар-Палван.— Пустой мешок не будет стоять прямо. Не сегодня-завтра не останется сил даже стрелять из винтовки. Тогда что?

— Скажи командиру,— посоветовал Бектемир, не задумываясь.

— Язык-то чешется... да мало-мало боюсь. Сегодня он не в духе, злой ходит.

— Есть от чего злиться. На его бы месте...— Бектемир махнул рукой.

К вечеру в пути умер младший лейтенант. Осторожно опустили на землю его тело.

Бойцы начали рыть могилу.

Почти все участники похода многое повидали и испытали. Но сейчас в лесной тишине они с особой болью переживали смерть юноши.

Когда вырыли могилу, капитан Никулин опустил у изголовья, погладил широкий лоб командира взвода, его нежные, красивые волосы. Потом, поднявшись, усталым, хриплым голосом коротко сказал:

— Спи спокойно, дорогой товарищ. Отважный командир! Мы отомстим за тебя!

Между двумя стройными березами, на верхушках которых играл холодный свет, появился бугорок.

Ночью погода была ясной, морозной. Стояла та же тишина, только изредка доносилась далекая перестрелка.

На рассвете в разведку ушел Бектемир.

— Пройдешь в сторону дороги,— приказал комбат.— Узнаешь, что там творится.

Над деревьями поднимался легкий туман. Все было обычно.

Аскар-Палван неодобрительным взглядом проводил земляка.

## Глава десятая

Бектемир шел долго, пока не добрался до опушки леса. Сквозь редкие деревья виднелись домики. Расспросив женщину, которая отправлялась подоить спрятанную в ле-

су корову, Бектемир узнал, что немцы здесь проходили и могут появиться еще.

— Много их в этих местах. Очень много,— грустно произнесла женщина.

Бектемир попрощался. Он брел назад, низко опустив голову. Вокруг одни только немцы. Что делать?

Ему показалось, что он заблудился. Растерянный, голодный, усталый, он кидался в разные стороны. Не оставили его и далекие звуки короткой перестрелки.

Под вечер Бектемир натолкнулся на ориентиры, которые отметил еще утром, и вышел к поляне, где ночью останавливался батальон. Но здесь никого не было. Невдалеке он увидел рассыпанные гильзы, разбитый пулемет, несколько касок и следы крови. Значит, батальон вырвался отсюда...

Бектемир осмотрелся. Взгляд упал на тело бойца, лежавшего за гнилым пнем. Подбежал, поднял голову. Мертв. Пуля прошла через шею.

Бектемир знал этого солдата — грубоватого, но сильного и смелого. Вздохнув, он опустил его голову. Несколько поодаль среди травы и кустарника увидел еще троих убитых. Боец с трудом узнал в одном из них командира взвода старшего сержанта Степанова: так он был изуродован.

Ночь в лесу наступала быстро. Нужно было что-то решить, а Бектемир не мог отойти от этого места. Он забыл про всякую опасность. Почему-то место недавнего привала не отпускало от себя. Здесь, прислонившись к деревьям, отдыхали товарищи; здесь они встретили врага и некоторые из них погибли. Он отыскал лопату и начал рыть влажную, мягкую землю. Словно кто подгонял его, он работал напористо, торопливо.

Наконец, задышавшись, он выскочил из ямы и, притащив тела убитых, уложил их рядом.

Бектемир был спокоен. Только когда он засыпал могилу землей и перед ним вырос черный бугорок, солдат вздрогнул.

Пустынный, молчаливый лес показался ему таинственной могилой.

Повесив винтовку за плечо, даже не определяя направления, спотыкаясь, Бектемир побежал. Джигит в боях каждое мгновение встречался со смертью, но сейчас, похоронив товарищей и оставшись один в темном лесу, почувствовал себя так, будто под ногами извивались змеи.

Но вскоре Бектемир взял себя в руки. Им овладело преж-

нее спокойствие. Он тяжело бросился на траву и заснул как убитый.

Когда, вздрагивая от холода, он открыл глаза, над деревьями плыл густой туман. Все тело болело: покалывало, ныло. Трава под ним была мокрой. Закутавшись в шинель, он вновь улегся, свернувшись калачиком. Но и так было холодно. Бектемир поднялся, вытер рукавом виштовку. Клубившийся вокруг туман густой пеленой окутал промерзшего бойца. Вдруг до его ушей откуда-то издали донесся лай собак. Бектемир двинулся в ту сторону: где есть собака, там есть живые люди. Шел долго. Но нигде он не увидел ни признаков дороги, ни признаков жилья.

Голод давал о себе знать. Бектемир стал собирать с кустов и кидать в рот красные и черные ягоды — горькие, кислые. Но от этой пищи было не легче. Он словно напился укуса.

Вдали на косогоре, поросшем редким кустарником, Бектемир наконец заметил двух женщин и старика с узелками.

Это, должно быть, местные колхозники, бежавшие от немцев в надежде сохранить свою жизнь. Бектемир, радостный, бросился навстречу.

Но люди неожиданно исчезли.

Боец закричал изо всех сил и побежал, налетая на деревья. Под ногами хлюпала застоявшаяся вода.

Бектемир растерянно озирался по сторонам. Никого, ни единой души. Он чувствовал себя ребенком, который увязался с отцом в лес и где-то его потерял.

Боец прилег на косогоре, поросшем пожелтевшей травой, среди стройных зеленых елок. Отсюда можно было наблюдать.

Солнце вышло на нежный голубой простор из черных облаков. И лес загорелся, засверкал.

Стволы стройных берез стали серебристыми. Еще не успевшие опасть золотые листья загорелись яркими, слепящими глаз красками. Рослые сосны словно протянули свои руки к небу, казались еще более могучими и гордыми. Зеленые волны елок засверкали от света. На их ветвях, подобно звездам, замерцали капли. Даже кое-где торчавшие голые пни, словно греющиеся на солнце старики, ожили. Лужи засветились, погруженные в глубокую дрему.

Чабан Бектемир часто оставался в одиночестве среди каменных громад родных гор. Он привык в тишине предаваться своим мыслям и только в такие минуты испыты-

вал наслаждение. И сейчас он невольно залюбовался неизвестными ему раньше картинами поздней русской осени.

Осень. Пора разлуки, пора отделения созревших плодов жизни от своих корней. Время, когда все отходит ко сну, чтобы потом ожить с новой силой, заиграть новыми красками.

Ветер срывает последние листочки и, понграв ими в воздухе, медленно опускает на землю.

Высоко над лесом стаи каких-то незнакомых птиц плывут неведь куда в далекие, жаркие страны.

Пора разлуки, расставания...

Но в лесу жизнь еще дает о себе знать. Солнце, используя каждую возможность, выглядывает из облаков. От этого лес то переливается ярким светом, то погружается в печальные тени. С веток, подобно слезам, текущим из глаз матерей, падают капли.

Лес живет... Из-за пня появляется заяц с торчащими ушками и, подпрыгнув мячиком, скрывается среди кустов.

Отовсюду доносится мощный запах земли.

Бектемир, размотав спутавшиеся портянки, потер ноги и снова обулся. Надев каску на голову, он безнадежно посмотрел вокруг. Но на этот раз вдалеке, за реденькими деревьями, снова заметил силуэты людей.

«Это не солдаты. Это местные жители бегут от немца», — прошептал Бектемир. Сердце его забило сильнее, словно он увидел своих родных.

Боец вскочил и, сжав винтовку, побежал.

Петляя между деревьями, перепрыгивая через пни, он бежал к людям, которые были где-то совсем рядом.

С трудом ворочая языком, он хрипло закричал. Но в лесу одиноко зазвучало только эхо.

Так он бродил в глухом лесу и на другой день, пока не вышел к шоссе на дороге. Солдат заметил на обочине девочку трех-четырех лет. Бектемир, словно не веря своим глазам, остановился как вкопанный, потом подбежал к девочке. Посмотрел в ее маленькие прозрачно-голубые глазки, погладил прядки развевающихся золотистых волос.

— Буря смерти опрокинул могучие деревья, но смиловился над этим нежным ростком! — прошептал солдат.

Девочка внезапно закричала, стала вырываться из рук.

Бектемир опустил ее на землю. Девочка бросилась к женщине, которая лежала вниз лицом. Девочка пыталась поднять голову убитой.

Бектемир изменившимся от волнения голосом спросил:

— Доченька, это твоя мама? Ма-ма? Мама?

По пухлым щечкам девочки покатались слезы. Бектемиру все стало ясно.

— Мама твоя спит. Ничего, пусть поспит немного. Я тебя понесу вон туда, к папе. Хорошо?

Откуда-то донесся гул самолета. Девочка обняла колени Бектемира и спрятала голову в полы его шинели.

Бектемир поднял девочку с земли, прижал к груди и быстро зашагал.

— Не бойся, пойдем к папе. Знаю, папа твой хороший, он даст тебе сахар. Сахар сладкий...

Бектемир сделал всего несколько шагов по дороге. Но, заметив невдалеке немецких солдат, вбежал в лес.

Шагая по болоту, между кустарников, он остановился только под вечер. Опустив девочку на землю, собрал сухую траву, соорудил что-то вроде постели. Посадив девочку рядом с собой, прилег. Девочка, нахмурив брови, отвернулась. Она боялась незнакомого человека.

Бектемир дул на ее обледеневшие холодные ручонки, пытался согреть их, погладил головку.

«Чем бы утешить эту сироту, бескрылую, слабую птичку...» — думал солдат.

Пощелкал затвором винтовки. Потом надул щеки и, словно ударяя пальцами в бубен, стал выбивать какие-то странные звуки.

— Как тебя звать? Скажи, как звать? Скажи, как? Ну скажи же...

— Зиночка, — тихо ответила она с каким-то безразличием.

— А, Зиночка, хорошо! — обрадовался ее голосу Бектемир. — Теперь мы с тобой близкие друзья. Давай руку, Зиночка!

Девочка, вдруг положив головку на колени Бектемира, умоляюще попросила:

— Дай хлеба. Кушать хочу...

Сердце Бектемира сжалось. Если бы этот пленец попросил у него жизнь, он не пожалел бы. Но где взять хлеб? Он знал, что в мешке не только хлеба — крошек нет. От голода он сам еле держался на ногах.

Не зная, что ответить ребенку, он низко опустил голову, словно был в чем-то виноват. Похлопав девочку по спине, начал утешать:

— Зиночка, хлеб завтра... Дам большой хлеб. В деревне есть бабушка, сейчас печет хлеб. Все отдам тебе.

— А мама? Ей тоже дадим?

— Да, конечно, — с болью ответил Бектемир.

— А сейчас что будем есть?— широко открыв голубые глаза, спросила девочка.

— Сейчас? Сейчас будем спать.

Зина нахмурилась, скривила губки.

На фоне голубоватого неба с реденькими облаками замерла бесформенная тусклая луна. Бектемир словно впервые увидел ее. С интересом рассматривал, показывал девочке, будто чудную игрушку.

— Знаешь, что это такое? Видишь, блестит, а?

— Луна,— ответила Зина.

— По-узбекски — «аймума»,— сказал, смеясь, Бектемир и вспомнил детскую песенку:

Аймума пышки,  
Золотые крылышки...

От голода и усталости не было сил говорить. Он прикрыл одной рукой шинели девочку и сразу же заснул.

Когда Бектемир открыл глаза, шел дождь. Не спасли даже ветви деревьев: шинель промокла насквозь, по лицу стекали капли, вода по шее текла за ворот. Девочка, уткнувшись ему в грудь, плакала.

— Зиночка!— Бектемир встал с места. Повесил винтовку через плечо и, прикрыв голову девочки, поднял ее. В намокшем платье Зина совсем замерзла.

Холодный ветер, стонавший, как голодный волк, хлестал лицо. Лес гудел.

Шагая без дороги, Бектемир иногда по колено погружался в грязь, падал, опять поднимался.

Бектемир знал много сказок. В них герой шел по таким дорогам, где на каждом шагу подстерегали несчастья. У таких мест было название «Барса-Кельмес» — «пойдешь — не вернешься». Каких только мук и лишений не терпел герой этих сказок! Сейчас Бектемир был не в лучшем положении. Но в отличие от сказочных героев у него на руках еще голодный ребенок.

Бектемир решил дойти до какой-нибудь деревни и оставить там девочку. Почувствовав, что нужно отдохнуть, он остановился и тут же заметил построенный из зеленых веток треугольный шалаш.

В шалаше никого не было. Внимательно осмотревшись, Бектемир опустил девочку на землю.

— Тсперь отдохнем. Дождь совсем плохой, совсем плохой,— сказал он, глядя холодное, побледневшее личико Зины.

Девочка молчала.

Бектемир вытер винтовку. Сквозь листья и ветки текала и капала вода. А все-таки это было убежище! Через некоторое время солдат снял шинель, очистил грязь с ботинок и портянок.

Когда он вышел, чтобы наломать сухих сучьев, услышал пронзительный крик девочки. Хлюпая по грязи, побежал к шалашу.

— Что случилось, кузичогим? Испугалась? Я здесь, — ласково произнес Бектемир.

Зина плакала навзрыд, задыхаясь, как плачут, лишившись близкого, родного человека.

В горле Бектемира будто застрял комок. Солдат, еле удержавшись от слез, погладил головку девочки:

— Тихо. Не плачь. Сейчас огонь разведем. Тепло будет. Не надо плакать.

Бектемир сложил ветки посреди шалаша. В коробочке три спички, каждую нужно беречь.

Наглухо закрыв вход в шалаш шинелью, зажег спичку. Спичка вспыхнула и погасла. Следующая не пропала напрасно. Только пришлось дуть вовсю, прежде чем ветки с веселым треском загорелись. Бектемир посадил Зину около огня. Уселся и сам на корточки. На усталое и голодное тело огонь навевал какую-то опьяняющую усладу. Наполнив котелок дождевой водой, поставил его на огонь. Выпить горячего — об этом столько дней мечтал Бектемир. Девочка, заглянув в котелок, обрадованно захлопала в ладоши:

— Кашу будем варить?

Бектемир ничего не ответил, вздохнул. Затем поднялся с места и вышел.

— Только не плачь. Сейчас будем обед готовить.

Обошел вокруг шалаша, отыскал грибы. Вернулся с наполненной каской. Нанизав на деревянные вертелы мелкие грибы, поставил их на огонь. Этот «шашлык» оказался им очень вкусным. Зиночка ела с аппетитом. Бектемир впервые в жизни пробовал грибы. Он слышал, что грибы, зажаренные в масле, едят только весной, в мае.

Смеясь, он наставительно говорил девочке:

— Хороший шашлык. Лучше хлеба. Бери еще, бери.

Бектемир поджарил много «шашлыков», ел, пока не затошнило. Затем разжег костер сильнее, обсушил одежду. Чтобы позабавить девочку, он пытался показывать различные фокусы: подбросив угольки вверх, затем ловко поймав, перебрасывал их с ладони на ладонь. Этим сам



утешался, как ребенок. Тоскливое ощущение, тяжесть исчезли из груди.

Показалось, что темнота наступила внезапно. Уложив девочку и усевшись на корточки рядом, предался мучительно сладким думам. Припомнил свой кишлак, свою семью с многочисленной детворой. Ощутил тоску по Аскар-Палвану и другим землякам, по Дубову. Как-то особенно сильно стало жаль девочку. Решил, что никому не отдаст ее, принесет в свой батальон.

Чтобы не дать костру потухнуть, Бектемир понемногу подбрасывал ветви. Сквозь дождь и шум ветра донеслись глухие звуки. Боец внимательно прислушался: сомнений не было — перестрелка. Но где-то очень далеко. На всякий случай не спускал винтовку с колен.

Утром Бектемир снова поджарил грибы. Но девочка на этот раз не стала есть. Она только поморщилась.

Дождь прекратился. По небу лениво плыли караваны белых облаков. Солнце поднялось, сверкая во всем своем великолепии. Осень заставила сиять пламенем умытое, чистое золото леса. Капли сверкали сказочными лучиками.

Лес, зачарованный своей красотой, хранил гордую, печальную тишину. После ненастной ночи он пробуждался к жизни.

Вокруг уже звучали в холодном сверкающем воздухе голоса птиц.

Бектемир почувствовал облегчение. В улыбке каких-то внутренних сил и красоты этого пейзажа не было даже намек на кровь, несчастья и муки.

На войне приходилось Бектемиру видеть солнце померкшим и погруженным в тучи черного дыма, плотной пыли. В этот день солнце походило на его родное, которое живет в горах, купается в серебряных родниках. Оно было живым, ярким, красивым.

Солнце всегда рождало в душе Бектемира какую-то огромную силу. Однажды в летний день ему пришлось наблюдать солнечное затмение. По мере того как солнце уходило в тень, казалось, что с величавых гор, гордых скал, переливавшихся атласом зелени, исчезала жизнь. Казалось, что даже затихли веселые песни вод. Бектемир помнит, как подбежавший зоотехник сунул в руки Бектемира маленькое закопченное стекло и начал торопливо объяснять происходившее. Тогда джигит, не обнаруживая никакого желания слушать, только печально махнул рукой и удалился. Он жалел солнце, ему хотелось плакать.

Как все это было давно!

Бектемир, подняв девочку, уверенно зашагал по направлению к восходу солнца. Но вязкая грязь, бездорожье очень скоро утомили его.

К вечеру за поредевшим лесом сверкнула лента дороги, а за ней показались приземистые дома деревни. Крадучись меж деревьями, Бектемир подобрался к самому крайнему дому. Он ловко перескочил через низенький забор и очутился во дворе.

Кругом в беспорядке была разбросана хозяйственная утварь. Но двери дома оказались на крепком замке.

Бектемир вдруг услышал раздавшееся где-то рядом мычание.

— Неужели... — насторожился солдат. — Вот бы кстати...

Мычание раздавалось из подвала старого деревянного дома.

Бектемир бросился к дверце, с силой рванул ее.

Так и есть — в подвале стояла большая пестрая корова. Вымя ее набухло.

— Теперь, Зиночка, мы живем...

Радостный, возбужденный, солдат опустился на колени, чтобы подоить корову. Но котелка не оказалось: или забыл в шалаше, или потерял. Подоил во флягу.

Полную флягу, как бесценный подарок, он подал девочке.

— Пей! Это молоко лекарством будет.

Девочка с наслаждением жадно глотала теплое молоко. Затем солдат подоил корову еще раз и выпил сам; снова подоил, снова выпил.

Необыкновенная живительная сила вливалась в его тело.

— Колова! Колова! — весело повторяла девочка, пытаясь дотронуться до коровы, которая неодобрительно косилась на незнакомых людей.

— Ну как, Зиночка? Хорошо? — спросил Бектемир и шелкнул ее по животу. — Видишь, как надулся. Хватит на сегодня.

Теперь нужно было отыскать место для ночлега. Выбрал сеновал. Подперев дверь штыком, Бектемир зарыл девочку в толстый слой мягкого, приятно пахнувшего сена.

— Спи! Больше плакать не надо. Спи.

Бектемир надеялся, что если кто-нибудь из хозяев придет навестить корову, то встретит его. Тогда он и спросит, как обратиться к своим.

Солдат прислушивался к каждому шороху.

Ночью он услышал пьяные выкрики на незнакомом языке, ровный гул моторов, редкие автоматные очереди. Но вскоре все затихло.

Перед рассветом Бектемир спустился с сеновала. Во-

круг — никого. Бектемир спустился в подвал — коровы там уже не было.

«Или хозяева ночью увели, или стала кормом для фрицев, — с грустью подумал он. — Последняя надежда...»

Оставшееся молоко во фляге сохранил для Зины. Осторожно взяв сонную девочку на руки, он торопливо двинулся в лес.

Бектемир долго бродил среди деревьев, верхушки которых потонули в тумане. Сегодня солнце не улыбнулось даже на минутку. С каждым мгновением усталость все больше и больше прижимала к земле, ноги, казалось, тянули назад. Иногда Бектемир невольно падал на колени, смахивал ладонью с лица грязный пот.

— Я хочу молока, — стала тянуть Зина ручонки к фляге.

Бектемир разрешил девочке отпить несколько глотков.

Все становилось тяжелым. Невыносимо тяжелым.

Существует поговорка: «Нужный камень не обладает тяжестью». А сейчас даже собственное тело трудно было поднять.

Несколько раз Бектемиру приходила мысль бросить винтовку. Но принять такое решение он не мог.

— С ума сошел... — обращался к себе солдат. — Без винтовки не только немец — беззубый волк загрызет!

На следующий день, когда солнце уже опускалось, Бектемир прилег у подножия невысокого лесного холма на влажных пожелтевших листьях. Девочка, выпив последний глоток молока, сидела невеселая, втянув голову в плечики, словно мокрый воробушек.

На небе сгустились облака. Шелестя в листьях деревьев, начал накрапывать мелкий дождь.

Бектемир бросил взгляд на девочку. Ее круглое личико увяло, сморщилось, болезненно пожелтело.

«Если не найду гнездышка для этого воробушка, то грех на душу приму...» — подумал он.

В это время сквозь шум дождя и ветра он уловил чьето голоса. Бектемир приподнялся, встал на колени и, тяжело дыша, осмотрелся. Палец он держал на курке. Девочка, заметившая настороженность Бектемира, бросилась к нему на шею.

Боец поднялся, отвел Зину за толстые стволы упавших деревьев и предупредил:

— Тихо. Не плачь!

Потом стал искать глазами место, удобное для стрельбы.

Но вот среди качавшихся от ветра молодых деревьев показались русские бойцы. Их было четверо. Один прихра-

мывал. Русские слова зазвучали для Бектемира голосом святого Хызра. Нежданная, необычайная радость!

— Братцы!— во всю силу крикнул Бектемир.

Подхватив девочку, он побежал навстречу. Солдаты встретили Бектемира громкими возгласами:

— Ты-то откуда взялся?!

— Вот, леший, бродит!

Бектемир, размахивая свободной рукой, рассказывал о своих приключениях.

Один из бойцов — с перебинтованной рукой, высокий, нескладный, потеряв терпение, прервал:

— Кому ты говоришь? Кому не известна дорога отступления?! У нас спроси! А ну-ка, если есть табак, высыпай.

— Да, если б хоть по разочку затянуться, сразу легче стало бы,— сказал другой, усталый, с сонными глазами.

— Э... напрасно напомнили мне. Где возьмешь табак, когда его давно нет,— покачал головой Бектемир.

Боец, худой как щепка, по всему облику которого было видно, что он многое вынес, заинтересовался девочкой.

Дрожащими пальцами он погладил ее пожелтевшее личико и попытался заговорить с ней:

— Как тебя звать, скажи, девочка. Не капризничай.

— Зиночка, скажи. Это хорошие дяди...— попросил Бектемир.

Он опустил девочку на землю и коротко рассказал, как нашел Зину.

— Рядом с убитой матерью,— глухо заключил Бектемир.

Бойцы вспомнили оставшихся в далеких семьях своих детей. Высокий, с перевязанной рукой солдат сказал:

— Мои, сразу трое, в первый же день войны погибли. В первый же день.

Бектемир непонимающе посмотрел на солдата, но тот пояснил:

— Первые бомбы Гитлер послал на нас, браток. Прибежал я из военкомата, не могу найти свою улицу — кирпич, железо, дым, огонь. Как после этого не сошел с ума — не знаю...

— Друг, разве у одного тебя несчастье?!— посочувствовал Бектемир.— Все погрузились в реку печали...

Бойцы обращались между собой по-дружески. Только маленького, худого, легко одетого они называли почтительно: «товарищ майор».

Он держался более серьезно, и, хотя не командовал, а,

казалось, просто советовал, к нему прислушивались, его приказы выполняли.

Бектемир тоже обратился:

— Товарищ майор, не помрет ли она? Нежная, неокрепшая.

— Ничего. Вытерпит. От русского корня идет,— ответил майор.— Будет дочерью полка. Ну, отправились, товарищи, дальше.

Девочка ни к кому не захотела идти на руки, кроме Бектемира.

Бойцы посмеялись:

— Так ты любишь бородатую маму?

— Вот так подружился!

— Теперь с дочкой будешь, солдат.

Дождь то шел струями, то прекращался. Холодный ветер наполнял лес шумом, бесился, срывал листья.

Грязные, легко одетые люди шли, задыхаясь.

Всех давили голод и усталость. Только Бектемир сейчас чувствовал себя лучше, будто прибавилось сил. Теперь душа его была спокойна — рядом люди, друзья.

Куда идут они, верный ли путь, безопасный ли — он не думал. Важно, что вместе, что их несколько человек.

Бектемир искренне волновался за майора, который, поживаясь от ветра, шел, прихрамывая, покачиваясь от усталости.

Бектемир шепотом обратился к бойцу с книгой за ремнем. Этот боец казался самым молодым и жизнерадостным среди всех.

— Командиру надо дать шинель, пусть возьмет мою.

Тот покачал головой:

— Не возьмет. Упрямый человек. Тяжесть от нее, говорит.

— Это ваш командир?

— Нет. Три дня назад, вот как с тобой, с ним встретился. Удалось ему бежать из немецкого плена.

Бектемиру все стало ясно. Однажды, когда Дубов был в разведке, он вот так же нашел в овраге полуживого лейтенанта и притащил его на плечах.

Через несколько часов присели отдохнуть. Все молчали. Дремали полужега или склонив голову на колени.

Иногда девочка всхлипывала и снова слабо закрывала глаза.

Дождь прекратился. Только ветер ронял с деревьев холодные капли. Прошло довольно много времени. Молодой боец встал и обратился к майору:

— Похоже, что заночуем здесь. А что, если я все-таки разужнаю, нет ли поблизости деревни? Чувствую по запаху, что есть.

— Если уж по запаху, то разужнай,— устало улынулся майор.— Только далеко не отходи.

И майор снова закрыл глаза.

— Постой, и я пойду,— поднялся Бектемир.— Как вы думаете, товарищ майор, нужно не забывать и о животе. Если ничего не найдем, девочке совсем будет плохо.

— Если ничего не найдем пожевать, завтра мы и сами головы от земли не оторвем...— Молодой боец решительно встал.— Девочка будет без тебя плакать. Ты не ходи. Дай винтовку, если она исправна.

— В порядке,— Бектемир рукавом провел по затвору.— Берег се.

Боец ушел.

Майору совсем стало плохо, он начал бредить. Его уложили на ветки, накрыли шинелью Бектемира.

Темнота в лесу внезапно сгустилась, стало еще холодней. Решили разжечь костер.

Но довольно трудно было «выжать» огонь из зажигалки. Когда все уже потеряли надежду, неожиданно, как в чудесной сказке, сверкнул огонек.

Обрадованные бойцы уселись вокруг костра.

— Что-то нашего Глухова нет.

— Как бы не нарвался на фрица.

— Придет. Парень отчаянный.

Порой майор внезапно поднимал голову, в бреду называл незнакомые фамилии.

Солдаты замолкали.

В небе глухо, словно жужжанье ос в глиняном сосуде, раздавался однообразный гул самолетов. Они несли на своих крыльях пожар и смерть, несли все дальше и дальше в глубь страны.

Гул постепенно замирал. Изредка бойцы подбрасывали в огонь сухие ветки.

Когда начало светать, майор поднялся. Взглянув на шинель, он с упреком сказал Бектемиру:

— Спасибо. Но не забывай о собственном здоровье. Ночью, наверное, сам промерз.

— Нет, костер же горел. Тепло было.

— А, знаю узбеков. Вы же выросли под щедрым солнцем.— Майор протянул костлявые руки к огню.— Источник этого огня — тоже солнце. Деревья принимают тепло

от солнца. И когда горят, возвращают тепло людям. Понимаешь, природа очень интересна и мудра...

Бектемиру, простому чабану, эта мысль офицера очень понравилась. Глядя на яркий, веселый огонь, он долго думал над ней.

Майор осторожно размотал грязные тряпки на ноге и открыл рану. Бойцы невольно вздрогнули. Рана была страшной.

Бектемир не мог смотреть на нее, отвернулся.

— Как же вы ходите? Такой ногой и наступить нельзя.

Бойцы переводили взгляд с разлагающейся раны на спокойное лицо офицера.

— Немного лучше стало. Летом в ней черви кишели. В немецком лагере было около ста раненых. И каждый собирал червей. Такой воздух в бараке был, что вновь прибывающие сознание теряли...— майор говорил будто о чем-то самом обычном.— Надо ценить воздух, ребята. Свежий воздух леса — что может быть приятнее этого? Здесь и умереть не страшно. Вот только должок остался за нами для Гитлера. Одним словом, мстить надо. Это желание, как магнит, тянет к жизни. Поэтому боюсь умереть раньше времени.

— Месть! Узбеки говорят: «кровь». То есть кровь за кровь!— произнес Бектемир.— А кто будет мстить? Мы, мужчины, бродим по лесам, готовые спрятаться в любую норку. Кто загородит путь немцу? Матери, сестры выйдут, что ли, на поле битвы?

— Отступление — всё самое горькое в этом слове,— вмешался в разговор Пахомов, боец с широким, квадратным лицом.— Конечно, иногда невозможно не отступить. Но отступить, чтобы потом с новыми силами напасть на врага, а не затем, чтобы где-то прятаться. Сколько насмотрелся за это время...

— Ты думаешь, мы меньше, чем ты, видели? Когда состаришься, расскажешь, как сказку, внукам,— усмехнулся долговязый, до этого посасывавший в стороне какую-то дикую ягоду.— Ишь, тоже геройский подвиг совершили. Пятки смазали, и все тут...

— Если тебе не нравится, заткни уши пробкой!— раздраженным тоном произнес солдат.— А что «пятки смазывали», так надо выяснить, кто в том виноват. Отступление из всех уставов надо вычеркнуть. Мы должны учиться сами сжимать врага в кольцо огня. Вот товарищ майор говорил о мести. Я понимаю так, что мстить можно только наступаая.

— Верно,— подтвердил Бектемир, укладывая девочку на шинель.— Иди вперед, убивай врага, не страшась, что сам погибнешь.

Майор молча перевязал ногу. Он будто не слышал размышлений солдат о тактике, сидел наклонившись и копался палочкой в костре.

Неожиданно, не поворачивая головы, произнес:

— Военный совет закрыт? Прошу пару слов мне... Положение несомненно тяжелое. Партия в самом начале войны сказала, что страна под угрозой большой опасности. Немец на весах войны внезапно, разом бросил тяжелый камень, высоко подбросив нашу чашу вверх. Но он не смог опрокинуть эту чашу. Он рассчитывал поставить нас на колени в один день. Не вышло!

Бойцы слушали майора, следили за его рукой, которая продолжала палочкой ворошить костер. При каждом движении взлетали искры.

— Война идет не дни, а месяцы. Фашист разгневан. Постепенно его первые выходят из строя. Я это почувствовал в лагере. Был там один старый немец. Отличался от других мягкостью: бил пинками здоровых пленных, кричал на раненых — и только. А в последнее время и он взбесился. Однажды на наших женщин, которые умоляли проявить чуточку жалости, бросился с криком: «Есть ли в мире лучшее наслаждение, чем мучить вас? В ваших болотах погиб мой сын. Занимая Европу, мы даже мизинца не поранили. Виновата Москва. Почему не сдается? Мы не оставим ничего живого на русской земле».

Отодвинув подальше от огня больную ногу, майор чуть заметно поморщился. Но пожалуй, этого никто не заметил. Все сидели опустив голову.

— Подобно тому как от удара молнии опрокидывается дерево, Гитлер одним ударом намерен был свалить нашу страну,— продолжал майор.— А этот его план разбили в пух и прах.

— Пусть тысячу лет сверкают молнии, великая гора будет стоять,— решительно произнес Бектемир.

— Верно, джигит. Мы — гора,— подтвердил майор.— Огромная гора, но враг тоже очень силен. Доит всю Европу. Мы отступили. Страшно далеко отступили. Но я глубоко верю: армия наша закалилась в огне и мы раздавим проклятого.

— Ах, гадина, пусть, поганый, замерзнет под нашими снегами!— выругался долговязый.

Иногда в просвете облаков на мгновение показывалось



солнце. Лес был задумчив и молчалив. Только порой высоко-высоко слышался гул вражеских самолетов.

Девочка приглушенно плакала.

— Что с тобой, Зина?— успокаивал Бектемир.— Не нужно. Спи, спи.

Стремясь определить время, майор пристально рассматривал небо.

— Где сейчас Глухов, а?— наконец произнес он.— Куда его занесло? Уже прошло достаточно времени.

— Наш студентик, наверное, ушел искать тихую норку,— съязвил долговязый.— Надоело блуждать по лесу. Есть же места потише, поспокойней.

— Чепуха! Возможно, заблудился или упал без сил. Может, в руки немцам попался... Кто знает. Что ты мешешь, человека чернишь,— проворчал Пахомов.

— Ученый джигит он? Книжник?— спросил Бектемир.

— Видали мы таких книжников. В нашей роте был один,— не успокаивался долговязый.— Почти профессор. Пять языков знал. Когда поднимались в атаку, он нырял в пшеницу, кидался в яму. Однажды ночью исчез. Возможно, лижет тарелку у фрица.

— Нет. Глухов— парень с совестью. Это я с первого взгляда почувствовал. Мало ли что может случиться. Кругом враги. Если жив он, обязательно вернется. Обязательно,— твердо подчеркнул майор.

И действительно, не прошло и часа, как, задыхаясь, прибежал Глухов. За плечом винтовка, в руке немецкий автомат.

Все облегченно вздохнули. Пахомов из-под сурово сдвинутых бровей хмуро взглянул на долгоязого: вот как!

Глухов из всех карманов высыпал картошку и опустился на корточки ближе к огню.

Пахомов, любовно потрогав каждую картофелину, начал закапывать их в золу.

— Будет обед, друзья! Отведем душу.

— А ну, рассказывай,— попросил майор, с интересом осматривая автомат.— Диск не полон. Жаль.

— А ты молодец, Вася,— виновато улыбнулся долговязый, повернувшись к Глухову.— Признаюсь, я подумал... А ты пожаловал с едой, с трофеем.

— Ничего,— смущенный общим вниманием, отмахнулся Глухов.— Вчера я подобрался вплотную к одной деревне. Тихо в ней. Будто все вымерло. Но кто его знает, что за тишина. Спрятался у околицы. Не решаюсь подняться, пролскал так в траве черт знает сколько.

Лицо Глухова помрачнело.

— Сначала доносились до меня песни пьяных немцев, ругательства. А потом вижу — ведут пленных. Наших. Полуголых. Обессиленных. Конный конвой гонит, бьет нещадно. Люди падают, с трудом поднимаются, снова падают.

Глухов, кусая губы, повернулся к огню.

— Слезы на глазах... смотреть не давали, — сознался боец. — Провели пленных. Утихло. Вижу, женщина идет. Позвал ее, она от испуга чуть не упала. Потом пришла в себя, шепчет, что в деревне нет дома свободного от немцев. Но рассмотрела, видно, меня и говорит: подожди, что-нибудь найду, вернусь, когда стемнеет, жди. И ушла. Я лежал не шевелясь до темноты.

Глухов обвел товаришей взглядом.

— Ночью принесла кусок хлеба и вот эту картошку. Когда я увидел хлеб, не удержался. Схватил, начал есть, но тут вспомнил про нашу Зиночку. Вот, — вытащил он из-за пазухи черствый кусок хлеба.

— Сегодня праздник для тебя, Зиночка. Скажи спасибо дяде, — обрадовался Бектемир. — Но не все ешь. Плохо будет. Понемногу.

Глаза ребенка загорелись. Крепко сжав ручонками хлеб, она начала торопливо жевать.

— После этого, — продолжал Глухов, — решил я найти местечко поукромнее и потеплее. Вышел в поле. Залез в стог сена. Мягкое — как шелк, теплое — как шуба. Давно, даже не помню, с каких пор, не знал я такого сладкого сна.

Будто вспоминая приятные сновидения, Глухов замолчал, на миг прикрыв глаза.

— Проснулся от криков, высунул из стога голову. Уже светало. Недалеко от меня два немца грузили на телегу сено. Долго я их рассматривал. Сделал окошечко в своей норе и рассматривал. Вот первый угнал телегу. Другой, с автоматом на шее, с сигаретой в зубах, смотрел то на небо, то на лес. Я и решил пристукнуть его. Но нож у меня был плохой — им трудно зарезать даже курицу. Когда фашист стоял ко мне спиной, я посмотрел вокруг: ни души. Выстрелил. Он мигом повалился на землю. Я бросился к нему, схватил автомат и побежал.

— Когда врага убьешь, от радости как пьяный ходишь, — вмешался долговязый. — С ними так и нужно, с фрицами. На тот свет всех гнать.

Бектемир протер винтовку, с любовью осмотрел ее.

— Пришлось, значит, ей поработать, — улыбнулся он. Запах поджаренных картофелин шел из-под угольков.

Нахомов, обжигая пальцы, одну за другой вытащил их из огня и сложил в кучу перед майором.

Офицер разделил всем поровну. Несколько картофелин дополнительно отложил в сторону Бектемира.

— Твоей девочке особая норма. Храни. Будешь кормить ее, когда я скажу, но только при мне,— пошутил он.

— Я и свою норму готов отдать девочке,— серьезно заверил Бектемир.

— Знаю,— вздохнул майор.— Это я так. Ну что же, закусим.

— Вы себе еще возьмите,— предложил Глухов.

Бойцы поддержали его:

— Еще хотя бы пару картошек. Вам нужно.

— Из моих,— продолжал настаивать Глухов.— После вчерашнего хлеба я, как лошадь, силен.

Но майор наотрез отказался.

— Ешьте,— приказал он.

Горячие, с паром, картофелины обжигали рот.

Майор, опираясь на палку, с трудом встал.

— Что ж, товарищи, в путь.

Шли медленно за майором, принаравливаясь к его шагам. Сегодняшний путь оказался беспокойным. Издали раздавался хриплый лай собак, иногда в воздухе слышались винтовочные выстрелы и автоматные очереди.

К вечеру бойцы чуть не наскочили на немцев. Только темнота помогла вовремя отойти.

Ночевали в овраге. Вчерашний костер, картошка теперь казались сном.

На другой день бойцы два раза вели короткую перестрелку с мелкими группами гитлеровцев, шнырявших по лесу.

Доносилась орудийная пальба. Значит, фронт был не очень далеко.

Подобно лошадям, которые, приближаясь к дому, более усердно устремляются вперед, все зашагали проворнее, быстрее.

Прошла еще ночь. Опять холодная и голодная. На рассвете Глухов вновь ходил в разведку. На этот раз вместе с долговязым.

Они, как им казалось, нашли более безопасное и верное направление.

Надо было перейти через речку. Персправляться решили с наступлением темноты. Вода, как ночь, чернела в угрюмом молчании.

— Глубина?— шепотом спросил майор у Глухова.— Проверил?

— На середине примерно по грудь,— уверенно ответил Глухов.

— А потом куда поведешь нас, разведчик?

— Один старик сказал, что за рекой фашистов мало, нет больших дорог. Куда бы ни пошли — все равно мы должны перепрыгнуть через эту преграду. Завтра кто-нибудь из местных жителей укажет дорогу,— ответил Глухов.

— Та сторона мне хорошо знакома,— произнес долговязый.

Он уже разделся. Связал шинель, гимнастерку.

— Ты возьми ее,— протягивая девочку Глухову, попросил Бектемир.— Я подниму командира. Нет, товарищ майор, не упрячьтесь: вы больны.

— Девочка может плакать, а нам нужна абсолютная тишина,— предупредил майор.

Глухов, не говоря ни слова, взвалил на плечи легкое тело офицера и медленно вошел в воду. Подняв девочку над головой, по самую грудь погрузился в волны реки и Бектемир.

Холодная вода, словно лезвие алмаза, резала тело. Вдруг с противоположного берега застрекотал пулемет. Бектемир слышал, как ахнул долговязый и нырнул в воду. Глухов шумно кинулся назад к берегу. Пули со свистом рассекали воду.

Бектемир вначале растерялся, а потом тоже бросился к берегу. Но, соскользнув с влажного, мокрого склона, шлепнулся в воду. Захлебываясь, он все-таки поднялся, одной рукой швырнул на высокий берег одежду, другой обнял плачущую девочку.

На противоположной стороне реки послышалась ругань Нахомова. Он открыл огонь из трофейного автомата. Но должно быть, упал под пулями, больше его голоса не слышали.

Бектемир с девочкой подполз к Глухову:

— Что будем делать? Как майор?

Глухов сквозь зубы произнес:

— Кончено.

— Как? Почему кончено?

— Умер... Дай винтовку!

В этот момент немецкий пулемет умолк.

— Рус, сдавайся,— послышался голос.

— Ишь чего захотели,— пробормотал Глухов.

Бектемир, прижавшись к земле, хотел было стрелять туда, откуда раздавался голос.

Но винтовка отказала: побывала в воде.

Вновь застучал пулемет.

— Что с другими?— спросил Бектемир.

— Кудрин ушел под воду, как камень... Пойдем отсюда. Зачем подставлять голову под огонь,— поторопил Глухов.

— Да, нужно идти, пока не поздно,— согласился Бектемир.— Поднимай командира!

Вражеский пулемет долгое время не умолкал, но бойцам удалось отойти довольно далеко. Глухов, стукнувшись головой о дерево, зашатался и чуть не упал.

— Сюда и шайтан не сможет добраться,— тяжело дыша, произнес Бектемир.

Положил на траву тело майора. Развесили на деревьях мокрые, тяжелые шинели и гимнастерки.

Девочка бессильно плакала. Одежда ее промокла насквозь.

— Все тело — как лед, голова горит.— Глухов обратился к Бектемиру:— Что будем делать?

— Твоя шинель сухая, пусть и Зиночка ляжет.— Бектемир раздел девочку и уложил рядом с Глуховым.— Заверни хорошенько!

Девочка заплакала громче.

Бектемир утешил ее:

— Спи. Утром, как только раскроешь глаза, я дам тебе большую картошку.

Бектемир от холода дрожал словно в лихорадке. Если бы были спички или зажигалка, то, махнув рукой на всякую опасность, развел бы костер.

Наконец он набросил на плечи затвердевшую на ветру шинель и, словно подкошенный, упал ничком.

В утреннем тумане бойцы принялись штыком и ножом рыть могилу.

— На чем он только держался? Еле дышал, а боролся против смерти...— сказал Глухов и посмотрел на Бектемира.

— Ну, а кто нас с тобой зароет?

— Будем надеяться, что поживем еще.— Вдали раздался артиллерийский гром.— Слышишь, проснулся бог войны. Был у меня один друг, Аскар звали. Большой паван. Богатырь, по-вашему. Как только начиналась артподготовка, он говорил: «Раскрылись ворота ада!»

— Артиллерия в пыль превращает камень, железо про-

глатывает, сметает с лица земли города,— устало согласился Глухов.

Перед тем как зарыть труп, долго рассматривали документы майора. Снова и снова с большим вниманием перерыли его одежду. Только на груди нашли небольшой, тщательно завязанный узелок с горсткой земли. Оба бойца с минуту молча смотрели друг на друга.

— Понял ты?— печально спросил Глухов.— Когда он отступал или уходил из родного города, для памяти взял горстку земли. Это ясно.

— Верно говоришь,— кивнул головой Бектемир.— Солдат любит свою землю. Табаррук, говорят узбеки.

— Что?

— Табаррук. Как по-русски, не знаю. Самое дорогое, значит.

Глухов положил узелочек на грудь командира.

— Ее, как подушку, надо положить под голову,— посоветовал Бектемир.

Глухов покачал головой:

— Если он до самой смерти носил в сердце любовь к земле, то пусть и спит, вечно храня эту любовь на своей груди!

Они опустили в могилу тело офицера и молча засыпали.

В лесу прибавилась еще одна могила...

Глухов смастерил скромную деревянную звезду, огрызком карандаша, коротким, как сустав пальца, покрасил ее и, прикрепив к палке, воткнул в могилу. Затем на дощечке величиной с ладонь написал: «Майор Иван Андреевич Дробов — славный воин и патриот русской земли».

Девочка, по самую шею закутавшаяся в шинель, осторожно ела картофелину.

— Уже без приказа майора,— кивнул Глухов.

Зина смотрела на таинственное занятие старших. Но ее не заинтересовало даже, как игрушечная звездочка, слегка покачиваясь на ветру, появилась на бугорке.

Перед тем как уйти, бойцы с обнаженными головами на мгновение замерли над могилой.

— Прощай, товарищ майор.— Глухов резко повернулся:— Ну что ж, пойдём.

К полудню небо стало ясным. Под осенним солнцем чутко дремали золотые листья. Откуда-то из-за леса, клубясь, поднимался густой дым.

— Горят, все время горят деревни,— покачал головой Глухов.

— Вся земля горит,— прошептал Бектемир.

Иногда доносились отрывки немецких песен, гул машин. Все это заставляло соблюдать особую осторожность.

Силы бойцов были на пределе. Приходилось часто отдыхать. Но после каждого привала трудно было подняться — земля снова тянула к себе.

На другой день бойцы в лесу встретились с худым, оборванным мальчишкой лет двенадцати-тринадцати, в шапке, сдвинутой набекрень.

— Здравствуйте, товарищи бойцы! Куда путь держите?— деловито, подражая взрослым, спросил он.

— Ну а сам-то ты кто? Хозяин леса? Если так, пора-дуй чем-нибудь,— улыбнулся Глухов.— Сам знаешь, что нам нужно.

— Знаю. На восток вы ищете путь, пойдемте, я покажу. Чем вас еще порадовать?— подмигнул мальчишка.

— Да ты настоящий хозяин леса и к тому же все понимаешь,— похвалил Глухов.

Они присели возле большого старого пня. Мальчишка, ни слова не говоря, достал из кармана горсточку махорки и клочок газеты. Глаза бойцов загорелись.

— Золотой мальчик ты, видно по твоему подарку,— обрадовался Бектемир.

Курили втроем. Бойцы с наслаждением затягивались, а мальчик между тем начал рассказывать о своих делах.

— Я отсюда уже многих выводил. Даже целый отряд как-то вывел,— просто, как о чем-то обычном, сообщил он.

— Давно?— поинтересовался Бектемир.

— Нет. Совсем недавно. Много наших ходит по лесу, по болотам. Бегут из плена. Вот их и вывожу.

— Молодец!— откровенно восхитился Бектемир.— Настоящий герой.

Мальчишка покраснел.

— Ну что вы!

— Сам-то ты не попадал в руки фашиста?— спросил Бектемир.

— Фашист — настоящий дурень.— обжигая пальцы, докурив мальчишка самокрутку.— Обмануть его можно. Когда не надо, он осторожничает. Но чаще всего не видит опасности под самым носом. Думает, что уже хозяином стал.

Мальчишка неожиданно вздохнул.

— Недавно расстреляли моего друга Костю. Он ночью привел в деревню раненого бойца.— Совсем по-взрослому добавил:— Что поделаешь. Каждого на свете ждет смерть.

\*Но я мечтаю, чтоб моя голова дорого обошлась. Пойдемте, товарищи, мы здесь не в гостях у бабушки. Ах, бедная девочка, как она сжалась. Может, я понесу ее?

Бектемир отрицательно покачал головой:

— Не надо. Я привык уже.

Глухов, смеясь, предложил:

— Веди, генерал, с тобой можно идти на край света.

— Зачем же на край,— тоже улыбнулся мальчишка.—

К своим пойдем.

Он привел бойцов в овраг.

Под низкими деревьями у переплетающихся кустарников сидела группа бойцов.

— Ого, пополнение!

— Еще воинство прибыло.

— Откуда, товарищи?— шумно встретили они Бектемира и Глухова.

Усталые, плохо одетые, грязные, были они из разных частей. Бектемир заметил, что голова и лицо одного солдата перебинтованы. На повязках других бойцов темнели бурые пятна запекшейся крови.

Мальчик обошел и по очереди насыпал на ладонь всем по щепотке табаку.

— Ну, Миша, не знаю, как тебя благодарить. Иди-ка, поцелую тебя разок,— произнес огромного роста боец.

— Эх, ты настоящий герой! Век тебя не забудем,— похвалил другой.

— Если бы я был Михаилом Ивановичем Калининым, то собственными руками украсил бы твою грудь орденом!

Миша словно не слышал этих похвал, продолжая рыться в своих карманах. Он достал обоймы, которые положил на колени черноволосому, с большими глазами сержанту.

— По пути насобирал. Очень много было. Но опасный товар. Если фашист найдет хотя бы один патрон, он целый диск в твою грудь выпустит.

— У нас есть три винтовки. Теперь они оживут. Твоя винтовка действует?— обратился грузин к Бектемиру.

— Если бы не работала, зачем бы мне таскать ее?— обиделся Бектемир.

Глухов, подсев ближе к сержанту, начал расспрашивать его:

— Давно вы здесь?

— Второй день, но отсиживаться не собираемся. А вы откуда?

Глухов стал рассказывать.



Бектемир отдал девочке последнюю картофелину. Она быстро съела ее.

Бородатый, полный боец, наблюдавший эту сцену, ласково обратился к девочке:

— Ага, сладкая! Как мед. Губки оближешь, доченька. В тяжелые дни ты встретишься. А то не только тебя, целый батальон накормил бы.

— Ты поваром был?— поинтересовался Бектемир.

— Да, пришлось.

— Значит, потолстел за наш счет!— раздался добродушный голос.

Эту шутку подхватили другие:

— Видно, не обижал себя.

— Вот какие неблагодарные!— обиделся бывший повар.— На войне — мое дело самое рискованное. Не понимаете? Под огнем готовь им пищу. Мало того, еще нужно было везти на передний край. Вовремя доставить пищу бойцу — это все равно что своевременно обеспечить передовую боеприпасами, а может быть, даже важнее. Звание только наше — повар. А сколько раз участвовал в боях, ходил в атаку. В один день как-то с полковым парикмахером мы в течение трех часов отражали атаки более чем двадцати автоматчиков. Те, как барсуки, попрятались в ямы. Некоторые смельчаки как, бывало, увидят — восхищаются. «Ох и повар!» Вот так-то.

Бойцы утихли, насторожились.

Где-то началась автоматная стрельба. Нужно было менять место. С наступлением темноты тронулись в путь.

Миша вел осторожно, но уверенно. Шли всю ночь по болотам. Вода надоедливо хлюпала под ногами.

— Все-таки придем на край света,— невесело пошутил Глухов.

Миша сделал вид, что не слышал его.

День провели под деревьями — лежали, дремали.

Мальчишка не отдыхал. Он снова ушел, решив заранее разведать дорогу.

Явился он с буханкой хлеба и куском сыра. К тому же еще Бектемир поймал раненого зайца.

Повар, смастерив очаг, стал варить зайца в котелке.

Летевший низко самолет, должно быть, заметил дымок и на всякий случай дал несколько пулеметных очередей.

Когда утих гул самолета, Бектемир, подняв голову, позвал повара. Но тот, вытянувшись около очага, лежал мертвый.

С наступлением сумерек снова началось, по выражению Бектемира, путешествие «по волосяному мостику».

Сержант пояснил, что если придется внезапно встретиться с врагом, то Миша с девочкой должен спрятаться.

Мальчишка неопределенно пожал плечами: там видно будет.

Где-то недалеке, вероятно, шел бой. Долетали трескотня пулеметов, гулкие взрывы снарядов.

Ветер приносил дым горевших деревьев. Оттого, что Миша обещал еще до рассвета провести бойцов к своим, они из последних сил стремились вперед.

В полутьме их остановил предупреждающий голос:

— Стой! Кто идет?

Бектемир, услышав русскую речь, невольно крикнул:

— Братцы! Мы...

Далеко от передовой линии, в лесу, возле большой деревни, расположились сотни бойцов, собранных из самых различных подразделений. Эти солдаты еще недавно бродили по лесам, выходили из окружения. Сейчас они были среди своих. Все чувствовали себя сильнее, спокойней. Это чувство испытал и Бектемир.

Он от радости забыл про усталость и голод. Хотелось поговорить, многое узнать.

— Не ели небось?— участливо спросил незнакомый старшина.— Ну, это мы поправим.

Им дали хлеба и колбасы.

Колбаса показалась вкусной, как казы.

После такого обеда, о котором Бектемир в последнее время только мечтал, он обратился к девочке:

— Вот мы и добрались, Зиночка. Сейчас я оставлю тебя медсестре. Она хорошая. Будет кормить тебя сахаром, молоком, печенье будет давать. Поняла? Согласна? Ну, скажи.

Девочка, сдвинув брови, задала вопрос:

— А ты тоже останешься?

— Нет, дядя должен воевать. Вот этой винтовкой я буду бить фашиста. Фашист плохой. Очень плохой.

— Он летает?

— Да. И по земле ходит, и по небу летает. Черные крылья у него.

Бектемир поднял девочку на руки и, расспросив, где санбат, отправился туда.

По дороге он наткнулся на генерала...

Бектемир торопливо опустил девочку на землю и отдал честь.

— Девочка чья?— резко спросил генерал, указав на побледневшего, дрожащего ребенка.— Возьми! Возьми быстрее на руки.

Подняв девочку, Бектемир улыбнулся, обращаясь к ней:

— Поздоровайся, Зиночка, поздоровайся. Это хороший дядя.

Генерал осторожно поцеловал маленькую, нежную руку девочки, которую она протянула пугливо.

— Рассказывай!— обратился генерал к Бектемиру.— Судя по виду, тебе пришлось на многое насмотреться.

Коротко, в нескольких словах, стараясь выражаться ясней, Бектемир рассказал о приключениях последних дней.

— Знаю, все знаю, тяжелые дни переживаем...— произнес генерал.— Спасибо тебе... Зиночку сдай в сабат. Пусть вымоют, накормят.

— Есть, товарищ генерал.

— Ну, до свидания, Зиночка. Глади веселее, поправляйся.

Девочка хотела улыбнуться, но не сумела. Только дрогнули губки.

В землянке боец рассказал историю Зиночки. Женщина, у которой поверх белого халата висела большая кобура с пистолетом, слушала, разглядывая девочку.

Несмотря на молодость, лицо женщины было покрыто морщинками.

— Что же мы будем делать с этой крошкой?

Медсестра устало опустила на табурет, потеряла виски.

— Сами кормите или отдайте кому-нибудь из местных жителей,— нахмурился Бектемир.

Он ожидал более теплого приема.

— Как мы будем кормить? Положение знаете? Каждая минута на учете.— Женщина вздохнула, поднимаясь с места.— У себя оставить мы ее не можем. Поместим куда-нибудь. Отправим в глубокий тыл.

— Хорошо! Спасибо!— обрадованно произнес Бектемир.— Но, товарищ сестра,— куда вы поместите ее?

— Будьте спокойны. Много сейчас таких крошек, сирот.

Зина, ничего не понимая, с интересом рассматривала землянку.

— Ну, милая девочка, как тебя зовут? Иди ко мне, я тебе конфетку дам. Вот, вот, возьми!— Медсестра, обняв девочку, поцеловала ее, погладила по волнистым волосам.

— В глубокий тыл? А в Узбекистан? Можно?— ожившись, спросил Бектемир.

— Ты из Узбекистана? Можно. Слышала я, что таких детей отправляют в Узбекистан.

— Товарищ санитарная сестра,— волнуясь, произнес Бектемир.— Отправьте в Узбекистан. Прямо в наш дом. Мать есть, сестра есть. Богатый колхоз. Воды много. Мука в мешках, масло в корчагах...

Все, кто находились в землянке, подошли поближе.

— Скажи свой адрес. Думаю, это возможная вещь.

Взяв бумагу и карандаш, медсестра приготовилась записывать.

— Ты имеешь право быть настоящим отцом.

Бектемир, обрадованный, так подробно продиктовал свой адрес, что все рассмеялись.

Медсестра приказала молоденькой девушке в грубых кирзовых сапогах:

— Отнеси эту крошку. Дай каши, но немножечко. Искупи в теплой воде, постирай одежку. Потом уложи спать.

Бектемир поцеловал ребенка, погладил ее ручонки.

— Зиночка, до свидания! Будь здорова!— сказал он дрожащим голосом.

Девочка, скривив губки, заплакала и потянулась к бойцу. Медсестра повернулась и торопливо ушла, топая грубыми сапогами.

Бектемир смотрел вслед, глаза его невольно заблестели.

— До свидания, Зиночка,— сказал он еще раз и вышел из землянки.

Почти ежечасно из леса подходили бойцы. Иногда они шли группами.

— Свои... Здесь...

Раздавались вопросы:

— Из какой части?

— А ты не знал капитана?

— Кто у вас командовал?

— И вы из окружения?

Почти у всех на лицах можно было видеть следы пережитых мук, трудностей и лишений. Некоторые, словно не веря тому, что вышли здоровыми, откуда, казалось, не было возврата, вначале растерянно осматривались по сторонам, потом бросались к незнакомым солдатам с вопросами.

Долго расспрашивал бойцов о своей части, о товарищах и Бектемире. Но ничего не узнал.

— Будете в роте у Бодрова,— занося в списки фамилию Бектемира, сказал старшина.

Командир роты оказался франтоватым, подтянутым, чистеньким, словно только что из бани.

Он испытующим, острым взглядом осмотрел Бектемира: — Пуговицы! На пуговицы свои взгляни. Надо почистить. Что это такое? Приведи себя в порядок и отдохни.

Бектемир почистил одежду и, усевшись на пень, крепко пришел пуговицы.

Он снова вспомнил девочку. Представил ее в своей семье, среди поднявших крик и визг, не знающих русского языка детей, и улыбнулся.

«Военное время,— размышлял Бектемир.— Если в доме не осталось мужчин, то глаз у женщины становится недалеким. Как там встретят Зиночку?»

— Даже одному птенцу надобны и зерно и вода,— часто говорила мать Бектемира.

Взяв бумагу и карандаш, боец написал письмо:

*«Мир и привет нашему уважаемому отцу, любимой матери, дорогим братьям — Тахиру, Кадыру, сестричке Зайнабхон, невесткам, племянникам, тете Таджихан. Такое слово хочу сказать вам, что я жив-здоров, и вы будьте живы-здоровы. Аскар-Палван и Али здоровы. Не беспокойтесь за нас. Сколько писем писал я вам, но от вас нет вестей. Прибыли, да, видно, трудно дойти им до меня. Соскучился. Снитесь мне. Когда уничтожим Гитлера, снова увидим друг друга. Любимые, я прошу вас: примите, согрейте русскую девочку по имени Зиночка. Она сирота: мать ее осталась под бомбой. Я избавил эту девочку от смерти. Умоляю, чтобы вы любили ее и берегли, как свое дитя.*

*Всем знакомым, друзьям, приятелям передайте мой привет.*

*Бектемир».*

Разузнав, как можно отправить письмо, он отдал его.

Выспавшись, отдохнув, солдат привел себя в порядок и отправился в землянку, где размещался командир роты Бодров.

## Глава десятая

В суматохе ночного боя Али случайно попал в расположение соседней части. Утром в коротком, но яростном столкновении с врагом эта часть была разбита.

Когда перестрелка закончилась и бойцы вышли на дорогу, они долго не могли выбрать нужного направления. По их представлению, везде были немцы.

Из-за леса неожиданно с воем вырвался вражеский самолет. Как только Али услышал этот вой, тут же исчез под маленьким мостиком, перерезавшим шоссе на дорогу.

Хорошо, что под мостиком не было воды. Положив голову на мягкую глину, он замер.

Пулеметные очереди и рев моторов прорезали воздух. Когда все стихло, он выскользнул из своего убежища. Очистив лицо от глины, осмотрелся вокруг.

Четыре бойца лежали без движения. Али с трудом поднял трупы, уложил их в стороне, на чистой граве.

Взяв горсть земли, он подул на землю и высыпал ее на бойцов.

На извилистой дороге валялись трупы лошадей, искорканные машины, ящики с боеприпасами. Вдали, справа, над насыпью железной дороги поднималось пламя и дым — на станции был пожар. Свернув с дороги, Али долго шел и остановился лишь в конце поля неубранной пшеницы.

Здесь было тихо. Гул пушек едва доносился из-за горизонта.

— Хватит! — прошептал Али. — Избавился от огня! Разве мой отец солдатом был? Или бедная мать моя родила меня, чтоб я сгорел в пучине огня?

Теперь он чувствовал себя свободным от каких бы то ни было тревог. Он жил одним желанием — попасть в теплый, жилой дом, посидеть у семейного очага. Это желание стало настолько сильным, что Али считал его вполне выполнимым.

Кто двигается, тот и через холмы перемахнет. Что такое путь для идущего?!

К вечеру Али вышел на немощеную дорогу с колдобинами, рытвинами, ухабами. Дорога стала подниматься на возвышенность. Боец внимательно посмотрел вокруг. Напротив на пригорке разместилась маленькая деревушка, а внизу, лениво извиваясь, текла речка.

«Довольно тихий, приятный кишлак, — подумал Али. — Отдохнуть бы».

В предвкушении отдыха боец ускорил шаг. На окраине деревни он постучал в первый дом. Дверь приоткрылась, и Али увидел женщину с пышными русыми волосами, с мягким взглядом.

Али с интересом рассматривал миловидную хозяйку и ничего не говорил.

— Откуда вы? Что вам нужно?— побледнев, спросила женщина.

— Мен кизил аскар \*. Товарища нет. Много ходил. Устал...— опустив голову, ответил Али.

Женщина посмотрела вокруг и, убедившись, что никого нет, позвала:

— Входи! Быстрее входи.

Едва Али успел переступить порог, хозяйка захлопнула дверь и шелкнула задвижкой.

— Как ты оказался здесь? Со вчерашнего дня в деревне хозяйничают немцы. Тебя никто не заметил?

Хотя в темной передней Али уже не мог видеть лица хозяйки, но по голосу чувствовал ее волнение.

— Хозяйка, куда я пойду, везде фашисты... Устал я.

Женщина молчала, словно обдумывала, что делать с неожиданным гостем.

— Все понимаю. Тяжелые времена,— наконец сказала она.— Когда преградим дорогу этому горю?

— Очень трудно, хозяйка. Совсем дело плохо. Машин у них много, в божье поле не вмещаются. И каждая до самой крыши. И железо, и камень уничтожает. А что человек? Горсточка костей. Понимаешь ли ты, хозяйка?

— Понимаю. Все понимаю. Что ж, проходи.

Али вошел. Посредине просторной комнаты с маленькими оконцами и низким потолком за простеньким столиком сидел мальчик лет шести-семи — рыжеволосый, с ясно-голубыми, как южное небо, глазенками. Он катал по столу сломанную, без колес, машину. Мальчик взглянул на Али с удивлением и серьезно спросил:

— А где же письмо?

Али понял этот вопрос и начал утешать мальчика:

— Папа твой молодец. Он бьет фашистов. Некогда ему писать. Ты пиши ему.

Для мальчика, уже несколько дней находившегося взаперти, нашлось наконец развлечение. Он начал с искренним любопытством сыпать вопросы о войне, танках, самолетах, пока мать не запретила ему:

— Володя, хватит. Дядя устал. Ему отдохнуть надо.

Али попросил воды. Первым делом он хотел умыться.

Женщина принесла воду в медном чайнике и таз. Али

---

\* Мен кизил аскар (узб).— я красноармеец.

снял каску, положил на стол, полкой шинели вытер грязное лицо и опустил на табуретку.

— Мойтесь,— пригласила хозяйка,— пожалуйста.

— Рахмат, хозяйка, рахмат. Трудные времена. Твой хоз-яин тоже на фронте?

— Да, все на фронте. Ни письма, ни весточки,— тихо ответила женщина.— И ничего не поделаешь. Если бы не мальчик у меня, я бы тоже отправилась на фронт.

Али пощипал свои желтые усы. Он понял намек женщины.

— Да,— кивнул он головой, задумавшись.— А к своим можно выйти отсюда?

— Можно.

Али встал, умылся. Вскоре хозяйка принесла хлеб, поставила на стол молоко.

— Садитесь, закусывайте.

Али с чувством благодарности взглянул на хозяйку, потом на стол:

— Рахмат. Давно я так не кушал.

Но ел он неторопливо, соблюдая приличие. Используя весь запас русских слов, Али хотел много рассказать доброй, гостеприимной женщине.

— Я... Очень издалека. Узбек. Четверо детей у меня. Марджа тоже есть. Как ты...

После еды боец громко крикнул. Его начал одолевать сон. Кинуться бы сейчас на пол и замереть, словно камень!

Али смущался. Он потер пальцами глаза, посмотрел на закрытую занавесью маленькую дверь, на небогатую обстановку.

Кроме стенных часов, на цепочке которых висели гирька и большой ключ, все остальные предметы боец различал довольно смутно.

Перед глазами его возникли стенные часы в чайхане. Там цепочку оттягивал кукурузный початок. Али вспомнил чайханщика Турды-пучука, который, когда на полях наступала страдная пора, а в прохладной чайхане некоторые люди без конца беседовали за чайником наваристого зеленого чая, обыкновенно напоминал:

— Эй, хорошие! На свете есть так называемые часы.

Это значило, что всему свое время, что не надо забывать о совести, пора на работу.

Воспоминания оборвались. Почти под самыми окнами с громким тархтением промчался мотоцикл. Али вздрогнул, а хозяйка, осторожно приблизившись к окошку, отвернула край занавески.



Пригрозив пальцем Володе, который, рванулся было к двери, она выглянула на улицу.

Али не двигался.

— Проклятых, должно быть, больше стало,— спокойно сказала женщина.— Вчера после полудня целая орава их, пьяных, с криком и шумом вошла в деревню. Многие люди, покинув дома, с самого утра бежали в лес.

Задернув занавеску, хозяйка отошла от окна.

— Лошадь убили,— продолжала она рассказывать— Все, что было в правлении колхоза, выбросили на улицу. Разграбили магазины. Правда, в дома не вошли. Вечером большинство из них куда-то исчезло. Остальные всю ночь варили еду и стреляли из автоматов. Фашист, оказывается, до еды охоч больше свиньи. Яичной скорлупы только за одну ночь, говорят, набрался целый мешок.

— «Обжора в хаит помрет», говорят узбеки,— жестикулируя, с трудом объяснил Али.— Сейчас у немца хаит. Даровая еда. До тошноты будет есть.

— Набросились они. Ничего не скажешь.

В окно кто-то постучал. Вероятно, стук был условным, потому что хозяйка, не раздумывая, кинулась к двери.

Али спросил, что делать, но женщина жестом успокоила его.

Протирая сонные глаза, боец прислушался. В прихожей хозяйка кого-то по-матерински упрекала:

— Где тебя носит? Сейчас такое время, что не решишься даже на соседей украдкой посмотреть!

— Ничего не случилось,— раздался другой женский голос.

В комнату вошла девушка. Ее красивые волнистые волосы выбивались из-под берета и почти закрывали весь лоб. Белое, открытое лицо выражало тревогу, волнение.

Девушка сняла короткое, старенькое, но чистое пальто и повесила его. Потом сняла берет и бросила его на комод. Привычным движением привела в порядок волосы.

Повернувшись к Али, словно к старому знакомому, протянула руку:

— Здравствуйте.

Ответив на приветствие, Али молча рассматривал девушку.

Она присела к столу и тоже внимательно осмотрела солдата.

Али даже смутился.

— Отступаем, товарищ боец, да?— вдруг спросила она.

Али ничего не сказал, только слегка кивнул головой.

— А куда отступаем?

— Довольно тебе, Надюша,— вмешалась хозяйка и пояснила Али:— Сестра моя. Живет с нами.

Хозяйка снова стала собирать на стол, рассказывая гостю нехитрую историю короткой жизни сестры.

— Без матери росла. Характер трудный. Нелегко ей будет с таким характером.

— С таким только и можно жить сейчас.

Женщина вспомнила, как Надя прибежала из школы с красным галстуком на груди, как часто пропадала на нужных и ненужных шумных собраниях. Хотя она и не была отличницей, все же учителя считали ее одной из лучших учениц в классе. Многим не уступала.

Девушка мечтала об интересной специальности. Правда, еще не ясно было, какую выбрать. Что ж поделаешь, в такие годы многое хочется сделать. Хочется работать в Москве, в Ленинграде, в лабораториях под руководством великих ученых. Да мало ли соблазнов?

В этом году семнадцатилетняя Надя перешла в десятый класс.

Но осенью, в радостную пору учебы, их школа стала обиталищем вшивых, пьяных гитлеровцев.

— Да что ж я о Надюше без конца говорю,— опомнилась хозяйка.— Отдыхать вам надо.

Али прикрыл глаза. Но до него донесся шепот:

— Не знаю, как будем прятать его. Язык знает очень плохо. Говорит, помнит, из какой части. Но я не представляю себе, как он будет искать ее.

— Ничего,— спокойно произнесла Надя.— Пока будем прятать. Наши ушли далеко. Надо быть очень осторожными. Фрицы рыщут повсюду. По любому поводу вешают людей, жгут дома.

— Что и говорить,— прошептала хозяйка.

— На каждом шагу издеваются над человеком,— продолжала Надя.— Наводят на тебя автомат, словно вот-вот пустят в лоб очередь. Они хотят заставить нас, русских, стать на колени. Ведь говорят, что у них нет числа пушкам, танкам, солдатам.

Али открыл глаза. Ему, много повидавшему человеку, трудно было промолчать.

— Голова закружится!— вставил боец.— Техника у него сильная. Но солдат у него смелый только за железной крепостью.

— Да, слышали мы.— Хозяйка присела за стол.— А

наши, оказывается, не придали значения силе железа. Не знаю, на что надеялись! На грудь мужика?

— Оставь эти ненужные разговоры!— оборвала Надя.— Мы тоже сильны. А если чего не хватает, то это потому, что на нас напали врасплох. Настроим и мы машин.

— А где заводы? Немец разбомбил. Э-э, что там говорить. Он прет и прет.

— Все заводы перевезены. Они сейчас на железных рельсах, едут на Восток,— уверенно произнесла Надя.

— Пока встанут, пока развернутся...

— Маруся, ты лучше побеспокойся о товарище. Куда спрячем? Ведь каждую минуту в дверь могут постучать.

— В подвал, может быть?

— Очень сырой. Дышать там трудно.

Али слушает этот разговор и, почесывая лоб, думает про себя:

«К чему мне быть обузой для этих бедных женщин? Из-за меня вдруг натолкнутся на злобу врага».

Сестры все никак не могли решить трудный для них вопрос. Али поднялся и с благодарностью сказал:

— Спасибо, хорошие вы люди. Беспоконься не надо. Чуть-чуть стемнеет — и я уйду.

— Нет, мы не хотим, чтобы ты попал в руки людоедов. Какое бы несчастье ни было, переживем вместе,— произнесла хозяйка.

— Советский боец — наш брат,— сказала Надя.— Не нужно опасаться, товарищ. Что-нибудь придумаем.

Взяв Али под руку, Надя вышла во дворик. С двух сторон он был обнесен высоким деревянным забором. Вдоль забора вытянулись хлев и сарай с камышовыми крышами.

Девушка открыла дверь полуразрушенного сарая и пропустила туда Али.

— Там еще есть,— показала Надя на маленькую дверцу, скрытую за грудой сена и разным домашним скарбом.

С одеялом явилась хозяйка. Она разложила на земле толстый слой сена и поверх постелила одеяло.

— Отдыхай. Будем навещать,— сказала женщина и ушла, закрыв за собой дверь.

О такой мягкой постели Али уже позабыл. Как только он лег, сразу забылся в сладком сне.

Этот вечер, хотя вокруг было тихо, казался сестрам более страшным, угнетающим, чем вчерашний. Хозяйка, чтобы забыться, бралась то за одно, то за другое дело, а Надя, поставив керосиновую лампу на стол, сидела опустив го-

лову, расстроенная. Она рассеянно перелистала учебник по древней истории и захлопнула его.

— Мне кажется,— озабоченно произнесла хлопотавшая в комнате хозяйка,— будто по всей деревне замерла жизнь!

В этот момент где-то поблизости тишину ночи нарушила автоматная очередь.

— Вон. Музыка, привезенная немцами,— кивнула Надя на окно.

— Даже из соседей никто к нам не зайдет,— продолжала старшая сестра.

Надя промолчала. Через некоторое время, будто сама себе задавая вопрос, произнесла:

— А почему мы не заглядываем к ним?

На этот раз хозяйка ничего не ответила.

Действительно, жизнь внезапно переменялась. Все, что было раньше хорошего в деревне, сейчас казалось каким-то сном. Невзгоды войны с каждым днем все более мучили людей.

А ведь совсем недавно молодежь, вечерами собравшись на площади или в колхозном клубе, пела песни.

Какие веселые песни звучали над деревней!

Женщины, жившие по соседству, заходили друг к другу с последними новостями. Было же о чем поговорить. А сейчас, в мертвой тишине, мерный стук маятника падал на голову надоедливими каплями дождя.

Надя взглянула на часы: половина пятого. Конечно, часы отстают. Она посмотрела на окно — уже темнело. Но девушка никак не могла припомнить, когда начинает темнеть. Поставив стрелку на восемь, она махнула рукой: ей ведь не надо бояться, что завтра опоздает на работу или в школу!

Старшая сестра принесла и поставила на стол подогретый борщ, приготовленный к обеду. Сестры, которые обычно ели шумно, весело, сейчас сидели притихшие.

Послышался стук в окно и знакомый кашель. Надя вскочила, открыла дверь.

Тяжело дыша, вошел дед Яшкин, их частый гость и добрый сосед.

Это был старик высокого роста, широкий в плечах, с реденькой бородой на морщинистом лице.

Трое его сыновей служили в армии. До войны двое семейных переехали в город, а старик с самым младшим, трактористом, жил в деревне. Когда и третий ушел на фронт, старик остался один-одинёшенек. От скуки стал работать, на этот раз сторожем магазина сельпо.

Хозяйка поставила тарелку борща и заботливо пригласила:

— Ешь, дед, пока не остыло. Ешь, а то ты, наверно, голоден.

Старик опустил на стул, молча отломил кусочек хлеба, взял ложку и начал есть.

Взглянув на Надю глубоко запавшими глазами, он внешне грубо сказал:

— К чему ты волосы раскудрявила, как каракулевый мех? Нехорошо. И одежду нужно носить похуже, постарее.

Надя поняла, в чем дело. Пожав плечами, произнесла:

— Волосы у меня сами такие, от природы. И потом, не знаю, как еще можно проще одеваться. Лицо, что ли, углем намазать?

— А то как же!— нахмурил старик густые брови.— Каждый из них, из собак, охоч до женщин. Ни стыда, ни совести...

— Вчера еще мы были свободными людьми, сегодня хуже рабов стали. Никак не могу привыкнуть к этой мысли. Но до каких пор, дед? Скажи, у тебя-то есть надежда?— спросила хозяйка с волнением и болью в голосе.

— Я о тебе подумал,— облизывая ложку, спокойно произнес старик.— Что ты, телка одинокая, мычишь все?

— Да ты о деле говори,— стукнула ложкой по краю тарелки старшая сестра.

— Дела-то у нас одни. Сейчас выдюжить надо, а не хныкать.

— Дед,— повторила хозяйка,— у тебя есть надежда?

— Что за вопрос?— солидно, степенно продолжал старик.— Сегодня надежда у меня сильней, чем вчера, а завтра будет сильнее, чем сегодня. Раскусил я этих «победителей»! Нет, я верю русскому человеку. Его душа для друга теплая, как солнце, для врага — страшная, как наша зима. Нет силы, которая могла бы завоевать русскую землю. Слава богу, русское небо такое широкое, что если одну его сторону застелют черные тучи, то буран, поднявшийся с другой стороны, разгонит их. Всегда так было, всегда.

— Хоть бы по-твоему вышло!— вздохнула хозяйка.

— За эти слова, дед, я угощу тебя вареньем,— словно озорная девчонка, вскочила Надя.— У-у-уди-вительно хорошее, сладкое варенье. Просто на редкость.

Надя разложила по блюдечкам, маленьким, как доннышко пиалы, яблочное варенье. Одно блюдечко она поставила перед стариком, затем в большом медном чайнике принесла только что вскипевший чай.

— Чайку с большим удовольствием выпью,— старик даже потер ладони.— В такой вечер это просто благодать.

— Пожалуйста, дед, пей.

— Да. Иное было у нас времечко. И варенье и печенье к столу. А ныне...— старик, как обычно, начал вспомнить недавние, мирные дни.

Где-то снова раздалась автоматная очередь. Но сестры словно не слышали ее: привыкли. Они внимательно слушали рассказ соседа, рассказ о том, как он в молодые годы увлекся одной красивой и очень хитрой цыганкой.

— Бреду за табором. А куда — сам не знаю. Думал, что пристану к ним окончательно. Да вот такая штука вышла...

Досказать веселую историю старик не смог: совсем рядом, под окном, загремели выстрелы.

— Что еще за наваждение?— дед повернулся к окну.

— Совсем рядом,— ахнула хозяйка.

Не прошло и двух-трех минут, как деревня задрожала от частой стрельбы.

— Что же это такое?— хозяйка вскочила с места, побледнела.

— Может, партизаны напали?— радостно вздохнула Надя.

— Ничего не случилось, не беспокойтесь!— равнодушно проворчал старик.— Есть один секрет. Услышите, еще из пулеметов будут стрелять.

— Это он хочет свою силу показать,— имея в виду врага, выразила догадку хозяйка.

— Нет, извините, он свою слабость показывает,— подмигнул дед.— Видела ли ты богатыря, который ходил бы и кричал: посмотрите, какой я сильный?

— Немец боится? Кого?

— Нас! Боится тебя, меня, тетки Анны, старухи Матрены Кирилловны, вот того горбатого Якова... Поверьте, ночью немец становится трусливым зайцем, я только вчера об этом догадался... Да иначе и нельзя ему.

— Уж очень высоко ты берешь. На словах легко быть богатырем,— недовольно произнесла хозяйка.

— Почему на словах! Я враг пустых слов. Но надо смотреть всегда вперед.— Старик закурил длинную и толстую козью ножку и снова начал прерванный рассказ о красивой, хитрой цыганке.

Женщины внимательно, как прежде, слушали старика. Но вдруг на улице, напротив окна, раздалась пьяные выкрики и нестройная песня. Все на мгновение смолкли.

— Собачьи игры, попачкают и пройдут,— прошептал старик.

Но он ошибся. Немцы не прошли мимо. В дверь с грохотом застучали, под окнами послышался грубый топот солдатских сапог. Сестры с испугом вскочили и в замешательстве смотрели в сторону двери. Они поспешно надели пальто. Старик, затаившись за махоркой, пустил густой дым, кинул окурок на пол и зло придавил его сапогом.

— Пусти их!

Хозяйка медленно двинулась в переднюю.

Фашисты вошли, и дом наполнился запахом спиртного и пота. Немцев было пятеро — четыре солдата с подвешенными на шею автоматами и высокий, худой ефрейтор.

Ефрейтор внимательно обвел взглядом стены комнаты, холодно посмотрел на женщин и старика.

— Это кто?— с трудом выговорил он по-русски, показывая на деда и Надю.

— Он из нашей деревни, сосед наш! А это — сестра моя,— тяжело дыша, ответила хозяйка.

— Муж есть? Где он?— спросил ефрейтор.

— Как все, на фронте!— ответила хозяйка, опустив глаза.

Надя стояла прислонившись к стене. Она понимала бессмысленность испуга, старалась держаться смелее, с каждым мгновением все ее существо наполнялось какой-то гордостью. Но от того, что солдаты из-под серовато-зеленых касок уставились на нее бесстыдно похотливыми глазами, девушка невольно все плотнее прижималась к стене.

Солдаты не двигались, ждали приказаний. Ефрейтор повернулся к старику и, с интересом с головы до ног осмотрев его, что-то сказал. Солдаты захохотали.

— Сейчас вечер,— произнес ефрейтор, показывая ручные часы старику.— Что тебе здесь делать? Дом у тебя есть, старуха есть. А девочек оставь нам. Ну, отправляйся! Живо!

Мальчуган проснулся и испуганно смотрел то на пьяных солдат, то на мать.

— Володя, спи,— как можно спокойней сказала хозяйка.— Спи. Дяди скоро уйдут.

— Скоро?— ефрейтор рассмеялся.— Ну, старик, убирайся!

Дед ничего не ответил. Только его морщинистое, худое лицо передернулось, рыжеватые от махорки усы дрогнули.

— Ну, доченьки, спокойной ночи.

— Спокойной ночи, дед. Заходи к нам!— крикнула вслед ему Надя.

Ефрейтор подошел к столу. С чувством отвращения посмотрел на посуду. Солдаты, положив автоматы на комод и грубо двигая стульями, уселись. Ефрейтор толстыми, грязными пальцами перелистал лежавшую на столе «Историю древнего мира», резко вырвал несколько страниц, скомкал их, сунул в карман шинели и, ни слова не говоря, вышел.

Щеки Нади задрожали. Хотелось стукнуть книгой по голове этих дикарей! Но, сжав губы, она молчала.

«Какие сволочи! Какие подлецы!»— про себя твердила девушка. Гнев и обида душили ее.

Хозяйка многозначительно подмигнула сестре и, взяв книгу, положила ее на буфет.

Широкоплечий солдат с плоским, как тарелка, лицом и выступающим вперед подбородком деловито открывал консервные банки. Другие вытаскивали из карманов хлеб, яйца, колбасу. Солдаты, видно, были голодные. Приготовления к ужину и запах продуктов раздражали их. Они притоптывали, чмокали губами, с наслаждением потирали руки.

Вошел ефрейтор. Внимательно посмотрев на женщин, он уселся, скрестив длинные ноги.

Хозяйка растерянно подавала стаканы, ножи, вилки. Надя отошла в окно и повернулась спиной к немцам.

Девушка еле держалась на ногах. Ее раздражали каждый стук вилки, каждое немецкое слово. Не в силах больше выносить присутствие гитлеровцев, она вышла в сени. Спотыкаясь в темноте, Надя прошла к старому ящику и села на него. Вслед за ней вышла и присела рядом сестра.

Сидели молча, невольно прислушиваясь к тому, что творилось в комнате.

А там гулянка была в разгаре. Слышался звон стаканов, крики, хохот.

— Не думай о них! Что еще можно ждать от грабителей?— успокаивала Надя.— Да,— вспомнила она,— а мы так и не проведали бойца. Проголодался, наверно.

— Я собиралась после того, как уйдет старик, выбрать момент. Хотела накормить его. Но теперь нельзя. Скажи, не будут ли они обыскивать? Боюсь.

— Эти собаки нажрут, напьются и повалятся с раздутыми животами. Утром уйдут. Я кое-что из их разговора поняла. Жаль, плохо в школе учили немецкому.



В комнате что-то упало на пол и разбилось вдребезги. Раздался взрыв хохота.

— Что они там делают?— хотела встать старшая сестра.

Надя движением руки остановила ее:

— Сиди.

Но вдруг донесся пронзительный крик ребенка. Хозяйка, вскочив, кинулась в комнату. Володя, бледный, с испуганными глазами, потянулся к ней:

— Мама! Мама!

Крепко прижав к груди, мать расцеловала его, погладила мягкие волосы и принялась утешать:

— Я же сказала тебе — спи. Ну чего ты испугался? Спи.

Солдаты, продолжавшие пить и есть, не обращали внимания на крик ребенка.

Только ефрейтор с животной похотливостью не отрывал взгляда от женщины. Он с присущей развратникам развязностью подмигнул ей.

Женщина, вздрогнув, отвернулась и, уложив ребенка, склонилась у его изголовья.

Она почувствовала, что кто-то, шатаясь, приблизился к ней. Сердце замерло, не было сил пошевелиться.

Вот к ней протянулись грубые руки, потрепали по щеке и подняли ей голову. Женщина, словно почувствовав нож убийцы у своего горла, в ужасе вскочила, дрожащими, высохшими губами прошептала:

— И вам не стыдно? Вы же командир! Прошу, оставьте меня в покое, не пугайте ребенка...

Ефрейтор удивленно отшатнулся и, выпрямившись, крикнул:

— Кровать нужна, освободи!

Одной рукой он указал на ребенка, другой — на дверь.

В это мгновение вбежала Надя:

— Что случилось?

Ефрейтор невольно отступил. Хозяйка молча подняла ребенка и торопливо прошла к двери, успев крикнуть Наде:

— Пойдем, выходи быстрее!

Девушка повернулась к двери. Но солдат — по всей вероятности, недавно надевший шинель студент, молодой, сильный, с выражением игривого кокетства на лице — проворно загородил ей дорогу. Он сузил покрасневшие глаза и, улыбаясь, пригласил:

— Барышня... с нами...

Солдат указал на стол, но девушка спокойно ответила:  
— Спасибо, не желаю!

Немец внезапно протянул руки и, словно встретив свою приятельницу, легко склоняющуюся перед каждым его желанием, фамильярно произнес:

— Барышня, одну минуту посидите с нами. Будем говорить, выпейте половину половины стаканчика. Я дам вам французское вино, это очень хорошее вино, от него лицо девушки расцветает, как цветок, разыгрывается ее сердце. Прошу, пожалуйста.

— Не хочу... Не хочу...

Солдат крепко взял девушку за локоть:

— Пожалуйста. С нами.

— Нет, не трудитесь напрасно,— произнесла Надя, напрягая всю свою волю, чтобы держаться спокойно.— Голова у меня болит. Сейчас ничего не хочу. Отпустите меня.

Но немец по-прежнему крепко держал ее. Он даже начал подталкивать девушку.

— Вы свою силу показываете! Бесполезно. Знайте, что у меня тоже есть сила. Я — человек...— резко оттолкнув немца, Надя высвободила локоть и побежала в переднюю. Гитлеровцы захохотали.

Над кем они смеялись — неизвестно.

Скоро вновь послышались пьяные выкрики, звон разбитого стакана, стук сапог и звуки губной гармошки.

Передняя была темной, сырой, холодной. Володя лежал на ящике. Он вздрагивал, не мог уснуть на голых досках.

— Успокойся, сынок. Засни. Ну, родной.

Надя, забившись в угол, молча замерла там. Вся жизнь казалась ей пустой, бессмысленной.

Хозяйка попробовала отыскать спички. Но не смогла. Споткнувшись о ведро, опрокинула его. Наконец, нащупав табуретку, сказала сестре:

— На, садись. Что с тобой? Что ты молчишь?

— О чем говорить?— глухо ответила Надя.

В комнате не прекращались крики и смех.

Надя, усталая, обессиленная, закутавшись в легкое пальто, задремала на табуретке. Спать ей не дали.

В переднюю вошел немец, приглашавший ее к столу. Его глаза горели, как у хищника. В лицо девушке хлестнул луч электрического фонарика. Надя вскочила и крикнула:

— Кто это?! Что вам нужно?

Немец шагнул ближе, запах спиртного ударил в

нос. Солдат бросился на девушку и, обняв, поволок ее наружу.

— Барышня, немножечко гуляй,— пьяно покачнувшись, сказал он.

— Ты кто? Солдат? Если ты животное, убей меня, но не оскорбляй!

Хозяйка, задыхаясь, пыталась вырвать у солдата сестру. Но немец ударил ее ногой. Женщина со стоном упала.

Надя продолжала вырываться из цепких лап солдата. Но немец был сильнее.

— Барышня... Барышня,— прижимал он девушку к стене, задыхаясь.

Надя плюнула ему в лицо. Солдат зло отшвырнул ее. Она упала на что-то твердое, вскрикнула.

Солдат, громко ругаясь, открыл дверь на улицу. Вышли из комнаты и его товарищи. Они тут же, на пороге, справили свои нужды.

Надя с отвращением закрыла лицо руками.

Солдаты со смехом прошли мимо женщины в комнату, повалились кто где смог и сразу захрапели.

Ночь казалась бесконечной. Сестры не сомкнули глаз, прислушиваясь к каждому шороху.

Утром гитлеровцы не спеша покинули дом. Ефрейтор криво усмехнулся:

— В следующую встречу согласишься, а?

В дверях он еще раз нахально подмигнул хозяйке мутными, пьяными глазами.

Лица женщин были бледны. И хотя теперь сестры почувствовали облегчение, в глазах их все еще затаился страх.

Едва затихли шаги немцев, хозяйка закрылась на замок.

В комнате было грязно, все разбросано. Будто здесь ночевали не люди.

Пока хозяйка убирала дом, губы ее не переставали шептать:

— Бандиты... Свиньи.

Несмотря на то, что в комнате был наведен порядок, женщины завтракали в передней. Володя продолжал прижиматься к матери, испуганно косясь на дверь.

Надя решила навестить своих подружек. Надела на себя все старое.

— Куда ты? Не ходи,— пробовала отговорить сестра.

— Ничего не случится, не бойся

Когда Надя ушла, хозяйка плотно закрыла калитку,

постояла, прислушиваясь к шуму на улице, и направилась к сараю.

Али недавно проснулся и, вероятно, ничего не знал. Он вежливо поздоровался.

— Как спалось? — поинтересовалась хозяйка.

Али, довольный, улыбнулся:

— Очень хорошо. Сейчас проснулся. Сон — наслаждение. Видел интересные сны...

Женщина сходила в комнату и вернулась с тарелкой жареной картошки и куском хлеба.

Али тщательно вымыл лицо, руки, уселся на корточки и позавтракал.

Хозяйка, нагнувшись, таинственным и печальным голосом начала рассказывать о ночном происшествии. Али, уже много повидавший, слушал этот рассказ, покачивая головой.

— Пришел враг, пришла напасть, — произнес он. — Немец говорит: или подчинись — или умри. Проклятый, черный враг. Хозяйка, большой рахмат тебе. Но может быть, сегодня ночью уйти мне?

— Куда? Если хочешь попасть в руки фашистов — иди. Для меня будет меньше забот и страха.

Али задал вопрос ради приличия, чтобы узнать отношение хозяев к себе.

— Вот уедут из деревни эти ироды, — продолжала хозяйка, — тогда и ты пойдешь искать своих.

Приложив руку к груди, Али поблагодарил хозяйку:

— Большой рахмат. Большой...

## *Глава одиннадцатая*

Фронтовые медсестры, несмотря на трудности и тревоги, всегда проявляли искреннюю заботу о раненых. Пожалуй, больше, чем дома о своих родных. Среди медсестер было много таких, которых и пуля не брала. Скромность этих отважных девушек, одетых по-солдатски, просто удивляла. Они никогда не говорили о своих славных делах.

Рашид сидел на гладком пне недавно спиленного дерева. Один из друзей Бектемира, он жил когда-то в соседней деревне, а сейчас служил с ним в одном полку, но в другом батальоне.

Рашид прислушался. Иногда вдали раздавался артиллерийский гул, будто кто-то ногой пинал большую пустую

корчагу. Когда мимо пронесли раненых, он внимательно оглядывал их.

«Что с моими земляками?— думал Рашид.— Живы ли? Придется ли увидеть?»

Мысли Рашида были прерваны появлением медсестры. Эта девушка, Ксения Орлова, успела уже прославиться.

Вчера ее наградили орденом Красной Звезды, а совсем недавно во фронтовой газете был ее портрет.

Девушка остановилась и, сдвинув брови, взглянула на бойца. Высокая, с огненно-рыжими волосами, с реденькими, похожими на крупинки золота веснушками, которые придавали миловидность ее невинному лицу, она выделялась среди подруг. Много в ней было озорства и настоящей отваги.

— Ты свободна? — спросил Рашид с видом старого знакомого.

— Как? Разве на фронте достаточно времени? Что тебе нужно, скажи? — улыбнулась Ксения. — Только если это касается дела.

— Хочу поговорить. Очень скучно... — откровенно признался Рашид.

— Нет, спасибо. Разговоры будут после войны, мой черноглазый друг!

— Постой, ты не понимаешь шуток! Напиши, пожалуйста, мне письмо. Правая рука не работает. Вот! — показал на руку Рашид.

— Это другое дело. Письмо — тоже оружие бойца. Серьезное оружие. Давай, давай. Сейчас я достану листок бумаги.

Вскоре она вернулась и, усевшись на пень, приготовилась писать.

— Та-а-к. Ты откуда? Когда ранен был? Скажи, кому мы будем писать. Жене твоей? Или любимой девушке? Надо написать такое красивое письмо, чтобы всегда носила на своей груди, чтобы читала каждый день... Верно?

— Жены нет, пиши, анаджан! — покосился Рашид на Ксению, пытаясь угадать, какое впечатление произведут эти слова на жизнерадостную девушку.

— А ты любил? Не скрывай, знаю вас, мужчин...

— Люблю, — ответил Рашид, мечтательно прищурил глаза. — Очень люблю.

— Хорошо! Любить надо. Жизнь без любви, как бы тебе сказать, похожа на цветок без запаха, на день без солнца. Твоя любимая — красивая девушка? Она тоже черноглазая? Я скажу прямо: мне нравятся черноглазые.

Но глаза у моего Саши голубые. Только такие прекрасные, такие чистые, такие пламенные, словно южное небо... Но он тоже далеко, очень далеко, он тоже воюет, но не на земле, на море он...— В глазах Ксении на мгновение мелькнула тень печали.— Ну, ладно. Говори, что писать. У меня нет времени.

— Дорогой анаджан салам. Сестре Хакиме салам, — степенно начал Рашид. — Сестричке Наиме салам. Любимому брату Хашимджану и невестке Шарафатхон привет...

Девушка, успев все записать, положила листок на колени и посмотрела на бойца: дальше что?

— Дяде Халмату салам. Председателю колхоза Махмудову салам, — продолжал Рашид.

— Что это за письмо? — засмеялась Ксения. — Опиши свою жизнь, свое положение... Нет! Письма не так пишут!

Рашид словно не слышал ее слов, тихо продолжал:

— Самандару-ака (этот человек — колхозный бригадир) салам. Еще зятю Кари салам, еще...

Ксения, стукнув карандашом по колену, нетерпеливо прикрикнула:

— Ух, товарищ боец, в жизни не писала такого письма. Подумай, ведь ты перечислил всех людей своего кишлака.

Рашид серьезно ответил:

— Не всех, много людей в кишлаке. Это самые родные...

— О себе сообщи.

— Письмо — глаза и уши. Грамотный человек прочтает — увидит свое имя, неграмотный — услышит. Салам, наш привет, дороже подарка. Пиши: другу Кадырджану салам. Этот человек — чайханщик. Когда ни придешь, крепкий зеленый чай готов. За словом в карман не лезет. Пиши: звеньевому Садыкджану салам.

Ксения решительно возразила:

— Хватит, хватит! У меня нет больше бумаги. Посмотри, целая страница с одними саламами.

— Барышня, прибавь Садыка. Ладно, уж это будет последний. Если хочешь знать, этот человек — первый в кишлаке. Дал по девяносто центнеров хлопка с гектара. Понимаешь, по девяносто?! Как же ему не передать привет с фронта?

Девушка, кивнув головой, нехотя написала и это имя. Потом, внимательно посмотрев на бойца, спросила:

— Да. Постой, почему ты не передал привет любимой девушке? Как ее имя? Самый горячий, самый сердечный привет прежде всего должен быть для нее. Что, ты ее

забыл? Она, бедняжка, наверное, всем сердцем, всеми мыслями с тобой. А ты... Нельзя так.

— В этом письме не должно быть ее имени. Нехорошо, — смутился Рашид.

Ксения удивленно подняла брови.

— Почему? Поссорились вы?

— Нет, у нас такой закон, — серьезно ответил Рашид. — Это общее письмо. Будет по рукам ходить. Если будет написано имя девушки, обидятся ее родители, обидится она сама.

— Ничего не понимаю, какие-то дикие обычаи.

— Стыдно будет, понимаешь? Стыдно! — улыбаясь, пояснил Рашид. — Ладно, пиши: я, слава богу, жив-здоров. Желаю, чтобы и вы были здоровы. Мы на войне. Не знаю названия местечка, где мы стоим. Кругом сосновые леса. Одеты мы тепло. Кормят неплохо. Настроение хорошее. Очень истосковался по вас. Пока не пишете письмо, потому что неточный адрес. Ваш сын Рашид.

— А разве не напишешь о своем ранении?

Рашид взглянул на перевязанную руку, подумал и нерешительно сказал:

— Не хочется в теплую страну посылать холодную весть.

— Верно. Не нужно тревожить их.

Девушка сложила письмо треугольником, написала адрес и поднялась. Положила руку на плечо бойца, попросилась:

— До свидания, товарищ из Узбекистана. Я сама отправлю письмо.

— Очень хорошо. Спасибо, сестра, — согласился Рашид.

Девушка торопливо, не оглядываясь, пошла по узкой тропинке и вскоре скрылась за деревьями.

Рашид смотрел ей вслед и мысленно продолжал беседу с веселой, смелой девушкой. Потом, вздохнув, он тоже поднялся и направился к группе солдат.

Среди только что прибывших раненых он увидел знакомого бойца. Голова его была перевязана широким бинтом, бескровное лицо белело, как буз, глаза горели, славно в сильном жару. Рашид, ускорив шаг, подошел, поздоровался, расспросил его о здоровье, о земляках:

— Кого ты видел за это время?

— Уринбаев Бектемир вчера вместе с нами участвовал в бою, — тяжело выдохнул раненый. — Потом потерял его из виду. Не знаю, что с ним. Сильный бой вели. Много людей погибло в роте.

Боец смолк. Вероятно, не хотелось ему вспоминать страшные картины. Он медленно закрыл и снова открыл глаза.

«А если погиб...— подумал Рашид. — Бектемир!.. Бектемир, неужели ты погиб?..»

От этой мысли он побледнел, вздрогнул.

Простившись с земляком, Рашид молча пошел к палатке. Но дойти он не успел.

Раздался гул самолетов.

— Воздух!

Эта команда заставила людей броситься в укрытия, в густой лес. Даже тяжелораненые, которые, казалось, не в силах были поднять головы, тоже спешили спрятаться.

Самолеты приближались с каждой секундой.

Враг бросил несколько бомб и «прочесал» лес градом пуль.

Одна медсестра была ранена. Ее положили на носилки и понесли в землянку. Понадеявшийся на авось и оставшийся за рулем шофер не шевелился.

Рашид видел несколько часов назад, как этот шофер ходил вокруг машины, чинил что-то, грубовато, но так, чтобы не обидеть медсестер, шутил с ними. Сейчас он был мертв.

А в общем потери после этого налета были незначительными.

В лесу стало так тесно, что Рашид долгое время ничего не мог различить, слышал только взволнованный шум и крики людей.

Словно слепой, он наталкивался то на деревья, то на головы пофыркивавших лошадей. Невесть где, должно быть на узких дорогах, как попавшие в засаду хищники, рычали машины. Водители без злобы ругались. Боец вскоре понял причину этой кутерьмы: спешное отступление.

По отрывочным словам сестер, работавших без устали, он почувствовал, что враг близок и грозит окружением.

Под минометным огнем противника санбат покидал лес. Рашиду удалось, опустившись на колени, забиться в угол машины, где плотно разместились раненые.

Там и тут слышались крики:

— Помогите!..

— Поднимите меня!..

— Сестричка!..

Раненые от боли стонали, ругались, выкрикивали бес-  
связные слова.



— Спокойней, товарищи, — раздавались голоса медсестер. — Спокойней.

Разноцветная россыпь ракет, пролетев над лесом, исчезла, не достигнув земли.

Утром санбат остановился на какой-то станции. Здания с выбитыми окнами в предрассветном тумане зияли пустыми глазницами. Перрон вокзала был завален грудами кирпича и земли, обгоревшими досками.

Воспользовавшись короткой остановкой, Рашид выпрыгнул из машины. Ноги свело, и он еле двигался. Боец одной рукой тщательно потер колени, икры. Пальцы были в темных пятнах крови.

По-прежнему раздавались крики о помощи.

Врачи, медсестры с пожелтевшими от усталости лицами пытались помочь обессиленным людям.

— Сейчас, сейчас. Все будет в порядке.

— Поднимите голову. Выше. Сейчас забинтую.

На станции Рашид увидел много женщин, детей, стариков.

Они стояли, согнувшись под грузом узлов, мешков и чемоданов. Глаза людей были устремлены на убегавшие вдаль рельсы.

Раненые с удивительной быстротой размещались в санитарных вагонах.

Рашид, очутившись в тамбуре, взялся здоровой рукой за поручень вагона и с чуть заметной улыбкой посмотрел на девушку, стоявшую рядом с замаскированной санитарной машиной.

Это была Ксения Орлова.

Поверх белого фартука девушки свешивалась с пояса кобура револьвера. Ксения разговаривала с бородатым человеком в очках. Этот человек, как отметил Рашид, был чем-то похож на профессора...

Боец вдруг почувствовал острое желание остаться рядом с девушкой. Но это было только желание... Сейчас от Рашида ничего не зависело.

Поезд готов был к отправлению. Молодая женщина в форме железнодорожника, взобравшись на груду кирпича, отдавала машинисту последние приказания.

Небо, только что просветлевшее, наполнилось знакомым гулом. Где-то рядом зенитки открыли сильный огонь. Люди на перроне кинулись в разные стороны.

Рашид увидел крыло самолета. Он спрыгнул на землю и побежал, чтобы спрятаться среди груды кирпичных об-

ломков. От первых разрывов бомб полетели вверх комья земли, осколки камней, щепки.

— Спасите!

— Проклятый фашист!

— Наташа... Наташа... Где ты?

Крики людей, полные отчаяния, ужаса, тонули в грохоте.

Тишина наступила внезапно.

Рашид побежал к горевшему вагону, откуда на носилках несли Ксению Орлову. Приблизившись, он с болью крикнул:

— Сестра... Ксения!

Один из санитаров, с нахмуренными бровями, с застывшим, как камень, лицом, проворчал:

— Что кричишь? Все уже...

## *Глава двенадцатая*

Ветер со свистом подхватывал иней с отвердевшей земли, безжалостно срывал листья, трепал грязные, обожженные пулями шинели солдат.

Бойцы укрепляли берега речки. С усталых лиц обильно стекал пот.

Аскар-Палван снял пилотку, вытер лоб и вздохнул:

— Ох и жизнь! Ни минутки отдыха.

Этот вздох не от тяжести фронтовой жизни, а, скорее, от душевной угнетенности, рожденной отступлением.

Состроит кто-нибудь убийственную гримасу: дескать, все пропало, и настроение испорчено.

Некоторые, осмелев, бросали недобрый слух:

— Бежим. Вовсю бежим.

Но бойцы знали, как поступать с такими «всезнайками».

После того, как батальон вышел из окружения, день и ночь шли оборонительные работы.

Капитан Никулин, сообразно с планом общей обороны, должен встретить врага на берегу речки.

— Вот здесь-то мы и побьем как следует фашиста,— говорил он, потирая руки.

Капитан хотел, чтобы с этой мыслью сжились бойцы, и повторял ее при каждом удобном случае.

Все, пожалуй, шло хорошо. Одно беспокоило Аскара-Палвана — разлука с земляками.

«Где они могут быть? — раздумывал он. — Может быть, Али попал в плен, а Бектемира убили?»

Не давали покоя и мысли о семье. С тех пор как боец

ушел из дому, он еще не получил ни одного письма. Часто, закрыв глаза, он с тоской вспоминал свою дочь, мать, жену. И тогда забывал все на свете. Он жалел сейчас о том, что в мирное время не проявлял большой заботы о семье. Почему он мало времени проводил с дочерью, не играл с ней вечерами? Зачем он иногда из-за какой-то мелочи сердился на жену — женщину трудолюбивую, тихую, воспитанную? В должной ли мере он проявлял почтение к любимой матери, которая не уставала молиться за их счастье?

Вода, с журчанием протекавшая под тополями в маленьком дворике, прохладная супа в летние дни, цветник рядом с ней, лоза винограда — все это казалось теперь недостижимым. Суждено ли ему когда-нибудь поцеловать доченьку, прижать ее к своей груди, выпить глоток холодной воды, сорвать кисть винограда?

...Аскар-Палван посмотрел на Дубова, усы которого при каждом ударе лопаты развевались, как кисточки кукурузного початка.

Лицо Дубова, изборожденное редкими, но глубокими морщинами, кривилось от боли. И Аскар-Палвану стало не по себе.

Дубов недавно был ранен в локоть, но все-таки остался в батальоне. Аскар-Палван, приблизившись к другу, посоветовал:

— Береги руку от пыли.

Дубов невольно улыбнулся:

— Что ж, сидеть мне, отдыхать? А немец?

Вечером Аскар-Палван сопровождал вызванного в штаб полка капитана Никулина, потому что ординарца комбата, веселого солдата Суворова (иронизируя над его фамилией, бойцы называли ординарца генералом), ранило.

Аскар-Палван, восседая на гнедой лошади, ехал вслед за капитаном.

По немощеной, замерзшей дороге они добрались до деревни.

Улицы были безмолвны, дома казались пустыми. Около колодца стояли старик с пышной бородой и женщина, полная, круглая. Рассматривая неожиданных гостей, они о чем-то шептались. Деревню миновали быстро и повернули на дорогу, ведущую к лесу. Около штаба полка Никулин ловко соскочил с лошади и отдал повод Аскар-Палвану.

Капитан оглядел свои сапоги, шинель, поправил ремень и сделал несколько шагов. В это время из землянки вышел полковник. Это был крепкий человек лет сорока.

Никулин четко доложил, что явился по его приказанию.

Полковник взял Никулина под руку, повел в землянку.

Аскар-Палван привязал коней к дереву. Чтобы чем-нибудь занять себя, некоторое время гладил их. Потом, напевая про себя песенку о черных глазах, он стал вышагивать по ковру золотых листьев.

Вокруг стояла необыкновенная тишина.

И в этой тишине неожиданно раздался крик:

— Стой!

Аскар-Палван, подумав, что ему сейчас попадет за какое-нибудь нарушение, замер на месте. Потом резко, по-военному, повернулся на каблуках.

Напротив Аскара в нескольких шагах стоял хохотавший Бектемир. Друзья кинулись в объятия друг к другу.

Глаза Аскара-Палвана наполнились слезами.

— Жив-здоров? Темир мой! Во сне или наяву?

— Когда увидел тебя издали, не поверил своим глазам. Говорят же: надевший саван уйдет, не надевший придет назад обязательно.

Бектемир положил руку на плечо друга.

— Что ты знаешь о наших? — спросил Аскар-Палван.

— Почти ничего.

— Али пропал без вести?

— Путь кривого оказывается тоже кривым. Неизвестно о нем ничего: ни о живом, ни о мертвом, — сказал Бектемир. — Ну, а как там товарищи? Дубов наш крепок?

— Из тех, кто покуривал с тобой и кто воевал вместе, многих уже нет, — вздохнул Аскар-Палван. — Дубов здесь. Частенько он вспоминает тебя.

Друзья присели на балку и продолжали вполголоса беседовать. Бектемир коротко рассказал о своих приключениях. Аскар-Палван тоже поделился пережитым.

— Помнишь богатырей, которые в сказках избирают путь, «откуда нет возврата», дерутся с драконами, дивами, разрушают заколдованные преграды? — заговорил Аскар-Палван. — По-моему, эти самые богатыри горя не видели. А мы воевали среди болот, проливали кровь, жевали траву, пили мутную воду и выбрались все же из окружения. Когда от холода, усталости не было сил, мы связались с какой-то ротой. Уже вытянувшиеся от худобы, люди обрели надежду, будто в высохшие арыки пришла вода. Однажды на рассвете, когда сеял дождь, мы с двух сторон ударили по фашисту. Да так, что память вышибли у него!

— Наш командир такой человек: если уж возьмет ка-

мень в зубы — разгрызет. Мысль у него ясная, а в сердце у него такой огонь, что даже со смертью не потухнет! — восхищался Бектемир.

— Наш Никулин — лучший из командиров! — с гордостью произнес Аскар-Палван. — Не знает, что такое страх, действует, как подсказывают ему голова и сердце. Напрасно не кричит «ура», не гонится за славой. Прежде всего заботится о бойцах. Знает, где надо крепко сказать, а где утешить. Если бы все командиры были такими, дела наши были бы хороши.

— Это действительно, — согласился Бектемир. — Бойцы плохого командира не могут сделать хорошим. Но хороший командир из плохих бойцов может сделать настоящих орлов.

— Капитан Никулин нас из ада вывел целыми, — произнес Аскар-Палван и, вздохнув, добавил: — Вот, слава богу, свиделись мы с тобой. О таком счастье даже не мечтал.

— Точно. В таком грохоте увиделись! Редкий случай.

Бойцы положили руки на плечи друг другу. Гордость и вместе с тем добрая, внимательная улыбка, говорившая об искренности их чувств, отразилась на суровых, почерневших лицах земляков.

Колючий ветер срывал над головами друзей последние, редкие листья. Бойцы невольно посмотрели на дрожащие деревья, на застывшие над ними облака, на дорогу с затвердевшей грязью. Чувство тоски наполнило сердца воспоминаниями о родных местах.

Аскар-Палван припомнил пытавшегося всегда над ним шутить своего соперника по курашу Гупчак-Палвана, нечестного в борьбе и хвастливого.

— Взяли ли этого хвастуна в армию? На каком фронте он ходит-пыхтит? А все-таки неплохой он человек.

Бектемир думал о другом.

Он пожаловался, что нет писем. И с печальной улыбкой добавил:

— Как-то подсчитал я детей брата. Их, оказывается, двадцать один...

— Их крик и визг весь кишлак оглушит, — засмеялся Аскар.

— Не знаю, если брата тоже взяли в армию, этим цыпятам трудно придется. Было бы письмо, все узелки распутались бы. Возможно, пишут одно за другим, да только оттого, что кружит нас ветром в пучине, словно вот эти листочки, до нас не доходят вести.

— Верно. Если иные бойцы не находят свои части, где уж там бумаге малюсенькой разыскать нас! Но, Темир мой, если тело мое смешается с землей до того, как я получу из дому маленькое письмецо, ох и недовольный уйду я из этого мира!

— Оставь, не расстраивайся, пусть голова будет здоровой!— посоветовал Бектемир.— Вон, зовут меня. Соседи мы, оказывается. Я еще приду. Передай привет ребятам!

В это время пробегавшая мимо медсестра внезапно повернула назад и резко остановилась около бойцов.

— Салям, братья, слова ваши, как огнем, обожгли мой слух.

Аскар-Палван, опешивший, смотрел на нее.

Бектемир вскочил с места и сжал между своими ладонями протянутую руку девушки.

— О боже, узбечка? Откуда вы прибыли? Из Ташкента? Вы доктор?

— Нет, простая сестра. Из Ташкента. Недели две, как приехала.

Девушка протянула руку Аскар-Палвану, который, только теперь опомнившись, вскочил с места. Палван долго жал руку девушки.

— Хвала вам! Рахмат! Вон из какой дали вы прибыли! Как Узбекистан? Давно оттуда?

— Узбекистан такой, каким вы его видели. На поле и в городе кипит работа, — улыбнулась девушка. — Ничуть не изменился. Только стал больше трудиться.

Бойцы, взволнованные и удивленные, не в силах были оторвать взгляда от девушки с большими черными глазами. Они не знали, что говорить, и только переглядывались между собой. Наконец Аскар-Палван тихо сказал:

— Удивительные девушки у нас есть. Их смелость не описать. Как в легендах. Как вас зовут?

— Алтынай, — просто ответила медсестра. — Алтынай...

— Хвала нашим сестрам. Уже то, что они ходят по такому аду, — героизм, — улыбнулся Бектемир.

— Нет, нет, преувеличиваете. На войне все мы равны, все мы бойцы. Ну, о чем вы здесь беседуете? — спросила девушка.

— О делах наших... — произнес Бектемир, нахмутив брови. — Отступаем. Москва в большой опасности. Немцы, без конца посылают свои танки, самолеты. Тяжелые времена.

— Да, времена тяжелые, — согласилась Алтынай с серьезным видом. — Будут сильные, кровавые бои, но все

же мы опрокинем немца. — Она посмотрела на Аскар-Палвана и Бектемира. — Конечно опрокинем. Возможно, мы и умрем, но наша Родина победит...

— Знаем, — ответил Аскар-Палван. — Видим каждый день, как бьются наши.

— То-то, — засмеялась Алтынай.

— Как хлопок, осведомлены вы? — вдруг торопливо спросил Бектемир.

Алтынай вновь рассмеялась:

— Хлопок хорош, план, конечно, будет выполнен. Народ замечательно работает.

— Радостно об этом слышать. Расскажите, сестричка, о Ташкенте.

Девушка решительно ответила:

— К сожалению, больше не могу. Работы у меня много, раненые ждут.

— Хайр, племянница. Будьте осторожны... — посоветовал Аскар-Палван, прощаясь.

— Постараюсь.

Бектемир прошел с ней еще несколько шагов. Не хотелось ему расставаться с девушкой.

— Как-нибудь я приду к вам в санбат, хорошо? — сказал он и смутился.

— Хорошо. Здесь недалеко. Пожалуйста, — протягивая руку, произнесла девушка.

Прощаясь, Бектемир задержал ее руку, пристально взглянул в глаза.

Девушка ответила добрым, ласковым взглядом.

— Заходите, — повторила она шепотом.

Она стояла, опустив голову перед бойцом, который так неожиданно встал на ее пути.

На потемневшем небе с реденькими облаками тускло блестел серп луны. Еле слышно доносился орудийный гром.

Ветер слегка шевелит коротко подстриженные волосы девушки.

А она все не может поднять голову, прислушиваясь к тяжелому дыханию солдата, сердце догадывается о его горячем взгляде.

Вздвогнув, Алтынай посмотрела на бойца, медленно освободила руку из широкой ладони и ушла.

Бектемир сразу почувствовал вокруг какую-то пустоту.

Девушка исчезла за реденькими деревьями.

Бектемир остался наедине с чудесной, необыкновенной мечтой, рожденной этой неожиданной встречей.

Генерал встретил Никулина рассеянно. Резким движением руки он указал комбату на табурет и продолжал прерванную беседу с двумя молоденькими лейтенантами в новом обмундировании. Видимо, эти командиры только что прибыли на фронт.

Никулин, прислушиваясь к разговору, посмотрел на широкую, сложенную наспех, гудевшую от пламени печь. Пробегая взглядом по сырой землянке, он иногда исподлобья посматривал на высокого, худого, с густыми черными волосами генерала, один глаз которого был всегда чуть прищурен.

Хотя при первой же встрече некоторые стороны его характера пришлись капитану по душе, он сказал себе, что бои покажут, из какого материала он слеплен.

А сейчас Никулину нравились и тонкие, глубокие борозды, пролегшие от длинного, острого носа к уголкам губ генерала, и волнение, переполнявшее его, когда он говорил.

Генерал Соколов встал и крепко пожал руку лейтенантам. Проводив их до двери, он закурил папиросу и, пуская клубы дыма, снова опустился на табурет.

— Что вы любите в жизни, капитан? — серьезно и совсем неожиданно спросил Соколов.

— В каком смысле? — опешил Никулин.

— Известно, что природа наделяет человека определенными склонностями. Я люблю, например, рыбалку. Просто так. Чтоб душа успокаивалась. Когда остаешься на целые часы в одиночестве на берегу тихой речки, погружаешься в какие-то красивые думы, приближаешься к правде, и все становится, как утреннее небо, чистым и ясным... Ладно, можете думать, что я идеалист.

Генерал повернулся и задумчиво посмотрел на лампу. Капитан, улыбаясь, молчал. И только он решил рассказать о своих любимых занятиях, как зазвонил телефон.

Генерал, откашлявшись, взял трубку и долго говорил. Потом сел на место и, будто только что увидел Никулина, спросил совсем о другом:

— Ну, как дела? Фашиста ждем, а?

— Ждем, чтобы угостить, проклятого, его же собственной кровью.

— Вот, чтобы прорваться в этом месте, — провел пальцем по карте генерал, — они собирают силы. Но и наших сил здесь немало. Новые части готовы к бою. Немец в этот раз разобьет себе голову. Но если учесть прошлый опыт и взглянуть прямо в глаза опасности, то положение все же серьезное.



— Совершенно верно! — произнес Никулиц, морща лоб. — Поэтому мы очень осторожны.

— Главное от вас зависит... — произнес Соколов, многозначительно постукивая пальцами по столу. — Удержимся сейчас — дальше дела пойдут лучше.

Капитан Никулин понимающе кивал головой.

— Нужно как следует подготовиться, — продолжал генерал. — Без хорошей подготовки все, что мы задумали, не будет стоить и гроша. Ты все это знаешь, Никулин. На вас большая надежда. Что у тебя сейчас за люди?

Резким движением генерал отбросил упавшие на висок волосы и протянул руку к спичечной коробке.

— Разные... Это меня тоже больше всего мучит, — сказал Никулин, отрываясь от стола. — У меня есть ребята, бывшие немца и сами на себе испытавшие его железную силу, его хитрость и коварство. Но есть из других частей. Эти еще не привыкли друг к другу. Много бродили в одиночку по лесам.

Генерал, наклонившись над картой, слушал комбата внимательно.

— Им веревка кажется змеей. Они боятся немца и думают, что его никакая сила не отразит — пуля не пробьет, сабля не возьмет.

— Гмм... Вопрос ясен, — нахмурился Соколов. — При- тупленное оружие надо наточить, и оно режущим станет. Это уже от тебя зависит. Расставь таких между крепкими солдатами. Заставь поверить в силу пули, штыка, гранаты. Заставь осознать, на что способен пулемет, если он в руках отважного человека.

— Я считаю, что нельзя действовать только методом приказа, — согласился Никулин. — Очень важно усилить в бойце веру в собственные силы.

— Вот, вот, — подняв указательный палец, подтвердил Соколов. — Это основное. Если боец будет верить в себя, он не только у немца, у черта душу вырвет. — Генерал посмотрел на часы. Задохнувшись дымом, он со злостью бросил недокуренную папиросу и велел ординарцу принести кофе. Никулин спросил, нет ли к нему других вопро- сов.

Соколов отрицательно махнул рукой:

— Нет... Полковник все скажет. Выпей стакан кофе.

Никулин, взяв из сумки записную книжечку, начал было быстро делать краткие пометки, понятные только ему. Генерал посмотрел на комбата и недовольно проворчал:

— Остынет же. Пейте.

Капитан быстро сунул книжку и карандаш в сумку, отхлебнул горячего кофе.

— Отлично, отлично! Умеет готовить, — облизывая губы, произнес Никулин.

— Советую вам: почаще пейте кофе. Я им жив...

Никулин небольшими глотками допил кофе, попросил разрешения встать. Он уже собирался уйти, но, по обыкновению прикусив губу, задумался. Потом, решившись, спросил генерала:

— Сюда прибывают штучки, новенькие-преновенькие. Сверкающие.

— Вот артиллерия! Целовать хочется, — гордо произнес Соколов.

— Мне, конечно, тоже достанется? — с волнением произнес Никулин.

— Это остается в распоряжении командования. На каком участке враг сосредоточит свои силы, туда их бросят.

— Я стою на больших и важных дорогах. Значит, имею право взять, — решительно произнес Никулин.

— Разбойник избирает места поукромнее...

— Но этот разбойник стал таким нахальным, что на машинах гонит прямо к воротам дома.

— Еще лучше. Мы как раз и откроем глаза глупому разбойнику, — сказал Соколов и крепко пожал руку капитану. — Отучим его. Дадим, как говорится, от ворот поворот.

Никулин, покачиваясь на лошади, ехал по затвердевшей грязи. Видно было, что он не кавалерист — на лошади сидел неловко. На дороге встречались кренящиеся, высоко груженные машины. Шагали группы усталых пехотинцев.

Переехав через деревянный мост над узкой речкой, Никулин свернул на ровное широкое поле с высохшей густой травой и, придерживав лошадей, повернулся назад:

— Ты что побледнел, Ашуров? Ветер сильный, а?

— Вот-вот каску сорвет, — сказал Аскар-Палван, гарцуя позади на вероной лошади.

— Идет русская зима, — выделяя каждое слово, выразительно произнес Никулин. — В когтях зимнего льда вся земля становится как камень. А фашист? Он ведь не выносит холода! Как муравей, будет гибнуть.

— Хорошо, — засмеялся Аскар-Палван. — И война, значит, быстро закончится!

— Не знаю...— нерешительно ответил Никулин, затем, пробежав глазами по полю, где завывал ветер, продолжал: — Купкар любишь?

— А, улак! Улак! — оживившись, произнес Аскар-Палван. — На улак вы полюбуйтесь в Фергане! Очень интересная игра.

— А сам ты какой, смелый человек в улаке?

— Немножечко, — хитро улыбаясь, ответил Аскар-Палван. — В прошлом году на колхозном празднике выиграл большую телку.

— Молодец, богатырь! — кивнул головой Никулин. — Вот прогоним немца — и такой улак организуем, какого не было во всей истории.

— Вот это отлично! — взволнованно крикнул Аскар-Палван. — Тогда на большом поле сделаем пробу. Узбекский кураш вы видели? Очень интересно бывает. Ох, кураш, кураш!

— Ты участвовал и в курашах?

Аскар-Палван гордо кивнул головой.

— И-и, да ты во всех играх, оказывается, отличиться можешь! Настоящий джигит! Молодец!

Аскар-Палван с увлечением начал толковать, что такое кураш.

Стонал ветер, лошади, упрямо мотая мордами и фыркая, двигались вперед, к черневшему вдали лесу.

Никулин сидел чуть наклонившись и внимательно, с интересом слушал бойца, который, не находя нужных слов, начинал выразительно жестикулировать.

Командир много раз испытал мужество и преданность Аскар-Палвана. Ничего, что боец казался малоподвижным. На него можно было положиться в любом деле.

Когда они вернулись в батальон, Никулин остановил лошадь, спрыгнул на землю, отдал повод Аскар-Палвану и сразу же ушел.

Темень была густая, луна еле светила. Ее тусклый свет почти не доходил до земли.

Никулину нужно было точно знать, как укреплены позиции. Не заходя в штаб, он направился проверять огневые точки. Ротные командиры встречали его с большим уважением, но и с некоторым опасением.

В одном из подразделений Никулин почувствовал какую-то угнетающую тишину, унылое настроение. Бойцы сидели скучные. На вопросы отвечали вяло, неохотно.

Комбат внимательно посмотрел на бойца, который, присев на корточки, курил самокрутку.

Матово блестели его щеки. Обросшее широкое лицо было печальным.

Никулин присел около солдата.

— Юлдаш! — тихо произнес капитан.

Боец вздрогнул, поднял голову. Увидев рядом с собой командира, он явно растерялся и не знал, встать ему или сидеть. Никулин нажал на его плечо — сиди. Боец замер, с тоской поглядывая на огонек самокрутки.

— Ты видел, как догоняют в скачках девушек. Сам-то гнался хоть за одной? — пошутил Никулин.

Боец-каракалпак в ответ слабо улыбнулся.

— Наверное, гнался, да не смог догнать. Так, что ли?

— Нет... Что вы?.. Для джигита это смерть, — оживившись, произнес боец. — Говоря правду, один раз отстал. Но сама девушка была быстрее могучего скакуна. А вообще я семь раз выигрывал на скачках и вовсю целовал девушек. Ох каких красивых девушек! — улыбнулся боец.

Никулин, хлопнув ладонью по коленям, захохотал. Бойцы, не зная, о чем шел разговор, поворачивались в их сторону с удивлением и интересом.

Никулин встал с места, подробно и живо рассказал про игру на народных празднествах.

— Преследование девушки, — пояснил он, — одна из национальных игр каракалпаков.

Кто-то из бойцов крикнул:

— Касымбеков, сколько раз ты целовал каждую девушку?

— Не спрашивай счет, спрашивай о сладости поцелуя! — ответил Касымбеков.

Зазвучал смех.

Никулин незаметно стал душой компании.

— Товарищи бойцы! А ну, споем песню! Только не громко, а тихонько — немцы близко.

Дирижерским жестом взмахнул рукой и начал песню. Один за другим ее подхватили все бойцы. Песня росла, голоса звучали все сильнее.

Спели одну, начали другую.

Никулин пробежал взглядом по лицам солдат. Настроение поднялось.

Касымбеков уже что-то толковал бойцу рядом про девушек:

— Глаза горят, как звезды. Таких глаз я еще не видел.

— Ей-богу, после песни теплее на душе стало!

Никулин сделал рукой знак — все умолкли.

— Песня зимой для солдатского духа — костер. А летом песня — весенняя прохлада. Приду завтра — споем еще. Бойцы согласились. Старший сержант с гордостью сообшил:

— У нас есть и свой поэт. Попросим его, он сочинит новую, огненную песню про бои. Таковую, чтоб душа горела.

— Это даже лучше, — похвалил комбат.

В холодной, наполненной дымом землянке Никулин разговаривал с командирами рот. Затем комбат вызвал группу разведчиков.

Бойцы вошли, вооруженные гранатами, сигнальными ракетами. Они не могли скрыть внутреннего волнения.

Это душевное состояние хорошо было знакомо Никулину.

— Ты простужен... Остайся, — сказал капитан кашлявшему бойцу.

— Товарищ капитан, я совсем здоров...

— Нельзя. Кашляешь так, что землянка трясется!

— Да, верно, если раз чихнешь, когда войдем в деревню, все дело испортишь! — произнес командир разведчиков, маленький крепыш.

Проверив подготовку к поиску, Никулин напутственно махнул бойцам рукой и тихо сказал:

— Желаю вам успеха!

В землянку вползла тишина. Никулин поправил фитиль лампы, слабо мигавшей среди горького дыма. Почувствовал озноб. Накинув шинель на плечи, сел на табуретку и, облокотившись на стол, сжал лоб.

Вспомнилась карта генерала, над которой они склонялись вместе. Сколько на ней красных и синих черточек, маленьких кружков — разных огневых точек! Это линия обороны. Здесь надо дать отпор врагу, решившему сделать скачок к Москве.

Голос телефонистки заставил комбата прервать свои думы.

Он открыл глаза.

— «Фиалка»!, «Фиалка»! Я — «Верблюд»!, «Верблюд»! — кричала девушка.

Хотя он на фронте бесчисленное множество раз слышал еще более нелепые слова, употреблявшиеся для связи, сейчас почему-то удивился:

«Фиалка» — «Верблюд»... Надо же придумать! Логика войны!»

Аскар-Палван принес ужин. Никулин, молчаливый и усталый, дымил папирсой.

— Едва отогрел, ешьте, а то остынет,— подвинул Аскар-Палван котелок к капитану.

Никулин откинувшись назад и прищурив глаза, произнес:

— Ну, что скажешь, если нарушим шариат?

— А! Шариат? — не понял Аскар-Палван.

Никулин засмеялся, щелкнул пальцами по горлу.

— А, сейчас, сейчас! — Аскар-Палван кинулся в темный угол.

Вынув бутылку из ящика, он ловко стукнул по доннышку. Сделал один глоток: попробовал. Потом вытер усы и наполнил стакан.

Аскар-Палван сказал о том, что видел друга Бектемира.

— Какой это?

— Уринбаев. Жив-здоров. В третьем батальоне, оканчивается. Обижен он. Попал в хозяйственную часть. Возьмите к нам, товарищ капитан.

— Да, жалко скакуна в телегу запрягать!

Снаружи внезапно послышались топот и шум. Через мгновение несколько бойцов ввели кого-то из передней.

По тому, как дернулся неизвестный, было ясно, что на пороге ему дали хорошего пинка.

— Шпион! Поймали на краю оврага,— задыхаясь, доложил один из бойцов.

— Чуть было не отпустил. Посмотрите на одежду! — сплунув, произнес второй.

Никулин резко отодвинул котелок, встал с места, поправил ремень и хмуро уставился на человека средних лет в красноармейской одежде.

Во всем облике фашиста выражалась злоба.

Аскар-Палван, желая выяснить, похож ли шпион на человека, вытянул шею и смотрел, приблизившись почти вплотную.

— А ну, поближе, выдернем-ка перышко из птицы Гитлера! — сказал Никулин, сжав зубы.

...На другой день к вечеру в роту пришел Бектемир. Дубов крепко обнял его.

— Я уже давно зарыл было тебя в землю,— произнес он.

— Комбат узнал. Снова взял к себе... — объяснял, довольный, Бектемир. — Хороший человек капитан...

— Теперь, значит, на дорогах Москвы-матери будем вместе бить фрица! Так-то, брат... — похлопал друга по плечу Дубов.

Вскоре пришел Аскар-Палван. Он привел с собой зем-

дяка Хашимджана. Бывший учитель недавно стал младшим лейтенантом. Бектемир поздравил его.

— Братец, я недоволен этим званием,— произнес Хашимджан.— Раньше отвечал только за свою голову. Теперь — за многих. Чем выше поднимаешься, тем больше ответственности. Есть древнее изречение: «Если полководец с умом — враг перевернется кувырком». Чтоб быть главой над многими, братец, нужны сообразительность и талант.

— Это придет со временем,— пообещал Бектемир.

— Еще трудно сказать,— пожал плечами младший лейтенант.

— Письма не получали из дому?— спросил Бектемир.

— Нет,— вздохнул Хашимджан.— Как птицы гибнут, натолкнувшись на буран, так и письма — словно горят в этом огненном буране. Как увижу семью, приятелей во сне, настроение портится.

— Хвала тебе... И со мной так же,— засмеялся Бектемир.— Однажды, ну прямо как Насреддин, поверил своему сну. Насреддин во сне явился с петухом на базар. «Сколько?» — спрашивает покупатель. «Две таньги», — отвечает эфенди. «Одна таньга!» — говорит покупатель. «Нет!» — «Полторы таньги». — «Нет». — «Ну уж ладно, без четверти две таньги!» — говорит покупатель. Ходжа Насреддин опять ответил: «Нет» — и вдруг проснулся. Смотрит — ни петуха, ни покупателя. Тогда он быстро закрыл глаза и говорит: «Ладно, давай руку, согласен на без четверти две таньги!» Так вот и я, — продолжал Бектемир, — заснул на краю оврага, продрог. Вижу наш прекрасный сад, прохладную супу, вода журчит. Отец, бедняга, приносит из сада корзину инжира, кладет около меня и хлопает по плечу: бери, сынок. Гладит меня по голове. Когда я направлял в рот инжир, большой, как лепешка, глаза мои открылись. Ни отца, ни инжира. Гудит одна стужа! Быстро закрыл глаза снова, жую, решил всласть, вдоволь наесться инжира.

Земляки захохотали, Хашимджан перевел Дубову. И тот посмеялся:

— Вот такова жизнь солдат. Поцелуй во сне — любовь и счастье для него!

— Когда буран утихнет? — наивно спросил Аскар-Палван.

— Когда? — вздохнул Хашимджан.— Сейчас огонь бурана идет с запада. Потушим его до того, как он дойдет

до Москвы. Кровь за кровь, смерть за смерть! Сейчас надо думать только об уничтожении врага. Чем скорее мы его истребим, тем скорее кончится война.

Где-то поблизости один за другим взорвались снаряды. Зброшенный деревянный дом затрещал...

### *Глава тринадцатая*

Али, укывшись в чулане маленького дома, так там и остался. Что ему было еще делать? Хотелось бы выйти наружу, да вокруг гитлеровцы. Он слышал, как обращался враг с пленными. Страшный враг. Нет для него ничего святого в этом мире. А что может сказать Али? Они даже не поймут его, гитлеровцы. Нет. Выходить пока нельзя. Живым-здоровым попасть в руки врага — позор. Это понимал Али. Отец — народ, мать — тоже народ. Где весь народ, там должен быть и каждый человек. Весь народ защищает сейчас советскую землю. Значит, и его, Али, место тоже здесь, на войне.

Бедняк Али Ярматов, родители которого не имели крова, а сам он ходил в отрепьях, батрачил на баев, только при Советской власти почувствовал себя человеком.

Сыновья его катаются на велосипедах, дочурки одеты в шелковые платья, а сам он, молодецки открыв грудь нараспашку, ходил хозяином колхоза, который простирается до самого горизонта.

Кто дал ему свободу, такую жизнь? Али задумался. Сейчас он по-настоящему оценил Советскую власть. Ее нужно защищать, эту власть. Нужно воевать с врагом. А он прячется, как сурок. От таких мыслей Али становилось не по себе. Но выйти за пределы двора он тоже не мог.

Как только Али открывал дверь чулана, руки и глаза сразу искали дела. С удовольствием он чистил хлев, коллол дрова. Но вот во дворе появлялась хозяйка, и Али, виновато втянув голову и плечи, бежал в свою «печальницу».

Хозяйка была очень ласкова. Али про себя благодарно думал:

«Такой женщины не найдешь во всем мире. Если кончится война, если вернусь живым с дороги, «откуда нет возврата», пошлю ей чемодан чудных узбекистанских шелков. А потом еще буду посылать ей все фрукты своего сада. Самые чудесные буду присылать ей фрукты!»



Хозяйка не стесняла бойца в питании. Она, по обыкновению, подходила тихо и, просунув голову в темный сарай, называла его по имени.

Грустный Али, в душе которого было так же темно, как и в этом чулане, открывал дверь, впуская женщину.

Каждый раз хозяйка, проклиная врага, начинала рассказывать о последних событиях, происходивших в деревне и вокруг. Али, наморщив лоб, слушал напряженно.

— Ненасытный, фашист, прорва!— опустившись на лавку, начинала причитать хозяйка и рассказывала, как враг жаден до еды, что в скором времени в деревне от кур, уток, свиней ничегошеньки не останется.— Рыскают по деревне. Находят зарытую картошку.

А за мешок зерна они проломил голову тетке Анне. Твари с собачьим нравом!

Она рассказывала о наглости фашистов, об их скотском отношении к женщинам, девушкам, о том, как они изнасиловали дочь бригадира — пятнадцатилетнюю девочку и как надругались над учительницей за то, что она не давала сжечь школьную библиотеку.

— Вот что творится...— вздыхала хозяйка.

Али не покидали страшные думы. Положенне-то в самом деле было тяжелое. Он боялся не только за свою голову. Из-за него могла погибнуть семья.

«Была не была. Пусть свершится то, что суждено мне!» И Али решил бежать.

«Пойду в лес. Может быть, дойду до части или же буду помощником богатырям партизанам!»

Ночью в деревне поднялась страшная суматоха. Крики, беспорядочная стрельба, взрывы гранат. Али приподнялся, прислушался. Это не было похоже на панику, при которой пьяные вдрызг «победители», пугаясь каждой тени, начинали сыпать пули в разные стороны.

Али кинулся во двор. Ночь была холодной, темной. На другом конце деревни, где еще продолжалась стрельба, что-то ярко горело. При взлете пламени, разгонявшего ночь, дым, клубясь, поднимался вверх. Постепенно выстрелы утихли.

«Должно быть, партизаны напали. Враг теперь еще больше взбесится»,— подумал Али. И словно нож направили в его сердце. Ведь, разыскивая спрятавшихся партизан, фашисты могли сейчас бегать по всем домам и наткнуться на него.

Чтобы действовать наверняка, Али решил получше все разузнать у хозяйки. Он не спрятался в свой чулан, а сел

около забора. Если вдруг пагрянут немцы, он сразу же перемахнет на другую сторону, а если ему суждено встретить смерть, пусть она будет за пределами этого дома.

Но немцы не показывались. Они до самого рассвета поливали улицы огнем из пулеметов и автоматов где-то далеко в стороне. Али снова укрылся в чулане. Хозяйка появилась гораздо позже, чем обычно.

— Проголодался, наверное,— сказала она, протягивая молоко и хлеб.— Ты слышал ночной шум? Партизаны пришли. На том краю деревни, вблизи шоссе, уничтожили много машин с грузом.

Лицо женщины сияло от радости.

— Не один фашист захлебнулся в своей крови. Но этого мало. Пусть на каждом шагу их ждет смерть.

— А сейчас как, спокойно?— спросил Али.

— Утром всех собрали на площадь,— покачав головой, ответила хозяйка.— Вплоть до детей, которым от горшка два вершка. Кругом пулеметы. Главный их, как волк, выл. Говорит: подожду деревню.

— А? «Подожду»? Где винтовка?— засуетился Али.— Люди будут гореть в огне?— стукнул он себя в грудь.— Нельзя допустить этого.

Хозяйка пристально посмотрела ему в глаза. Она впервые увидела бойца таким разгневанным, словно приготовившимся к прыжку.

Бывшего председателя колхоза — старого, мирного человека — расстреляли. Семнадцатилетнего Мишу, гармониста, повесили. Ужас! А еще сколько людей забрали!..

Хозяйка,— произнес Али, слегка дотронувшись до руки женщины,— есть у меня один план: уйду к партизанам. Ты только помоги мне выйти отсюда. Помогни и не отговаривайся. Пусть спокойным будет твой сон.

Хозяйка подняла голову. Глаза ее были полны слез.

— Хорошо!— согласилась она.

На другой день в сумерках Али вышел из своего «заочения». Вел его дед Яшкин. Долго они шли по лесу, наконец старик остановился.

Садись, отдохнем. Жаль, что с тобой по-настоящему и не поговоришь. Садись же,— произнес старик, облегченно вздохнув, словно только что избавился от опасности.— Ночью сюда немцев и золотом не заманишь.

Лес стоял темный, настороженный.

— Если партизаны где-то близко, то нам лучше идти,— предложил Али.

— В начале пути мы еще, друг. Партизан — птица

хитрая, где попало гнездышко не вьет,— произнес старик и, усевшись поудобнее, достал кисет с табаком.

Если говорить правду, он ничего не знал о партизанах. Когда несколько дней назад на опушке леса дед косил сено, из-за стога внезапно вышел незнакомый человек с винтовкой.

Старик вначале испугался. Но, догадавшись, кто перед ним, хитро улыбнулся и предложил ему помощь.

— Передайте своим командирам,— сказал дед,— что готов исполнить любое ваше поручение.

Старик рассказал об этой встрече Марии — женщине, которая приютила солдата.

Когда же она попросила Яшкина проводить Али к партизанам, он сразу же согласился и даже похвалил:

— Раз уж ты в деревне, где кишмя кишат враги, сумела хранить под своим подолом бойца, значит, твоя голова на месте и сердце у тебя храброе!

Сейчас в холодной ночи, в черной пучине леса он рассказал об этом Али.

Боец кивал головой, но ничего не понял. Он по-прежнему смотрел на деда с уважением, как на отважного партизанского разведчика.

— А партизан мы разыщем,— заверил старик.— Это же наши люди.

За свою долгую жизнь он отпечатал в своей памяти живую картину всех окружающих мест.

В самом деле, на другой день дед Яшкин привел Али прямо к лагерю партизан.

— Откуда ты взялся, старик?

— Потом, потом объясню...— отмахнулся дед от молодого парня с винтовкой в руках.— Веди к начальству.

В землянке дед оживился.

— Вот, командир, привел к тебе одного героя,— сказал он командиру отряда и, чтобы сделать для него приятное, с видом знатока похвалил:— Хорошее местечко ты выбрал. Знаю, это место природа словно по заказу партизан создала. Поэтому сердце мое и привело меня сюда, не удивляйся!

Командир отряда, бывший зоотехник, полный, с чуть прищуренным левым глазом и небольшими черными усами, весело ответил старику:

— Ну что ж. Гостям мы всегда рады.

Приблизившись к Али, который стоял на пороге землянки, командир добавил:

— Ну, Ташкент — город хлебный! Пришел партиза-

нить? Партизанская жизнь не сладка! Вот каким должен быть!— он крепко сжал свой большой кулак.

— Голова моя теперь ваша!— произнес Али кратко. Этот ответ он подготовил заранее, пока старик разговаривал с командиром.

Подумав, боец решил, что такого заявления маловато. И он, жестикулируя, пояснил, каким хорошим партизаном обещает быть.

Командир приказал женщине, повязавшей голову до самых глаз толстым шерстяным платком:

— Дай ему поесть и укажи место, пусть отдохнет.

Шагая по узкой землянке, сказал сам себе:

«Нужно, конечно, научить его языку. Чтобы хорошо знал. Такие моменты бывают, что одно слово дважды не успеешь сказать; шепнешь — а оно для бойца план большой задачи».

Дед Яшкин, оставшись с командиром наедине, рассказывал о положении в деревне.

Командир из уважения к старику внимательно выслушал, хотя все это ему было известно.

— Ну, мне пора в дорогу,— наконец встал старик.

Командир тоже вышел из землянки, и, еще больше прищурившись, с лукавой и довольной улыбкой долго смотрел ему вслед.

Рашид лечился в маленьком, тихом русском городке. Он быстро привык в госпитале к смеси запахов разных лекарств.

Его рана была не очень тяжелой. Через день Рашид посылал в кишлак письмо, свернутое треугольничком.

Почти все свое время боец проводил у окошка, разглядывая улицу, милиционера, который стоял посреди многолюдной площади. По вечерам он рассказывал анекдоты про Насреддина, смешил раненых. Товарищи удивлялись, что этим анекдотам нет конца.

— Их веками складывали...— пояснил Рашид.— Из поколения в поколение передают.

В неделю раз в госпиталь приходили местные артисты, давали концерты.

Через несколько дней Рашид начал выходить в город.

Однажды вечером он пришел в парк с молоденькой медсестрой. На дорожках, посыпанных песком, почти никого не было. Холодный ветер срывал листья с огромных деревьев.

Рашид и девушка, довольные этой тишиной, уселись на скамейке. Клара, дочь старого учителя литературы, студентка художественного техникума, с самого начала войны добровольно работала в госпитале.

Девушка любила экзотику. Она расспрашивала о природе Узбекистана, караванах, песчаных степях, «хлопковых деревьях», минаретах Самарканда, о которых она много слышала.

Черноглазый боец с лохматыми бровями, положив здоровую руку на плечо девушки, рассказывал увлеченно.

— Может, пойдём в кино?— предложил Рашид, когда они вышли из парка. Девушка согласилась.

Около кассы среди военных Рашид увидел знакомого:

— Камал!

Тоненький, высокий лейтенант пристально посмотрел на Рашида и кинулся к нему:

— Рашид-ака, вы ли это? О боже, что вы тут делаете?

Это был младший брат Бектемира. Земляки отошли от толпы к забору, стали рассказывать друг другу о своих приключениях.

Камал Уринбаев в районе, близком к границе, встретил врага огнём своей батареи. Раненый в Белоруссии, он лежал там во многих госпиталях и наконец попал в этот город, где и вылечился.

— Хорошо, что встретились,— произнес Рашид, прикуривая папиросу от трофейной зажигалки.— Завтра отправляюсь на фронт. Ну, как там Бектемир? Хорошо воюет? Я, к сожалению, быстро вышел из боя. О земляках ничего не знаю. Нет ли письма из дому?

— Здесь получил я одно письмо,— сказал Камал и проверил свой карман.— Все живы-здоровы. Отец, оказывается, стал председателем, сестричка Зайнаб — бригадиром. Из пятерых братьев остались только двое — Ташир-ака и Кадыр-ака. Ой, что же мы стоим? Девушка ждёт вас. Эх, да как же так можно? Оставить такую девушку! А ну, живо к ней!

Рашид покраснел и засмеялся.

## *Глава четырнадцатая*

Октябрь пришел со снегом и морозами. А бои становились с каждым днем все упорнее, горячее. Покоя — ни днем ни ночью. Земля ни мгновения не отдыхала от разрывов бомб и снарядов, небо — от гула самолетов.

По словам Аскар-Палвана, дни стояли такие, как будто черные дивы, разорвав свои цепи, намеревались растоптать весь мир.

Сколько танков!

Сколько самолетов!

Советские дивизии, полки, батальоны встали против этого половодья железа и огня. Половодье росло, ширилось. Росла, ширилась и наша сила, самоотверженность, гнев. Позади — Москва, об отступлении нельзя было и думать.

Чувствуя свое бессилie, враг становился более озлобленным, коварным.

Между боями, в короткие периоды затишья, земляки встречались.

— Как настроение?— спрашивал Аскар-Палван у Бектемира.

— Ничего. Глины поел немало. Да и ты вытри физиономию!

— Берегись танков,— советовал Аскар-Палван.— Ведь танк не лошадь, за гриву его не поймаешь.

— Ладно, на этот раз посмотрим, как ты их удержишь,— усмехнулся Бектемир.

Однажды на рассвете, подняв голову, Бектемир увидел, что кругом белым-бело. Ветер швырял колючий снег в глаза. На душе Бектемира стало грустно. Он вспомнил торжества в Узбекистане по случаю первого снега. Люди поспешно пишут своим друзьям «снежные письма», с волнением и хитростью пытаются вручить их, чтобы добиться желанного подарка. Кто-то бежит, кого-то догоняют. Устраиваются угощения. Дети наполняют шумом улицы, строят горки, валяются в белом пуху, играют в снежки.

Сам Бектемир в прошлом году по «снежному письму» заведующего колхозной фермой зарезал барана с курдюком, тяжелым, как большая корзина. Хорошо Бектемир угостил своих друзей! Дом был полон друзей и приятелей... Дутар, песни, шутки.

Кто из этих парней остался сейчас в кишлаке? Трудно сказать.

Аскар-Палван хватал пригоршнями снег. Он с улыбкой произнес:

— Помнишь, когда я женился, в день свадьбы выпал пышный снег. В наших краях такой снег бывает очень редко. Жена, находившаяся, по обычаю, за занавесью в

-углу, спросила: «Джаным, не по вашей ли просьбе снег пошел?»

— А ты что ответил?— спросил Бектемир.

— Я?— прищурив глаза, переспросил Аскар-Палван.— Я ответил, что не снег идет. «Поверь, милая, это мука падает. Изобилие будет».

— Вот тебе и раз! Ну и ответил!

— Ну а что ответил бы ты?— поинтересовался Аскар-Палван.

— На свадьбе нашей снег, а в душе нашей весна! Я бы так ответил.

— Ты что, находился в учении у Фазыла-бахши?— Аскар-Палван шутливо швырнул в лицо друга горсточку снега.— Да, кстати, тебе еще удалось увидеть Алтынай или нет?— вдруг серьезно спросил он.— Девушка приятенькая, как шелковая кисточка.

Бектемир, пытаясь унять взволновавшееся сердце, медленно расправил плечи.

— Э, брат, в думах моих она единственная. Желание встретиться с ней — всегда в душе.

— Красавица девушка, беленькая как пух. Стоит того, чтобы ты мечтал о ней. И разум у нее на месте. Помню, с каким огоньком она говорила о том, что мы раздавим фашиста. Мудрая девушка,— степенно, чеканя каждое слово, проговорил Аскар-Палван.

Бектемир, погруженный в свои мечты, промолчал. Затем, тяжело вздохнув, тихо сказал:

— Друг, я всей душой люблю ту девушку. Но ведь нет никакой возможности встретиться с ней. «Война — не место любви»,— говорю я себе. Но в душе всегда любовь и мечта о ней... Конечно, как-нибудь выберу время и пойду в санбат, найду ее,— твердо произнес Бектемир.

Лицо его менялось. То становилось грустным, то вдруг тень какой-то надежды мелькала на нем.

— Если увидишь, не забудь передать привет и от меня. Ее обращение и слова понравились мне,— улыбнулся Аскар-Палван.

Подошел связист Азимов, широкоплечий, огромный, с острым носом, с тоненькими, словно нарисованными карандашом, бровями, под которыми живо бегали черные глаза.

В голенище сапога солдат носил най. Совсем недавно, после отражения нескольких атак противника, внезапно среди тревожной тишины нежно и печально потекли звуки наяр. Это, усевшись в глубоком окопе, играл Азимов. Все притихли.

Сейчас Азимов весело осмотрел земляков.

— А, дети солнца, поздравляю с зимой!— громко произнес он.— Это только ягодки. Русская зима у-у-ух! бывает какой лютой. Ноги, грудь надо в тепле держать. Вот бы сейчас крепкого, горячего чайку!

— И в нутро к нам пришло бы лето!— поперхнувшись, произнес Аскар-Палван.

— Подожди говорить о час. Как бы немец не заставил в огне купаться!— Бектемир, прикусив губу, улегся в снежный окоп.

И действительно, скоро начался бой. Атака гитлеровцев была похожа на предыдущие.

— Не может успокоиться, гадина!..

— Нужно его утихомирить.

Бойцы готовились отразить врага, который приближался к окопам.

Впереди танки, за ними автоматчики, потом снова танки, и снова под их защитой пехотины.

Оставив три подожженных танка и десятки убитых, враг отошел. Но через некоторое время, с новыми силами, опять бросился в атаку. До наступления темноты гитлеровцы, не успокаиваясь, продолжали натиск.

Свежий снег окрашивали темные пятна.

\* \* \*

Был ясный день. Сверкающий на солнце снег слепил глаза. В лесу, наряженном в красивые зимние одежды, господствовала глубокая и величавая тишина.

Только в партизанском лагере, невидимая для чужих глаз, шла жизнь. словно раскаленные угольки, покрытые золой, она далеко распространяла свое тепло.

Али вместе с Верой Петровной распиливал длинную толстую сосну. Он любил такую работу. Поплевывая на ладони и ловко орудуя пилой, он поторапливал женщину:

— Ну, Петровна, давай, давай!

Приглушенный звук пилы, растущие кучки опилок, гряда поленьев доставляли ему радость.

Вера Петровна, рослая, сильная, немногословная женщина, тоже, казалось, не знала усталости.

— Ничего, ничего, — отвечала она. — Не отстану.

Почти все хозяйство партизан лежало на ней. Она была дальней родственницей командира отряда. Муж ее погиб в финскую войну. Вдова честно трудилась в колхозе, жила в достатке. Свое счастье Вера Петровна видела в дочери. Мечтала послать ее в Москву, в институт.



В день, когда немцы ворвались в деревню, пятнадцатилетняя девочка, гнавшая с поля корову, погибла от пули врага.

Мать похоронила единственную дочь между двумя безрезами за околицей деревни.

Вера Петровна о своем горе никогда не говорила. Старалась держаться бодро.

Таковыми были и другие члены партизанской семьи, хотя много пережили, много повидали за последнее время.

Али очень быстро свыкся с полной опасностей жизнью партизан, требовавшей беспредельной самоотверженности, выносливости и отваги.

Слово «партизан» он произносил с какой-то особой гордостью. Он то и дело толковал кому-нибудь:

— Раз есть партизан, дела немца паршивы. Почему, спрашиваешь? Да потому, что хвост у него не свободен.

— Правильно,— улыбался собеседник Али.

Воодушевленный Али развивал свою мысль:

— Фашисту надо голову размозжить. Но если как следует будем наступать ему на хвост, он в конце концов растянется обессиленный. Вот тогда и раздавим голову. И конец делу будет!

В отряде насчитывалось человек тринадцать. Один киргиз, несколько украинцев, один азербайджанец, узбек Али. Остальные — русские. Почти все они — колхозники этого края. Партизаны любили своего смелого, решительного, всегда готового на риск командира. Он никому не давал покоя:

— Отдыхать некогда... Потом, потом отдохнем...

Али уже участвовал в нескольких операциях. Он был доволен, что попал в крепкую боевую семью.

— Хороший народ. Не пропадешь с вами,— восхищался Али.

Люди не знали усталости. Забыв про сон и отдых, они вели напряженную, суровую жизнь.

...Али взглянул на спокойное лицо женщины. Оно только покраснело, но даже тени усталости на нем не было.

Вера Петровна по-своему истолковала этот взгляд.

— Довольно. Устал ты,— сказала она и, потирая ладонью колени, встала.

— Я до завтра могу работать.

— Давай рубашки твои, выстираю,— неожиданно предложила женщина.

— Мыло у тебя плохое — немецкое. У меня есть свое. Сам вымою.

Рядом кто-то зашуршал. Али прислушался. Лисица, сверкнув красноватой шерстью, нырнула в кустарник.

— Шуба! Шуба! — кричал Али.

Вера Петровна поняла его слова по-своему. Побледнев, она кинулась к землянке командира.

Командир выбежал с винтовкой в руках.

— Что случилось? Кто?

Он озирался по сторонам.

— Где? Кто? — испуганно спросил Али.

— Вы кричали? Кого увидели?

Али, ничего не понимая, стоял разинув рот.

— Где шуба? Что это за человек? — продолжал волноваться командир отряда.

— Нет, не человек, — ответил Али.

Он не знал, как назвать лисицу по-русски, и начал растолковывать:

— Есть четыре ноги, быстро бегаёт. Хвост большой, пушистый. Шубу сделаешь. Хорошая, теплая будет! — Подумав, Али добавил веский довод: — Дорогая шуба.

— А, лисица, — махнул рукой командир, и все трое весело рассмеялись.

Али не мог удержаться от смеха, когда возвратился в землянку.

Молчаливый, сильный киргиз Бегимкулов, только что вернувшийся из дозора, удивленно поднял голову.

Али, весело покачивая головой, рассказал, в чем дело. Бегимкулов тоже рассмеялся.

— Язык, оказывается, нужен, Али-ака. Язык! — произнес он затем. — Незнание языка может дорого обойтись. Видишь, из пустяка — и уже тревога. А может и хуже случиться.

— Верно, сколько наших настоящих богатырей погибло только из-за незнания языка.

Али, вероятно, кого-то вспомнил из друзей, тяжело вздохнул. Затем он залез на усталенные сеном нары и улегся на них.

Со стены напротив смотрит на него Ленин — простой и близкий.

Али разглядывает портрет и думает: его колхоз носит имя Ленина. В его доме, построенном два года назад и обращенном фасадом прямо к солнцу, также был портрет Ленина.

А разве не песню о Ленине каждый день, заглядывая

в книгу, звонко и радостно разучивал сын? Али вздохнул. Он словно услышал голос сына.

Али мысленно повторял слова песни, и в глазах его от волнения сверкнули слезы.

«Ленин — великий человек. Он всех народов отец. В далеком Узбекистане, в моем доме — Ленин. Здесь, в лесу без конца и края, в укрытиях партизан, похожих на берлогу медведя, — тоже Ленин!»

Али задремал.

Ночью командир разбудил партизан.

— Дело, — коротко пояснил он.

Вышли на дорогу. Снег скрипел под сильными ногами. В лесу царил холодная тишина. На белых снежных одеяниях деревьев играл желтовато-голубой свет звезд.

Внутреннее волнение заставляло ускорить шаг, сближало сердца. Кажется, что переживания и думы всех партизан были понятны без слов.

Идти все труднее. Мешают кустарник, корни, попадаются ямы. Али, надвинув меховую шапку на самые уши, едва успевает за всеми.

— Будь осторожен, друг. Внизу вода. — Командир останавливается, смотрит на звезды, как будто прислушивается к темному, без конца и края, лесу. Потом подает знак двигаться дальше.

Группа, прежде чем выйти на большую дорогу, за которой начиналась деревня, остановилась в овраге. Командир посмотрел на часы. Совсем близко из-за редких деревьев прострочил автомат. Партизаны залегли.

Через некоторое время по условному свистку они ринулись вперед, стремительно перебежали дорогу и вскоре очутились у приземистого здания. Полетели гранаты.

В одно мгновение здание погрузилось в пучину огня. Немцы кидались из дверей и окон.

— Так их, гадов! — радостно кричали партизаны. — Бей!

Гитлеровцы почти не сопротивлялись. От неожиданного нападения они обезумели.

Бегимкулов хладнокровно стрелял по врагу. Али тоже бросил вслед немцам гранату, за ней — вторую.

Командир вытащил кого-то из охваченного пламенем здания и хрипло закричал:

— За мной!

Только после того как вошли в лес, Али узнал, что получил тяжелое ранение и скончался один из партизан.

Опустившись на колени, Али погладил закрывавшую грудь партизана черную бороду:

— Хороший ты человек был, бабай!

## *Глава пятнадцатая*

Шли машины с солдатами. Двигались подразделения пехотинцев, громыхали орудия и танки. И так на всех улицах, на всех площадях.

Камал увидел мужественный город, к воротам которого приблизилась война.

В Москву Камал Уринбаев заехал по пути на фронт. Во всем, с чем он встретился на улицах города, чувствовалась яростная сила ненависти к врагу. Москва была великой и гневной.

Камал видел это в баррикадах, и в ошетинившихся противотанковых «ежах», и в кудрявой голове погруженного в глубокую думу Пушкина.

Фасады больших зданий, словно гримасы шута, приняли какие-то уродливо-бессмысленные формы. Камал смотрел с удивлением, словно видел перед собой сказочных колдунов с одним глазом на лбу и с бородой в девяносто аршин.

Людей в Москве было полным-полно. Проходили батальоны самые разные: и не видавшие пыли войны, и почерневшие, отправлявшиеся с одного участка на другой, еще более ответственный.

Запыхавшаяся старушка поставила корзину на землю и внимательно рассматривала проходивших мимо солдат, словно искала своих сыновей. Она утерла краем головного платка глаза и что-то прошептала.

Камал последний раз был в Москве в сентябре прошлого года. Те дни остались в памяти как самые счастливые. Когда он только отдыхал! Ведь почти от зари до зари бродил по Москве и не знал усталости.

Москва понравилась ему своими улицами, кипучей жизнью площадей, незабываемым искусством Большого театра, взмывающим до самых небес шумным волнением стадионов, величавой тишиной библиотек, коралловыми бусами электрических ламп.

Набродившись вдоволь по улицам, Камал приходил на сельскохозяйственную выставку, в павильон «Узбекистан», ел в чайхане нанизанный на вертелы шашлык, жирный плов, запивал все этой парой чайников зеленого чая, пере-

брасывался гроздьями острословия со старым мастером приготовления плова. Затем снова отправлялся бродить.

...Камал, предавшись воспоминаниям, вышел на Красную площадь. На этой широкой, раздольной площади — святыне советского народа — Камала охватило волнение.

Шаги стали медленными, торжественными. Будто впервые увидев, он долго не отрывал взгляда от Мавзолея Ленина.

Внезапно Камал почувствовал боль в сердце, по его телу прошла дрожь. Ведь здесь лежит Ленин! Как же мы могли подпустить ненавистных врагов к самому порогу Москвы!

Но тут же глаза Камала вспыхнули огнем решимости. Он вспомнил слова старого учителя истории.

Когда Камал учился в Самарканде, он слушал рассказ о героической обороне одного города. Война эта происходила давно, в древности.

Учитель тогда сказал:

— Залог победы не только в могучих воротах, но и в надежном страже, стоящем у ворот.

«Партия — страж наших ворот, — невольно подумал Камал. — Поэтому в Москву враг не попадет!»

Вечером Камал подошел к невзрачному старому зданию. «Точно, этот дом. Только она, наверное, давным-давно отправилась в Ташкент».

Но Камал все-таки поднялся по темной лестнице на третий этаж. Дверь открыла старуха.

— Салима Хасанова дома? — спросил Камал.

Старуха оглядела парня с головы до ног, затем, повернувшись, крикнула:

— Салимочка!

Выбежала девушка с растрепанными волосами. Она удивленно посмотрела на гостя и, радостная, пригласила:

— Камал-ака? Пожалуйста, пожалуйста!

Камал протянул руку.

— Нет, через порог не здороваются, — сказала она по-русски.

В маленькой комнатке Камал сел на табурет. Чувствуя себя неловко, он снял шапку и, будто отряхивая от пыли, несколько раз хлопнул по ней ладонью.

Смуглая, улыбающаяся девушка торопливо начала наводить порядок в своем маленьком хозяйстве.

Камал познакомился с Салимой в прошлом году на выставке в Москве. Несколько раз они были вместе

в кино, один раз на футбольном матче. Камал вспоминал ее. Да что тут греха таить: она ему очень понравилась.

Девушка поправила рукой волосы и присела к окошку напротив гостя. Она была взволнована.

— Ого, артиллерист, лейтенант!— произнесла Салима, шуточно качая головой.— Ну никак я не могу уразуметь, каким ветром занесло вас в эту хижину? Из Узбекистана едете? Как живете?

— Это вас надо послушать. Уже десять месяцев, как я в этих краях. Ах, каких дней мы только не видели!

— Отступление, окружение, гнев, горе. Понимаю,— вздохнув, произнесла Салима.

— Сейчас самое тяжелое время. Просто страшно. Или жизнь, или смерть. Другого выхода нет!

Он рассказал о делах на фронте, о своих товарищах.

— А как вы живете? Уже кончили учиться? Помню, вы учились в архитектурном институте.

— Да. Кончила. Вот только...— смутилась Салима.— Перед сдачей дипломной работы война началась. Сложила все свои бумаги в папку, оставила. Вон теперь лежит на полке. А сама тружусь на заводе. Работа у нас днем и ночью, снаряды выпускаем. Очень часто остаемся ночевать в цехе. Сейчас пришла проверить, нет ли письма, пришла час назад. Письма не оказалось, зато пришел земляк-герой!— показывая красивые, как жемчуг, зубы, улыбнулась Салима.

— Письма получаете?

— Получаю,— ответила Салима, встав с места и роясь в шкафу.— Мать пишет, зовет: приезжай. Больная. Два брата на фронте. Один, должно быть, в Ленинграде, про другого ничего не знаю. У невесток много детей. И еще взяли на воспитание двух сирот. Четырехлетнего мальчишку называли Хушбахт, трехлетнюю девочку — Зебинисо. Ведь это имя знаменитой поэтессы! Одну ее песню чудесно поет Халима Насырова, не слышали?

Салима высыпала на блюдце орехи, фисташки и продолжала:

— В наш дом из этой квартиры переехали пять человек. Написала, чтоб их хорошо встретили. Ведь близкие как-никак. Угощайтесь! Вы, наверное, соскучились по подаркам из Узбекистана.

Камал крепкими зубами с треском разламывал орехи и ел крупные, золотистые зерна.

Салима опустила толстую занавеску на маленьком окошке, зажгла лампу и села, придвинув табурет ближе к Камалу.

Салима была довольна, что этот сильный и простой человек, который в прошлом году ходил вместе с ней, как брат, навестил ее в такие тяжелые дни.

— Берите, берите,— продолжала угощать девушка.

Она разглядывала молодого лейтенанта внимательно.

Камал был молод, хорош собой. Он заметил внимание девушки и был счастлив.

В этой умной, смуглой девушке, в одежде простого рабочего, с открытой душой, он чувствовал теплоту своей страны, ее красоту. И сейчас совершенно были забыты пережитые им муки.

— Военная форма очень к лицу вам!— произнесла Салима.

— А вот если бы вы увидели меня на передовой: на голове каска, покрытое копотью лицо, глаза красные от бессоницы. Что бы вы тогда сказали?

— Сейчас это и есть самая яркая красота...— просто ответила Салима.

— Хорошая вы, Салимахон. Я счастлив, что встретил вас,— с искренним волнением произнес Камал и, погладив теплую руку девушки, продолжал:— Как только вспомню Москву, вижу вас. Все припоминал я: как вы разыскивали меня, когда я заблудился в метро, как мы сидели в зале кино.

— Вспоминали?— хитро прищурила глаза девушка.— Значит, поэтому не написали ни одного письма!

Лейтенант покраснел. Он попытался переменить тему разговора. Рассказал некоторые трагические и комические эпизоды из солдатской жизни.

Салима сидела, подперев подбородок, и внимательно слушала. Откуда-то донеслись выстрелы зениток. А вскоре ухнул далекий взрыв. Окно задрожало.

Лейтенант и девушка многозначительно переглянулись.

Салима посмотрела на ручные часы. Камал по-солдатски торопливо соскочил с места. Салима поверх рабочей блузы надела толстую телогрейку, поправила на голове кубанку.

Когда они вышли, на улице была кромешная тьма. Фары машин, словно коптилки, бросали тусклый свет.

Шли тихо. Их угнетали ночь и разлука.

— До завода близко. Рахмат,— остановилась Салима.

Камал вздохнул про себя. Дрожащим голосом он произнес:

— До свидания, Салимахон, до свидания. Будьте здоровы.

Он пожал руку девушке.

— До свидания, Камал-ака,— произнесла Салима, прижавшись к нему.— Уничтожайте врага во имя узбекского солнца. Чтоб ни одного не осталось!

Камал неловко обнял девушку. Почувствовал, что прижал к своей груди очень дорогого, любимого человека... Тяжело было расставаться.

— Для джигита нет большей чести, чем пролить кровь за свою Родину! Не страшно умереть за Москву,— взволнованно прошептал Камал.

— После победы мы встретимся в Москве!— сказала девушка.

— Обязательно встретимся.

— Я буду ждать, Камал-ака.

И они расстались. Лейтенант отправился на фронт, а девушка — на завод.

## Глава шестнадцатая

Стужа с каждым днем становилась все сильнее. Земля затвердела, снег скрипел под ногами, как несмазанная арба.

Аскар-Палван хмуро наблюдал за воздушным боем. Он подул на замерзшие пальцы и недовольно произнес:

— Мой нос как будто потеряли перцем.

— Зубы русской зимы только что прорезаются. Ладно, скорее бы они выросли!— сказал Бектемир.

— А?!— удивился Палван.— Мать твоя родила тебя в снежный буран, что ли?

— Мать родила меня летом, в жару, в июле, когда земля накалена была, как тандыр,— засмеялся Бектемир.— Но ты посмотри-ка на немца. Дрожит, как привидение.

— Правду говоришь, Бекчи мой,— произнес Палван.— И я то же думаю про немца, чтоб в могиле он превратился в свинью. Оказывается, слабак он до холода. Поэтому так вот и бесится...

— Суетливая утка и головой ныряет, и хвостом...— напомнил Бектемир.

Поблескивая черными глазами, в разговор вмешался Хашимджан Сеидов:

— Снова о зиме? Деды наши были более выносливые.



Когда Бабур-мирза покорил Самарканд, была очень крепкая зима. Он нырнул в ледяную воду. А ведь ему, если бы он пожелал, подогрели бы целое озеро. И поэт, и царь!

— А когда жил тот молодец?— серьезно заинтересовавшись, спросил Бектемир.

— По-моему, он умер в тысяча пятьсот тридцатом году!— не задумываясь ответил Хашимджан.

— У меня есть дядя один. В возрасте, кажется, шестидесяти шести лет,— оживился Бектемир.

— Эх, и удалой же старик,— качая головой, вставил Палван.

Бектемир, подтвердив взглядом похвалу друга, продолжал:

— Есть у него молодая жена с чернущими глазами, со сросшимися бровями. Ни на одну ночь не разлучается с ней старик. В ледящий холод, на рассвете, когда капля воды на лету замерзает, он покидает теплое одеяло и по снегу бежит к большому арыку. Если вода замерзла, он ударом руки разбивает лед и ныряет три раза. И каждый раз, когда выныривает, произносит: «Бог един!» Затем вприпрыжку бежит домой в объятия своей жены.

— Да, старик из таких богатырей, что верблюда, не посолив, целиком проглотит,— сказал Аскар-Палван.

Хашимджан засунул руки за пазуху. Вытащил записную книжку. Тоненьким заостренным карандашом он записал в нее фразу и с сияющим лицом отдельно прочитал:

— «Верблюда, не посолив, проглотит!»

Аскар-Палван и Бектемир переглянулись.

— Да что вы удивляетесь?— пожал плечами Сеидов.— Возможно, думаете, что я помешанный? Нет, я собираю народные пословицы, поговорки, меткие словечки и выражения. Здесь сталкиваешься с бойцами из разных кишлаков Узбекистана, из малознакомых уголков. Они иногда говорят такие словечки, которые редко услышишь, как редко встретишь яйцо птицы анко! Я знаю профессоров, которые поседели, скитаясь по горам в поисках жемчужин народной мудрости.

Сеидов с уважением посмотрел на книжицу.

— Недавно после боя у оврага,— продолжал он,— мне пришлось пойти к артиллеристам. Прислушался: они пели очень древнюю песню. Каждое слово ее — золото. Записал я. «Что вы делаете?»— спросил джигит. «Имя твое в истории останется. Я записал: мол, в таком году, на такой-то войне. в таком-то месте, подобно соловью, пропел

эту песню артиллерист Тургунбаев. Понял?» Он, довольный, улыбнулся.

Аскар-Палван и Бектемир с интересом посмотрели на блокнот.

— Я на этом материале книгу напишу,— пообещал Хашимджан.

Обыкновенные ресницы бойцов начал смыкать сон. Хашимджан, попрощавшись с земляками, пригнувшись, пошел в свою роту.

Далеко, за домами, видневшимися на фоне снежного поля, шел бой. Словно взрывались горы, не утихал сильный, непрерывный грохот.

Казах Султанкулов, отважный в бою и мягкосердечный в обращении с друзьями, поднял противотанковое ружье и понес его на огневую позицию.

Капитан Николин, в шапке пепельного цвета, туго затянутый ремнями, быстро появляется то там, то здесь.

Он шагает от бойца к бойцу. Его лицо иногда на мгновение озаряется улыбкой, иногда на нем проплывает облачко гнева.

Не дремлет передовая.

Вот уже несколько дней, как враг перешел в новое наступление. Металл грызет, жует снежные поля, сотрясает небо.

Враг бросает в бой полк за полком, дивизию за дивизией. Он рвется вперед на дорогах, которые, подобно сосудам сердца, сходятся в Москве. Седьмого ноября враг намерен устроить свой парад в Москве на Красной площади. Но он сосчитал пельмени сырыми.

Прошло две недели, а немцы все еще бьются головой о каменный порог Москвы.

Среди снежных буранов завывает пучина смерти. Враг, приняв свое погребение за радость, гремит, бьет в барабаны на весь мир и воровато поглядывает на Москву.

Но Москва, подобно огромной скале, стоит нерушимо, гордо.

...Генерал Соколов сидел в маленьком деревянном домике, затерявшемся в лесу. Глаза от недосыпания покраснели. Но генерал бодрствует. Выпив немного горячего кофе, он вспоминает недавний разговор с солдатами. С какой надеждой смотрели на него, как ждали утешительных вестей!

Но генерал мало что мог сказать. Пока он мог только выразить надежду: мы сдержим врага. Ценой своей жизни сдержим.

— Нам бы техники добавить,— пожелали бойцы.

— Сейчас идет хорошая помощь,— неопределенно пообещал Соколов.

— Тогда удержим столицу, товарищ генерал.

С болью в сердце смотрел генерал в честные глаза простых воинов. Эти люди опять вышли победителями из неравного боя. Навстречу танкам полетели гранаты. И немецкие автоматчики не смогли уже поднять головы от земли.

Так солдаты будут держаться и в следующем бою.

...Генерал очень устал.

— Обед остыл. Подогреть немножко?— спросил проворный ординарец.

— Проголодался, давай скорее!— вспомнил генерал.

Он снял шинель и повесил ее на гвоздь.

Взгляд генерала неожиданно упал на конверт. Знакомый, ровный, красивый почерк. Письмо написано в дороге. Писала жена, выехавшая в Алма-Ату.

Простое, теплое письмо.

Их сыну уже десять лет. Генерал несколько раз пробежал глазами короткие строки.

Он невольно улыбнулся: письмо шло десять дней.

— Давно отправили. Война есть война,— сказал он себе.

Генерал склонился над письмом, вспомнил мирную жизнь, семью.

— Может быть, водки налить?— спросил ординарец.

— Принеси, выпьем вдвоем, но только немножко, самую малость,— согласился генерал.

Ординарец ловко раскупорил бутылку и наполнил стакан.

— Выпейте, ведь холодно очень. Хорошо отогреет.

— Налей и себе. Моему Володе исполнилось десять лет. Правда, несколько дней назад. Но мы выпьем за него сегодня...

Из-за леса показались самолеты. Бектемир инстинктивно понял, что они опять летят «клевать» наши окопы.

— Спрячь голову между колен!— подмигнул он Аскар-Палвану.

— А что с задом будем делать? Каской прикроешь, что ли?— произнес тот в ответ и стал ругать фашистов как только мог.

Все уже привыкли к воздушным атакам немцев.

Самолеты, взмесив тесто из снега, земли и крови, повернули было назад. Но краснозвездные соколы догнали их и принудили к бою. В беспредельном просторе неба закружилась стремительная карусель.

А земля в это время содрогнулась под гусеницами тяжелых танков. Они, покачиваясь, медленно двинулись вперед, направляясь к нашим окопам. Иногда останавливались, словно выбирая дорогу, и снова шли неудержимой грохочущей лавиной.

Противотанковые пушки подпустили тяжелые машины на такое расстояние, что, кажется, танки вот-вот одним прыжком раздавят их. Но нет, в самую последнюю минуту вражеские машины встретил беспощадный огонь пушек.

Над окопом Бектемира прошел танк. Сбросив с плеч и головы пуд земли и снега, боец поднялся. Размахнувшись, он бросил вслед железному чудовищу гранату. Танк остановился, охваченный пламенем.

Впереди на почерневшем поле окутались дымом другие танки. Немецкая пехота покатила по снегу, убегая. Но сзади, со стороны холма, покрытого низеньким кустарником, внезапно открыли интенсивный огонь немецкие автоматчики.

Опять разгорелся бой.

Советские бойцы поднялись в атаку. Аскар-Палван стрелял, перебегая из воронки в воронку.

Совсем рядом с ним разорвался снаряд.

Аскар-Палван, оглушенный, еле поднял голову. Выплюнув изо рта глину, осмотрелся.

Бой стал откатываться дальше.

Аскар-Палван, еще не успев продумать план дальнейших действий, увидел группу немецких автоматчиков, которые шли, посинев от холода.

— Опять вы здесь,— злобно пробормотал боец и открыл огонь из винтовки.

Двое немцев сразу упали навзничь, остальные бросились на землю.

Аскар-Палван удобно устроился в воронке. Он поискал глазами Бектемира, намереваясь что-то сказать ему.

В нескольких шагах от него торчит бугорком каска, чуть подальше — оторванная рука...

— Рус сдавай!— слышит он вблизи чужой, злой голос. Палван одну за другой швырнул две гранаты и нетерпеливо поднял голову.

— Есть,— удовлетворенно прошептал он.— Вот тебе «сдавай»!

Он отполз назад, в другую воронку.

Кто-то из немцев бросил гранату. Она упала как раз в том месте, где только что был Аскар-Палван. В лицо бойцу попали отлетевшие кусочки замерзшей глины.

Он увидел, что немцы, пытаясь рассмотреть свою жертву, подняли головы. Выстрелил из винтовки. Послышался вопль. Озлобленный враг швырнул еще одну гранату. Аскар-Палван ответил тем же.

— Получай, гад!

Его граната снова угодила в цель.

Гитлеровцы начали стрелять с разных сторон.

Аскар-Палван отвечал до последнего патрона. Он от злости потемнел. Колени его задрожали. На секунду уткнул лоб в землю.

«Почему Бектемира нет?— думал боец.— Где он может быть?»

Немцы, осторожно переползая, приближались к затихшей воронке. Возможно, они хотели взять живым «этого упрямого русского».

Но терпение Аскара-Палвана иссякло, и он внезапно кинулся на врагов. Его будто выкинула сама земля.

Страшным, почти истерическим голосом он закричал:

— Бей!

Огромный, черный джигит с широко открытыми глазами опустил приклад винтовки на голову немца. Потом ударил другого. Что-то выкрикнув, он проткнул штыком третьего, но внезапно голос его оборвался.

Окровавленный боец опустил на колени и медленно упал.

В это время с помощью танков и артиллерии батальон Никулина перешел в контратаку и оттеснил врага.

Дубов издали позвал рукой Бектемира. Тот склонился над телом друга.

Лицо Аскара-Палвана было изуродовано. Бектемир, вытерев кончиком рукава глаза, посмотрел на Дубова.

Дубов, хмурый, с окровавленным лбом, сунул Бектемиру самокрутку, которую курил сам.

— Неплохая смерть! Герой!— вздохнул он.

Бектемир ничего не ответил.

Аскара-Палвана зарыли на склоне холма.

## Глава семнадцатая

День был тусклый и гнетущий. Несмотря на ранний час, комната наполнилась предсмертной темнотой.

Мария, бессильно скрестив руки, сидела на табурете, который скрипел от малейшего движения.

Сердце женщины сжималось, она изредка вздыхала, поглядывая на сына. Володя крутил колеса игрушечной машины и, забывшись, повторял немецкие слова, которые слышал от гитлеровцев.

Затем, повернувшись, спросил:

— Мама, когда придут наши? На площади скоро будет праздник?

— Придут, придут, конечно,— печально и рассеянно ответила мать.— И будет, конечно, праздник... Скоро...

— Тогда героев покажешь мне?— просит Володя.

Мать кивает головой:

— Конечно покажу...

Болезненное лицо мальчика радостно просияло.

Деревня сейчас напоминала дом после грабежа.

Враг, как саранча, уничтожил еду, отобрал все запасы у населения. Немцы на глазах у Марии увели старую корову, на которой держалось все хозяйство.

Деревня пустела день ото дня. Люди потихоньку куда-то уходили. Три дня назад был повешен дед Яшкин — за то, что распространял листовки, призывавшие к борьбе. Откуда он их принес, дед так и не сказал. Измученный старик держал себя перед казнью смело и гордо.

В день казни всех погнали на площадь. Но Мария скорее согласилась бы умереть, чем увидеть на виселице своего соседа.

Со дня казни она не была еще в той стороне, где находилась площадь. Она боялась даже подумать про это страшное место.

Как и во многих домах, немцы часто ночевали у нее. Приходилось скрывать горевший внутри гнев и отвращение. Она должна была улыбаться при бессмысленном смехе и шутках оккупантов, опускать вниз глаза при угрозах, молчаливо выполнять приказания.

Взгляд Марии упал на окошко. Там по улице проходил Кандалов. Сердце женщины сжалось от ненависти, комок подступил к горлу.

Кандалова немцы назначили деревенским старостой. В прошлом он не был ни кулаком, ни торговцем, служил до революции всего-навсего кучером у какого-то помещи-

ка. Но видно, не зря он лизал посуду богатея, не пристаив впоследствии ни к какому делу. Если и поступал на работу, его быстро оттуда гнали или он сам бросал ее. Поглаживая расчесанную бороду, играя тусклыми глазами, Кандалов объяснял знакомым: не поладил с начальством. Невозможно ведь...

А сейчас в деревне он полный владыка. Над всеми хозяин.

Кандалов, злой, наглый, заходил в дома. Исподлобья осматривал помещение, хозяев. Затем, словно готовясь к речи, крутил в воздухе указательным пальцем:

— Я хочу разрешить один вопрос, принципиальный!

Вопрос сводится к одному: как вырвать для немцев необходимые продукты.

Мария не боялась его. Когда он встречался на улице, ей даже доставляло удовольствие каким-нибудь жестом или словом выразить ему свое отвращение.

Сейчас, когда она увидела его силуэт сквозь мутное стекло, сердце ее дрогнуло. Мария боялась новой беды.

Со вчерашнего дня исчезла ее сестра. От горя и усталости Мария чуть не валилась с ног.

О чем только она не думала, пытаясь представить, что случилось с Надей.

«А если девушка лежит где-нибудь в лесу, опозоренная фашистами, убитая...» — думала Мария.

Долгую, длинную ночь она лежала не смыкая глаз, прислушиваясь к каждому шороху. Не давала покоя мысль, где и как она будет разыскивать Надю.

Девушка в последнее время почти каждый день ходила к Яше Бублику, в дом на соседней улице, и подолгу засниживалась там.

Каждый раз она возвращалась оттуда радостной, воодушевленной.

Бублик был горбат. Он чинил бочки, примусы и другие вещи.

Немцы не обращали на него внимания: мелкий частник — и все.

Бублик вытаскивал инструменты к калитке и молча занимался своим нехитрым делом. Ясно, человек зарабатывает деньги. Из-за денег он иногда скандалил с женщинами, нервничал.

Марию встретила жена горбатого — женщина полная, властолюбивая.

— Мастера дома нет. Не знаю, куда запропастился, — небрежно бросила она.

— А Надя?— настороженно спросила Мария.— Где Надя?

— Откуда мне знать? Интересная вы женщина. Возможно, где-нибудь обучается... по-немецки!

— Побойся бога, Дуня! Не стыдно ли?— с горечью сказала Мария.

Жена горбатого, видя волнение соседки, вдруг переменилась, начала утешать ее:

— Найдется, никуда не денется. Волк, что ли, съел ее? Мария с трудом дошла до дому.

Куда девушка могла уйти с горбатым? Куда? Что это еще за дело у них?

В это время Надя сидела вместе с Бубликом в густом лесу, в пятнадцати километрах от деревни.

Они покинули деревню вчера в сумерках.

Оттого, что Бублик надел толстую, на подкладке, одежду, горб его почти не был заметен. На голову он надвинул ушанку.

В сапогах, туго подпоясанная веревкой, в длинном, просторном тулупе, который дала жена Бублика, Надя походила на простую крестьянскую девушку.

Бесполезно искать в лесу укромного убежища. Ветер воев в деревьях, словно дикое животное. Снег слепит глаза.

Бублик и девушка, озираясь порой по сторонам, беседуют возле маленького костра. Дело, за которое они взялись, было опасным. И горбатый и девушка заметно волновались.

Реденькая бороденка Бублика окуталась дымом. Щелкая суставами пальцев, бугорчатых от огня и кислот, он доказывал, что надо идти в деревню и что с ними ничего не случится.

— И догадаться никто не догадается!..

После каждой фразы он хитро играл бусинками-зрачками.

Бублик с детства читал газеты. Он всегда любил спорить с активистами деревни о международном положении. Сидя в своей маленькой мастерской, он рассуждал о делах государственных важно, авторитетно.

Когда началась война, Бублик представлял себе ее ужасы, но по-своему. Он знал цену героизма русского народа и считал, что враг будет быстро разбит.

Бублик долгое время не верил известиям о зверствах фашистов на советской земле.



— Все дело в технике! — упрямо повторял он сам себе. — Просто техника помогает им.

Когда враг вошел в деревню, которую Бублик не покидал с рождения, он прозрел. Он вернулся с улицы расстроенный, пожелтевший.

Жена только что сварила борщ, сидела около окна, гладила кошку и смотрела на улицу.

Бублик кивнул в сторону окна:

— Ну и завоеватели! Выкидывают такие номера, что их ни под какую статью не подведешь. Вот что..

Он прошелся по комнате и выругался:

— Чтобы вы захлебнулись собственной кровью! При чем тут мирная деревня?

Жена, вздохнув, ответила осуждающе:

— Сам ты виноват. Нашел бы какую-нибудь тележку, добрались бы мы до станции, а там — в далекую теплую Азию!

Она встала и принялась накрывать на стол. Чтобы утешить мужа, сказала:

— Не горюй... На самом деле враг не так уж страшен. Давеча прошел один офицер — такой ладный, чистенький, шаги размеренные... Что плохого может сделать такой человек?

Через три дня она оказалась свидетельницей бесчинств этого самого офицера. Женщина в ужасе бежала с площади, где вешали односельчан, словно за ней гналась сама смерть. От испуга она слегла в постель.

После этого Бублик решил мстить врагу. Им овладело упрямое желание сделать бомбу.

Он решил создать ее своими руками, своей мыслью.

Когда жена пристально смотрела ему в глаза, Бублик вздрагивал. Вскоре тайну скрывать стало невозможно, даже опасно.

Теперь «изобретатель» сидел, запершись в подвале, а жена следила за тем, что творилось на улице. В случае опасности ей нужно было предупредить мужа. И он снова брался за старые примусы.

Жена исполняла свою роль отлично.

Скорей бы бомба была готова!

Иногда она слышала адский взрыв, который, казалось, опрокинет горы, и, вздрогнув, вскакивала с места. Но это где-то вдали взрывался снаряд.

Бублик работал увлеченно, упрямо.

Когда у него уже не осталось сомнений в успехе задуманного дела, он серьезно начал задумываться над тем,

как бы использовать бомбу. Ему нужен был помощник. В деле, где требуются разум, отвага, самоотверженность, жена не годится: она пуглива и нервна.

Больше, чем другие односельчане, ему по душе приходилась Надя. Он был близким другом ее отца, уважал ее мать. Бублик считал Надю умной и благородной девушкой.

Он никогда не чувствовал ее жалости или фальшивого сочувствия к себе. Надя относилась к нему так, будто не видела его физического недостатка. Это для Бублика с его чрезвычайно чутким самолюбием было тоже важно.

В предложении Бублика Надя увидела ненужную романтику. «Разве простой деревенский мастер не напрасно тратит время, чтобы сделать бомбу?— думала девушка.— Ведь чтобы стрелять по врагу, можно достать винтовку. Чтобы взрывать врага, можно достать гранаты».

Но она побоялась высказать эти сомнения, чтобы не обидеть и не погасить искренние чувства Бублика, который вложил весь свой гнев в эту бомбу.

Мастер поглаживал реденькую бородку, наблюдая за каждым движением Нади. Он увидел, что она в чем-то сомневается.

— Я не профессор, моя бомба — это выдумка простого русского человека, но она не примус и не зажигалка. Во всяком случае, то, что я создал,— штука не простая...— И он многозначительно кашлянул.— Сейчас время, когда надо использовать все знания, все умение для борьбы,— продолжал Бублик.— Русский человек не только отважен, он и умелец.

Надя, вероятно потому, что в ее сердце бурлил и искал выхода гнев против врага, вдруг увидела в лице Бублика удивительного героя. Она с волнением сжала его руку.

Бублик и Надя поспорили о том, как лучше использовать бомбу, когда она будет готова.

Если ее взорвать на улице, то после этого враг обратит в дым и пепел всю деревню. Они отказались от этой мысли.

Решили отыскать и уничтожить как можно большую группу врага в отдаленном от деревни месте.

В воображении Бублика возник высокомерный, представительный немецкий генерал в окружении высших офицеров. Вот бы кого уничтожить!

Девушка и Бублик условились о встрече с наступлением темноты.

Бублик, поцеловав свою побледневшую, дрожащую жену, вышел задворками из деревни.

Через час Надя встретила его на поле, около старой сломанной мельницы. Бублик нес тяжелую «штуку», завернутую в мешок.

Откуда-то изредка доносилась пулеметная стрельба. Они торопливо пошли по направлению к лесу.

Ночь они провели в лесной чаще, дрожа от холода. На рассвете, спустившись в яму, разожгли костер, отогрелись и снова тронулись в путь.

Бублик пошел на разведку. Долго он не возвращался. Надя испытывала сильную тревогу. Чтобы было легче, сбросила тулуп, взобралась высоко на дерево, осмотрелась вокруг. Но Бублика не увидела.

Наконец он вернулся — усталый, шатающийся. Тяжело дыша, безнадежно махнул рукой:

— Плохи наши дела... На дорогах многолюдно. Машины, танки... Приблизиться невозможно.

Надя внезапно почувствовала слабости.

— Что же мы теперь будем делать?

Девушка внимательно смотрела на Бублика. Тот молча рылся в золе потухшего костра.

Надя еще раз подтвердила, что, каким бы рискованным ни было поручение, она готова выполнить его одна.

— Покажите, как с ней обращаться.

Бублик невесело улыбнулся:

— Ничего не выйдет у тебя.

Девушка обиделась. А про себя обругала: трус ты — и все!

Бублик посмотрел исподлобья, почувствовал неловкость.

— Доченька, не спеши. Торопливый всегда спотыкается. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Я хорошо усвоил обстановку. И оружие я хорошо знаю — мое дитя оно...

— Ну так покажите вашему «ребенку» железную дорогу, — не без иронии ответила Надя.

— Вот это идея! — подняв голову, сверкнул взглядом Бублик. — Целый эшелон бы...

Они обстоятельно обсудили предложение Нади. Только Бублик очень устал и не мог отправиться в путь. Он все тянул, говорил, строил планы, объяснял, как установить бомбу под рельсом.

Наконец он взглянул на свои старые, с выцветшим от времени циферблатом, большие часы.

Чтобы поддержать свои силы, они перед дорогой съели по паре картофелин. Только на другой день путники увидели в просвете деревьев железнодорожное полотно.

Надя залезла на дерево и внимательно посмотрела на линию: не охраняется ли она.

В полночь они поползли к полотну железной дороги.

Сердце девушки сильно колотилось. Бублик тяжело дышал. Он шептал что-то, но Надя не слышала.

«А что, если «изобретатель» не успеет убежать?» — подумала Надя и толкнула Бублика вниз с откоса.

Девушка установила бомбу под рельсом сама и пулей полетела с полотна, как только услышала шум приближающегося поезда.

Раздался страшный взрыв. Они упали ничком. И в снегу лоб ее, кажется, горел.

Подняв голову, Надя увидела огонь и дым.

— Скорее, скорее отсюда!

Они поднялись и снова побежали от железной дороги.

Воздух наполнился трескотней выстрелов.

— Хватит, отдохни. Черта с два догонят! Глянь назад, доченька, какое дело произошло! — сказал Бублик, тяжело дыша в лицо Наде.

Они не думали о подвиге. Они сделали, что было в их силах, стремясь задержать продвижение гитлеровцев к Москве.

Так поступали тысячи советских людей...

## *Глава восемнадцатая*

Майор Калашников с офицерами находился на небольшом холме у края леса. Здесь был наблюдательный пункт. Когда артиллерийский огонь ослаб, на НП появился Камал.

Он представился в соответствии со всеми правилами и сообщил, что прибыл в дивизион командиром огневого взвода. Глаза широкоплечего, коренастого майора метнули на него недобрый зеленый огонек.

Камал почувствовал, что не понравился ему.

С усталого лица майора, заросшего густой бородой, слетела кривая испытующая улыбка. Должно быть, он подумал, что этот лейтенант очень молод, зелен и вообще неизвестно что собой представляет.

Камал держался спокойно, бодро.

Майор высек огонь из зажигалки в форме нагана, закурил. Нервно посасывая папиросу, проворчал:

— Обстановка... гм... такая, что вся тяжесть пала на артиллерию.

Камал спокойно согласился:

— Это же естественно. Она ведь — бог!

— Ну что же,— продолжал Калашников,— давайте знакомиться.

Майор, играя толстым цветным карандашом, сразу же ознакомил Камала с обстановкой и разъяснил задачу.

Внезапно телефониста, который в углу приглушенным голосом повторял отрывистые слова, обсыпало землей.

Это вверху разорвалась мина. Телефонист, молодой парень, как будто ничего не случилось, потрянул плечами, чертыхнулся и снова закричал в свою трубку.

Майор, кашляя и фыркая от пыли, поставил карандашом точку на карте. И уже дружески произнес:

— Ну, отправляйся теперь на батарею да сыграй подходящую музыку.

Пришлось выкатить две пушки вперед и бить прямой наводкой по немецким танкам и пехоте. Во что бы то ни стало надо было загородить путь врагу.

— А ну еще раз!

Камал Уринбаев быстро вошел в свою роль, поднял боевой дух и настроение бойцов. В такие моменты он говорил: двум смертям не бывать, одной — не миновать.

Он помнил слова своего старшего брата — лихого наездника: «Если в улаке пощадишь соперника, сам будешь побежден».

Бойцы переглядывались, удовлетворенно кивая друг другу головой. Им, чувствуется, понравился этот командир, явившийся в самый разгар боя.

Из-за кустарника показалась башня, а затем весь танк.

Камал точно определил расстояние до цели и подал команду.

Танк, вздрогнув, окутался черным дымом.

Ободренный успехом, молодой лейтенант продолжал командовать громко, уверенно.

Атака гитлеровцев сорвалась.

Лейтенант Уринбаев старательно натер руки и лицо скрипящим снегом и вместе со своим помощником — лобастым, безбородым украинцем Терещенко уселся на кучу хвороста и веток поесть.

В стороне, дымя папиросами, отдыхали два русских бойца, подносчик снарядов и заряжающий. Эти войны, прошедшие огонь и воду, говорили что-то о своем новом командире. Один из них добавил:

— Недурен, на огонек есть терпение.

— Да... С корабля на бал угодил.

Терещенко, улыбнувшись, подмигнул Камалу. Камал или ничего не слышал, или сделал вид, что эти слова к нему не имеют никакого отношения. Но про себя молодой командир, конечно, порадовался.

Неожиданно перед лейтенантом появился пожилой боец с морщинистым сухошавым лицом.

— Вы узбек, братец? — спросил он молодого командира.

— Да,— спокойно ответил Камал.

— Ассалам! — боец протянул руку.— Где вы пропадали, земляк? Я еще издали определил, что вы сын узбека! Очень хорошим человеком показались вы мне...

Боец стоял, почтительно приложив руки к груди.

— Откуда вы? Где служите? — недовольным голосом спросил Камал.— Ведете себя не по-солдатски. Чем вы занимаетесь?

— Парикмахер я, товарищ командир,— отчеканил тот вытянувшись в струнку и уставившись в одну точку.

Камал, улыбнувшись, попросил парикмахера рассказать о себе.

— Раньше я шелка ткал, братец... Хан-атлас, что на солнце десятью огнями переливается, глаза сплит. Потом скучновато мне стало на этой работе. Пошел садоводом в колхоз. В колхозном саду такой цветник создал, поэтам бы его воспевать... Люблю цветы с детских лет. Тысяча красок, тысяча запахов... Днем и ночью соловьи до опьянения поют. Война занесла меня сюда. Парикмахером стал.

Боец осмотрелся по сторонам и продолжал.

— Вам ведь известно: если у нас загорится какой-нибудь дворик, то вся махалля бежит с ведрами,— подогнув свои длинные ноги и удобней усаживаясь, произнес он.— Враг — чтоб на том свете он стал свиной — намерен обратить в дым и пепел нашу великую страну. Поэтому весь народ должен тушить этот страшный огонь.

— Очень верно говорите. Каждый должен делать то, что в его силах.

— Хвала! — произнес парикмахер.— Вот я бритвой почем зря играю, а вы бухаете пушками. Однажды животные всего мира — от льва до мухи — прислали святому Сулейману подарки. Конечно, у слона один подарок, у мухи — другой.

— Остроумно говорите, ну дальше? — засмеялся Камал.

Парикмахер попросил табаку у Терещенко, который курил и задумчиво смотрел на колечки дыма.

— Табак, правда, не то удовольствие. Что сделаешь, если нет насвая!

Однако сам очень ловко свернул козью ножку. И продолжал, посерьезнев:

— Есть у меня просьба к вам...

— Ну что же, говори,— приготовился слушать Камал.

— Что, если я брошу парикмахерство? Я способен свершать более достойные дела на фронте. Вы не удивляйтесь. Это не пустые слова. Я отец джигитов-соколов. Мой старший сын — летчик. Говорят, он в подчинении у одного из самых уважаемых генералов. Меньший танки гоняет. Раньше подобные нам бедняки по земле ходили, опустив голову. Советская власть сделала нас хозяевами земли, а птенцов наших научила летать беркутами.

Парикмахер вздохнул и, закинув голову, посмотрел на небо, словно там, над лесом, укутанным в снежную шубу, он хотел найти одного из сыновей. Но небо было пустым и холодным, а сын его летал где-то далеко-далеко.

Парикмахер посмотрел на командира:

— Давайте столкнемся с вами: поговорите вы с большим начальством, чтобы мне дали достойное дело.

— Какое еще дело? — спросил Камал, что-то разыскивая в планшете.

— Дело, достойное джигита.

— Например? — нетерпеливо поинтересовался Камал.

— Например, перевели бы в конницу. Хорошо: один конь, одна плетка — и пошел на врага! — воодушевившись, горячо произнес парикмахер.

— Ого, видно, вы все серьезно обдумали,— попытался обратить разговор в шутку Камал.

— Конь — крылья человека. В пехоте мне, должно быть, трудно будет. Там еще и ползать приходится.

Камал посоветовал этому воинственно настроенному земляку не оставлять своей профессии:

— Продолжайте свое дело. Оно тоже нужно людям.

Затем молодой лейтенант терпеливо объяснил:

— Для того чтобы быть хорошим кавалеристом, надо тренироваться, долго обучаться этому делу.

— Кости у меня еще крепкие,— произнес мастер и покосился на свои худые, костлявые плечи.— Ездить на коне — для узбека нетрудное дело. Ведь деды-то наши выросли, играя в орехи под ногами коней...

— Чтобы на фронте показать себя, не обязательно вести танк или мчаться на лошади.

Парикмахер внимательно слушал лейтенанта.

— О, вам, наверное, еще это не довелось испытать. Иногда наступает такой момент, когда в руки берут оружие все — от генерала до повара и парикмахера — и в полный рост устремляются на врага. Дерутся не на жизнь, а на смерть. Помню первые недели войны. И день и ночь шли яростные бои. В самый напряженный момент повар Мухин — мы его звали дядя Муха — лег за пулемет и пригвоздил к земле десятки гитлеровцев.

Парикмахер, пощипывая усы, молчал. Камал в конце концов пообещал, что он еще раз попытается узнать о возможности пристроить его в какую-нибудь кавалерийскую часть.

Боец, упираясь ладонями в колени, встал и, прижав руку к сердцу, поблагодарил Камала, поглаживая другой рукой свою реденькую с проседью бороду.

Кивнув головой, парикмахер ушел быстрыми шагами. Камал передал Терещенко суть разговора.

Тот степенно улыбнулся:

— Настоящий человек. Ну что там? Заполним у немца какого-нибудь коня, посадим на него парикмахера — и вся недолга.

— Хорошая мысль. Простая... — улыбнулся командир.

В один из вечеров при свете самодельной лампы, которую смастерил один из артиллеристов, Камал принялся за письмо. Лейтенант в жизни не писал девушкам писем. Только недавно ему казалось, что его мыслей и чувств хватит на целую книгу. Сейчас же слова потускнели, пропали. А некоторые казались бессмысленными.

«Салимахон!» — просто написал он, по-детски послунявив кончик карандаша, и задумался. Девушка сейчас же встала перед ним, кокетливо играя черными-пречерными миндалинами пронизательных глаз, слегка склонив свою красивую головку.

Камал закурил папиросу. Посмотрел на часы. Приблизилось время встречи с майором. Взяв карандаш, он быстро начал писать:

*«Салимахон! Простите, что пишу с таким опозданием. Вот уже шесть дней, как я в боях. Я пришел и сразу же занял место лейтенанта, погибшего несколько часов назад. О его героических делах много рассказывали бойцы.*



И с тех пор я среди огня. Мои товарищи очень дружные, в бою стремительные, как молнии.

Салимахон, ваши слова в моем сердце, я поклялся оправдать их. Джигит не отрекается от своего слова, лев не возвращается по следу — верьте этим мудрым словам наших дедов. Вы всегда, Салимахон, рядом со мной. Я всегда слышу вас. Кишмиш, который положили вы мне в карман, после тяжелого боя недавно я поделил понемножечку между бойцами. «От кого?» — спросили они. «От любимой девушки», — ответил я. Сказали: «Пусть ваша жизнь будет сладкой, как кишмиш!» Салимахон, прочтя эти строки, не обижайтесь на меня. Я в точности записал их слова. Если вы напишете мне письмо, хоть два слова, сердце мое зацветет, как весна Узбекистана».

Сложив письмо треугольником, Камал посмотрел на часы. Время было позднее. Не надписав адреса, лейтенант побежал на командный пункт.

Всегда требовательный, майор Калашников на этот раз сделал вид, что не заметил его опоздания.

Подмигнув, он неожиданно сунул в руку лейтенанта кусок шоколада:

— Бери, бери. Калории.

Майор совершенно изменил свое мнение об Уринбаеве. Вчера, разговаривая по телефону с командиром части, он даже гордо произнес:

— Задание я поручу «городу хлебному». Этот не подведет.

Камалу также понравился этот суровый, мужественный, пренебрегающий опасностью человек.

Лейтенант долго ходил с командиром, проверяя позиции. Майор шагал быстро, легко перескакивая через различные препятствия, не видя их, а словно чувствуя.

То и дело, оставляя огненный след, пролетали трассирующие пули. В безлюдной деревне гулял ветер. Вдали на возвышенности вздымалось к небу лохматое пламя — горел немецкий танк.

Это зрелище, ставшее привычным, сейчас почему-то показалось жутким и таинственным.

Когда майор и лейтенант возвращались снова на командный пункт, пламя по-прежнему полыхало над возвышенностью. Били наши орудия.

— Дела фашиста плохи, теряет силы он, — произнес Камал.

— Ясно. Сейчас он и во сне «капут» говорит. Очень скоро своими ушами услышим. — Майор многозначительно

взглянул на Камала:— Дай вот только соберемся с силами.

Камал с командного пункта дивизиона, где он вдоволь надышался дымом, вернулся в свое подразделение усталый. Было довольно поздно.

Лейтенант присел на корточки около небольшого костра. Вокруг огня сидели несколько бойцов. Они уже успели рассказать друг другу, кто кем работал прежде, откуда прибыл, о семье. Одни курили, другие ели хлеб и колбасу, сжимая их в почерневших руках и простоудушно подшучивая друг над другом. Как огонь, разговор порой вспыхивал ярко, особенно когда речь касалась интересных тем, далеких от смерти и крови.

Лейтенант слушал оживленную беседу, изредка вставляя шутливое словечко.

Скоро около костра стало пусто. Камал, потирая пальцами полусонные глаза, задумался: снова вспомнилась Салима.

Теперь лейтенант в мыслях был на заводе, внешне похожем на черную гору, а внутри светлом и шумном. Там он видит девушку в голубой блузе с засученными рукавами, сложившую густые, выющиеся волосы в толстые витки.

Джигит, расстроенный тем, что ему не удалось послать письмо, сейчас сам на миг побывал у нее.

Камал сидел в полудреме. Костер грел лицо, спину же принимал лютый холод.

Голос парикмахера заставил его раскрыть глаза.

— Пожалуйста, уста. Не уставать вам! — протяжно зевнув, пригласил Камал.

Словоохотливый и знающий толк в людях земляк, приблизив грудь к огню, начал неумолчно стрекотать. Через некоторое время он достал из-за пазухи что-то завернутое в газету и положил на колени.

— Как вы до колбасы? Хорошая. Во рту растает, а внутри костерчик разожжет.

— Ие, откуда вы взяли это? — с аппетитом поглядывая на колбасу, удивился Камал.— Да вы, оказывается, охочи не до коня, а до конской колбасы. Знаем мы теперь вашу тайну, уста!

— Вот и не угадали,— поиграл белками глаз парикмахер.— Конь — крылья солдата, сказал я. На войне стоит целовать копыта аргамака ...А тут такое случилось: недавно на глазах моих покалечило коня. Дивной красоты был. А ну скажите, что лучше: гнить ему в земле или обратиться в колбасу! Русский народ, оказывается, не ест конины.

А молодой и хороший конь — отменная пища. Срезал я жирные места и сунул их в очаг. Зимой шубы не надевай, а ешь колбасу...

— Ну что ж, нарежьте. Хватит разговаривать.

— И это правильно, братец.

Уста красивым, острым ножом с ручкой, украшенной цветными камнями, ловко нарезал колбасу. Камал взял один кружок и с аппетитом съел.

— Недосолена, но все равно хороша! — похвалил лейтенант.

— Один недостаток — тмина нет. Да и откуда быть тмину, когда даже насвая нет? — тоскливо вздохнул парикмахер. — Разве до этого здесь...

Камал расправился с жирной колбасой и вытер губы бумагой.

— Спасибо, уста. Утешил.

— Я все о том же, — несмело начал парикмахер. — Все о коннице... Как же мне быть?

Камал пожал плечами и опять пошутил:

— Найдем вначале коня-летуна, как у Алпамыша.

— Да ничего, братец, лишь бы сносен был. Ведь дело в человеке, — серьезно произнес парикмахер.

— Вот тебе и раз! Вы же сами говорите, что конь — крылья война. И хорошо, когда крылья эти сильные, не устающие!

Уста на мгновение разинул рот. Жуя реденькую бородку, подкинул хвороста в костер, раздул.

Он, должно быть, немного обиделся, но потом его сушошавое, морщинистое лицо внезапно озарилось улыбкой.

— На войне и плохая лошадь приносит пользу, — уверенно произнес он. — Немножечко терпения, я растолкую вам.

Парикмахер подправил костер и продолжал:

— Есть притча одна. В былые времена Искандер Зулкарнаин дал бой царю по имени Доро. У каждой стороны было несметное число воинов. Знамена, говорят, солнце заслоняли. Перед большим побоищем поутру Искандер надел золотые доспехи. Сел на коня, который мог и через гору перескочить, и выехал на бранное поле. Оглядел свои войска. У всех кони ржут, нетерпеливо кусают удила... Среди них только у одного джигита лошадь махонькая, худушая, смирененькая. Не ржет и не бьет землю копытами. Искандер гневно подскочил к нему: «Эй, трус, не стыдно тебе садиться на такую клячу? Да как ты будешь на такой кляче воевать?» Джигит ответил: «О повелитель

мира, все, кто сидят на хороших конях,— трусы!» Искандер, удивленный, попросил: «Раскрой мне смысл своих слов». «Они только и думают о том, чтобы ускакать на своих конях-летунах, если враг начнет одолевать... Моя же цель — не бежать, а вот на этой кляче до конца драться на саблях с врагом!..» Эти слова очень понравились Искандеру.

Парикмахер посмотрел на лейтенанта и хитро улыбнулся.

Лейтенанту нечего было возразить, он покачал головой, улыбнулся. Как говорится, сказка — ложь, да в ней намек — добрым молодцам урок.

— Вот видите,— тоном победителя произнес парикмахер.

Он, чувствуется, был очень доволен и даже возгордился своей притчей.

Но Камал сбил с него спесь:

— Все это так, но мы намерены отсюда гнаться за отступающим врагом. А для этого нужны настоящие аргамаки.

— Вначале надо сломать хребет врагу. А врага без хребта можно догнать и на муле,— не унимался уста.

Камал засмеялся:

— Вам, оказывается, невозможно мат поставить. Остер вы, остер!

Когда парикмахер ушел, Камала одолела дрема. Потирая глаза, он попытался встать. Но тяжелая усталость совсем разморила его.

Подошедший Терещенко улыбнулся. Он снял свою шинель, постелил недалеко от огня на плащ-палатку, затем сильными руками легко поднял Камала, положил его и заботливо подоткнул шинель под бока.

Оправив свой ватник и надвинув поглубже на голову шапку-ушанку, Терещенко опустил на корточки у костра, уже покрытого легким слоем золы, и тихо, очень тихо запел одну из своих любимых песен, которых он знал очень много.

Так до утра сидел он, покачивая головой в такт песне.

## *Глава девятнадцатая*

На фронте все с благоговением и гордостью говорили о славном подвиге двадцати восьми панфиловцев.

Некоторые пытались найти среди них близких, земляков. Бектемир сказал Дубову:

— Богатыри. Оправдали молоко, которым поили их матери. У каждого одна смерть. Вот так надо умирать!

— Да, они счастливые люди,— смахивая с усов иней, произнес Дубов.— Боец, который только вчера, продрогший, сидел в окопе,— сегодня известен всему миру. Весь мир знает о нем... Вот героизм! Вот люди!

В разговор вмешался третий боец, Попов. Скривив лицо от боли в замерзших ногах, он произнес:

— И все-таки положение наше такое, что смотришь — проклятый фашист еще загонит нас на улицы Москвы!

— Бои идут решительные. Или мы их, или они нас. Но если ты будешь похож на поджигающих танки панфиловцев, тогда мы выгоним немцев на самые улицы Берлина! — твердо сказал Дубов.

Боец почувствовал, как нервно двигаются покрытые инеем усы Дубова, отвернулся от него и вопросительно посмотрел на Бектемира, словно искал у него поддержки.

— Камень день ото дня становится тяжелее, Попов,— произнес Бектемир, шутливо упирая ему в живот кулак.— Народ на всех скоростях выпускает новенькие пушки, танки. Глаза у тебя или дырка на овчине? — вдруг гневно махнул он головой.— Чтоб тебе пусто было...

Попов виновато улыбнулся, опустил голову и продолжал потирать свои ноги.

— Послушай меня,— Бектемир обнял Попова за плечи.— Сегодня немец атаковал шесть раз и занял шестьдесят аршин. Мне кажется, что Никулин вернет эту землю все равно...

— Капитан наш — золото,— покраснел Попов.

— Все бы так воевали!

— Вот и воюй,— Попов неопределенно пожал плечами.

Через два часа немцы подвергли позиции батальона ураганному обстрелу, бросив в бой танковый десант.

И тут случилось неожиданное. Попов со связкой гранат кинулся под танк. Танк загорелся.

Бойцы переглянулись. Так раскрылось сердце одного из их товарищей, тихого, невзрачного на вид человека.

Ночь прошла сравнительно спокойно.

Холодным, морозным утром Бектемир, продрогший, сидел в окопе. Бойцы выдыхали клубящийся пар. На их ресницах, усах, бороде сверкал иней. Земля хрустела.

Черновато-желтое, грязное лицо Бектемира, иногда искажалось гримасой боли. Ныло под левой лопаткой.

Это во время атаки один немец стукнул Бектемира по спине чем-то тяжелым. Сначала боец не ощутил боли и даже успел проткнуть фрица штыком. Но вот сейчас она дала о себе знать.

Прибежал Хашимджан Сеидов, как всегда озабоченный, суетливый.

— Жив? Вчера многие из нашей роты погибли. И сам я, казалось, тысячу раз умирал и тысячу раз воскресал,— произнес он, присаживаясь к земляку.

— Где ваша давешняя тетрадь? — спросил Бектемир.

— На что она тебе? Попроси лучше горячей пищи. Или «водицы райской». Лицо-то у тебя бледное, как капустный лист,— ответил Сеидов с братской заботливостью.

— Без шуток,— ответил Бектемир.— Ночью не успели дойти мы до врага, пришлось залечь. Голову ни на секунду нельзя поднять. Ноги тяжелые, точно камень. Вдруг я вспомнил про твою книжечку. Подумал я: если вдруг что-нибудь случится с Хашимом-ака, то и тетрадь пропадет. И горько мне стало. Поругал я себя за то, что не сказал до сих пор. Примите меры к сохранению этой книжки. Пусть народу останется она. Запишите в нее еще одну поговорку: «Прислушайся к слову друга — иначе раскаешься».

Сеидов удивился душевной красоте этого простого парня, его человечности.

— Вы пошлите ее домой, подальше от смерти,— посоветовал Бектемир.

— Будь спокоен, братец,— улыбнулся Сеидов.— Тетрадь попала в надежные руки. Я сам безмерно рад этому случаю.

— Так у кого же тетрадь? — оживившись, спросил Бектемир.

— Дал я ее на хранение одному ученому. Доволен? Вчера мне пришлось зайти в санбат. Там я встретил своего московского учителя. Двенадцать языков знает. По-узбекски остер говорить. И на аския способен не хуже любого узбека. Одно время он приезжал в Ташкент, читал нам лекции. Тогда я был аспирантом.

Сеидов вздохнул, мечтательно улыбнулся:

— Такое времечко было, что и пищей для меня и сном являлась книга... Однажды я пригласил ученого к себе домой. Вечером это было. Он постучал в комнату. Вы-

шел, значит, мой дядя... Ученый, приложив руки к груди, сказал: «Если ты ценишь слова более, чем изумруд, то смотри не на меня, а на мои слова». Потом этот ученый пояснил моему дяде, что эта фраза принадлежит великому Алишеру Навои.

Бектемир, довольный, смеясь, еще раз повторил их.

— Удивительный русский ученый. Большевик, — продолжал увлеченно Сеидов. — Да... Значит, захожу я в санбат, а среди раненых сидит мой учитель. В телогрейке, на голове какая-то старая ушанка, за кожаным поясом — книга. Одна нога забинтована до самого колена. Уговаривали его выехать из Москвы, не согласился он. Не вставая с места, обнял меня. Поинтересовался научными работами своих друзей, учеников из Узбекистана.

Опять Сеидов мечтательно улыбнулся. Видно, вспомнил о былых временах.

— Ну и показал я ему свою книжицу. Ученый полистал, пробежал глазами. «Изумруд! Изумруд!» — произнес он взволнованно. Я ему сказал: «Возьмите с собой. Вернуть живым — возвратите. А если не суждено, пусть останется вам на память». Задумался он: «Я еще не возвращаюсь. Хромой Тимур завоевал полмира. А для хромого профессора разве не найдется какое-нибудь дело на фронте!» И оставил он книжечку, чтобы читать в госпитале, а потом пошлет жене. Теперь моя душа спокойна... Ну, мне нужно идти, — заторопился Сеидов, — на минутку ведь забежал.

Вслед за Сеидовым, улыбаясь, как всегда, явился Азимов. Его длинное красивое лицо теперь опухло и пожелтело. Бектемир от души любил Азимова, ему хотелось чем-нибудь поднять его настроение.

Не успел связист сесть, как Бектемир, щелкнув портсигаром, протянул сигареты.

Азимов, сняв толстые, грубые рукавицы, сунул их в карман. Покрутил в своих тонких пальцах сигарету, затем франтовато сжал ее в уголке губ.

— Эх и получил же я наслаждение — пять часов спал. Вот! — хвастливо заявил он. — Да еще где вы думаете? В землянке девушек!

Бектемир облизнул губы и, заинтересовавшись, подвинулся ближе.

— Как это тебе удалось?

Азимов несколько раз затынулся, поморщился:

— Фу, чем это, лучше листья сухие курить! — И сно-

ва о девушках: — За одну их косичку можно жизнью пожертвовать. Царицы огня!

Понизив голос, он неожиданно добавил:

— Вчера одну похоронили. Верой зовут. В огне — как рыба в воде. Ловкая, смелая связистка. Стоит с ней пошутить, она тут же вытаскивает из кармана фото. На снимке джигит в форме летчика. Кто знает, может быть, один вот из этих бравых соколов?

Азимов задумчиво поглядел на холодное, тусклое небо. Огромная стая самолетов высоко летела курсом на запад.

— Ну, держись, немец! — погрозил Азимов. — Дадут тебе сегодня.

В это время появился Дубов, как всегда с обвислыми, обындевелыми усами. От быстрой ходьбы он тяжело дышал.

Бектемир хотел его о чем-то спросить, но Дубов посоветовал быстрее заканчивать завтрак и почистить котелок снегом.

Он пошевелил усами и тихо произнес:

— Смысл активной обороны, оказывается, такой: если он не идет, ты идешь!

— И если он идет, ты все равно идешь! — засмеялся Азимов.

— Правильно. Ладно, пусть идет! — резко сказал Дубов. — Уже не раз встречали.

Ложка Бектемира только по-настоящему разгулялась в котелке, как явился связной и с подчеркнутой торжественностью сообщил, что его вызывает капитан Никулин.

Бектемир, недоумевая, вопросительно посмотрел на Дубова.

Друг, набивший рот кашей, пожал плечами: откуда мне знать?!

Азимов понимающе покачал головой:

— Покрепче затяни ремень. Специальное задание.

Около командного пункта Никулин хриплым голосом что-то объяснял группе бойцов.

Солдаты с ног до головы были одеты в белое и издали походили на снежных баб, вылепленных мальчишками.

Бойцы слушали внимательно.

Бектемир подошел к командиру батальона строевым шагом и доложил о своем прибытии.

Капитан, многозначительно улыбнувшись, движением руки пригласил его зайти в низенький блиндаж.

Бектемир вошел и замер. И вдруг, сорвавшись с места,



кинулся к лейтенанту, который стоял около чугунной печки и разговаривал с девушкой-телефонисткой. Это был Камал. Братья слышали, как громко стучали их сердца. Бледные от волнения и счастливые, они наконец заговорили теми суматошными словами, которые рождаются при неожиданной встрече:

- Откуда?
- Когда?
- Все ли в порядке?
- Ведь нужно же...
- Ты только посмотри...

Девушка, хотя и не понимала языка братьев, с интересом слушала их, приподняв тонкие брови.

Камал усадил своего старшего брата на табурет и протянул ему раскрытую пачку папирос.

Почти ничего не говоря о себе, они вспоминали родные места, родной очаг, по которым всегда тосковали.

Бектемир наконец задал вопрос:

— Как же ты меня нашел?

— А ты у вашего капитана спроси!— смеясь, ответил Камал.— Вчера я показывал ему фотокарточку. Помнишь, в далекие годы сфотографировались вместе все братья?

— Да, да. Помню,— оживился Бектемир.— Ну-ка покажи!

Камал вытащил из записной книжечки снимок.

Глаза Бектемира загорелись. Он взял фотографию дрожащими руками и смотрел не отрываясь, пока в блиндаж не вошел Никулин.

Камал крепко пожал руку капитану, поблагодарил.

— Хотя он здесь в длинном чапане и тибетейке, но я его сразу узнал. Солдат со стальным сердцем!..— произнес комбат, потирая руки.— Хорошо, что не сказал я вам. Думаю, пусть будет неожиданная встреча. Я люблю острые ощущения. Ну как, доволен ты теперь?— обратился к Бектемиру капитан.— Подарок за тобой.

— Подарок?— растерялся боец.— Чего пожелаете... Жизни даже не пожелаю.

— Пусть твоя жизнь тебе останется. Мне больше нужна фашистская! Ясно?

— Товарищ капитан, выполню ваше желание. Обязательно выполню,— пообещал Бектемир.

Камал продолжал жадно рассматривать брата — простого, сильного, истинного воина. Он узнал, что за героизм Бектемир представлен к награде.

Захотелось снова обнять, расцеловать, но, взяв себя в руки, лейтенант только радостно вздохнул.

Капитан подошел к своему столу и наклонился над картой. Чтоб не мешать ему, братья разговаривали вполголоса.

— Товарищ Уринбаев, можно вас на минуту? — позвал Никулин, не поднимая головы от карты.

Бектемир протянул брату руку:

— Нам не наговориться. Будь здоров, братик, — ласково произнес он.

— До свидания. Увидимся еще, — сказал Камал, не охотно отпуская его руку.

— Пусть это суждено нам будет! — ответил Бектемир. Резко повернувшись, Камал вышел из блиндажа.

Сверкало яркое солнце. Над лесом таял туман.

Белое пламя снега, скрипевшего под ногами, ледяные стекла в лужах слепили глаза.

Разгоряченное лицо Бектемира лизал холод. Но его душа теперь освободилась от грусти и наполнилась светом, надеждами.

Вспомнилась в эти радостные минуты Алтынай.

Вот бы снова почувствовать теплоту ее девичьей улыбки, услышать ласковое слово!

— Удивительная девушка, — прошептал Бектемир и, опьяненный сладкими мечтами, зашагал быстрее.

Если бы не пулеметная трескотня, в эту минуту для него фронт перестал бы существовать.

Неожиданно со стороны командного пункта показалась группа командиров. Впереди шагал представительный, солидный генерал.

Забинтованной рукой он указывал на торчавшую за деревьями в голубоватом тумане башню. При этом неторопливо, спокойно что-то объяснял. Затем он повел группу к блиндажу.

Бектемир, притоптывая ногами, чтобы не замерзнуть, решил подождать.

«Если большие командиры, — думал он, — пришли посоветоваться, возможно, брат мой сейчас выйдет. Что там ему делать?»

Но ждать пришлось долго. И Бектемир пошел к своему подразделению. Мысленно он продолжал с братом беседу.

В голове оживали погасшие, далекие воспоминания. Вот они мальчишки, карабкаются по деревьям, ищут в гнездах птиц. А вот катаются на льду хауза. Но тонкий

лед не выдержал, треснул... Камал погрузился в воду. Бектемир, схватив за руки братишку, начал тянуть. Но, поскользнувшись, бултыхнулся и сам. Пришлось нырнуть, чтобы вытащить Камала.

А прогулки по горам! В последние годы учебы Камал приезжал на каникулы в кишлак. Часто бродили братья в горах.

«Теперь он совещается с генералами...— не без гордости подумал Бектемир.— Посмотреть бы на него, как он там держится».

Солдат и не заметил, как очутился в окопе. В укрытии Дубов переобувался.

— Что это искры сыплются с твоего лица? — с любопытством посмотрел он на своего товарища.

Бектемир дышал тяжело. Сняв каску, он вытер покрывшийся потом лоб.

— Видел братца. Лейтенант. Подумать только — командир!

Бектемир порылся за пазухой, осторожно вытащил и положил на колени друга фотографию.

— Полюбуйся!

Дубов внимательно посмотрел на снимок и одобрительно кивнул:

— Целый батальон! Молодцы. Все как на подбор.

Бектемир завернул фотографию в толстую бумагу и, положив в нагрудный карман, погладил ладонью. Он хотел о многом рассказать товарищу, но опять раздалась команда:

— К бою!

Командир взвода настороженно всматривался в даль. Бойцы заняли места.

— К бою! — повторил командир.

Теперь и бойцы увидели растянувшуюся цепь немецких автоматчиков.

Затем показались танки.

Сегодня гитлеровцы действовали нахальнее, бешенее, будто поняли всю безнадежность.

Они кинулись с желанием оглушить неестественным шумом, подавить сметающим все на своем пути смерчем огня.

— К деревне рвется,— определил Дубов.— Ну, посмотрим...

Враг действительно хотел овладеть населенным пунктом, стоявшим перед большой дорогой.

Огонь охватил деревню. Бой шел среди горящих домов, в густом душном дыму.

Под снарядами и минами избы трескались подобно орехам, попавшим под жернова мельниц.

Кирпичные здания рассыпались, как рассыпаются камни под тяжелым молотом.

Лист железа, видно сорвавшийся с крыши, крутясь в воздухе, с громом упал на Бектемира.

— Ты что, просил щит у бога? — крикнул Дубов.

— А? — не понял Бектемир.

Дубов махнул рукой: мол, потом поговорим.

На лицах бойцов одно желание: перегрызть горло врагу. Даже во взглядах раненых было это чувство.

— Рановато я... — выкрикнул один из раненых. — Еще бы мне немного продержаться.

К Дубову и Бектемиру подполз связной:

— Комбат вызывает.

Бойцы переглянулись и стали молча добираться до командного пункта.

Связному было легче. Маленький, юркий, он намного опередил солдат.

Капитан наблюдал за ходом боя из окопа на склоне небольшого холма. На картах этот холм значился под названием Коровий хвост.

Капитан даже не взглянул на бойцов.

Молодцеватый лейтенант с лицом, покрытым копотью, недовольно покосился. Что, мол, нужно сейчас вам, говорил его взгляд.

Над реденькими деревьями свистели пули. Они словно щелчками сшибали высохшие ветви.

Недалеко от Никулина на плащ-палатке лежал командир второй роты с забинтованной головой. Он был доставлен сюда несколько минут назад. Иногда, будто он ел что-то кислое, лицо его морщилось. Он скрежетал зубами.

Солдаты молчали, дожидаясь, когда комбат обратит на них внимание.

Хотя Дубов знал, что махорка у него кончилась, он порылся в карманах. Бектемир с сожалением взглянул на друга и хлопнул по своему карману:

— У меня тоже нет.

Бектемир осмотрелся: у кого бы занять? Но в это время раздался голос комбата.

— Два танка приблизились и стали в низинке, под самым носом, головы не дают поднять, — обратился Никулин к бойцам. — Ну? В такой момент дело лучше совещания. Уничтожим их, а? Задача нелегкая!

Друзья переглянулись.

— Уничтожим! — произнес Дубов несвойственным ему, каким-то мягким голосом.

— Выполнил задание! — поддержал Бектемир.

— Идите. Желаю успеха.

Друзья поползли с гранатами и зажигательными бутылками.

Много танков уже повидали бойцы. Сражались с ними. Видели отблеск их лохматого, дымящего пламени.

Но встретиться вот так, один на один,— все же не легко.

Поскрипывает под ними снег. Ветер гонит поверх снега пыль и копать.

Впереди ползет Дубов. В ногах Бектемира, окаменевших от холода, нестерпимая боль. Сейчас бы огня и, как поджаривают кукурузу, зарыться в горячие угли!

Опыт и инстинкт забрасывают бойцов в безопасное место. Но нужно скорее дойти до цели. Нечего прятаться!

Друзья снова, приминая снег, продвигаются вперед.

Вдруг Бектемира окликнул знакомый голос:

— Куда?

Это был Азимов. Он подполз совсем близко.

— Куда это вы собрались, братья? — связист удивленно смотрел на бойцов.

— Задание есть. Можно даже проститься на всякий случай. А вы? — произнес Бектемир.

— Опять связь прервалась,— выругавшись, сплюнул Азимов.— И провод кончился. Что теперь, жилами своими сцеплять? Вечером будет плов с казы. Приглашаю в гости.

Бектемир недовольно посмотрел на земляка: нашел же место шутить.

— Что это ты развеселился?

— Правда. Есть парикмахер один. Мастер на все руки. Такой храбрец! Бритвой грозит немецким самолетам,— Азимов подмигнул Бектемиру.— Если сегодня жив останусь, я сам поднесу вам на своей ладошке горку плова. А если расстанусь с жизнью, пусть это будет поминальный по мне плов. Дунете в мою свирель...

Бектемир грустно улыбнулся.

— Ладно уж.— И, кивнув, боец пополз вперед вслед за Дубовым, который удалился уже на значительное расстояние.

Когда немцы попытались взять деревню в третий раз, Никулин сам повел в атаку первую роту. Но, сделав несколько шагов, схватился за окровавленное плечо.

Связной с сержантом, командиром третьего отделения, отнесли офицера в овраг, перевязали ему плечо и шею.

Лицо Никулина покрылось пятнами.

«Какая бессмыслица! — с горечью подумал капитан.— И это накануне большого дела!»

В глазах потемнело. Захотелось лечь и замереть. Но, собрав последние силы, комбат продолжал сидеть.

Боясь потерять сознание, он держался, чутко прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Из разговора связного с сержантом комбат понял, что его дела неважные.

— Нужно донести до санбата. Видишь, сколько крови потерял...

— А как же батальон? Ведь бой идет...

Комбат смотрел вперед. Но ничего не видел, кроме дыма и взрывов.

— Нужно в санбат, товарищ капитан,— решил сказать связной.

— Подожди,— еле выдавил комбат.— Немного подожди...

— Вам же нельзя,— решительно произнес связной.— Обязательно в санбат.

— Рана у вас нешуточная, ведь свалитесь,— поддерживая связного, сказал сержант.

Никулин раскрыл было рот, хотел что-то сердито сказать, но промолчал.

Связной и сержант подняли своего командира.

В это время Бектемир и Дубов повернулись и заметили, что командир ранен.

— А ну, по гранате за капитана! — крикнул Дубов.— Держись, фашист!

Одна за другой взорвались гранаты.

Танки покрылись клубами дыма.

— Подождите,— попросил капитан.— Дайте взглянуть.

Связной и сержант остановились.

Комбат Никулин встал, посмотрел вслед своим бойцам, но вдруг покачнулся и упал.

## Глава двадцатая

Русская зима — жестокая зима. Сейчас она в самом разгаре. От огромных елок, переживших века, до нежной елочки, чуть-чуть поднявшейся от земли, все в великолепном снежном уборе. Деревья стоят гордые и красивые.

Их не тронул огонь боя. Этот огонь затухал и на пороге столицы.

Москва, словно чудо-крепость, вылитая из стали, стояла, собрав все силы и волю.

На каждом метре гитлеровцев подстерегала смерть. Хорошо вооруженные, полные надежд на танки и авиацию, рвались вперед фашистские полчища.

— Не пройдет, — заявляли в ледяных окопах бойцы. И лед таял от огня, бешеного, ненасытного.

Окрестности Москвы были окружены кольцом мощной, крепкой обороны. Москвичи — и молодые и старые — днем и ночью, отказываясь от сна и отдыха, вынося тысячи мук и лишений, укрепляли город.

Зубы врага, того самого врага, который торжествующе топтал своими сапогами всю Европу, сломались, раскрылись у порога Москвы.

Хотя гитлеровцы посылали все новые и новые дивизии, хотя тысячи танков и самолетов поливали землю огнем, они не могли сломить волю нашего народа. Гнев, ненависть и жажда мести кипели в сердцах людей.

Вся сила советских народов собралась в один мощный кулак. И этот кулак повис над головой врага.

Декабрь проходил в ожесточенных боях.

Хваленая мощная техника, на которую опирался враг, перестала быть грозной. Ее побеждали люди. Плотной стеной на пути врага вставали закаленные в боях войска, новые, тепло одетые и хорошо вооруженные дивизии. Настроение царило бодрое.

Шумная беседа шла около костра и в батальоне Никулина.

— Товарищи, теперь мы забудем, что такое отступление, — говорил Дубов, окутанный махорочным дымом. — Покажем Гитлеру, как нужно бить по-настоящему. Черед наш. От нашей хватки теперь не уйдет живым ни один фашист. Русская земля станет могилой для врага! Таков приказ нашего города, нашей Родины, нашей партии! Переходим в наступление! Соберите всю свою ненависть! Есть возможность вручить ее по адресу.

— Хвала! — поддержал Бектемир. — Мы дойдем до самого гнезда фашистов и устроим великое торжество.

Солдаты продолжали шумно беседовать. Но один из бойцов, хмурый, недовольный, проворчал:

— Немец не оставит нас. Техника у него сильная. Не видели, что ли!

Сразу раздалось несколько голосов:

— Ишь ты, как заговорил.

— Фашиста трясет, а он руки поднимает.

— Почему же руки? — удивленно заморгал боец. — Я просто говорю, что техники у него много.

Но его уже не слушали.

— Когда упоминают фашиста, твоя душа уходит в пятки. Оставьте, не пугайте бедняжку, — подкрутил усы Дубов.

— Не о том я, — оправдывался боец.

— Да что ты говоришь? Давай уж тогда раскрывай ворота. Поднеси ему хлеб и соль, — вступил в разговор коренастый сибиряк.

— Джигит должен быть смелым, друг, — мягко произнес Бектемир. — Смелого и пуля боится.

Круг солдат у костра становится все более плотным. Продрогшие от холода, бойцы беспрерывно курят: хоть так согреться. Разговор идет об отваге, о заботе командиров, о героизме прославившихся солдат.

Спать никто не собирается. Да и нельзя.

Сегодняшняя тишина подозрительна.

— Это тишина перед бурей.

Как только наступил смутный рассвет, сразу начался бой.

Заговорила артиллерия. Орудия плотным огнем прижали немцев к земле.

— Не уйти врагу! — весело крикнул Дубов. — Право, не уйти.

Бойцы слышали, да многие и видели, как за последнее время оснащаются наши части боевой техникой.

— Держись, фашист! Пришел тебе конец...

Наконец, наступили дни, когда наши бойцы, наши джигиты, подобно львам, с сердцами, переполненными любовью и преданностью Родине, пошли в наступление.

На этом славном пути их не страшила смерть. Самоотверженность их не знала предела. Каждый готов был отдать Родине жизнь. Да будут прославлены в веках их имена!

В первые же дни этой небывалой битвы великого народа радостная весть о победе, подобно молнии, разнеслась над всей страной. Народ напряженно ждал новых вестей каждую секунду, каждый миг. Всем было ясно, что начался важнейший и решительнейший период Великой Отечественной войны.

Растапывая врага, упорно наращивая изо дня в день наступление, мы шли вперед.



Одна была цель — сжать врага в кольцо и задушить его, уничтожить.

Росли груды вражеских тел, корежилась в огне немецкая «несокрушимая» техника.

Советские бойцы, твердо уверенные в своей победе, шаг за шагом продвигались вперед.

Шел вперед и Бектемир — закаленный в боях, опытный солдат. Довольный, он шел бок о бок вместе со своими друзьями.

В деревне продолжается бой. Фашисты стреляют из-за заборов, разбитых окон. Но они бессильны перед яростной атакой советских солдат.

Вот уже тянутся вверх скрюченные пальцы гитлеровцев, раздаются хриплые возгласы:

— Гитлер карут....

Падают фашисты на улицах русской деревни.

Но и в наших рядах потери.

...Бектемир внезапно пошатнулся и упал.

— О, сволочи! — сквозь зубы выругался боец.

Подбежала медсестра, с трудом подняла его.

Бектемир, обхватив рукой шею девушки, с трудом добрался до полуразрушенного домика.

Девушка ловко и быстро, не причиняя боли, перевязала ему пробитую ногу.

— Что там, сестра?

— Ничего особенного. Но придется полежать.— Она ласково погладила горячий лоб Бектемира.— Рана неопасная, заживет.

Бектемир благодарно кивнул, но лицо его побледнело.

— Ничего, ничего,— повторила медсестра.— До свадьбы заживет.

Бектемир, пытаясь преодолеть боль, лежал, сжав зубы, с закрытыми глазами.

От теплого дыхания Дубова, который, вбежав в комнату, сразу же опустился перед ним на колени, он широко раскрыл глаза.

— Что с тобой? — торопливо спросил Дубов, пытаясь скрыть тревогу и испуг.

— Все в порядке,— слабо улыбнулся Бектемир.

Дубов положил свою тяжелую, сильную руку на плечо друга, который хотел подняться.

— А ну, посмотрю. Э... да ничего особенного, выздоровеешь, дружище! Но пока ты не ходок. Для пехоты ноги нужны. До свидания, дорогой.

Бектемир продолжал слабо улыбаться.

— Напиши о себе,— сказал Дубов и крепко поцеловал Бектемира.

— Прощай, друг. Если умру — прощай навеки...— вдруг торопливо произнес Бектемир, задыхаясь от боли и горя.

— Да что ты чепуху говоришь! Нам еще до Берлина шагать! Ну! Держи голову выше!— Дубов шагнул к двери, но остановился и, улыбнувшись еще раз, бодро сказал: — Выше голову! В Берлин мы войдем вместе!

Ушел боевой товарищ так же неожиданно, как и появился.

«Ах, была бы сейчас рядом со мной Алтынай,— с тоской подумал Бектемир.— Пусть будет она здорова. Ведь и ее каждый шаг полон опасностей. Может быть, увидимся...»

И лицо Бектемира осветилось чуть слабой, но радостной улыбкой.

Вбежал юркий Азимов.

— Как услышал, так и сюда сразу! Что с вами, рана серьезна? Надо вам отправляться скорее. Это мы устроим.

Повернувшись, он о чем-то переговорил с одной из медсестер.

— Хорошо, хорошо...— кивнула девушка.

Она помогла Азимову поднять Бектемира и вынести из домика.

— Друг,— умоляюще произнес Бектемир,— если увидишь Камала — знаешь же, видел ты его,— передай ему обо мне... И передай привет.

— Ладно, ладно, не беспокойтесь. До свидания. Еще увидимся!

Не успела машина тронуться, как связист исчез из глаз.

Прикусив губу от боли, Бектемир закрыл глаза.

Мороз перехватывал дыхание. Озаряя облака, поднималось солнце.

Машина вырвалась и полетела по большой дороге.

# ДЕТСТВО

## Повесть

### Глава первая

#### ПЕРВЫЕ РАДОСТИ, ПЕРВОЕ ГОРЕ

В узеньком кривом переулке у старой расхлябанной калитки мой дед по отцу и его давний приятель — крупный, глуховатый старик с длинной бородой — ведут о чем-то неторопливую, нескончаемо-долгую беседу. Дед, маленький, щуплый, примостился на корточках, ткнув меж колен палку и прислонившись сутулой спиной к дувалу. Его приятель полулежит на земле, вытянув длинные волосатые ноги в поношенных, грубой кожи каушах и выставив на солнце богатырскую грудь. По переулку нет проезда ни конным, ни арбам, здесь нет обычного шума, уличной суеты. Редкие прохожие, сложив на груди руки, приветствуют стариков обязательным саламом. Те — один кто-нибудь или оба разом — отвечают привычным «ваалей-кум!..»

Я верчусь около стариков. Гарцую попеременно то на дедовой палке, то на длинном, как пастушеская клюка, посохе его приятеля, с любопытством оглядываюсь на остающийся позади след в пыли. Потом с грохотом швыряю палки одну за другой.

Дед с напускной строгостью взглядывает на меня из-под кустистых бровей, грозит мне указательным пальцем. Я неохотно возвращаю палки, обнимаю его сухие стариковские колени. Смотрю на него снизу вверх, схватив за бороду, заставляю его открыть рот.

— А где у тебя зу-убы? — спрашиваю, вытянув губы дудочкой.

Дед показывает единственный наполовину стершийся верхний зуб, покачивает его пальцем. Я смеюсь тихонько: как это можно растерять изо рта зубы? Потом, соскучившись, подбрасываю вверх тибетейку. Она с веселым хло-

пом падает в пыль: «Пуф». Дед хмурится, отряхивает тюбетейку, надевает мне на голову.

— А ну, сынок, расскажи-ка нам вчерашнюю сказку, — заставляет он. — Хорошая сказка!

Я знаю, он ни за что не отстанет, и рассказываю одну из затверженных на память коротеньких поучительных сказок. Оба старика смеются, хвалят:

— Добро! Добро!

— А теперь пусть расскажет что-нибудь про Афенди, — хитро подмигнув левым глазом, предлагает приятель деда.

— Он знает, знает! — подхватывает дед и легонько хлопывает меня по спине: — А ну, сынок, расскажи, как Афенди покупал у лавочника масло.

Поартачившись немного, я быстро, без запинки лопочу, как попугай. Дед, довольный, обнимает меня, целует в щеку. Его приятель смеется, потряхивая бородой.

— Память у тебя — что надо, дай бог прожить тебе тысячу лет! — говорит он.

А я уже ищу новых развлечений. Хотел было побулькать ногами в небольшой яме, вымытой струей воды, бьющей из-под дувала, а там, приплясывая, плавают несколько маленьких, с орех, яблок-падалиц. Я невольно останавливаюсь, заинтересованный этой забавой. А яблоки, будто наперегонки стараются, подплывают к водопаду и ныряют одно за другим, подхваченные струей воды.

Наконец, терпение мое иссякает. Я наклоняюсь, пытаюсь поймать яблоко. Но меня останавливает строгий окрик деда:

— Эй, свалишься, проказник!

Дед с натугой поднимается, берет меня за руку, и мы отправляемся домой. Идет он очень медленно, сильно горбясь. На каждом шагу поминает аллаха. Молит бога за единственного своего сына, моего отца, который вынужден подолгу жить где-то в кишлаке, в горах: «Боже, пусть будет здоров и благополучен Таш, тебе одному поручаю его!» А мне вспоминается рассказ матери о Хумсане, горном кишлаке, где находился отец: «Слышала я, горы Хумсана высокие-высокие и красивые. Среди гор река большая бурлит, пенится, Там приволье и добра всякого — счету нет! Орехи, вишни, мед — все это с гор привозят, понимаешь?» А чего еще надо человеку?

Через старую двухстворчатую калитку со стершими от времени резными узорами мы входим во двор. В просторном, на толстых столбах, сарае для скота лежит,

посапывая, наша единственная бурая корова, слепая на один глаз. Да горлинки воркуют на толстых перекладинах.

Дед ведет меня к себе, в свою комнатушку, притулившуюся одной стороной к сараю. Пошарив под кошкой, он находит большущий ключ, открывает сундук у стены напротив двери. Радуюсь заранее, я заглядываю в сундук из-под руки деда. Эх, вот бы наполнить подол рубахи пригоршнями сахара, парварды, карамели в бахромчатой обертке, засахаренного миндаля и прочих лакомств, какие лежат в сундуке на тарелках и в бумажных свертках!.. Но дед, словно догадавшись о моем желании, легонько отодвигает меня в сторону, сует в руку всего пару кусков сахара, пару бахромчатых карамелек и тотчас со звоном запирает сундук. И еще наказывает:

— Смотри, бабушке не показывай! Слышишь?

Я хорошо знаю, что единственная полновластная хозяйка сундука — бабушка, что она пуще глаза бережет спрятанные в нем сладости. Поэтому не решаюсь даже выйти во двор похвалиться перед братом или еще перед кем-нибудь из ребят, торопливо, с хрустом грызу сахар в полутемной комнате. Но, как-то так случилось, в комнату вдруг вошла бабушка. Высокая, сухая, как жердь, она закричала, сердито вытарашив большие глаза:

— Это что такое?! Дед твой, чтоб ему, и за что он только так любит тебя, озорника?..

Я выбегаю во двор. Показываю дедовские подарки старшему братишке Иса Мухаммаду, в одиночку игравшему под яблоней. Иса, правда не без интереса, взглянул только и ничего не сказал.

Мать, занятая шитьем тюбетейки на террасе, услышав голос бабушки, недовольно хмурится, но не прекращает работы: она была скромной покорной невесткой, никогда не выходила из повиновения свекрови и никогда не вступала в пререкания с ней.

Из школы возвращается моя старшая сестра, Каромат-биби — совсем еще девчонка, ходившая без паранджи. Ее школу — дом учительницы в нашем квартале — я хорошо знаю, как-то заходил туда, увязавшись за ней. На террасе, уместившись в ряд, сидят девчонки, вперемешку большие и маленькие, и наперебой галдят — читают вслух книжки. Учительница — важная и строгая на вид, пожилая женщина с длинным, тонким хлыстом в руке — глаз с них не спускает, если кто вздумает поже-

вать серы или курта, хлещет их легонько, напоминая об уроке.

Я выхватываю из школьной сумки сестры какую-то толстую книгу — коран, кажется, и принимаюсь как попало листать ее. Сестренка переживает, пытается вырвать книгу. А я не отдаю. Убегаю в один конец террасы, в другой. Тяжелая книга неожиданно вырывается у меня из рук, споткнувшись, я падаю прямо на нее. Мать молча отбирает у меня книгу, благоговейно целует ее, кладет в сумку, а сумку вешает высоко на колышск, вбитый в стену. Тогда я затеваю из-за чего-то ссору с младшим братишкой. Потом убегаю, схватив очки бабушки, которая латает что-то, прислонившись к столбу террасы на солнышке. Бабушка сердится, бранится. А я смеюсь довольный...

\* \* \*

Полдень. В сарае мычит корова. В стадо ее не пустили: возвращаясь с выпаса, она — потому, наверное, что слепа на один глаз, — разбила рогом стекло в вагоне конки, и дед, очень расстроенный, вынужден был уплатить рубль штрафа.

Мать хлопотала на кухне, высокой, с открытым дымоходом. Я играл на террасе, складывая горкой подушки. Бабушка старательно — уже в который раз за день! — подметала тесный, продолговатый двор. Покончив с уборкой, она взошла на террасу, заглянула в зыбку, пристроенную между двух столбов, и вдруг закричала истошно:

— О, горе мне!.. Шаходат! Скорее сюда!..

Из кухни прибегает мать. Я тоже подхожу к зыбке. Мертвенно-бледное с желтизной лицо больного младшего братишки, его странно открытые неподвижные глаза вызывают невольный страх. Лицо матери становится песчано-серым, глаза наполняются слезами. Бабушка дрожащими пальцами проводит легонько по векам ребенка.

Немного времени спустя приходят соседи. Дедушка, не в силах сдержать себя, плачет навзрыд, тяжело, опершись на палку. Я стою, бледный, подавленный, низко опустив голову. Как-то пусто вдруг стало кругом, все казалось холодным, неприветливым...

\* \* \*

Как-то вечером с улицы неожиданно донесся рев верблюдов, послышались громкие незнакомые голоса. Старший брат метнулся к калитке, я пропустил вслед за ним.

В тесной, кривой улочке, как в мышеловке, сгрудилось много верблюдов с тяжелыми вьюками. Разбрасывая во все стороны пену с губ, они сердито мотали головами, отчего подвешенные к шее большущие, с кумган, ботала звонко гремели. Незнакомые люди, рослые, в рваной одежде, покрикивая «чих-чих!», укладывали передних верблюдов на колени.

Я остановился, тесно прижавшись к дувалу. Вскоре на улице, постукивая палкой, показался дед.

— Таш здоров? — это первое, о чем он спросил, выйдя за калитку.

Ему ответил один из погонщиков верблюдов:

— Слава богу, Ташмат-ака здоров!

Я догадался, что эти люди прибыли из кишлака от отца. Обрадовался очень. Теперь даже огромные, вровень с крышами окружающих мазанок, верблюды уже не казались мне такими страшными. Я стал заигрывать с ними, поддразнивать: «Ап-ап!»

Погонщики верблюдов, ловко вскидывая на плечи большие тяжелые мешки с зерном, начали ссыпать его к нам в амбар. Собралось много ребятишек, подростков, кругом — шум, гвалт. Длинный тощий подмастерье нашего соседа-сапожника пырнул ножом в один из мешков, на землю посыпались, загремели орехи. Подмастерье, а за ним и другие ребята с криками, с визгом бросились подбирать их. Тут подоспел дед. Он разогнал всех, угрожая палкой, потом, ползая чуть ли не на четвереньках, собрал орехи все до одного.

Дед заметно повеселел и выглядел бодрее обычного. Но больше всего меня удивило то, что он совсем не боялся верблюдов: сгорбившись, без всякой опаски ковылял между этими беспокойными животными. Объяснение такой его смелости я получил в тот же вечер от матери. Оказалось, дед долгое время водил караваны верблюдов. Работал он на богатых купцов. С грузом разных товаров — мануфактуры, чая, изюма — бывал в разных городах, даже в таких далеких местах, как Арка, Каркара. У него было семь верблюдов. Летом он странствовал, а зимой в сильные холода давал верблюдам передышку. Построил для них просторный добротный сарай. Вовремя и всегда с большим запасом заготавливал сено, жмых и целые дни проводил со своими любимцами: убирал за ними, подметал, кормил досыта. Верблюды у него были справными, шерсть на них всегда отливала блеском. Соседи, родня удивлялись его пристрастию, советовали: «С какой стати

ты ходишь за ними зиму? Зачем тебе беспокоиться насчет кормов? Продай их, а весна подойдет, купишь других». Но дед был упрям. «Нет, нет! — говорил он. — Ни к чему эти ваши неразумные речи. Верблюд — редкостное животное и к нему нельзя относиться бездушно. Люди вон собак держат, а ведь верблюд священная тварь!» Собак, кур дед не любил и никогда не держал. Поруч, когда он водил свой караван, дед считал самой счастливой порой своей жизни, часто вздыхал, вспоминая о ней, и до старости не изменил своей привязанности к верблюдам.

Через несколько дней после отъезда кишлачных, дед привел других людей. Они ссыпали пшеницу и орехи в мешки и увезли все, навьючив на рослых ишаков и коней, таких смирных — швырни в любого ком глины, ухом не поведет. Я зашел в амбар, а там — пустым-пусто! Одни мыши шныряют по закромам, поблескивая хитрыми глазками. Зло меня взяло тут, не могу понять, зачем дед отдал все? Особенно жалко было орехов. Я побежал к матери, а она рассмеялась:

— Это все не наше, сынок, хозяйское, хозяина твоего отца...

От такого ответа у меня заняло сердце. Хмурый я вышел на улицу.

В эту пору мне было, наверное, не больше четырех лет...

\* \* \*

Улочку нашу заняли ткачи. Одни, натянув основу, красили ее синей краской, другие — ровняли и гладили нити, протаскивая по основе какое-то громоздкое и тяжелое, как колода, приспособление, утыканное с одной стороны грубым волосом. Большая часть ткачей — люди пожилые. Чуть забаловался, слышишь окрик:

— Не вертись под ногами!

Достав из арыка ком вязкой глины, я сижу в сторонке, играю в «хлопушки». Вдруг из калитки соседнего дома выбегают Агзам, мой дружок — глаза блестят, в руках ломоть полосатой дыни-скороспелки. Я уставился на него с завистью. Спрашиваю:

— Сладкая?

— Ох и сладкая! — замотал головой Агзам. — Отец принес, дома еще есть!.. — похвалился он, но тут же спохватился и спрятал руку с дыней за спину — видно, догадался о моем желании.

Я отшвырнул глину. Во всю прыть припустил в пере-



улок, зная, что дед должен быть там. Дед-разговаривал со своим приятелем. Я прильнул к нему:

— Дедушка — дыни!..

Дед не слушает. Постукивая по земле концом палки, он продолжает разговор:

— Знаю, знаю. Он был человеком Мусульманкула, самого шайтана мог поучить...

— Очень хорошо, раз вы его помните! — тяжело мотнув крупной головой в старой тюбетейке, говорит приятель деда. — Так вот, и надо ж было, чтобы я встретился с ним лицом к лицу, будь он проклят! Он на коне, а я пеший. И в руках одна палица. А ведь он здоров был, как див, и в бою злой до бешенства...

Я невольно прислушиваюсь. Поглядываю то на деда, то на его дружка. Речь шла у них о войнах, об осадах, о каких-то ханах, беках. Кто-то там успел запереть большие ворота какой-то крепости, кто-то перекрыл воду в город. Где-то там, в садах, переспелые фрукты осыпались и гнили, потому что садоводы сбежали куда-то... Разговор этот, кажется мне, увлекательнее самой интересной сказки.

Наконец, старики смолкают и задумываются, опустив головы, — видно, вспоминают свою молодость. Я спохватываюсь, дергаю деда за руку:

— Дыни...

— Сиди смирно, проказник, — говорит дед. — Дыни еще не поспели.

Я продолжаю приставать, изо всех сил тяну деда за руку. Чтобы отвлечь меня, приятель деда начинает выделывать своей длинной палкой всякие штуки, перебрасывает ее с руки на руку. Потом сильным голосом запекает шуточную песенку. Но на меня это не действует. В конце концов дед говорит приятелю:

— Что поделаешь — дитя. А желание дитяти превыше воли падишаха.

Я не знаю, какая могла быть связь между моим желанием отведать дыни и волей какого-то там падишаха, но зато я очень хорошо понимаю — раз дед сказал так, значит, желание мое будет исполнено.

...Если пройти от нашего дома сотню шагов узенькой улочкой, выйдешь на мощеную булыжником большую улицу квартала Ак-мечеть. Здесь на перекрестке три лавки: одна мясная и две мелочных. Лавчонка Мусы всегда казалась мне никчемной — он торговал только морковкой, луком, мукой и керосином. Зато у старого бородатого ла-

вочника Сабира можно было найти все, начиная от развешанных низками «хлебцев с дырками» — засиженных мухами баранок, «хлебцев-лошадок» — фигурных пряников, червивой джиды и сушеного урюка до каменного угля, клевера и александрийского листа.

Мы идем прямо в лавку Сабира. Лавочник встречает меня приветливо, говорит звучным медовым голосом:

— Ай молодец-удалец, дедушке твоему дожить до твоей свадьбы!

Дед берет из кучи дынь одну, самую маленькую. Обнюхивает ее, передает мне. Потом спрашивает цену. Лавочник что-то говорит в ответ. Дед, хмуря кустистые брови, бросает на него короткий выразительный взгляд, молча достает из кармана длинной бязевой рубахи несколько медяков. Близко поднося к глазам, внимательно осматривает каждую монету в отдельности и также молча бросает хозяину. Сабир-лавочник качает головой.

— Нельзя, отец, прибавьте малость.

Дед обрывает его:

— Хватит! И так хорошую цену дал.— И поворачивает к дому.

— Дада-кузы, отец!— всполошившись, кричит лавочник вслед.— Без прибавки никак нельзя!

Но дед даже не считает нужным оглянуться. А когда сворачиваем в улочку, говорит сам себе:

— Продавать — продавай, но и совесть знай! Можно ли спрашивать все, что на язык навернется?

А потом и на меня начинает досадовать:

— Дурень, не мог потерпеть! За такие деньги я бы тебе с базара большую принес...

Прижимая под мышкой дыню, я ветром врываюсь во двор. С ходу кричу матери, занятой шитьем на террасе, требую нож. Старший братишка и сестренка, сметывавшая какие-то лоскутки, удивляются, радуются. Тут и дед подходит, осторожно переступив порог калитки.

— Дорого купил,— говорит он матери, кивнув на дыню.— Мог бы сходить на базар, да сын твой пристал, не отвяжешься.— И смущенно улыбается.— Желание дитяти превыше воли падишаха.. Ничего, был бы он здоров и невредим, после меня бы долго жил. Очень я люблю его, сорванца!..

После этого дед через каждые два-три дня входил в калитку вспотевший и запыхавшийся, вынимал из-за пазухи полосатую дыню-скороспелку и принимался жаловаться бабушке и матери на шум и толкотню базара...

Мать надела на меня чистую рубаху из красного в белую полоску тика, длинную и просторную, сама прикрылась старенькой паранджой и сунула под мышку небольшой узелок. Мы отправились к другому моему деду (с материнской стороны). Это — совсем рядом, в квартале Нижняя Ак-мечеть. Мать иногда навевывалась туда прямо по крышам соседних домов, просто накинув на голову какой-нибудь легкий халатишко.

По пути я на какое-то мгновение задержался у лавки блебородого Сабира, позавидовал, как старик, отвешивая пряники, ловко управляет с маленькими ручными весами, старыми, с деревянным коромыслом, с помятыми чашами. Потом засмотрелся на толстого, почти круглого мясника Нияза, дремавшего на низенькой табуретке, подивился, как он не боится ос, которые роем гудели вокруг него.

К знакомой калитке я все же подбежал первым и влетел прямо в сапожную мастерскую — небольшую приземистую мазанку на внешней, мужской, половине двора. Здесь гнули спины над шитьем ичигов восемь человек: сам дед, двое его сыновей (мои дяди) и пять учеников и подмастерьев.

Дед — полный, внушительного вида старик с круглой головой, с крупным лицом и с опрятной белой бородой — сидел перед маленьким подслеповатым окошком у толстой, гладкой колоды и кроил кожу. Увидев меня, он проговорил, нарочно вытягивая губы трубочкой:

— Бо-бо-бо! Мой милый, мой славный малышок!

Оба дяди обняли меня по очереди и опять занялись своим делом. Старший Эгамберды — высокий, худощавый (пожалуй даже слишком), у него большие задумчивые глаза, широкие сросшиеся брови и красивые, к лицу, усы и вообще вид он имел щегольской, одевался всегда чисто: на голове новая тубетейка, стан перепоясан двумя шелковыми поясными платками, — взглянул на меня из-под густых бровей и чуть приметно заговорщицки прищурил левый глаз, видно намекал на что-то интересное, скорее всего на новое приобретение, потому что он увлекался перепелками и знал в них толк. Младший дядя, Рахимберды, — небольшого роста, хилый и довольно-таки неказистый, с реденькими, подстать обличью, усами — низко склонился над голенищем ичига, которое тачал. Он всегда вот так с

утра до вечера, не вставая и не проронив лишнего слова, гнул спину на работе.

Ученики и подмастерья, заскучавшие в тесной и душной в жару мастерской, принялись за обычные шутки: один так ловко и с таким проворством сорвал у меня с головы тюбетейку с вышивкой «цветок на лугу», что я не успел заметить, куда он ее спрятал. Другой, чтобы испугать меня, фыркнул сзади кошкой.

Дед окинул всех строгим взглядом, прикрикнул:

— А работать мама будет за вас, окаянные?!

Дед был строг к другим, но и себя не щадил. Человек он был небогатый, чтобы обеспечить семью, работал, не покладая рук, даже по праздникам. По пятницам ученики и подмастерья были свободны. Оба дяди, старший и младший, тоже с утра уходили в чайхану. А дед, бедняга, не зная отдыха, один сидел, согнувшись над своей колодой. Только в полдень, к часу пушечного выстрела, как тогда говорили, он кончал работу, совершал омовение и отправлялся в мечеть. А после праздничной молитвы в Ак-мечети шел в мечеть на улицу Могол, неподалеку от нашего квартала, к ишану. Народу там собиралось множество. Чтецы-хафизы со слезным завыванием читали любовные суфийские газели. С криком «Ху-ху!» дед тотчас присоединялся к участникам радения и самозабвенно шел по кругу, доводя себя до экстаза. Человеком он был набожным, каждую свободную минуту отдавал молитвам, служению богу. Он был давним ревностным муэдзином мечети своей общины, каждый день поднимался на минарет, чтобы призывать прихожан на молитву. Его громкий раскатистый голос далеко разносился с высокого минарета, и я даже гордился им и всякий раз напоминал своим товарищам: «Это мой дедушка!»

Мощный голос деда отдался в ушах. Шутники сразу притихли. Я выхватил свою тюбетейку, зажатую между колен у полуголого тощего подмастерья, и принялся шарить по мастерской, заваленной всяким хламом: стучал колодками, перебрасывая их то на одну, то на другую полку; некоторые пробовал примерить, приложив к ноге. Когда дед ушел на полуденную молитву, я тотчас уселся на его место, взял сморщенный кусок кожи, с таким же, как он, серьезным видом намочил его в тазу с водой, положил на колоду и, выравнивая, начал колотить по нему железным пестом.

Немного времени спустя с минарета донесся звучный голос деда. Я не выдержал, выкрикнул:

— Дедушка!

— Это он с минарета никак не может слезть, твой дедушка. Беги, помоги ему сойти,— в шутку посоветовал мне рябой подмастерье.

Я обиделся, еще громче начал стучать пестом. Это видно, надоело всем, и у меня отобрали пест. Тогда я отправился на внутреннюю, женскую, половину двора.

На маленьком, тесном дворике стоял новый дом в две довольно приличных комнаты с террасой. Дед с большим трудом недавно построил его на месте старой, оставшейся от дедов-прадедов ветхой хибарки. В углу двора, раскинув корявые ветки, росла большая старая яблоня с толстым стволом. Помню, бабушка каждую весну подходила к этой яблоне с топором и грозилась: «Срублю! Вот срублю тебя, сгнать тебе!» И всякий раз у нее недоставало решимости.

Бабушка Хурмат-биби — осанистая с виду, дородная, белолицая женщина с крупными глазами, чуткая и ласковая на слово — сидела с матерью на террасе за чаем. Она привлекла меня к себе, полными мягкими руками погладила по голове и, по своему обыкновению, поцеловала в лоб.

Заметив двух птенцов горлинок в гнезде на карнизе террасы, я тотчас вскочил. Бросился искать палку, чтобы сковырнуть их, но бабушка остановила меня:

— Ах ты, озорник! Мать птенцов проклянет тебя. Горлинка — святая птица! — Потом она рассказала, как между потолочными перекладинами показалась змея, чтобы пожрать птенцов, как она из жалости к малышам несколько дней глаз не спускала с потолка, ночи не спала. Она в самом деле боялась даже чуточку обидеть какую-нибудь живую тварь. Бабочек, жуков, муравьев — всех брала под свою защиту.

Я все-таки не послушался. Мне во что бы то ни стало хотелось добыть птенцов. Но тут меня начала бранить мать. Взглянув на ее небольшое, худощавое, но милое лицо, я понял, что она готова поколотить меня, если не перестану озорничать, и поневоле должен был оставить свою затею.

\* \* \*

Мы пьем утренний чай. Мать, сестренка, брат Иса, дедушка, бабушка и я — все мы сидим на террасе, собравшись в кружок у разостланной на кошке скатерти. Дедушка на почетном месте, я под боком у него. Напро-

тив, у самовара, мать еле успевает разливать чай. Чай с одним хлебом надоел уже. Ни сахара, ни сушеного урюка! Я очень любил лепешки со шкварками и с луком, но такие лепешки бабушка пекла редко-редко.

Внезапно я повисаю на плече деда, хватаю его за уши, глазу морщинистые щеки.

— Перестань, мой мальчик, сиди смирно. Чай же пролил, негодник! — журит меня огорченный дед.

Дед мой — дряхлый старик. У него кустистые брови, реденькая бородка — совсем белая. На морщинистых руках выпирают вены, крупные пальцы в мозолях. От худобы он кажется щуплым, у него резко выступают плечи.

Мать бранит меня:

— Сказано тебе: уймись, непоседа!

Но дед тотчас принимает мою сторону:

— Ничего, это он от избытка сил такой непоседливый.

У бабушки только и разговору, что о жите-бытье, о хозяйстве. Ее речь пересыпана пословицами, поговорками, неожиданно яркими оборотами. Это высокая сильная старуха, крепкая, живая и расторопная. Она не горбится, как дед, не признает палки и вечно хлопочет, не зная покоя: то хлеб печет, то разжигает очаг, то старательно подметает двор, выбивает кошмы...

Каждый день, когда мы сидим за завтраком, в калитку тихо, с опаской входит большой серый пес. Не приближаясь к террасе, он останавливается на некотором расстоянии, причем всегда на одном и том же месте, и, опустившись на задние ноги, смотрит на меня умильными глазами. Рослый, сильный, пес этот принадлежит уличному сторожу, он привык бродить по дворам.

Вот и на этот раз не успели мы сесть за завтрак, а он уже тут как тут. Я встаю, протягиваю кусок лепешки. Зову: «На, Куктай, на!». А тем временем незаметно беру с полки коробок со спичками. Однако пес догадывается о подвохе, срывается с места и бежит к калитке — он очень боится спичек. Я швыряю вслед кусок лепешки, пес возвращается, хватая хлеб и со всех ног удирает. Мы все громко хохочем. Только бабушка ворчит:

— Чтоб тебя, хлеб швырнул, а! Грех ведь... Собакам аллах кости-огрызки определил.

Сестренка снимает с колышка сумку, вскидывает ее через плечо и отправляется в школу. Старший братишка, аккуратно сложив поясной платок, только было начал подпоясываться, как в калитку вбежал Кадыр, сын дяди со стороны отца.

— Быстрее, Исабай, опоздаем!

Они собираются куда-то. Я хочу пристать к ним, начинаю капризничать. Мать сердится:

— Чтоб тебе не ослепнуть! Сам с льняное зерно, а липнешь к старшим. Они далеко идут.

Дед, покряхтывая, с трудом поднимается со своего места.

— А ну, пошли, малыш, пойдем на улицу, — говорит он, протягивая руку к приставленной к стене палке.

Я сразу успокаиваюсь.

Постукивая палкой и сильно горбясь, дед еле-еле переставляет ноги. На нем старенький чапан, надетый поверх бязевой рубахи, пожелтевшая от времени белая тубетейка, грубые кауши на босу ногу.

Я рысцой забегаю вперед, спрашиваю:

— Куда мы идем, к дедушке Мир-Ахмаду? «Прошла-пролетела жизнь...»?

Дед усмехается:

— А, плут, догадываешься!

— Ну, быстрее же, дедушка! Тащитесь еле-еле, — топлю я деда.

Дед смеется. Говорит, тронув белую бороду:

— Что поделаешь, малыш, стар стал я. Теперь я, к примеру, тоже сухое дерево...

Мы сворачиваем в узенький кривой переулок. Через знакомую покосившуюся калитку входим на просторный запущенный двор.

Старый Мир-Ахмад, одетый, как и мой дед, в бязевую рубаху и поношенный чапан, сидел на террасе несоразмерно высокой глинобитной мазанки рядом с низенькой болтающейся на петлях дверкой. Прислонившись к стене, он дремал, распушив по груди бороду и наклонив вперед большую лобастую голову.

Дед приставляет палку к стене, улыбается:

— Что, пригрелись на солнышке?

— А, заходи, заходи, а то я сижу тут, скучаю. В доме — никого. Мир-Махмуд за городом. С тех пор как я лишился покойной старухи, положение мое вот такое — только и знаю, — сижу, торчу, как одинокий кол в поле, — говорит Мир-Ахмад. Потом подвигается, освобождая место деду на старенькой подстилке.

Старик почти всю свою жизнь был солдатом-воином. Его крупное массивное тело, огромный рост, все еще сохранявший остроту, ястребинный взгляд, говорили о том, что в молодости он был отважным, богатырского склада

человеком. Служа солдатом, он довольно постранствовал по белому свету — побывал и в Ферганской долине, и в степях, вокруг Чимкента, Туркестана, Сайрама.

На полуразвалившейся террасе ветхой древней ма-занки двое стариков — давних друзей — начинают обыч-ный нескончаемо-долгий разговор. А я тотчас подхожу к огромному, с ишака, черно-пегому цепному кобелю, кото-рый дремлет на солнце перед террасой. Кобель, лениво приоткрыв глаза, глухо рычит. Я истуганно отскакиваю шага на два. Потом снова, уже осторожно, приближаюсь к нему. Опускаюсь на корточки, поддраживаю, протяги-ваю руку: «На, на, на!» Пес молчит, оскалив зубы, кусает кончик своего хвоста, пытается поймать надоедливую муху; подняв лапу, чешет за ухом. Я начинаю приставать смелее, пес внезапно рывкает гулким утробным басом. Испуганный, я отскакиваю снова.

— Эй, не трогай, укусит! — кричит дед и подзывает меня к себе.

Старики продолжают рассуждать о чем-то. Я с ми-нуту сижу под боком у деда, потом, соскучившись, опять убегаю с террасы.

По двору бродила старая, подслеповатая курица, един-ственная у хозяина. Не знаю — неслась она, нет ли, но это была тощая, облезлая и смиренная-смирная курица. Я начинаю гоняться за нею, швыряю в нее комьями земли.

— Перестань, не трогай! Нехорошо так! — опять кричит на меня дед.

Я проскальзываю мимо стариков в дом. Полутемная комната кажется совсем пустой. В нише — какой-то ста-рый сундук, в углу — тяжелый старинный кувшин с от-битым краем. На полу, поверх обрывка пыльной кошмы, грязное одеяло да сшитая из лоскутов подушка. На дере-вянном колышке, вбитом в стену, висит замусоленный чапан. Напротив двери, почти у самого потолка — жердь, на ней — поношенный ватный халат. В нише для посуды несколько глиняных пиал, две-три тяжелых глиняных чаш-ки, с полдюжину грубо выдолбленных самодельных дере-вянных ложек. Я обшариваю каждый угол комнаты, каж-дую полку, нишу, вдруг вижу большую старинную саблю в обшарпанных ножнах, подвешенную под потолком, и у меня вздрагивает сердце. Я подбегаю к низенькой резной дверке, пытаюсь подтянуться. Выхожу из себя, кричу не-терпеливо:

— Дедушка, достаньте саблю!



Старый Мир-Ахмад сердито оглядывается, но тотчас смягчается. Покашливая, говорит ласково, с улыбкой:

— Не надо шуметь, сынок. Сабля подвешена к потолку, так просто ее не достать.— И задумывается.— Да, было время— здорово рубились мы. Боевых коней на дыбы поднимали и разили саблями, а теперь и сабля-то, как я, старая стала... Эх молодость, молодость! Прошла-пролетела, падучей звездой промелькнула и скрылась.

— Дедушка, дай мне хоть разок подержать,— уже со слезами прошу я.

Тут вмешивается дед. Обманом, посулами он подзывает меня и усаживает рядом.

— Садись, сынок, садись. Что такое сабля? Время сабельных схваток прошло. Теперь учиться надо, мой мальчик. Чтоб грамотеем стать, когда подрастешь!— говорит он, похлопывая меня по спине, и тут же обращается к приятелю:— А ну, начинай, друг. Расскажи, как в Фергане скинули с трона Мадали-хана. Да как следует рассказывай, пусть Мусабай послушает.

— Что ж, если так, слушай, малыш,— говорит старик, и откашлявшись, начинает свой рассказ.

Живым родником льются воспоминания старика. Диковинные события, увлекательные, как сон, необычные приключения следуют одно за другим. Сражения в Фергане, газават в Бухаре, разграбление Коканда, Хорезма...

Я сижу притихший, весь превратившись в слух. А старик все говорит и говорит, кажется, его рассказам не будет конца. Я до сих пор, хоть и смутно, помню многие из них.

— Да, прошла-пролетела жизнь. Увы, недолговечен этот бранный мир!— говорит старик. Кашлянув, он задумывается надолго, потом вздыхает:— Говорят, кто сидит, подобен циновке, а кто движется, подобен реке. Бурной рекой был я когда-то и вот, сами видите, уподобился циновке.

— Что поделаешь, друг,— говорит дед, пальцами расчесывая бороду.— Зато мы избавились от тиранства ханов, беков, от грабежа и разорения.

Старики переходят к шуткам-прибауткам, болтают досыта. Я и шутки их люблю слушать.

Когда время приближается к полдню, мы с дедом, не торопясь, отправляемся домой.

На террасе, у разостланной на полу скатерти, сидит бабушка и наш зять с Лабзака, муж моей младшей тетки по отцу. (Он был женат на старшей, но когда та умерла, за него выдали младшую).

На скатерти, ближе к гостю, поднос, на подносе — разломанная на куски лепешка и сладости — все как положено быть.

Бурно кипит самовар. У самовара мать разливает чай. Я приткнулся рядом, сел на пятки, поглядываю то на поднос, то на гостя.

Зять — длинный, тощий, болезненного вида человек лет за пятьдесят, со сморщенным старушечьим лицом, с пучками нависших на глаза бровей. На нем легкий, без подкладки, застиранный халат, на ногах порыжевшие от времени рваные ичиги, на голове намотанная как попало замусоленная чалма из грубой ткани. Да и весь он выглядел каким-то неопрятным и заморенным, потому, наверное, что имел большую семью, жил бедно и работал на крупорушке, а рушить просо — дело трудное и грязное.

Я молча смотрю на гостя. Вижу, как быстро, челпоком двигается кадык на его тонкой жилистой шее, слышу громкие, похожие на икоту, звуки при каждом глотке чая, хруст сахара на зубах. Невольно кошу глаза на поднос.

С улицы входит дед. Он здоровается с гостем, спрашивает его о делах. Зять с первых же слов начинает жаловаться на нужду, на то, как тяжело одному управляться с крупорушкой. Я слушаю вполуха. Теперь все внимание мое привлекают сладости.

С приходом деда я смелею. Незаметно передвигаюсь на коленках ближе к скатерти, трогаю поднос. Даже пробую пощелкать пальцем по краю, хотя протянуть руку к сладостям не решаюсь, боюсь бабушки. Но бабушка уже заметила мои уловки. Она толкает меня под бок:

— Чего ты егозишь? Сиди смирно!

— Да я так... парварду пересчитываю в уме, — бормочу я не очень внятно.

Дед громко смеется.

— Ха, вывернулся! — И показывает на парварду: — Возьми, возьми, проказник.

Я протягиваю руку к подносу, но бабушка опережает меня, сует мне кусок сахару, какой поменьше, и обломок завитка парварды.

— А теперь уходи отсюда, отправляйся на улицу!— говорит она сердито.— Дивлюсь, как у тебя жар не поднялся, ешь одни сладости!

— Да, сколько дней уже ничего не даете, ключ от сундука прячете. Скупая вы, как камень!— говорю я, на всякий случай отступая подальше.

Мать хмурит брови, молча кивает мне в сторону калитки. Я поворачиваюсь и убегаю на улицу.

Теплый майский вечер... Босой, в новой ситцевой рубашке и в старенькой тюбетейке, я бегаю по улице. Здесь кишит тьма ребятшек разных возрастов — больших и малышей. Все мы заняты играми. Игр всяких тоже много: те, кто постарше, играют в ащички, в чижики, мы — малыши — гарцуем верхом на таловых прутьях, скачем без усталости, поднимая на улице клубы пыли. Я стараюсь не отстать от товарищей в украшении своего коня-прутика, обвешиваю его всякими висюльками, тряпицами. А попытается тронуть кто из ребят, без всякого страха бросаюсь в драку.

Вдруг, совсем неожиданно, на могучем гнедом иноходе подъезжает отец. Я крепко прижимаюсь к нему, как только он сходит с лошади.

— Здравствуй, сын!— говорит отец, обнимая меня одной рукой.

Ведя в поводу коня, он идет во двор, снимает хурджу-мы. Сдержанно здоровается с бабушкой, дедушкой, обрадованными встречей, усаживается на террасе. Мать приветствует его издали и принимается хлопотать у самовара. Тотчас откуда-то появляются сестренка Кумры с братом Иса Мухаммадом.

Отец сидит хмурый. Не проронив слова, молча закладывает за губу щепоть насвая. Я тоже притих, словно вязкого воску закусил, сижу, приткнувшись к деду.

— Что случилось? Рассказывай, как твои дела?— спрашивает дед, первым нарушая тягостное молчание.

Отец мой, Таш Мухаммад, высокого роста, светлокожий человек с черной бородой и усами. Деду он отвечает не сразу. Долго хмурится молча, потом выплевывает насвай и только тогда после этого бросает коротко и резко:

— С делами худо. Три дня назад лавку ограбили воры. Я наскоро распродал остатки товара и уехал из Хумсана...

Все притихли. После долгого молчания дед вдруг взрывается, запинаясь от гнева, говорит:

— Значит, и с Хумсаном вышло худо? Но ведь люди-то будто честные в тех местах?!

— Народ в Хумсане хороший, да воры есть,— коротко возражает отец.

Дед, очень расстроенный, опускает голову, бабушка плачет навзрыд:

— Сгинуть бы моей несчастной доле!

Мать плачет тихонько, беззвучно, но слезы, скользившие по ее щекам, казалось, сочатся из наших сердец, и мы — старший братишка, сестренка и я — сидим притихшие, подавленные, поглядывая то на отца, то на мать.

Дед, не проронив больше ни слова, встает. Придавленный грузом заботы, свалившейся на его плечи, он с трудом держится на ногах и, сгорбившись больше обычного, уходит в мечеть на вечернюю молитву.

Теперь, словно река через размытую плотину, бурно всплескиваются вопли бабушки. Но отец тотчас обрывает ее:

— Довольно, довольно. Хватит! Все от бога.— Потом немного смягчается:— Не огорчайтесь, проживем как-нибудь,— говорит он, отсыпая на ладонь щепоть наса.

Мать, не переставая лить слезы, приносит самовар. Разламывает лепешки на скатерти. Все мы молча и нехотя пьем чай.

\* \* \*

Наутро мы усаживаемся за чай раньше обычного. Отец занимает почетное место — под языком нас, молчит, повесив голову, ни к чему не притрагиваясь. Я смотрю на него внимательно, не отводя глаз: борода реденькая, на лице уже появились первые морщины, глаза большие, чуть прищуренные в задумчивости. Он всегда любил вот так сидеть подолгу, заложив нас и отдавшись своим мыслям.

Дед, хоть и сам расстроен, старается подбодрить, наставить сына. Отец сидит, уставившись в одну точку, не отвечает ни да, ни нет.

— Довольно, не станем поминать прошлое. Забудь о нем,— покашливая, говорит дед.— Старайся. Вот Таджика вчерашним днем вернулся из Янги-базара, иди к нему, посоветуйся. Может, поедешь в Янги-базар. Казахи — народ смиренный, уважительный, отзывчивый.

— Я сам только и думаю, как прожить. Конечно, мое дело — скитаться по степи,— хмуро отвечает отец. Он выплевывает нас, выпивает пиалу крепкого чая и молча уходит из дома.

Дед долго сидит понурый, потом тяжело вздыхает и

тоже плетется потихоньку на улицу, постукивая палкой. Сестренка Каромат, невеселая, снимает с колышка сумку, надевает ее через плечо, вместе с книгами сует в нее половинку лепешки и уходит в школу. «Значит, сегодня в обед, во время перемены, она не прибежит домой», — соображаю я про себя. Сестренка — умная девочка. Нежным, приятным голосом она красиво и выразительно читает стихи Навои, Машраба, Хафиза. Я люблю слушать ее, молча прильнув к ней. Старший брат Иса тоже ходит в школу в квартале Ак-мечеть. Очень смиренный и тихий, даже вялый, он тоже молча и незаметно отправляется в свою школу.

Бедная мать сегодня особенно расстроена. Она очень трудолюбивая. Чуть выпадет свободная минута, она тут же усаживается за шитье или вышивку тюбетеек, тесьмы.

И на этот раз мать быстро убрала посуду, скатерть и тотчас взялась за шитье. Я подсел к ней. Спрашиваю:

— Скажите, мама, а почему отец не разыщет воров?

— Воры, они хитрые, сынок. Пришли ночью, вмиг подмели все — и нет их, — говорит мать печально.

Мне вспомнилось, что отец обещал летом взять меня с собой в горы. Я жалею, что он покинул Хумсан. Думаю про себя: «Будь я на месте отца, я тут же изловил бы вора, отдул бы его как следует и сказал: а ну, подавай мои товары!» Я тороплюсь поделиться своими мыслями с матерью, вскакиваю от возбуждения.

Мать только мягко улыбается.

— Хорошее занятие — сидеть в лавке, мама! Тут тебе и пшеница, и ячмень, и мука, и морковь, и лук, и чай, и сахар, и орехи, и кишмиш. Вот в Ак-мечети лавки — все, что хочешь, можно найти! Когда прохожу мимо, у меня слюнки текут — столько там разных сладостей, сахару. А джида какая!.. У отца тоже, наверное, такая лавка была, а, мама? Так жалко. Мне хотелось бы побывать в Хумсане!..

Мать кладет в нишу сумку для шитья, вытряхивает из самовара золу и спешит на кухню. Глядя ей вслед, я отмечаю про себя: «Мама совсем извелась от горя».

Проходит несколько дней, отец начинает готовиться к отъезду в Янги-базар. В долг кое-как набирает тикку, ситцу, трико и однажды на рассвете, еще затемно, уезжает.

Мать несколько успокоилась. К полудню она собралась навестить своих родных и взяла меня с собой.

Когда мы проходили мимо лавок, белобородый Сабир

чуть слышно пробормотал: «Лягушонок!» Я задрожал от негодования. Но мать заторопила меня:

— Идем, идем быстрее!

— Да, он лягушкой обзывает! Дразнит...

— А пусть его, он просто забавляется от скуки. У каждого есть какое-нибудь прозвище. Не обращай внимания, это всего лишь шутка, — говорит мать.

«Лягушка» — было прозвище деда.

На углу я ненадолго остановился. Здесь зиму и лето обитал на подстилке из сена юродивый — одетый в рубище старик с длинной, свалывшейся бородой. Старик каждый день готовил себе постную похлебку на свече и тем вызывал любопытство ребягишек. Меня привлекало и другое: юродивый часто напевал разные песни, а голос у него был чистый, приятный и выразительный. На этот раз старик проповедовал что-то нараспев. Я постоял немного, послушал. Мать тем временем ушла далеко вперед.

Против мечети я опять задержался. У мечети высокий минарет, и я, проходя мимо, всякий раз останавливался, пораженный его величием, и пробегал взглядом от основания до его верхушки.

У дедушкиной калитки мать оборачивается, видит, что я догоняю ее, и проходит на внутреннюю, женскую, половину двора. А я заглядываю в сапожную мастерскую;

— Э, заходи, заходи! Что так редко показываешься? — не переставая орудовать шилом и дратвой, с усмешкой говорит мне подмастерье по имени Эргаш.

Не обращая внимания на его намек, я серьезно, повзрослому приветствую всех:

— Салам! — и прохожу прямо к деду, на почетное место напротив двери.

Дед крепко обнимает меня, раза два похлопывает по спине и принимается за работу. Я пристаю к подмастерьям, к дядьям, потом убегаю к бабушке.

Бабушка с матерью беседуют, расположившись на террасе.

— Заходи, мой мальчик, заходи, милый! — говорит бабушка, обнимая меня и чмокая в обе щеки.

Я тутчас начинаю гоняться за горлинками, свободно разгуливающими по террасе.

— Бой-бой-бой, ну и озорник же ты! — с укором говорит мать. И опять поворачивается к бабушке.

Ко мне подходит тетка, жена дяди Эгамберды.

— Идем, племянник, я научу тебя шить на машине. Это такая штука, застрекочет — и, не успеешь оглянуть-

ся, уже слышно. Идем, сам увидишь. Три дня назад дядя твой из города привез ее.

Тетка ведет меня в дом. Я обгоняю ее, бегу впереди. Машина новая, блестит вся. Я смотрю на нее, как на чудо. Потом отодвигаю тетку, овладеваю ручкой, верчу и так и этак, открываю блестящие металлические заслонки, заглядываю всюду. Тетка начинает сердиться: «Нельзя так, это вещь хрупкая, нежная!» Она садится за машину и принимается выстрачивать какие-то вилюшки на голенище ичига. Но мне и эта новинка скоро наскучила, я бегу на первый двор, в мастерскую.

Дед уже ушел на полуденную молитву. Я радуюсь этому. Тотчас бросаюсь к его колоде, отбиваю пестом попавшийся под руку кусок кожи и вырезаю из него жужжалки. Только никак не могу вырезать по душе.

Старший дядя, Эгамберды, замечает мою проделку, сердится, бранит меня:

— Э-э-э, да ты с ума сошел! Вой-бой, всю кожу изрезал, дурень! Уходи сейчас же, дед придет — поколотит тебя. — Он вырывает у меня из рук сапожный нож, подбирает куски кожи.

А я — хоть бы что — начинаю пересмеиваться с подмастерьями, с учениками.

Вернувшись после молитвы, дед садится за работу и сразу же замечает мои проказы.

— Ийе, что это такое? Разве можно зря портить, дурень! Мало ли тут кожи изведено! Убирайся на улицу! — кричит он, краснея от гнева.

Я сижу, насупившись, обиженный.

— Иди принеси воды, будем разводить клей, — посмеиваясь, уже мягко говорит дед.

Я хватаю кленовую чашку, мчусь на внутреннюю половину двора и через минуту бегу обратно с полной чашкой воды.

— Молодец! Ну и проворен же ты, сорванец! — хвалит меня дед, мизинцем прочищая заросшее волосами ухо. — Иди-ка, поиграйся! — прибавляет он, видимо не желая, чтобы я мешал подмастерьям.

Но мне вовсе не хочется уходить на улицу, и я копошусь в мастерской, забавляясь то тем, то этим. Оба дяди, не поднимая головы, шьют ичиги.

Ученики и подмастерья потихоньку напевают что-нибудь или же рассказывают друг другу разные занимательные истории, жалуются на жизнь, на всякие трудности. Руки у них проворные, ловкие — уколол шилом и уже скрипит

дратвой, разводя концы на весь размах рук. Вот худой, чахоточного вида подмастерье с десятком седых волосков на бороде тихонько затягивает песню:

Милая Латифа,  
Славная Латифа!  
Ты по веточке пройдись,  
По листочку порезвись,  
Цветик мой, Латифа!..

Голос у него приятный, напев нежный и немного печальный.

— Повторить!— выкрикивает кто-то.

— Здорово! Хвала вам, мастер! Продолжайте!— требует пухлощекий молодой подмастерье.

А дед уже злится.

— Эй, довольно!— строго обрывает он.— Занимайтесь своим делом. И шутки и песни хороши в меру, а лишнее уже ни к чему, так у нас принято!

— Братец!— говорит пожилой подмастерье.— Мы же работаем и неплохо работаем, но ведь надоедает сидеть так. А песня — это утеха души, она не дает замечать времени, усталости. Забава же, забава...— добавляет он обиженным голосом.

Дед бросает на него суровый взгляд, кричит, краснея от гнева:

— Аллаха поминай чаще, к аллаху прибегай!— Потом смягчается, говорит:— Печаль — раскаленный уголь, от нее нет исцеления... Иди на поклон к ишану, ты уже стар, где уж тебе песни петь.

В мастерской становится так тихо, словно ее залило водой. Ученики и подмастерья, оба дяди молча шьют, только мухи жужжат роем.

\* \* \*

Я сижу в мастерской, притих, разморенный жарой. Во двор входит какая-то женщина, закутанная в старенькую паранджу, сгорбленная, изможденная. Поприветствовав хозяев, она опускается на корточки у окошка, говорит, обращаясь к деду:

— О, добрый наставник, благодетель мой! Я к вашей милости.

Дед, не поднимая головы, отвечает на ее приветствия, спрашивает:



— Ну, старая, как дела?

Старуха долго сетует на жизнь, жалуется, что сын умыкается без работы.

— Вот пришла к вашей милости, мастер, возьмите на работу сына. Он разумный, скромный и послушный мальчик...

Дед отвечает не сразу, колотит пестом по голенищу ичига, насаженному на правило. Потом говорит хмуро:

— Озорник. Знаю его, одно время работал у меня. Гордец, грубиян и насмешник. Поняла?

Старуха умолкает, растерянная, но через минуту спохватывается, продолжает угодливо:

— Ваша правда, мастер. Все верно, почтенный, сама знаю. Что поделаю, дурной, дерзкий паренек, до смерти упрямый и неуважительный. А вы наставьте его на путь. Умом он не обижен. Есть у меня надежда, что человеком будет. Помогите же, почтенный. Добра вашего мы никогда не забудем. Мы голодаем...— Старуха всхлипывает:— Ох, много у нас горя, много печали!— и униженно просит:— Выйдем на минутку, хочу поведать вам кое-что.

Дед недовольно ворчит в ответ:

— У подмастерьев уши на запоре, старая. Говори, о чем речь?

— Жизни нет мне от притеснений злой судьбы. Некому выслушать мои вопли-жалобы...

— Довольно, довольно!— перерывает ее дед.— Говори, о чем речь? Самую суть расскажи!

Старуха минуту молчит, потом со слезами говорит, понижая голос до шепота:

— Время от времени я ходила полечить от сглаза, пошептать над детьми, над любимцами байбачи, сгнуть ему. Жена его, хоть и гордая, а встречала меня всегда ласково. Пожалуйте, мол, пожалуйста! Как-то стала она просить меня: отдайте, говорит, мне вашу внучку малыша моего нянчить. Я, говорит, приодену ее, и кормиться здесь будет. Внучка моя — девчушка малая, по тринадцатому году, славная такая, что твоя конфетка в бахромчатой обертке. Я обрадовалась. «Хоть сыта будет»,— думаю и говорю хозяйке: «Ладно, доченька!» А вернулась домой, расхвалила: хозяин, говорю, большой богач, у него много земли, воды. Внучка тоже рада. Я тут же беру ее и веду на байский двор. В доме детей куча, шум-гвалт. А хозяйка оглядела девчонку и чванливо так говорит: «Хорошо сделали, говорит, бабушка, внучка ваша заживет теперь в довольстве». Я, глупая, с темной своей головой иду домой,

радуюсь, благословляю хозяйку... — Старуха вздыхает со всхлипом.— Прошло шесть-семь месяцев. Внучка, бедняжка, бывало, забежит на минутку домой, станет жаловаться: «Бабушка, милая, работы много, извелась я». А я, глупая, кое-как обманом-уговорами провожаю ее, утешаю: ничего, мол, светик мой, на работе ты научишься, станешь ловкой, расторопной, ума-разума наберешься, а пока, говорю, будешь сыта — и то хорошо. А оказывается, байбача, сгинуть ему, заглядывался на девчонку. Завлекал ее, мол, хорошенькая моя, беленькая моя,— сдохнуть бы ему еще маленьким!

Ученики и подмастерья начинают перешептываться, подталкивать друг друга. Они, конечно, втихомолку прислушивались к рассказу старухи.

— Однажды, когда хозяйка, върядившись сама и принарядив детишек, отправилась в гости к матери, байбача сумел-таки добиться своего, а сказать прямо, обольстил девчонку. Внучка моя, нахохлившись, сидит теперь дома... Вот какое мое положение, мастер. Печалям нашим и счету нет.— Старуха рыдает:— Боже, пошли смерть всем байбачам, пусть найдут они свою гибель!..

Ученики, подмастерья, оба дяди дрожат от гнева. Дед побелел весь, кричит:

— А кто он, байбача этот? Как звать его, подлеца?

— Я храню это в тайне, мастер,— тихо говорит старуха.— Узнает сам бай, он не оставит нас в покое.

— Сынки баев от богатства бесятся, собаки!— глухо говорит старый подмастерье.

— У них вся жизнь — сплошная мерзость, у этих подлецов!— говорит второй.

Я не понимаю, что значит обольстить, но я вижу слезы старухи, гнев окружающих и невольно сжимаю кулаки.

После затянувшегося тягостного молчания, дед пытается утешить старуху:

— Перестань, не плачь. Много на свете подлецов, притеснителей, у всех у них одинаково мерзкие собачьи повадки. Я много повидал, много раз слышал о таких случаях. Терпи, аллах сам воздаст им по делам их!— Подумав немного, он поднимает голову, спрашивает:— Так, значит, сын твой ушел от мастера Мир-Ахмада?

— Поссорились они... Не откажите, мастер, примите его, жертвой мне стать за вас!— запинаясь, умоляет старуха.

— Что ж, посылай своего сына, старая. Я сам потол-

кую с ним. Попрошу как следует, а потом возьму на работу, дурня.

Старуха долго благодарит деда и уходит, сгорбившаяся, волоча по земле полы своей старенькой паранджи.

\* \* \*

Жара стоит неимоверная. Нещадно палит солнце. Подмастерья и оба дяди обливаются потом, то опахиваются мокрыми платками, то наклонившись, смахивают пот со лба согнутым пальцем. А деду — хоть бы что: лоб усыпан крупными каплями пота, а он работает себе, как ни в чем не бывало, насаживает голенища ичигов на правила, колотит пестом, с треском кроит кожу на новые заготовки.

— Эх, нырнуть бы сейчас в ледяную воду под обрывом, поблаженствовать бы! — говорит круглощекий подмастерье.

Дед только хмуро взглядывает на него, но ничего не говорит. В разговор неожиданно вступает старый подмастерье:

— Да ведь сегодня вторник! — вспоминает он. — Завтра среда, значит, я иду на базар, не так ли, мастер? — Не дождавшись ответа, он продолжает: — Вот продам удачно ичиги — и в прохладную чайхану. Поднаверну мягкой, как пух, лепешки, макая в варенье. А потом зеленого чаю напьюсь до отвала. — По безбородому лицу подмастерья расплывается улыбка.

— Очнись, друг! — охлаждает его другой подмастерье. — Не болтай зря. На этот раз черед мой. У меня и новый, из алачи, халат давно наготове. Приоденусь и пройдусь разок по базару в свое удовольствие... Да, мастер? — Он с надеждой смотрит на деда и говорит мечтательно: — Хорошо на базаре! Душа так и рвется туда, как птица. Шум, гомон. Народу множество: к примеру, что река великая течет, разливается!..

— Довольно, довольно! Занимайтесь своим делом, а там видно будет, — говорит дед, не поднимая головы от колоды.

В мастерской снова устанавливается тяжелая, гнетущая тишина. Слышен скрип раскраиваемой кожи да растягиваемой на весь размах рук дратвы. Все отупели от жары, работают вяло, еле-еле.

Какой-то арбакеш сгружает на улице с арбы песок и уезжает. Я мчусь туда, словно это не песок, а золото.

Бабушка расстилает во дворе кошму, старательно обметает ее веником. Она очень любит выбивать кошмы, поливать и подметать двор, и вообще все, что связано с движением. Такая уж она неугомонная.

Дед встает, осторожно сходит с террасы, усаживается на приготовленное бабушкой место. Он только что рассказывал о разных событиях своего времени, вспоминал случаи из жизни и теперь сидит, скрестив ноги и задумчиво потирая колени.

— О!..— качает он головой.— Жизнь, она, как вода, в один миг промчалась-миновала! И счастливая пора моя миновала, и верблюды, и деньги — все прошло, все миновало. А было время, блаженно покачиваясь на верблюде, я водил караваны и в Чимкент, и в Сайрам, и—слышите!— в самую Каркару! И вот прошла моя пора. Пожил я, побывал, повидал, а теперь — был бы Таш жив, здоров.

Бабушка расстилает с краю кошмы небольшую, стеганую, на вате, подстилку, заново завязывает платок на голове и с клубком ниток в руках присаживается возле деда.

— Да, жизнь проходит, и счастливая пора минует в единое мгновение. Теперь дал бы бог Ташу здоровья покрепче, да детишек побольше — вот о чем моя молитва.— Она задумывается на минуту, вздыхает.— Только вот нет у нас ни клочка усадьбы за городом, ни хотя бы двора чуть попросторнее. Ютимся в этом дворике, величиной с ладонь...

— Э-э!— машет рукой дед, не поднимая задумчиво опущенных глаз.— Нашла о чем говорить! Вся жизнь прошла на коне, на верблюде. И в дождь и в снег по горам, по степям скитался. Добывать на жизнь — дело не легкое, эх-хе!..— И, видимо позабыв, о чем шла речь, продолжает с увлечением:— Лошадь, она, должен сказать, редкостная тварь. Конь в горах, в степи — вернейший друг человека. Так и кажется, что сердце коня бьется вместе с сердцем всадника. Я сам много раз испытал это в своих странствованиях. Даже навоз коня — сокровище. На кизяк ли употребишь его для очага, на другое что. Особенно в дехканском хозяйстве — навоз, что редкостный перл. Слышал я, будто и у лекарей конский навоз ценится чуть ли ни на вес золота. А кумыс кобылий — из лекарств лекарство. Эх, был бы он сейчас, припал бы к чаше с жадностью — и пил бы, пил!.. Особенно в бою или на улаке

конь — бедняга — прямо-таки в ярость впадает. Думается, что и радости в коне больше, чем в человеке. Особенно, если на иноходце едешь — благодать! Коней-орлов, иноходцев повидал я довольно, вспомнишь — и то радостно. Говорят, и у святого Али был конь, Дульдуй, как орел, стремительный.— Помолчав немного, дед вдруг вспоминает о верблюдах.— Однако и верблюд в степи, скажем, или в пустыне, к примеру, что великая река — все ему нипочем. В степи ему довольно сухой колючки. Три дня, четыре дня едешь по пустыне, ни капли воды, а он, бедняга, терпит. Солнце палит, как в преисподней, а верблюду — хоть бы что! Из молока верблюжьего напиток делается, кумран, добрый на вкус. Довольно видал я, довольно пивал. Помнишь, старая, вдруг верблюдица наша разродилась? Ребятишки, женщины так радовались! Что конфетка с бахромой верблюженок был, помнишь?

— Как же, помню. Такой славный был: глаза большие, а сам ласковый, понятливый и такой милый — не налюбуешься,— говорит бабушка, улыбаясь.— И молока верблюжьего довелось отведать.

Глаза деда влажнеют. Он ведет речь дальше:

— Да, только человек, поездивший на верблюде, может знать, чего он стоит, на что он способен. Эхэ, прошла жизнь, как вода, промчалась-миновала. Вспыхнула, блеснула молнией — и погасла.

Бабушка хмурится:

— Э, зачем роптать? Благодарить надо аллаха — восьмой десяток доживаете. Поели, попили, немалые годы прожили...

Дед чуть приметно улыбается, пальцами расчесывая белую бороду:

— Я вообще говорю, старая. Дожить бы, говорю, до свадьбы внуков.

— Ишь, а потом и на невесток внуков посмотреть захочется,— насмешливо кривит губы бабушка.— Старикам всем жизнь сладкой кажется, хочется пожить подольше.

— Дедушка,— говорю я,— вы только и знаете, рассказываете про верблюдов, расхваливаете давние времена. А мне не верблюды нужны, а загородняя усадьба нужна. Смотрите, какая здесь жара, ка в аду. А за городом на просторе — хорошо! Ветерок прохладный подует. Много воды. Дыней, арбузов много. А винограда и того больше. Была бы у нас хоть маленькая загородная усадьба, я сам насадил бы там самых лучших персиков, черешни, урюка. А потом такого бы винограда завел — залюбуешься!..

Дед задыхается от смеха:

— Э, сынок, о чем это говоришь ты? Простор расхваливаешь. Да кому же и знать прелести просторов, как не мне! Денег нет — будь они прокляты! А на загородный сад деньги нужны, малыш. Вот, когда вырастешь, станешь добытчиком, сам приобретешь себе за городом райский сад!

Я молчу. Хмурясь, некоторое время прислушиваюсь к разговору деда с бабушкой. Потом, выбрав подходящую минуту, прошу деда:

— На гузаре дыни появились — и такие сладкие! Идемте, дедушка!

— Э-э, оставь, сынок. Дыни еще не поспели, потерпи. Да и денег нет у меня, — говорит дед.

— Отстань! Совсем ты избаловался. Деньги для нас теперь — что яйцо сказочной птицы Анко! — сердито говорит бабушка.

Нахмутив брови, обиженный, я отправляюсь на улицу.

\* \* \*

— Что случилось с Ташем? Все ли у него благополучно? Здоров ли он? Боже, пропади оно, это постоянное скитанье! — говорит бабушка и тут же поворачивается к деду. — Что вы расселись? Вставайте сейчас же! Хасан-ака приехал, повидайтесь с ним.

Дед прячет под одеяло четки. Говорит.

— Ходил я к Хасану, все благополучно... — И уже тверже: — Странствует он, торгует по степи...

— Три месяца, как он уехал, и ни знака — ни признака от него, от моего единственного сына. Бездушный вы человек! — Мне кажется, что на лице бабушки прибавилось морщин.

Дед отвечает не сразу.

— Не знаю. Когда был в Хумсане, смотришь, смотришь, десять-пятнадцать дней, и уже мчится кто-нибудь с известием. А в Янги-базар уехал — молчит и молчит. — И после небольшой паузы продолжает: — Разъезжает, наверное, по знойной степи детишек ради, ради нас, стариков. Добывать на жизнь — тяжкое бремя, мука, пытка... Муравей и тот постоянно в работе, трудится день и ночь. И человек, к примеру, то же, что муравей. А наше дело — сиди и молись за него в пору каждого из пяти намазов за день. Теперь нам только это и под силу.

Не переставая жужжать прялкой, в разговор снова вступает бабушка:

— Трудные времена настали: за воду плати, за землю плати, налогам и счету нет. Не жизнь стала, а мука сплошная. Этому Николаю, издохнуть ему, до народа никакого дела нет...— Она долго вздыхает и со слезами молит:— Только бы Таш жив-здоров был!..

Глаза деда тоже наполняются слезами. Он с трудом поднимается и, опираясь на палку, еще более сгорбившийся, отправляется к старому Мир-Ахмаду.

Хорошая штука игры. Я шатаюсь целыми днями, играю с утра до вечера. Товарищей у меня много: Кадыр, Агзам, Тургун, Ходжи, Ахмад, Сабир... Кадыр — с виду смиренный, но если разозлится, без всякого лезет в драку. Ахмад — озорник и азартный игрок в ашички. Отец Ходжи — черно-рабочий, еле сводит концы с концами, но порядочный хитрец. И сын в него пошел. Сабир — маленький, но довольно крепкий и бойкий. И вообще ребят в нашем квартале много, и все они не похожи друг на друга.

Для нас все забава: арба, почему-либо оставленная на улице, ашички, чижик, бег наперегонки. Короче: скучать нам не приходится. Каждый день по нескольку раз мы принимаемся за те же игры снова и снова.

Я, хоть в школу не хожу еще, знаю на память отдельные небольшие стихи корана, кое-какие газели Машраба. Выучить их помогла мне старшая сестренка Каромат, и сама же потом удивлялась: «Так скоро и так хорошо выучил, а!»

Всякий раз, когда я повторял заученное, дедушка незаметно прислушивался, а затем после долгого раздумья говорил, обращаясь к матери:

— Сын твой сметливый, Шаходат, грамотеем сделаем этого малого.

— А что ж, будем учить. Только Каромат тоже пусть продолжает учение. Вон Навои, Хафиза читает так, что сердце тает от умиления. И учительница всегда ставит ее в пример.

— Конечно, лучше, если она будет ученица. Девочка — это чья-то жена, но пусть учится. Сам я неграмотный. Спросят «ха», я отвечаю «бе». Таша тоже я самую малость учил, малограмотный он. А внучата пусть будут грамотеями. Да, пусть учатся!— Лицо дедушки светлеет, он улыбается довольный.

Как-то вечером, ровно через шесть месяцев после отъезда в Янги-базар, в калитку неожиданно входит отец. Мать, бабушка встречают его со слезами. Я несмело обнимаю его.

Дед, здороваясь, снова и снова спрашивается:

— Как живешь, как здравствуешь, сын?

— Да живем... в степи,— коротко отвечает отец.

На следующее утро дед подробно спрашивает, как живут казахи, что нового в степи, хорошо ли перелетовали овцы-козы. Отец отвечает лишь короткими «да», «нет».

Дед, понурившись, умолкает. Потом поднимает голову, спрашивает:

— Сколько побудешь дома?

— Три дня,— твердо отвечает отец.

Бабушка говорит сквозь слезы:

— Пусть сопутствуют тебе, сынок, радость и удача! Где бы ты ни был, был бы ты здоров и невредим. Пусть голова твоя будет тверже камня! Я молюсь за тебя в пору каждого из пяти намазов. Будь осмотрителен, сын мой. Дурных людей много, беги от них дальше. Держись ближе к своим. Будь здоров и невредим, поручаю тебя аллаху!..— Всхлипывая, она встает и идет на кухню к матери.

Дед, молча выжидавший, опустив голову, принимается наставлять сына:

— Недругов много, они есть всюду. Дружи только с достойными. Води знакомство с казахами. Казахи — народ добрый, отзывчивый. Мне часто приходилось иметь дело с ними, они любят мир, спокойствие,— особо подчеркивает дед.— Не груби, будь ласковым, обходительным. Я знаю тебя, дерзок ты очень. И попить не прочь, знаю.

Отец нетерпеливо перебивает.

— Ладно, ладно. Хватит уже!

Он торопливо пьет крепкий, как яд, чай в прикуску с сахаром, встает и уходит в чайхану.

Я тоже убегаю на улицу.

Октябрь. В воздухе веет прохладой. Свежей позолотой отливают урюковые деревья, яблони, тополи. Коврами из листьев устлана земля. Синее-синее небо. Солнце ласковое. Стаи облаков плывут в вышине...



Все, у кого были загородные усадьбы, вернулись в город. На улице шум, гвалт. Подростки играют в ашички, ссорятся, дерутся. Малыши мечут орехи. Я тотчас достаю из кармана горсть орехов и тоже вступаю в игру.

Отец, возвращаясь с базара, неожиданно останавливается, протягивает мне пару новеньких сияющих калаш:

— На, надевай!

Крепко прижимая к груди подарок, я невольно бросаю взгляд на свои запыленные до колен ноги, тут же одну за другой ополаскиваю их в ледяной воде арыка и надеваю калоши. Лепечу, задыхаясь от радости:

— Кажется, велики чуточку.

— Ничего, сын, с ичигами будут в самый раз,— ласково говорит отец.

Я мчусь домой, бегу на кухню к матери, занятой приготовлением плова. Кричу с ходу:

— Мама, мама! — Смотрите, хорошие? — и поочередно показываю надетые на ноги калоши. — Я завтра же пойду к дедушке-суфию и получу от него ичиги!

— Да ну? — взглянув на калоши, улыбается мать. — Дай бог...

На террасе отец рассказывает что-то деду, смеется, Сегодня у него хорошее настроение.

А дед вздыхает:

— Стар стал я, слаб стал, мочи нет. К концу подходит жизнь...

— Вы еще крепки, полны сил, вид у вас хороший,— говорит отец мягко.

— Э-э... какая там сила, какая крепость! — возражает дед. — Да, именно так, выдохся я. На молитву кое-как схожу — и все. Как восьмой десяток переступил, и засел сиднем. Ты теперь почаще наведивайся, сын. Слышишь?

— Заботы, отец, что я могу поделывать? Ни конь подо мной, ни сам я не знаем покоя. То в степь скачешь на базар в четверг, то в Шаробхану, то в Турбат... Я и сам с радостью бы приезжал чаще, да возможности нет. Долгов много. Вот и сегодня товару в долг набрал... — смущенно говорит отец.

Дед долго сидит молча, задумавшись о чем-то. Потом уходит на молитву.

Наутро, еще затемно, отец уезжает на своем сильном иноходце.

Просыпаюсь однажды утром, а кругом белым-бело. С неба, кружась, падают пушистые хлопья снега, слышится тихий, приглушенный шум ветра. Вороны каркают, уже затеяли свою, воронью игру: то взмывают и, радуясь, парят, широко распахнув крылья, то важно, вперевалку, расхаживают по снегу; иные ссорятся из-за костей.

Мать с бабушкой в калошах на босу ногу, поскрипывая снегом и поеживаясь от холода, убирают двор, террасу: кошмы и одеяла уносят в дом, разную утварь со двора — на кухню.

Я приподнимаю с подушки голову, осматриваюсь. Снег уже укрыл крышу сарая, двор, укутал урюковое дерево, легким пухом лежит на краю террасы. Я чувствую прилив радости, безотчетно протягиваю руку. Захватываю полную горсть снега, подношу к лицу. Снег холодком пощипывает руки, щеки, лоб, кончик носа, а мне приятно...

Бабушка шумно стряхивает полог, наполовину загоразживавший террасу, потом подходит ко мне.

— Ну вставай же! Чего лежишь, вытянулся? Видишь, снег — так красиво падает!

Глаза у нее слезятся с непривычки к холоду, а на морщинистом лице улыбка...

Я долго лежу, засмотревшись на падающие с неба хлопья, на тонкие ветки урючины, увитые белым пухом. Бабушка опустила на молитвенный коврик, перебирает четки, но по ее просветленному морщинистому лицу видно, что мысли ее тоже захвачены какими-то волнующими, внезапно нахлынувшими воспоминаниями.

Я нехотя выбираюсь из-под одеяла. Наскоро накидываю ватный халат и, не дожидаясь чая, бегу на улицу. Кругом тихо-тихо. Через отворенную калитку виден просторный двор дяди. Там, мурлыча под нос какую-то песенку, в одиночку играет в снежки Кадыр. В это время со стороны мечети показался дед. Старик дрожал от холода и еле-еле переставлял свой посох. Я возвращаюсь вместе с ним.

Очутившись во дворе, дед тотчас подсаживается к тепломю сандалу на террасе.

— Садись, — говорит он. — Холодно, залезай под одеяло.

Сунув ноги под одеяло, которым накрыт сандал, я тесно прижимаюсь к деду и запеваю песню:

Ворона купалась в снегу,  
Закрыла вороны глаза,  
А бабка, схватив кочергу,  
Прогнала в три шен каргу...

Мать приносит бурно кипящий самовар. Весело переговариваясь, мы пьем чай. На скатерти все те же лепешки, и только лепешки. Ни масла нет, ни молока. Бурая корова наша давно продана. Нет ни сахара, ни сушеного урюка. «Хоть бы джида была, что ли!»— думаю я про себя, но молчу.

Иса и Каромат, наскоро пожевав хлеба и выпив по чашке чаю, отправляются в школу. Вместе с ними и я бегу на улицу. Кучка ребятишек играет здесь, осыпая друг друга снегом. Я тоже вступаю в игру. Комья холодного ледяного снега мы туго-натуго скатываем в горстях в снежки и стреляем ими друг в друга. Ссоримся, снова миримся и играем, играем до усталости.

Снег уже идет не так сильно, как утром, только легкие снежинки порошат реденько. Время от времени из-за туч выглядывает солнце, и тогда ветви деревьев, живописно увитые хлопьями снега, вдруг начинают сверкать тысячами искорок.

Когда надоедает играть, мы всей ватагой отправляемся на перекресток большой улицы. Там, усевшись в ряд на корточки, с интересом глазеем на вагоны конки, с беспрерывным звоном проносящиеся мимо, на лошадей, с тяжким храпом скачущих впереди каждого вагона.

На гузаре людно: много босых, убого, не по-зимнему одетых людей, дрожащих от холода. Лавочники, сунув ноги в крошечные сандалы и зябко поеживаясь, крошат морковь. А сынки богачей проезжают мимо, развалиясь в седле или же на мягких сиденьях колясок.

На плоских крышах парни лопатами сгребают снег. Кто-то в шутку сбрасывает на нас целый сугроб. Снег белит нам головы, плечи. Мы, шутя, перебраниваемся с парнями, потом затеваем шумный разговор:

— Хо, а я недавно с отцом на конке прокатился! Далеко, в самый город ездили. Вот здорово!... И еще поедем с отцом. Ох, и кони резвые!— говорит один мальчишка.

— А я еще ни разу не ездил на конке, денег нет,— говорит другой.

Неожиданно появляется караульщик.

— Ну, что вы тут расселись журавлиным рядом?— орет он, страшно выпучив глаза.

Я отвечаю почтительно:

— Дядя, мы на снег любимся, вон как хорошо кругом!

Караульщик — невзрачный человек, очень раздражительный и злой; усы длинные, зубы редкие, глаза выпученные, всем своим видом напоминает наркомана. Он живет в нашем квартале, один в маленькой хибарке. Мы очень боялись его.

Он замахивается палкой.

— Мерзавцы! Убирайтесь отсюда! А то вот дам свисток...

Мы, мальчишки, бросаемся врассыпную. Только один не очень проворный, как всегда, попадает в руки караульщика и ревет что есть силы.

Солнце давно вышло из-за туч. С крыш, с водосточных желобов со звоном зачастили крупные прозрачные капли. Крыши почти сплошь камышовые, залитые глиной. Только изредка увидишь железную, значит, считай, там байский двор.

У нас в доме, кроме Исы, нет никого, кто мог бы сгрести снег. Дед стар, даже с палкой еле-еле передвигается, я — мал. Иса, вернувшись из школы, лезет на крышу, тужась через силу, сбрасывает во двор уже начавший таять снег. Я тоже взбираюсь по лестнице, волоча за собой обломанную по краям старую лопату. С минуту стою, раскрыв от удивления рот: горы, белые от снега, кажутся мне совсем рядом.

Иса кричит мне с крыши:

— Эй, куда ты? Брось лопату!

Я бросаю лопату и рукавом утираю под носом.

— Слезай сейчас же! — опять кричит Иса. — Свалишься, здесь очень скользко.

Я нехотя спускаюсь во двор. От нечего делать некоторое время кружу по улице. Потом отправляюсь к бабушке Таджи. И не без умысла. Семья бабушки Таджи имела сад за городом. Осенью они привозили оттуда порядочно сушеного урюка, изюма, патоки. Урюк был у них неважный, с присохшей к косточке мякотью, но я все-таки ради него часто захаживал к ним.

Первым меня встречает младший сын бабушки, Мумин, паренек лет шестнадцати. Он только что закончил сгрести снег с крыши и сходил с лестницы.

— А, приятель! Заходи, заходи!— улыбается Мумин.— Знаешь, я одну интересную сказку запомнил.

— Э-э, сказки лучше слушать вечером,— уклончиво говорю я.

— Ну, тогда расскажи ты, а мы послушаем.

Очистив лопату от снега, Мумин ставит ее к стене террасы, а сам, потирая руки, подсаживается к сандалу.

— Снегу много выпало, хорошо для пшеницы!— говорит он, поудобнее устраиваясь у сандала. Потом приподнимает край одеяла:— Давай, садись!

Я поглубже залезаю под одеяло. Бабушка Таджи — полная, могучего сложения старуха — заглядывает под сандал, лопаточкой ворошит угли, от них пышет жаром.

— Сказку я вечером расскажу,— говорю я Мумину, зная наперед, что он начнет упрашивать меня.

В это время из дома выходит Тураб, старший брат Мумина. Это был уже взрослый парень лет девятнадцати-двадцати с темным цветом лица и крупной головой.

— Э-э, ничего вы не знаете. У этого плута на уме только сушеный урюк,— говорит он, посмеиваясь, потом поворачивается ко мне:— Условие у нас будет такое, друг мой: хоть еще не вечер, сказку ты нам расскажешь, и тогда — получай урюк.

Радуясь в душе такому обороту дела, я сразу же соглашаюсь.

— Было ль то, не было, только жил на свете один бедный-бедный джигит... — Я рассказываю длинную смешную сказку. Все хохочут, а я помалкиваю, утираю рукавом нос, потому что сегодня из него течет больше обычного.

— А теперь гоните ваш урюк!— говорю я дяде Турабу, кончив сказку.

Мумин перебивает меня.

— Постой!— говорит он.— У тебя в запасе есть еще одна интересная сказка, расскажешь ее, и я дам тебе целую пригоршню урюка.

Бабушка Таджи смеется, но принимает мою сторону:

— Вторую он вечером расскажет, таково было условие.— Она с натугой поднимает свое крупное тело, приносит из кладовки пригоршню сморщенного твердого, как камень, сушеного урюка и высыпает мне в шапку.

Я сую ноги в калоши и без оглядки пускаюсь наутек.

В это время на улице слышатся шум, крик. Ссоры у нас случались часто. В нашем квартале, где дворики и домишки тесно лепились друг к другу, всем были извест-

ны печали и заботы каждой семьи. Жизнь, сгинуть ей, была очень тяжелая. Изо дня в день у всех в казане варился жидкий суп, а то просто постная шурпа. Если иногда у кого-либо готовился плов с полфунтом мяса, это считалось праздником в доме. Положение у всех было стесненное, над каждым домом, над каждой семьей тяжело нависала нужда, бедность...

На этот раз шум доносился со двора наших соседей. Ссору затеял дядя Гаффар. Это среднего роста плечистый мужчина с красным, как гребень петуха, лицом, с хитрыми глазками и с широкой, похожей на торбу, бородой цвета зеленого горошка, перемешанного с рисом. Летом он затемно уходил на базар в поисках случайной поденной работы. Зимой торговал венчиками. Заготовив целую гору материала, он ночами, не смежая глаз и с большим усердием, вязал венчики, а после полудня, погрузив на широкие плечи свой «товар», отправлялся на базар. Таким путем он кое-как содержал свою большую семью. В нашем квартале все так — один венчик, другой ткач, третий сапожник, четвертый сидит в мелочной лавчонке... У каждой семьи своя жизнь, свои бесчисленные тяготы, заботы, свои печали...

Жена дяди Гаффара — тетя Рохат — довольно симпатичная женщина, белолицая, с живыми глазами. Сейчас она плакала навзрыд, говорила что-то с горечью и обидой.

Дядя Гаффар орал на нее:

— Эй, ты, ведьма! Замолчи, говорю тебе, подлая! Довольствуйся рисовым супом и тысячу раз благодари бога! Что такое плов, я сам хорошо знаю, да где взять денег? Летом я — чернорабочий, зимой — венчик, ты же сама знаешь это, глупая твоя голова!

А жена кричала еще громче мужа:

— Знаю, знаю! Скорее у камня выпросишь, чем у тебя! За копейку душу отдать готов. Только и слышишь: терпи, терпи, терпи! Да пропади оно пропадом, может ли быть терпение больше моего? Сколько времени уже казан наш, расколется ему, плова не видит? Сегодня целый день ждала, все глаза проглядела, не принесет ли, думаю, мяса, сала, не удастся ли приготовить детишкам горсть плова, бессовестный, провалиться тебе!..

Ревут детишки, орет, бранясь, дядя Гаффар.

Соседям, особенно мужчинам, до скандала дела нет. Перебранки случаются каждый день, все к этому привыкли.

— Сами утихóмрятся,— говорит моя бабушка, махнув рукой.

Но ссора между мужем и женой не стихает, а все больше набирает силу. Тетя Рохат уже уселась верхом на невысокий, жиденский дувал, разделяющий наши двory, и кричит, рубя рукой воздух перед собой.

Мать начинает увещевать ее.

— Рохат! Хей, Рохат, довольно, перестань! Что это такое? Постыдилась бы!

— Вой-воей! — волнуется тетя Рохат. — Милая, да ведь надоело до смерти! Слышите, что изрыгает рот этого бородача, сдохнуть ему?!

Бабушка, стоя на террасе, уговаривает старика:

— Стыдно, Гаффарджан! Хоть бы ты перемолчал. И ты, Рохат, перестань вопить. Все мы бедняки, все мы нищие, и у всех у нас одна надежда — на аллаха! Потерпи. Вот подрастут детишки, и вы свет увидите.

— Боже, пропади оно пропадом это терпение! — со слезами говорит тетя Рохат, но все-таки слезает с дувала.

Дядя Гаффар еще некоторое время кричит, бранится. но в конце концов и он стихает.

\* \* \*

Суровая зима... Мороз, резкий, пронизывающий ветер. Глубокий снег скрипит под ногами. Редко-редко покажется солнце, и то не греет...

С террасы мы перекечевали в дом. Голуби, горлинки, воробьи бродят голодные, нахохлившиеся от холода. Мне жалко их, и я горстями посыпаю им мелко крошенный хлеб. Бабушка, если находит во дворе замерзшего ночью воробья или горлинку, хоронит их бережно, выкопав ямку под дувалом.

А мы, мальчишки, не знаем покоя: играем в снежки, деремся, миримся — и так целыми днями. В один из таких холодных дней, собравшись всей ватагой, мы катались по льду водоема. Неожиданно один из мальчишек — довольно крепкий и ловкий парнишка лет семи-восьми — попал в прорубь. Мы подняли крик. Поблизости никого из взрослых не было. Вдруг откуда ни возьмись, подбегает Махсум-байбак. (Мы так прозвали этого парня за то, что он был очень вял и ленив.)

— Что случилось?

— Мальчишка утонул! — отвечаем мы все разом.

Махсум-байбак молча срывает с себя чапан, швыряет его в сторону и через узкую дыру ныряет под лед. Мы все стоим, затаив дыхание, не сводим глаз с проруби. Вдруг над водой показывается голова Махсума, он выбрасывает мальчишку на лед, затем выбирается сам и, не попадая зуб на зуб, сразу закутывается в свой чапан.

Ребята постарше подхватывают парнишку, выносят его на берег водоема. Собирается народ. Один из подошедших парней поднимает пострадавшего на руки и несколько раз встряхивает его. У того из рта льется вода.

— Растирай, ноги-руки растирай ему!— советует какой-то старик. Потом трогает рукой грудь мальчика, говорит:— Живой, выйдется, человеком будет. Только быстрее несите его к матери, пусть согреет у сандала.

Какой-то парень поднимает мальчишку на руки. А мы всей гурьбой бежим следом.

\* \* \*

Дед сидел в небольшой хибарке, сырой и темной. Это была наспех слепленная клетушка, холодная, с маленькой, кое-как навешанной дверкой. На нем был толстый ватный чапан; на голове надвинутая до ушей старая облезлая шапка. Сидел он молча, понурив голову, отдавшись каким-то своим мыслям.

Я вхожу, легонько толкнув ногой дверку. Протягиваю ему чашку с похлебкой из маша и рисовой сечки:

— Машхорди... Горячая, ешьте, дедушка!— И подсаживаюсь к сандалу.

Дед шарит рукой под ватной подстилкой, подает мне горсть махровых конфет и сахару.

— На, бери! Только чтоб бабушка не узнала, слышишь?— говорит он, и по лицу у него расплывается улыбка.

Я, конечно, рад. Дед тоже доволен, легонько кивает головой:

— Нашел ключ, тихонько открыл сундук и взял вот для тебя. Но смотри, бабка чтоб не увидала! Старуха скупая... — говорит он, помешивая деревянной ложкой машхорди.

Бабушки дома нет, она ушла на Лабзак, к моей тетке. Муж тетки страдал головными болями, и они вчера зарезали козу, чтобы совершить обряд изгнания злых духов и затем устроить угощение с богоугодной целью, и забрали к себе бабушку.



Дед медленно жует хлеб, хлебает машхорди. А я, с хрустом поедая конфеты и сахар, прошу:

— Дедушка, расскажите о прошлых временах!

— Молчи, сынок,— говорит дед, поглаживая бороду.— Все сказки выскочили у меня из памяти, хоть я и знал их великое множество.

Я продолжаю приставать:

— Дедушка, милый, расскажите...

— Ах, проказник! Состарился я, все теперь улетучилось из памяти,— говорит дед, покашливая.— В молодости я знал много длинных-длинных сказок, а теперь все перезабыл. Оскудела память. А когда-то, бывало, посту-чу костяшками счетов и в минуту произведу любые расчеты-пересчеты.

Дед долго молчит, видно, думает, вспоминает. Потом, откашлявшись, медленно, слово за словом говорит:

— Ну, слушай хорошенько. Я спою тебе песню. Всю не помню, а то, что осталось в памяти, спою.— И начинает петь:

Снег на улице лежит,  
Ночь луной вокруг глядит.

Сваты к девушке пришли  
И барана привели.

И очаг горит огнем,  
Мясо жарится на нем.

Не скажи, не жирен плов:  
Был откормленный баран весом!  
Не скажи, что выстудили кров:  
В очаге огонь и дым столбом!

На террасе старики сидят,  
На костер во все глаза глядят.

Щек не обморозили б они —  
Чаю им в кумгане вскипяти!  
На старух поласковой взгляни —  
Лишь бы не скандалили они.

А на девушках наряд!  
Жемчуга сверкают и горят.

Игры шаловливые ведут,  
В танце, словно пери, проплывут.  
Песню запевают — «Яр-яр-яр!»  
Слезы утирают — «Яр-яр-яр!»

Дед умолкает, улыбается:

— Все, малыш!

Я опять прошу:

— Хорошая песня, дедушка, спойте еще.

— Все! — говорит дед, — Ничего не осталось в памяти, все перезабыл. — Потом опять задумывается, а минуту спустя продолжает: — Однажды бежит Лиса, добычу вынюхивает, а навстречу ей Павлин, хвост распустил. Лиса и говорит: «О, Павлин! Слышала я, ты пляшешь чудо как хорошо. Спляши же, порадуй меня». Павлин еще пуще распустил хвост и пошел плясать. А Лиса смотрела, смотрела, облизывалась — проголодалась очень, — да как схватит его. Павлин видит, Лиса недоброе задумала и говорит: «О, Лиса! Что ты делаешь?» А Лиса ему: «Я, говорит, проголодалась очень, хочу тебя съесть!» Павлин говорит: «Ладно, ешь, только прежде ты должна молитву прочесть». Лиса забормотала что-то про себя, подняла передние лапы и только успела сказать: «Омин велик аллах!», как Павлин — «Фрр!» и улетел от Лисы, из-под самого носа... Все, конец! Старость, сгнуть ей, добра от нее мало. Сил нет, все время ко сну клонит... — Помолчал минуту, дед качает головой: — А все же немало мною прыскано по свету. По степям, по пустыням на верблюдах немало поезжено...

— Дедушка, расскажите еще! — прошу я, поглаживая деду бороду.

— Хватит, сынок. Если придет что на память, завтра-послезавтра расскажу, — говорит дед, лаская меня сухой морщинистой рукой.

Я обнимаю его колени, заглядываю в мудрые, задумчивые глаза. Соглашаюсь:

— Ладно, дедушка, завтра.

Дед тихонько опускает отяжелевшие веки и погружается в долгую думу.

\* \* \*

Приходит весна. Урюковые деревья, персики, вишни, сливы, доверившись теплу, одно за другим торжественно облачаются в легкие светлые одежды. Чарующая пре-

лесть цветов, нежная зелень листьев вызывают чувство восторга, душевного подъема.

Местом наших игр теперь становятся крыши. А помощником и соучастником наших ребячьих забав — весенний ветер. Все ребята увлекаются бумажными змеями. Мечтой, заветным желанием каждого становится «курок». Курок — это большущий змей, сделанный из плотной разноцветной бумаги. Бывали куроки, которые могли нести под собой зажженный фонарь. Мне самому доводилось видеть такие. Лучшими мастерами по курокам были Махкам и Мумин. Темной ночью их змеи гудели на ветру с мерцающими, как звезды, фонарями.

Я тоже не отстаю от товарищей, мастерю маленького змея. Долго вожусь с ним, но в конце концов запускаю, пробежав от одного края крыши до другого.

Погода стоит мягкая. Дует ласковый весенний ветерок. Величаво плывет в небе солнце... Крыши, особенно старые, глиняная заливка которых не была обновлена прошлой осенью, поросли нежной травкой. А в траве огнем горят алые маки...

Внизу вдоль узкой улочки, поблескивая на солнце, тянутся длинные полосы шелковой основы. Когда-то ткачи нашего квартала выпускали бязь. Многие из них вынуждены были бросить свое дело, а некоторые начали переходить к тканью местного шелка. Тут же, прислонившись к дувалу, сидит мой дед. Всякий раз, когда на улице натягивали основу, он любил сидеть вот так на солнышке и беседовать с ткачами.

Когда змей наскучил мне, я спрыгнул прямо на улицу. Дед вздрогнул:

— Проказник, с крыши сиганул, а!

Я со смехом притискиваюсь к нему под бок. Дед успокаивается, обнимая меня одной рукой, продолжает беседовать с ткачами.

— Эрмат, свет мой, ученик твой ушел, что ли, от тебя? Смирный, покладистый парнишка был.

Высокий, лет пятидесяти безбородый ткач говорит сдержанно, продолжая заниматься своим делом:

— Да, ушел. В Фергану уехал. Вот прибавилось фабричного товара, и в нашем деле наступил застой. Ткачей шелка и тех совсем мало осталось: там один, тут один... Скоро и мне, наверное, придется свернуть дело. Расходов и тех не оправдываешь.

Дед кивает головой:

— Ты прав. Раньше все люди носили простую бязь.

Девушки, женщины и те в бязь одевались. А появился ситец, и дела ткачей пошли на убыль. Фабриканты утопают в деньгах. Выходят все новые и новые товары — бархат, плис, сукна, шелка и всякие прочие штуки. Да, здорово переменились времена. Но, сын мой, худые это времена. Злодеяниям и притеснениям нет предела. Правде, справедливости пришел конец. Нам только и осталось уповать на аллаха, друг мой!

— Верно, отец! Справедливые слова. Бедняки, немущие в обиде, а сытые кутят, распутничают.

Дед легонько трогает бороду, говорит ткачу:

— Запасись терпением, сын мой, и достигнешь своих желаний. Но мой совет тебе такой — бросай ткачество. Занятий всяких много, берись за какое-нибудь подходящее по времени. Даст бог и придет к тебе удача.

Я тяну деда за руку:

— Идемте, дедушка, на гузар сходим!

— Ах, сорванец! Ну, идем, идем, — говорит дед, с трудом поднимаясь на ноги.

Взявшись за руки, мы отправляемся на перекресток, к лавкам.

\* \* \*

Деду нездоровилось. Уже будучи больным, он некоторое время еще держался кое-как, а потом слег окончательно. Теперь он уже не сходит с постели на террасе. Лишь иногда приподнимется через силу и посидит на солнышке, сунув за спину подушку.

— Хорошо бы Таш приехал. Сил нет, ко сну клонит, это знак близкой смерти, похоже сочтены дни мои, — часто говорил он бабушке.

Приехал отец. Он, хоть в душе и был опечален, старался утешить деда, когда тот начинал жаловаться на недомогание.

— Не бойтесь, — говорил он, — вы хорошо выглядите, отец, и еще поживете.

А тетка с Лабзака чуть не каждый день приводила всех своих ребятишек и плакала, не переставая. Так что деду самому приходилось утешать ее.

— Перестань, не плачь, доченька, — говорил он. — Смерть — это наследие наших отцов...

Хорошо помню, как он дрожащими руками брал иногда дочку тетки и мою сестренку Шарофат (они были еще младенцами). Подержит, пожелает им:

— Пусть долго живут и здравствуют! Боже, пусть здравствуют и живут они до тысячи лет! — расцелует и вернет детишек матерям.

Я часто подсаживался к нему, ласкался, трогал бороду, гладил щеки. А он легонько похлопает меня по спине и скажет:

— Иди играй, мой мальчик. Что тебе сидеть? Беги к своим товарищам.

Дед умер, когда я был на улице. С нашего двора донеслись громкий плач, причитания. Прибежал я, а отец, бабушка, мать, тетка уже сидят у изголовья дедушки и плачут. Отец, вытирая платком слезы, повернулся ко мне:

— Беги в школу, позови сестренку свою Каромат.— И сам поспешил зачем-то на улицу.

Около деда собираются дядя, бабушка Таджи и другие близкие родственники. Я спохватываюсь, бегу к дому учительницы. Через ворота вбегаю на просторный двор, подхожу к сестренке. Шепчу:

— Умер... дедушка... Идем скорее!

Каромат побледнела, застыла на мгновение и вдруг громко зарыдала. Учительница сразу догадалась, в чем дело. Она шепотом прочитала молитву, провела руками по лицу, потом тихонько сказала что-то сестренке. Каромат дрожащими руками торопливо сунула книги в сумку, и мы молча побежали домой.

Во дворе у нас уже собрались жители квартала, соседи, знакомые, родственники. В полдень дедушку понесли на кладбище. Я был мал, но все хорошо помню. Мы долго шли через Беш-агач к Бурджару. В камзоле, подпоясанный новым поясным платком, в старенькой тубетейке, босой, я семенял в толпе, запинаясь на каждом шагу и проливая слезы. Было жарко, душно. От жары у меня пересохло во рту. На Беш-агаче я напился из большого канала, черпая горстью мутную воду. На кладбище, когда дедушку стали засыпать землей, я заглянул в могилу. Как страшно! Дядя сердито оттолкнул меня в сторону. Тут какой-то старенький человек начал громко читать коран. Все притихли. «Бедный дедушка! Как же он останется в этой глубокой, темной могиле? А если сейчас явятся Мункар, Накир!» — внезапно мелькнула у меня мысль, и меня бросило в дрожь. Огромное, в глубоком безмолвии кладбище вдруг показалось мне каким-то иным, нездешним миром. Страшно! Как страшно!..

Мать, тетка, сестренка Каромат встретили нас громким плачем. Бабушка сидела молчаливая и печальная. Время

от времени по ее морщинистым щекам скатывались одна-две слезинки.

Вечером, еще до наступления темноты, бабушка зажгла в углу комнаты свечу. По очереди читают коран. Я один дольше всех задерживаюсь в пустом доме. Шепотом читаю по памяти какой-то — не помню уже — стих корана, которому меня научил дедушка. Читаю со слезами, с чувством, от всей души. Сердце мое, кажется, обливается кровью, и я вдруг громко рыдаю. Потом долго сижу молча. Вспоминаю каждое дедушкино слово. На душе у меня так же пусто и темно, как в этой пустой и темной комнате. В дверь тихонько входит мать.

— Что ты сидишь тут один в темноте? — с дрожью в голосе говорит она. — Это может худо кончиться. Идем! Она берет меня за руку и уводит на террасу.

## Глава вторая

### ШКОЛА

Я рано вскочил с постели, быстро оделся.

На дворе осень. Каждое дерево — факел. Как стекло, прозрачна вода в арыке. В воздухе легкая дымка, чуть приметная. Цветут розы, выюнки, всяких сортов портулаки — им нипочем первые осенние заморозки.

Когда я торопливо умываюсь в арыке, ко мне с чайником подходит мать.

— Рано ты поднялся, прежде еще спал бы, — говорит она улыбаясь. — Самовар уже вскипел. Иди, попей чаю. Дам тебе чистую рубашку, наденешь триковый камзол, щеголем будешь выглядеть. Учитель твой любит чистоту.

Мать сама одевает меня, украшает голову тубетейкой, которую сшила для меня своими руками. Я с нетерпением, торопливо пью чай. Мать подает мне новенькую дощечку, она бедная, сама выстрогала, выгладила ее до блеска.

— Смотри, хорошая? — спрашивает она, внимательно и любовно оглядывая меня с головы до ног. — Учитель азбуку напишет на этой дощечке...

— А я сразу же заучу ее, в минуту запомню свой урок! — захлебываясь от радости, говорю я и крепко прижимаю дощечку.

Мать заворачивает в большую скатерть мягкие сдобные лепешки, завязывает в узелок серебряный целковый.

Мы отправляемся к деду-сапожнику. Я бегу впереди с дощечкой под мышкой.

Остановившись у порога мастерской, мать здороваётся, передает деду завернутые в скатерть лепешки и деньги:

— Отец, отведите Мусабая в школу!

Морщинистое лицо деда светлеет, строгие глаза сияют улыбкой!

— Добро, добро! — говорит он. — Пусть учится, грамотеем будет! Все мы неграмотные, необразованные... Очень хорошо, пусть учится! Кто учится, становится человеком сведущим, ученым, а неученый — все равно что слепой...

Оба дяди, подмастерья, ученики посмеиваются.

— Учись, учись. Только смотри, не сбеги, слышишь, племянник! — кивает мне головой дядя Рахимберды. — До сих пор ты шатался по улице, был на посылках у шайтана. А теперь довольно, все твое внимание, помыслы направь на учение!

— Думаете, он будет учиться? — говорит рябой подмастерье. — Вот увидите, не пройдет и двух дней, как сбежит. Ученье — дело не легкое, это не шутка!

— Зачем так говорить? Он будет учиться, мальчик он разумный, понятливый, — с досадой возражает мать и, не торопясь, уходит на внутреннюю половину двора.

— Издохнуть тебе, рябой! — неслышно шепчу я, отворачиваясь от подмастерья.

— Ну, пошли, внучек! Раз решил учиться — все, никого не слушай, — твердо говорит дед.

Через минуту мы уже подходим к школе. Школа была в этом же квартале, рядом с мечетью. Состояла она из одной довольно просторной комнаты.

— Ассалам алейкум!

Все ученики дружно вскакивают, разом выкрикивают приветствие деду и шумно опускаются на свои места.

Учитель здороваётся с дедом:

— Ваалейкум ассалам! — Справляется, оглядывая меня с ног до головы: — Это мальчик вашей слабенькой?

— Да, дочки моей, — отвечает дед. Он бережно кладет перед учителем узел с лепешками, протягивает ему рубль.

Учитель — видный из себя, подвижной, худощавый человек с огромной чалмой на голове, с длинной бородой и большими умными глазами на смугловатом лице. Привычным движением он ловко прячет деньги в кармашек для часов, затем, подняв руки, читает краткую молитву. Дед с чувством произносит:

— Омин! Пусть учится, пусть станет грамотеем! — и тоже проводит руками по лицу.

Учитель садится, жестом приглашает меня занять место напротив:

— Ну, Мусабай, садись, сынок!

Я, краснея, подгибаю колени, опускаюсь на пятки. Учитель, придерживая на коленке одной рукой дощечку, пишет на ней что-то чернилами.

— Всего доброго, почтенный! Бейте, браните, но сделайте из него грамотея. Мясо ваше, кости наши! — Дед прощается и выходит, низко кланаясь.

Учитель быстро красивым, каллиграфическим почерком переписывает на дощечку азбуку. Затем внушительно и торжественно нараспев читает:

— Алиф, бе, те...

Я охотно, с увлечением повторяю вслед:

— Алиф, бе, те...

— Молодец! Довольно, хороший джигит! — говорит учитель, передавая мне дощечку. — Иди, садись вон на то место! И хорошенько затверди урок.

Теряясь от смущения, я кое-как пробираюсь между рядов учащихся и сажусь среди малышей.

В школе стоит сплошной шум. Все ученики разом выкрикивают каждый свой урок, громкий галдеж переполняет классную комнату, вырывается наружу. Старшие высокими звучными голосами читают коран, Хафиза, Физули, Навои. А я вместе с прочими малышами настойчиво твержу азбуку. Твержу долго. До изнеможения, до хрипоты, до пота. Учитель время от времени проходит по рядам учащихся, попутно похлестывая кое-кого плетью. После этого ребята кричат еще громче. Я дрожу от страха, еще ближе подношу дощечку к глазам и твержу еще старательнее. Под конец я устаю окончательно.

Наступает полдень. Учитель и хором все ребята читают отрывок из корана, затем короткую благодарственную молитву, шумно поднимаются со своих мест и бегут на улицу. Я тоже кричу и бегу вместе с другими.

\* \* \*

Каждый день я хожу в школу.

В классной комнате стоит постоянный шум, галдеж. Среди учащихся много пареньков семнадцати-восемнадцати лет. У них вошло в привычку, пользуясь шумом, обме-



ниваться во время урока разными непристойными шутками, толкаться исподтишка, грозить друг другу кулаками.

Иса тихонько переговаривается о чем-то со своим товарищем. Я прислушиваюсь, но ничего не могу разобрать. Потом догадываюсь: они говорят на особом, непонятном для других, условном языке.

В школе обучаются семь или восемь будущих чтецов корана — кары, больших и малышей. Они всегда сидят перед учителем и на память усердно читают нараспев коран. Читают, закрыв глаза, до хрипоты, до изнеможения.

Учитель усаживает рядом с собой одного из кары, сдвинув брови, строго приказывает ему:

— А ну, читай!

Мальчик нараспев начинает читать коран по памяти.

— Кола, юмла ют...

Едва он успевает дрожащим голосом произнести эти слова, как учитель бьет его по щеке. У мальчика загораются уши.

— А где же у тебя зери, забар, свинья?— кричит учитель, краснея от злости. — Иди, повторяй снова!

Мальчик тихонько, с опаской встает и, прикрывая рукой щеку, занимает свое место среди чтецов корана.

Учитель сам хорошо умел читать, с выражением, нараспев и строго спрашивал со своих учеников.

Я ни на минуту не прекращаю твердить азбуку. От усталости и хрипоты голос мой звучит глухо, сипло.

— Хей, Мусабай! Давай устроим «бой баранов», — шепчет мне один из мальчишек, украдкой показывая мне лучину от циновки. — Вот, смотри, какой у меня «баран».

Из-за страха перед учителем, я тихонько шепчу, не отрывая глаз от дощечки с азбукой:

— Нет, не выйдет, учитель увидит, побьет! А «баран» и у меня есть, еще здоровее твоего. Потом покажу...

\* \* \*

Я быстро перезнакомился с младшими школьниками.

Обучают нас старшие ученики, учителю до нас, малышей, дела нет. Он лишь время от времени подзовет кого-либо из нас, усадит перед собой, заставит читать, а сам только слушает. Когда кто-либо из ребят принесет ему в подношение плова ли, сдобных лепешек ли, коржей, учитель, довольный, радуется.

— А ну, свет мой, Мусабай, подойди-ка сюда! Азбуку

заучил уже? — спросил меня учитель, когда прошло две недели.

С дощечкой в руках я застенчиво опускаюсь перед учителем на пятки, во весь голос бойко прочитываю азбуку от начала до конца.

— Молодец! Но все же есть ошибки, не везде гладко. Иди к кому-либо из старших, пусть подучит, — говорит учитель и громко чихает, смешно сморщив нос.

Я подхожу к одному из старших учеников, рослому парню с уже обозначившимися усами.

— Э-э, надоели до смерти ваши уроки! — ворчит он с досадой. — Убирайся, пусть домла сам обучает тебя. Деньги получать умеет...

Я упрашиваю.

— Надоело уже — то сам учись, то других учи... Ну, садись, подучу малость, — говорит старший устало.

Меня зло взяло.

— Ладно, не надо! И сам знаю не хуже твоего... — Я поворачиваюсь и сажусь на прежнее место.

Так проходят уроки, проходят дни. Подражая другим, я тоже начинаю шалить. Мы устраиваем «бараньи бои», играем в орехи, даже в ашички. Если, бывало, заметит учитель, — ей-богу! — всех обойдет и всех одарит добрым ударом плетки.

Ребята то и дело выбегают во двор. Нужник — это просто повод, отговорка... Побегав по двору, пошутив, посмеявшись, мы немного отдыхаем таким образом. Во дворе был водоем, ради забавы мы умываемся, не торопясь, пьем воду. А то сразу же начинаем играть в ашички или в другую какую игру.

Но учитель хитер, он и против этого умеет найти меры. Как-то он подзывает к себе одного рослого парня, расторопного и преуспевающего в учении.

— Иди вырежь тополевую ветку и хорошенько оскобли ее!

— Будет исполнено, учитель! Я со всей душой, — приложив руки к груди, изгибается в поклоне парень. — Вы уже приказывали однажды, так я теперь сразу две хороших бирки сделаю, — говорит он и торопливо уходит.

Встревоженные, мы все затихаем на минуту. Потом начинаем перешептываться.

Парень вскоре возвращается и кладет перед учителем две аккуратных палочки — обе начисто ободраны, гладко выскоблены, и на каждой с одного конца веревочка привязана.

— Добро! — говорит учитель и показывает нам палочки: — Вот смотрите, это бирки! Если кому-либо понадобится справить нужду, тот должен испросить позволения: «Учитель, разрешите выйти!» Я дам ему бирку и разрешу отлучиться.

В комнате установилась глубокая тишина.

— Ну, продолжайте занятия! — приказывает учитель, положив перед собой бирки.

После этого отлучки учеников несколько сократились. При нужде, мы просили у учителя позволения и, получив бирку, бегали по-одному. Но такой жесткий порядок продолжался всего шесть-семь дней. Потом, мы, ребята, сговорились и нашли способ избавиться от бирок. Кто-то из старших забросил их на крышу.

— Да, знаю. Озорников среди вас много, — говорит учитель и приказывает еще одному парню: — Иди, сделай еще две бирки!

Проходит два дня, новые бирки тоже исчезают. Учитель нервничает, кричит с досадой:

— Опять затеряли бирки? Что ж, ладно... Это потому, что среди вас есть дурные мальчишки. Знаю сам. — Он хмурится, с минуту сидит молча, затем уже спокойно говорит: — Дети, идет зима, волоча за собой свой меч. Погода портится, пойдет снег. Несите по одному целковому на уголь.

Ребята начинают тревожно перешептываться. Учитель, как можно мягче, продолжает:

— Да... И еще, светы мои, несите деньги на циновки. Эти в труху растрепались уже, стыдно! На циновки по три теньги. Скажите. вашим родителям, и поторопитесь со сбором. Срок — неделя...

Учитель запахивает халат на коленях:

— Ну, а теперь за уроки!

Сироты и бедняки перешептываются: «Что будем делать?» Все мы расстроены.

Немного погодя учитель поднимается. Обращается к одному из чтецов корана, худощавому подслеповатому парню лет двадцати, в рубашке с «духовным» воротником, говорит:

— Ты присмотри за ребятами, у меня кое-какие дела есть. Я сейчас же вернусь.

Как только учитель уходит, в комнате поднимается шум, гвалт, начинается потасовка. Бедняга подслеповатый кары пищит тонким жалобным голоском:

— Перестаньте! А то, смотрите, вот камча! Занимай-

тесь! — Будущий чтец корана пытается подействовать на класс угрозой, потом начинает упрашивать слезно: — Ребята, как не стыдно?

А ребятам хоть бы что: перемигиваются, хохочут, передразнивают кары. Шум, буйство разгораются все сильнее. Начинается драка. Мы, малыши, ухватившись за руки, устраиваем качели, кувыркаемся, ходим колесом. А старшие переругиваются, дерутся. Одного уже избили до крови. Есть в школе здоровенные парни, мастера борьбы и кулачных расправ. Часть из нас выбегает во двор и затевает игры.

Неожиданно возвращается учитель. Мы разом летим в комнату. Рассаживаемся по местам и тотчас принимаемся за уроки. В комнате — пыль до потолка, циновки разбросаны, разорваны в клочья...

Учитель, сдерживая гнев, молча опускается на свою подстилку. Подслеповатый кары дрожит от страха, жалобно мяучит:

— Господин! Я и кричал на них, и бранился... Никак не мог сладить... Слепой я, что поделаю, никто меня не слушается...

Учитель был очень расстроен.

— Открой окошко! — приказал он одному из учеников. — Бой-бой-бой, пыль какая!.. — Он долго кашляет, потом кричит, краснея от гнева: — Занимайтесь своими уроками, окаянные? — Хватает в руку плат, но почему-то никого не бьет.

\* \* \*

Учитель достает из нагрудного кармана часы. Мельком взглянув на них, говорит:

— Урок кончился, дети! Ты, ты, ты... — Тыча указательным пальцем, он отбирает десяток учеников. — Приоденьтесь почище и возвращайтесь. Пойдем читать молитву над больным. — И чуть приметно улыбается: — Предвидится хорошее угощение.

После довольно короткого на этот раз чтения корана он отпускает всех по домам.

Вернувшись домой, я тут же пристаю к матери:

— Учитель велел принести деньги на уголь, на циновки, сейчас же приготовьте!

— Вай, смерть моя, ты с ума сошел! Ни с того, ни с сего вдруг подавай ему деньги. — Мать, занятая шитьем тюбетсек на террасе, сердится, бранится. — В своем ли ты

уме?! На циновки деньги, на уголь деньги, а там еще на плеть деньги... Куда он будет девать деньги, ваш учитель, сгинуть ему?!

— Вы должны найти! Иначе учитель завтра в школу меня не пустит.

— Что ты там говоришь? — кричит из комнаты бабушка, занятая латаньем одеяла. — Учитель твой, сгинуть ему, скупой, жадный, то и дело — денег, то и дело — денег ему. Я что, сама делаю деньги? Сам, сгинуть ему, богач, коня имеет, барашков имеет, и все ему мало. Пусть твой учитель берет деньги на уголь у людей денежных, обеспеченных! Отец твой, бедняга, лишь изредка еле-еле соберет и пришлет три-четыре рубля...

Я не желаю считаться ни с бабушкиными, ни с материнскими возражениями и уже сердито кричу матери:

— Завтра с утра деньги должны быть, иначе я не пойду в школу!

Подошедший к этому времени Иса, видимо, услышал шум, поднятый мною, говорит, вешая сумку на колышек:

— Чего ты расшумелся? Учитель ведь дал неделю срока, а за это время что-нибудь придумаем.

— А он тут извел нас, требует обе ноги затискать в один сапог.

— Положение наше трудное, руки короткие у нас... — вздохнув, невесело говорит мать. — Потерпи дней пять-десять, а там посмотрим, может, от отца деньги придут.

В это время где-то неподалеку от нас поднимается скандал. Я бегу на улицу. Две старухи по прозвищу Сара Длинная и Сара Короткая насакивали друг на друга, как петухи в разгар боя. Дворы их были через улицу, калитка в калитку. Сейчас они стояли каждая у порога своей калитки и пощипывали друг друга словами.

Старухи были сношенницами, но не дружили и не терпели друг друга. И мужья их жили так же, не как родные братья.

Сражение было в самом разгаре. Меня забавляла их схватка.

— Эти старые цыганки заскучали, видно, опять затеяли войну, — подмигнув, сказал проходивший мимо парень.

Понемногу из дворов выходят любопытствующие женщины, ребяташки.

Сара Длинная — высокая, кричит грубым голосом. Сара Короткая — небольшого роста, невзрачная на вид, беззубая, но ядовитая старуха с морщинистым, похожим на ключ, лицом.

— Хо! — подбоченившись, кричала Сара Короткая. — Знаю ваши, сдохнуть вам, все проделки. Слыхала, как вы ходили на свадьбу, у таких-то были, лстили там, подлизывались. Три дня пропадали без вести! А еще важничаете! Нет чтобы дома сидеть да богу молиться, бесстыжая! Прядку крути, вату чеши — мало ли дома дела? А вы то к ишану, то на свадьбу, то на поминки! Ведьма крикливая, пошли аллах смерти вам!..

— Глупая, каверзная старуха! — подкусывает соперницу Сара Длинная. — О, наставники святые! Смотри, как разоралась, провалиться ей сквозь землю! Да, сдохнуть тебе, я, и правда, была у почтенной ишан-аим, помогала им по дому. Со всех четырех частей Ташкента собрались там жены больших достойных людей, и простые, бедные-неимущие женщины — тоже. Радение было там, слышишь ты, богоотступница, сгинуть тебе! А на обратном пути на одну только минутку поздравить забежала к подруге. — Обращаясь к собравшимся женщинам, она поясняет: — И свадьба-то была там так себе, скучная. А потом вдруг дождь полил, как из ведра, я и сбежала... — И опять поворачивается к сношенице. — И от кого только ты могла слышать, смутьянка, коротышка несчастная?! Боже, пусть сгинут все ябедницы! Да и какое, собственно, тебе дело? Ну, ходила я, веселилась. Если под силу тебе, посади меня на цепь! Вот тебе и весь сказ, хочешь слушать, слушай, а не терпишь, кусай себя за нос от злости!..

— Хмм... — притопнув ногой от досады, хмыкает Сара Короткая. — Блюда-чашки, говоришь, облизывала у ишанши. А почему бы тебе не посидеть дома? Тюбетейки хотя бы шила. Каждый божий день шляешься, шныряешь повсюду! Тебе ли заниматься радениями, неряха, прислуга грязная, сдохнуть тебе!

Сара Длинная орет на весь квартал:

— Самой тебе сдохнуть, вонючка старая!

Женщины, наблюдавшие эту сцену, начинают уговаривать спорящих.

— Как вам не стыдно! Перестаньте, довольно. Хоть слово перемолчите, в соседнем квартале, в Ак-мечети, вас слышно. Перестаньте! — говорит одна из женщин, обращаясь к Саре Длинной.

Но тут очередь перехватывает Сара Короткая, она опять начинает вопить на всю улицу.

— Будет, мама! Опозорили до смерти! — Невестка пытается втащить Сару Короткую во двор.

Но где там сладить невестке! Обе Сары не меньше

часа перебраниваются. Так как подобные схватки повторялись изо дня в день, мужья обеих сношенниц не обращают на них внимания. А один из стариков квартала, проходя мимо, смеется:

— Старух опять блоха за язык укусила!

Бабушка тихонько шепчет матери:

— Недаром гсвоят: две жены-соперницы и на том свете могут войти в одну дверь рая, а две сношенницы — никогда не смогут войти. Понимаешь, Шаходат?

Сара Короткая и Сара Длинная в конце концов смолкают, наругавшись до усталости.

\* \* \*

Изо дня в день я хожу в школу. Изо дня в день зубрю азбуку. Однажды учитель вызывает меня, усаживает перед собой.

— Ну-ка читай! Затвердил свой урок?

— Знаю, как свои пять пальцев, господин!

Я бойко прочитываю азбуку, почти не взглядывая на дощечку. Я так заучил ее, что разбуди меня, я со сна могу пересказать ее без запинки.

— Похвально, сын мой! Превосходно! — говорит учитель и чуть приметно улыбается. — Так, так, с азбукой, значит, покончено. Тогда завтра вместе с «Хафтияком» носи сдобных коржей и целковый деньгами, паренек. Понял?

— Хорошо, господин!

Выйдя из школы, я во всю прыть бегу домой. Нигде не задерживаясь, влетаю во двор, рассказываю матери о своей радости.

— А, хорошо, хорошо, — говорит мать, и радуясь, и вздыхая. — Все расходы, расходы... От отца твоего ни вестей нет, ни денег. А на то, что я добываю на тесьме, не знаешь: кормиться или учителю на подношения употребить...

И правда, до сих пор только Иса да Каромат клянчили сдобные лепешки или деньги, а теперь еще и я прибавился.

— Мама, милая! — спрашиваю я. — Вы обязательно сегодня же должны испечь сдобных коржей. И еще... и еще один рубль денег должны дать.

Не завтра, а через день я отношу учителю завернутые в скатерть коржи и три теньги серебром.

— Похвально! Садись, сын мой, садись. Сдобных коржей принес? О, превосходно! — говорит учитель, пряча деньги в карман.

В это самое время другой ученик входит с узлом завернутых в скатерть сдобных лепешок, с блюдом горячего плова, тибетейкой в подарок учителю и с книжкой «Суфи Аллаяр». Он был любимым сыном и баловнем богача.

Учитель был вне себя от радости. Он велел было одному из учеников отнести корзи, лепешки и плов к себе, но тут появился какой-то его близкий приятель.

— Заходите, заходите! Пожалуйте! — говорит учитель своему другу. — Вас, наверное, теща очень любит, — прошу ко мне плова откусать!

Гость улыбается, благодарит. Оба они поднимаются на балахану.

Повторяется обычная история: учитель скрылся с глаз, и в классе тотчас начинается беспорядок, буйство.

— А ну, выходи ты, ты! Посмотрим, кто сильнее! — приказывает один из наших признанных силачей.

Два статных паренька с только что обозначившимися усиками схватываются и, как петухи, начинают отчаянно трепать друг друга. Борьба разгорается не на шутку. О ужас! Трещит поломанная скамья, табуретка, в кровь расквашены губы, носы!..

На середину выходят все новые и новые смельчаки. Борьба становится все более захватывающей.

Вдруг один толстяк из старших ломающимся басом выкрикивает:

— Стой, стой! Бросайте! Учитель!

Тяжело отдуваясь и шмыгая носами, борцы рассаживаются по местам — у одного лоб разбит, у другого нос в крови.

В классе опять пыль столбом, все возбуждены и встревожены.

— Да у тебя же лицо в крови, злосчастный! — обращается учитель к одному из учеников. Потом вдруг видит сломанную скамью и у него глаза лезут на лоб. — И скамья сломана? Чье это дело? А ну, выходи на середину?

Багровый от гнева, учитель хватает плеть, идет по рядам учеников и, не разбирая, по чем попало хлещет ребят плетью. От боли одни всхлипывают тихонько, другие, стараясь не подать вида, сидят бледные, третьи в страхе закрывают лицо и глаза руками...

Плеть вдруг с треском обрывается.

— Вот, и плеть истрепалась уже! — отшвырнув рукоятку, говорит учитель и тут же сердито выкрикивает: — Завтра же все несите по одной теньге. Новую купим!



— Слушаем, господин! — отвечают ребята, потирая пылающие от боли плечи, лица.

Учитель садится на свое место. Отдышавшись, приказывает:

— Давайте, продолжайте!

И снова начинается галдеж зубрежки.

\* \* \*

Школа кажется адом. Все заучиваемое — пустые слова, только и знаешь твердишь: «Вазава-вазава!» Каждый час, каждую минуту мы с нетерпением ждем слов «Вы свободны!» Выйдя из школы, мы с облегчением вздыхаем и бежим по домам. А перекусив наспех, собираемся на улице.

Зимой даже собачьи бои устраивать завели привычку. Только когда одна из собак убежит с окровавленной мордой, мы затихали на время. Озорные были...

На ногах — у кого старые калоши, у кого рваные кауши, а кто и вовсе босиком. Боремся, валим друг друга, в азарте катаемся по земле. Сходимся на кулачки, деремся до шишек на головах, до крови из расквашенных носов...

Однажды, в поисках сбежавшей собаки, мы заглянули в тесную ветхую клетушку на дворе мечети. В этом помещении обычно хранились носилки, на которых относят мертвых на кладбище. Здесь, спрятавшись от холода, лежал на носилках Усман-пери — тощий, как тень, человек, молчаливый, как джины из сказок. Испугавшись, мы все разом бросились наутек.

— Ой, что это, джин? — спрашивает один из мальчишек.

— Хо, да это же Усман-пери. Отец говорил, что этот бедняга сошел с ума от любви к одной девушке, — говорит Агзам.

— Любовь, она — такая! — говорит болтливый всезнайка Тургун.

— Правда, Усман-пери помешанный, от любви с ума сошел. А теперь постоянно зиму и лето лежит в носилках для мертвых. Дядю Расуля знаете? Так он доводится Усману родным братом. Понимаете? — говорит Ахмад.

Пока мы выслушиваем разные истории об Усман-пери, неожиданно появляется сам Усман. Босой, на голом теле старый, грязный, превратившийся в лохмотья чапан. Ни штанов на нем, ни рубахи. На голове грязная засаленная тюбетейка, на которой уже не различить ни рисунка вышивки, ни цвета.

Мы опять бросаемся врассыпную.

От истощения ли, от холода ли, Усман-пери еле передвигал ноги. Пошатываясь от слабости и растерянно оглядываясь по сторонам, он добрался до калитки моего дяди и прислонился к дувалу. Дрожащей рукой дотянулся до кольца, постучал. Проговорил глухим, еле слышным голосом:

— Не открывайте, подайте хлеба!

А на улице дул резкий, пронизывающий ветер...

\* \* \*

Наступает весна. Начинается пора цветов. В цветах деревья. Под тюбетейками на висках у ребят — тюльпаны. В корзинах вороха фиалок. Всюду цветы!.. Радость весенней поры особенная, ни с чем не сравнимая...

Неожиданно небо заволакивают тучи и проливают ведрами воду. Здорово хлещет!.. А через минуту уже улыбается ласковое солнце. Все кругом блестит, сияет. Вишни, черешни, яблони, персики — все в пышном цветении...

По утрам по улице спешат на базар в поисках работы чернорабочие-поденщики. Они босые, на плечах — огромные кетмени поблескивают свеженаваренными лезвиями.

Весна всюду! Радость весны переполняет души. Когда идешь в школу, ноги еле-еле двигаются, словно к каждой привязано по камню. Зато из школы летим легко, как птицы.

Учение начинается ранним утром. В полдень учитель отпускает нас, малышей. Старшие после полудня возвращаются и упражняются в письме.

Каждый четверг ученики приносят учителю коржи, лепешки, а кто побогаче, деньги — таков обычай.

Я все еще зубрю «Хафтияк». И до чего же скучная это штука — «Хафтияк»! Только и знаешь твердишь: «Вазава-вазава...»

С особенным нетерпением мы ждем окончания занятий в четверг. Глаза как-то сами по себе тянутся к небу, к солнцу.

\* \* \*

Вот в воздухе прогремели раскаты грома. Небо, то самое, чистое, сверкающее, внезапно заволакивает темная туча. Мать не успевает даже снять развешанное на аркане белье, выстиранное до белизны хлопком. Дождь льет как из ведра.

Бабушка сидит на террасе, благоговейно перебирая четки.

— Хвала аллаху! — с просветленным лицом говорит она, не отрывая глаз от неба. — Было сухо и вот ливень пролил. Ячмень, пшеница теперь, считай, уродились, — поясняет она мне.

Я сижу на краю террасы, забавляюсь, подставляя то одну, то другую ногу под шумную струю воды, падающую с водосточного желоба. Рассуждаю про себя, глядя на вспыхивающие с треском молнии. «Не в тучах ли сейчас аллах? Какой он из себя?»

А тучи были темные-темные — вот-вот поволокуются по земле. Часа четыре подряд хлещет ливень. Вода шумно низвергалась с водосточных желобов, выходила из берегов арыков. То там, то здесь огненными мечами вспыхивали молнии...

Наконец ливень стихает. Тучи медленно уплывают к горам. Временами вдалеке еще раздаются раскаты грома, сверкают молнии.

Чудесная пора!

\* \* \*

— Мама, послезавтра мы идем за город с учителем. Навруз! — говорю я, чувствуя радостное биение сердца. — Учитель наказывал приодеться получше.

— Да? Правда? — улыбается мать. — Ну что ж, вымоешься хорошенько и наденешь то, что есть.

Помявшись минуту, я продолжаю, потупясь:

— Мама, учитель велел принести два рубля...

Я несмело поднимаю голову... Радость на лице матери вдруг исчезла: улыбка показалась мне вымученной.

— Учитель твой, чтоб ему, чудной он какой-то... Ладно уж, денег дам, только рубль тебе, а рубль Исабаю. Что поделаю, и два дала бы, да... нужда...

— О чем там речь опять? — спрашивает бабушка.

Мать объясняет. Старуха выходит из себя, проклинает учителя:

— Чтоб он окошел, твой учитель! Каверзник и хитрец, сгинуть ему, выдумывает всякое...

— А я у вас и не прошу, денег мне мама даст! — грубо огрызаюсь я. — Весна, Новый год, погуляем там. Дома могут сидеть такие старухи, как вы!..

— Замолчи! Не смей так! Разве можно грубить старшим? Нехорошо! — сердится на меня мать. Потом обра-

щается к бабушке, говорит мягко, с покорностью: — Праздник ведь. Все ребята поедут, разве он один останется!..<sup>16</sup>

Пятница. Одни более нарядные, другие менее, трегьн в обычном, будничном, старом, латаном, но чисто выстиранном, — все мы, приодетые, каждый по своим возможностям, во главе с учителем отправляемся в путь. Пиалы, чайники и все взятое с базара — мясо, сало, рис, лепешки, изюм — везет на арбе один древний старик, приятель учителя.

По пути мы минуем несколько перекрестков с мелочными лавками и чайханами. Чайханы по случаю пятницы переполнены. В лавках — пряники, сушки, парварда... Глаза разбегаются. Кто побогаче, тем — лафа, останавливаются, где захотят, жуют пряники...

Выходим за город и, пешком, усталые, в конце концов добираемся до местечка Камолон. Здесь всюду зелень. Много великанов-деревьев. Вокруг красивой древней мечети — мавзолеи святых.

Учитель наш, чтоб ему, и тут вздумал читать коран. Наши кары читают нараспев, покачиваясь и закрыв глаза. Чтение корана в мечети продолжается довольно долго. Так долго, что в животе уже начинает посасывать от голода.

Когда чтение кончается, учитель говорит нам мягко:

— Ребята! Идите, погуляйте, пока самовар вскипит. Поле просторное, воды много. Резвитесь в свое удовольствие, дети мои.

Мы все шумной толпой выходим из мечети. Одни тотчас затевают игру в чижики, в мяч, другие отправляются на прогулку. А мы, кучка малышей, обходим темные, наводящие страх пещеры отшельников.

В первой пещере в глубоком молчании сидел какой-то человек: длинная беспорядочно разросшаяся борода, горящие огнем глаза, с виду похож на дервиша. Во второй пещере — какой-то полуголый старик в одних грязных штанах. У этого такая же длинная борода, но глаза закрыты, а рядом — грязная глиняная чашка. Сидел он молча, не издавая ни звука, погруженный в созерцание, словно забыл о существовании мира. Мы стоим притихшие, затаив дыхание. Но старик, видно, все-таки услышал нас, он хмуρο глянул, и черты лица его вдруг исказились гневом. Мы бросились наутек.

Идем по полю. Воздух чистый, прозрачный. Урюковые ветки усыпаны еще не зрелыми, но уже приятнокислыми

860  
плодами, черешня еще совсем зеленая. Бродим мы долго, но в конце концов, проголодавшись, торопимся к учителю, Самовар уже бурно кипит. Учитель и старик-арбакеш расаживают нас и раздают всем по одной лепешке и по горсти червивого сорного изюма.

После чая учитель подзывает группу старших учеников и подает им знак. Ребята вдруг хором, чистыми звонкими голосами начинают читать на память стихи Навои, Хафиза. Прочитав одну за другой несколько газелей, они переходят к Физули:

Чтобы сразить соловья, роза бутон свой в стрелу превратила,  
Венчик цветка соловей себе сделал щитом.

Но чтобы дело закончилось сладостным миром,

Он обручился с бутоном, в листе затаившись потом.

И чтоб стрела лепестками зарделася розы,

Он песнею стал, разливая то радость, то слезы.

Газель звучит захватывающе. Особенно приятны и мелодичны голоса трех-четырёх мальчиков. Все мы слушаем, притихли. Я был растроган до умиления. Я очень любил стихи Физули. Сам знал несколько прекрасных стихов о розе и возлюбленном. Сестренка научила. Вместе с другими малышами я тоже понемногу начинаю подпевать старшим. Музыки у нас нет, ни бубна, ни дутара, ни танбура нет, но зато есть стихи, есть мелодия! Одними лишь чистыми молодыми голосами, напевом, мы даем стихам дыхание жизни, музыку, трогающую сердце! Учитель наш не признавал музыкальных инструментов. Наставлял нас: «Грех! Все это великий грех. Никогда, никогда не берите в руки инструментов!»

— Хватит, довольно! Молодцы! — говорит учитель и с насмешливой улыбкой обращается к старику: — Время уже, старина! Вы, я вижу, совсем растаяли. Разжигайте очаг для плова!

Старик сидит с закрытыми глазами, низко опустив голову.

— Бой-бой-бой. Какой замечательный поэт Физули! — говорит он, растирая колени.

Мы снова идем в поле. Разбившись на кучки, долго бродим. Весна. Много всяких цветов. Я набираю их целую охапку.

Когда мы, усталые, возвращаемся к мечети, плов уже готов. Хоть мяса, сала маловато в нем, но все же это плов. Мы с аппетитом поедаем разложенные по блюдам порции. Но не наедаемся. Очень уж проголодались.

Солнце уже клонилось к закату, а учитель снова вздумал читать коран.

— Опять! — шепчутся ребята.

После молитвы мы все дружно поднимаемся и отправляемся в обратный путь.

\* \* \*

Июнь. Жара. Огнем пышет воздух.

Много скороспелых дынь, огурцов. Время массового созревания ранней сливы, черешни, вишни. Но где взять денег?.. Хорошо, что во дворе у нас есть единственное урюковое дерево. Оно огромное, в его тени укрывается почти весь двор. Ветви урюка унизаны плодами. Сестренка Каромат, Иса и я лакомимся ими, чуть только они начинают поблескивать от прилива соков. Есть у нас еще одна яблоня, но яблоки на ней прямо-таки ядовитой кислоты.

Сегодня бабушка с утра собирается из дому. Решила сходить к моей тетке. Я тоже надумал идти вместе с нею, поэтому в школу не спешу. Большинство ребят перекочевали в загородные усадьбы, учеников в школе осталось мало.

— Тебе в школу пора! — напоминает мать.

Но за меня неожиданно заступается бабушка.

— Пусть ходит со мной, Шаходат-бану, развлечется немного бедный мальчик, — говорит она, накидывая паранджу. — Все — кто в горах, кто в загородных садах, а он извелся тут, бедняжка...

«Сегодня бабушка очень добрая!» — отмечаю я про себя и бегу впереди, радуюсь неожиданной прогулке.

Бабушка поминутно задерживается, с каждой встречной женщиной здоровается, расспрашивает до мелочей: «Откуда вы? С базара? Какая цена на тубетейки? Хорошо ли продали?» Если попадется на пути дом получше, она обязательно остановится. Полюбовавшись, скажет, обращаясь ко мне: «А довольно-таки красивый и добротный!»

Немного времени спустя мы выходим к большому каналу. Идем живописным берегом. У воды — мельницы, крупорушки. По каналу плавают стаи уток. Я останавливаюсь, опускаюсь на корточки у самой воды, пугаю их. Птицы, хлопая по воде крыльями, убегают на середину канала. Утки красивые. Особенно нравятся мне селезни. Разыграется, нырнет и окатит себя водой до самого хвоста с яркими завитками, блестящими на солнце. Я видел, такие перышки носят молодые женщины, заложив за ухо...

— Вай, ну и проказник же ты! Осторожнее, свалишься поскользнувшись! — испуганно кричит бабушка.

Мы идем вдоль берега, то и дело останавливаемся: бабушке, как и мне, любопытно понаблюдать, как работают мельницы и крупорушки. Когда доходим до мостка, перекинутого через канал, я пропускаю бабушку вперед, а сам с разбега одним махом добираюсь до половинны бревна и останавливаюсь как раз на середине канала, на пути плывущих по течению уток. Сажусь верхом на бревно, пускаю в дело руки, ноги, кричу: «Кыш-кыш-кыш!» Бабушка бледнеет, сердится:

— Он же чуть держится, шаткий, как волосяной мост через ад. Как ты не боишься, сорванец? Сейчас же переходи сюда! Второй раз ни за что не возьму тебя в гости...

Мосток, и правда, шаткий, ненадежный. Одно гнилое бревно! Люди по необходимости пользуются им иногда. А ребята из озорства перебегают по нему ради забавы. Я прислушиваюсь к хлюпанью воды под бревном, и в сердце мое забирается страх. Тихонько перехожу на другой берег к бабушке.

— Глупый! Никак, ну, никак не наберешься ума. Пусть только отец приедет, обязательно нажалуюсь ему! — журит меня бабушка, качая головой. — Вот увидит хозяин уток и отхлещет тебя лозинной.

— Да я хотел хоть одно перышко с завигком вырвать для сестренки Каромат...

— Хм... — с досадой хмыкает бабушка и спешит дальше. — Идем быстрее, время позднее уже! — хмурится она.

У каждой мельницы стоят табуны ишаков. Люди привозят на них пшеницу, пшено и увозят муку, толокно. По пути я осторожно заглядываю в одну-две мельницы. Внутри шум, стук, грохот. Люди с головы до ног запорошены мукой. Они громко перекликаются, потому что из-за шума плохо слышат друг друга.

Зять наш оказался у своей крупорушки — борода отросла, свисает клочьями, одежда пыльная, грязная. Меня он встречает обычно:

— А, племянник! Заходи, заходи. — А поздоровавшись с бабушкой, как всегда, тут же начинает свои жалобы: — Плохо у меня с головой. Мозги болят день и ночь.

— У вас всегда так! — досадливо отвечает бабушка. — Велите поворожить, пошептать, покажитесь лекарю! — говорит она и, не дожидаясь ответа, проходит во двор.

Бабушку тотчас окружает куча мелюзги. Все грязные, оборванные. Тетка, поминутно кашляя, торопливо подкла-

дывает пучки камыша под большой котел, в котором поджаривалось пшено. Печальная и усталая, она здороваается с бабушкой и снова возвращается к котлу.

— К тебе когда ни приходи, все ты у котла. Все — пшено, пшено. До смерти доведешь себя с этим пшеном! — с горечью и сочувствием говорит бабушка.

Я тоже подхожу к котлу. Пшено потрескивает, как раскаленные угли. В горсть взять нельзя — горячее. Я принимаюсь совать под котел пучки камыша.

Тетка с бабушкой присаживаются на корточки неподалеку. У них начинается обычный, с жалобами, с горестями, разговор.

В калитку неожиданно вошел зять. Взглянув на котел, над которым уже поднимается легкий дымок, он выкрикнул хриплым от злости голосом, сердито вытаращив глаза на тетку:

— Пшено-то сгорело! — подбежал к очагу и большой шумовкой принялся торопливо выбирать пшено.

Мне уже наскучило сидеть у котла. Я тихонько вышел со двора и побежал в крупорушку.

Крупорушка зятя была двухпоставной. Один постав был застопорен, а второй с глухим стуком, сотрясая землю, рушил просо. Я ненадолго остановился у порога, прислушался к грозному шуму воды. Осмотрелся кругом. В одном углу стоят лампа со сломанным закопченным стеклом, чайник с отбитым носиком, немытая, вся в скобках, пнала. На полу облезлая наполовину овчинная подстилка, грязный, засаленный чапан — вот и все.

Я тихонько обошел работающий постав. Затем приблизился к застопоренному. Вытащил какой-то клин, совсем лишний, как мне показалось. Постав вдруг заработал, застучал. От испуга я растерялся, не знаю, как остановить. Потом со всех ног бросился во двор. Крикнул, запыхавшись:

— Дядя! Крупорушка пошла! Скорее!

Бабушка с теткой переглянулись растерянно, а зять бросился к калитке.

— Э, дурень! Цеплялся, наверное. Жить, что ли, надоело тебе?

Не отвечая, я бежал следом за ним. Зять без всяких усилий легко остановил порожний постав. Грубо крикнул на меня:

— Убирайся отсюда! — Потом мягче объяснил: — Это сложная штука, малыш. Чтобы около нее ходить, умение нужно, надо знать ее язык.



Вокруг крупорушки, как и вокруг мельниц, множество воробьев, горлинок. Я начал гоняться за птицами. И тут неожиданно на берегу появилась кучка ребятишек. Наскоро раздевшись, они как попало швыряют одежду и один за другим ныряют в воду. С наслаждением плавают, широко взмахивая руками. Потом вылезают на ветки огромных талов и карагачей, растущих по берегу, бросаются в воду вниз головой. Надолго исчезают под водой и внезапно всплывают далеко-далеко. Я завидую им. «Может, и мне искупаться?» — думаю про себя. Но не решаюсь потому, что не умею плавать, а сознаться в этом стесняюсь ребят. Довольствуюсь тем, что бултыхаю в воде ногами, опустившись на траву. Прохаживаюсь вдоль берега. Ветви талов клонятся низко-низко, вот-вот достанут до воды. Всюду свежая зелень травы. Я ложусь, вглядываюсь в небо. Хорошо!..

Вдруг слышу голос дяди:

— Эй, смотри, на беду еще свалишься в желоб! Хватит уже, иди в дом! — говорит он и опять скрывается в крупорушке.

Тетка ставит помятый, закопченный самовар, расстилает скатерть, на старом подносе приносит куски черствых лепешек. Во дворе у них стоит старое тутовое дерево, толстое, с раскинувшимися корявыми ветвями.

— В этом году наш тут родил прямо-таки сверх всякой меры. Ждали вас, ждали, вы не приходите... Патоки наварили немного. Пойду взгляну, может, осталось. — Бедняга тетка бежит в дом и приносит полпиалы патоки.

— Очень вкусная патока! — говорю я, макая кусок лепешки.

Низенькая темная мазанка, готовая развалиться терраса. Рядом маленькая тесная каморка для угля. Попив чаю с патокой, я, когда убрали скатерть, влезая на крышу. Вокруг много таких же мазанок, они вплотную примыкают друг к другу. Я бегаю по крышам. Некоторое время спустя, вижу толпу народа, впереди несут похоронные носилки. От других ребят, игравших тут же на крышах, узнаю, что хоронят столетнюю старуху. В толпе много стариков, молодых парней, подростков. Одних ребятишек не менее четырех-пяти десятков — все в халатах, подпоясанные платками, идут следом, плачут, причитают: «Бабушка!»

Перескакивая с крыши на крышу, я возвращаюсь на теткиную мазанку, наклонившись над стрехой, кричу:

— Бабушка, бабушка! Столетняя старуха умерла! Вон, несут... Народу много-много!..

— А? Что он говорит? Кто там умер? — спрашивает бабушка.

Тетка, копошившаяся у очага на дворе, поднимает голову:

— Бедная. Очень почтенная старуха, сто третий год пошел ей. Иногда она приходила ко мне посидеть, побеседовать. Еще крепкая была, бодрая. Внуков, правнуков у нее — уйма!

— Вай, бедняга! Да снизойдет на нее милость господня! Дай бог нам всем дожить до ее лет! — говорит бабушка, проводя руками по лицу.

За день, рыская по крышам, я здорово набегался. Вечером, поев машевой каши с рисом, мы с бабушкой отправляемся домой.

\* \* \*

С ободком для тканья и тесьмой в руках в калитку к нам входит наша соседка тетя Рохат. Она поднимается на террасу, подсаживается к матери и принимается за работу.

— Подружка, извелась я одна. Пришла, думаю, поработаем вместе, побеседуем по душам.

Мать рада приходу гостьи.

— Вай, очень хорошо надумали! — говорит она, продолжая делать стежки шелком. — Я и сама тут скучаю. Никого нет, свекрови тоже, видно, наскучило, не знаю, ушла куда-то. К старой Урин, наверное.

Тетя Рохат проворно и ловко ткет шилом тесьму, в этом деле она большая мастерица. Как всегда, она начинает с жалоб на мужа. Муж — ее забава и горе. Орудую шилом, она рассказывает и то плачет, то смеется.

— Потерпи, — увещевает ее мать, продолжая вышивку на тесьме. — Подрастут у вас дети и тогда, возможно, и вам улыбнется счастье, и вы увидите свет. Будет на то божья воля, счастье в одно мгновение ока может явиться. Вот и вы избавитесь от бедности, от горя-печали... Все дело в счастливой доле!

— Э, оставьте! Какое там счастье! Мы всю жизнь нищие. От дедов-прадедов нищие мы, — вздыхает тетя Рохат.

Так в душевном разговоре две соседки, две подруги, проводят время — одна ткет тесьму, другая украшает тесьму вышивкой. То о прошлом вспомнят они, то заговорят

о том, что случилось у родни-соседей, у жителей квартала. Беседа их течет, не прерываясь.

С улицы входит сестренка Каромат. Она уже вытянулась, считается взрослой девушкой.

Тут же вслед входит и еще одна соседка — старуха. Словоохотливая такая старуха, много знающая и поговорить мастерица.

— Шаходат-ой, истомилась я одна, забежала вот к вам на минутку. Дни-то все жарче становятся.

Старуха улыбается:

— О чем речь у вас? Вы так дружно сидите! Каром-ой, почитай чуточку из Машраба, удачи тебе в жизни, пусть бог пошлет тебе хорошего жениха!

Каромат краснеет, отворачивается.

— А ну вас! Я хочу заняться шитьем, — говорит она, доставая из ниши сумку с рукодельем.

Старуха продолжает приставать, упрасивать все настойчивее. К ней присоединяется тетя Рохат:

— Бе, чего ломаешься, грамотейка? Я читать не умею, а то стала бы приставать к тебе?

— И верно, почитай, Каром, — говорит мать и тихонько смеется. — У него непристойностей много, так ты их пропускай. Читай с выбором места мудрые, с глубоким смыслом.

Сестренка моя Каромат, стройная симпатичная девушка лет тринадцати, очень милотвидная. Газели она читала очень выразительно. Она нехотя встает, берет из ниши книгу, усаживается на прежнее место и с неожиданным увлечением начинает читать:

Ради тебя Машраб отказался от мира,

И на чужбине скиталась его одинокая лира.

Эй, кравчий, подай мне тяжелую чашу вина —

Пить одиночество буду до самого дна.

— Хай-хай-хай, удачи тебе в жизни, девушка-грамотейка! Растаяла я совсем. Газели Машраба так трогают душу... Удивительный был человек Машраб, истинный подвижник! — прослезившись, говорит старуха.

Читая прозаические вставки, Каромат порой, замявшись, чуть приметно улыбается, опустив непристойное выражение, читает дальше.

— Что это такое? Читай подряд, чертенюк, мы тоже хотим послушать, — говорит тетя Рохат.

Сестренка краснеет.

— Нет, не стану я читать Машраба. Лучше Физули.\*

— Газели Машраба исполнены мудрости, — говорит старуха, качая головой. — Он — великий подвижник, влюбленный в бога. Ради аллаха он отрекся от удовольствий и наслаждений этого мира. — Она легонько похлопывает Каром по спине. — У тебя такой милый голосок, жертвой мне стать за тебя, читай же!

Сестренка читает:

Я тоскую по тебе, а ты — не замечаешь горя,

Я так страдаю по тебе, а ты — холодная, как море.

Готов по слову твоему пожертвовать собою.

О, свет очей моих, о, жизнь, изранен я любовью.

— Ох-ох-ох! За такого поэта в жертву себя отдать не жалко! — говорит тетя Рохат, вытирая слезы.

— У Физули, говорят, сердце испепелилось от любви. Его любовные газели трогают душу, с ума сводят человека! — говорит старуха, приподнимая веки.

— Физули будто бы сильно был влюблен в дочь своей учительницы, но не смог соединиться с ней, и вся его жизнь прошла в тоске разлуки. От этого-то в его газелях столько огня, печали и муки... Я так слышала, — говорит мать.

Я сижу на краю террасы, строгаю ножиком таловый прут и молча слушаю сестру. Любил я Физули.

— Мусабай! — неожиданно окликнула меня мать. — Сбегай на Шейхантаур. У меня шелк кончился.

— Хорошо, давайте деньги, — говорю я, вставая.

Мать дала мне образцы шелковых ниток, завязала в платочек рубль. Предупредила:

— Держи крепко, не потеряй, смотри. Слышишь?

На улице верхом на тонкой хворостинке скакал Агзам.

— Брось, тоже нашел игру! — говорю я. — Идем со мной на Шейхантаур.

— Да это я от скуки забавляюсь, — говорит Агзам, отбрасывая хворостинку. — Идем!

Улицей Ак-мечеть мы быстро шагаем на Шейхантаур. По пути задерживаемся ненадолго то у одной, то у другой кучки ребят, засмотревшись на игры, и бежим дальше.

Когда добежали до Шейхантаура, Агзам остановился у арыка и опустил на корточки на берегу.

— Посидим немного.

Подолами рубах мы вытираем пот с лица, жадно пьем, черпая воду пригоршнями. Вокруг медресе много вековых чинар, карагачей. В их прохладной тени кучки парней ведут

оживленную дискуссию, спорят о чем-то. Кругом немало наркоманов — курильщиков анаши, опия.

— Тихо!— вдруг говорит Агзам, притаившись за деревом.— Сейчас мы продедаем одну штуку.

— Какую штуку?

— Попробуем незаметно бросить ком земли в наркоманов. Ох и интересно! Вот посмотришь.

Притаившись за деревом, мы бросаем комки в группу наркоманов. Те вздрагивают, оглядываются, вытягивая тонкие, с волосок, шеи. А какой-то бледный до желтизны, чахоточного вида человек поднимается, пошатываясь, кричит:

— Эй, кто это!— Качаясь из стороны в сторону, он делает два-три шага.— Кто это нарушил мой покой?!

Я тихоно шепчу Агзаму:

— Идет, бежим!— и бросаюсь наутек.

Наркоман все же успевает схватить Агзана. Тот дрожит от страха, хнычет:

— Это не мы!..

— Выродок подлый!— Схватив Агзана за плечи, наркоман резко встряхивает его.— Комьями швырял, а теперь: верблюда видел — нет, кобылу видел — нет? Мерзавец, вот сворочу тебе скулу!

Я возвращаюсь, подхожу прямо к наркоману. Упрашиваю:

— Дяденька, отпустите его! Мы швыряли, правда, только не в вас, а в птиц целили... Вон, смотрите, сколько их на деревьях.

— Эй, отпусти, не обижай мальчишку!— кричит кто-то из сидящих в чайхане.

Народу в чайхане много. Наркоман оглядывается. Желтый весь до белков глаз, он еще раз встряхивает Агзана и скрывается в приземистой темной хибарке на берегу арыка. А мы убегаем.

По сторонам улочки тянутся ряды галантерейных и мануфактурных лавок. Лавчонки все маленькие, жмутся друг к другу впритык. Мы задерживаемся перед каждой лавкой. Глазеем на товары, справляемся о ценах на свирели, мячи, прислушиваемся к спорам между покупателями и лавочниками, наконец, останавливаемся перед малюсенькой лавчонкой.

Я здороваюсь с хозяином:

— Ассалам алейкум!— Протягиваю ему рубль и образцы шелковых ниток.

Галантерейщик — рыжеватый человек с длинной бородой, скромный и обходительный, улыбается:

— Ваалейкум ассалам!— Спрашивает:— Так, значит, цветной шелк понадобился, да? Хорошо, хорошо. Шелков у нас много, сынок.— Поглядывая на деньги, он начинает перебирать образцы.— Так, светло-зеленый — цвета капустного листа, желтый — цвета тыквы... вишневый, фисташковый, бледно-розовый...

А мы с Агзамом засмотрелись на птиц в клетках, стоим притихшие.

— Дядя! — говорю я взволнованно, показывая на одну клетку.— Это что за птица?

— Это, сынок, соловей. Слыхал о такой птице — соловей? Самая редкостная из птиц!

— Слыхал, мама говорила как-то, что они прилетают на заре, когда расцветают розы. И как поет слышал, а видеть не видел,— говорю я и упрашиваю старика:— Дядя, заставьте его спеть!

Старик тихо смеется:

— Сам же ты сказал, сынок, что соловей прилетает, когда расцветают розы. Он же влюбленный в розу...

— Дядя, а что он ест — соловей?

— Червей ест, сынок, понял?— улыбается старик и продолжает:— Держать соловья трудно, очень он привередливый. Но зато если запоет, за сердце хватает...

Агзам дотронулся рукой до второй клетки:

— Я видел такую птицу.

Это был скворец, черный, с желтым клювом.

— И я тоже видел!— подхватываю я.— И как поет слышал. Дядя, когда же поют ваши птицы?

— Поют, малыш, когда желание явится. Возьмет вдруг и запоет.

Старик протягивает мне сверток с мотками разноцветного шелка. Я бережно прячу его за пазуху и оглядываюсь на Агзама.

— Постой, не спеши, посидим немного. А вдруг запоет какая-нибудь.

— Что ты! Разве станут они петь на базаре при таком шуме? Идем!— шепчет Агзам.

Мы уходим. Вдруг слышим, запел скворец. Я останавливаюсь, как вкопанный:

— Вот, не говорил я! А какой голос, голос какой!

— Ну его, идем на большую улицу, на конку посмотрим,— говорит Агзам и тащит меня за руку.

Мы спускаемся вниз на большую улицу. Мимо проезжает конка.

ГВ.— Эх, опоздали!— горюет Агзам.— А то просхались бы, прицепившись сзади.

— Да, неудачно вышло!— соглашаюсь я.

И мы мелкой рысцой бежим домой.

## *Глава третья*

### В СТЕПИ

Раннее утро. Приятной свежестью веет ласковый ветерок. В воздухе стоит переливчатый звон птичьих голосов. Под сводами виноградников в придорожных садах, словно подвешенные напоказ, свисают тысячи тугих кистей. Ягоды скороспелого чилляки уже рдеют первым румянцем.

Мы с Агзамом едем на арбе. С чувством трепетного волнения и восторга мы любуемся нежным шелком голубеющего неба, непередаваемой красотой медленно проплывающих мимо садов, полных волшебной музыки, звонких трелей.

Вчера, когда я пришел из школы, мать развешивала на веревке только что выстиранные мои ситцевую рубаху и бязевые штаны. Она встретила меня улыбкой.

— Завтра едешь!— сказала она.

— Куда?— востепенулся я.

— В Янги-базар поедешь. Только что был один человек. Неожиданно появился. Вдруг, слышу, кто-то стучит в ворота. Выхожу, а это, оказывается, от отца. «Пусть, говорит, Мусабай будет наготове, завтра на рассвете заберу его с собой». И Агзам едет, тоже отец вызывает. Я уже сказала его матери.

Я не помнил себя от радости. Перед глазами у меня сразу возникли степь, горы. Казалось, я уже вижу казахские аулы, могучих верблюдов, быстрых коней.

И вот, чудесным ранним утром мы с Агзамом едем, несказанно радостные и довольные.

Арба тяжело нагружена. Мешки и ящики с сахаром, с чаем, с ламповыми стеклами, нитками, иглками и тому подобным товаром. Арбакеш наш — немногословный человек, тихий и ласковый. Прикрикнет на лошадь: «Чу!», хлестнет разок плетью и — скуки ради, наверное, — тихонько замурлычет про себя какую-то песню.

Подъехали к чайхане, которая прилепилась к берегу канала Зах, бушующего здесь в глубоком яру. Арбакеш натягивает повод, говорит, сходя с лошади:

— Слезайте, мальцы, слезайте!

Мы с Агзамом разом спрыгиваем с арбы.

— Это место называется Гышт-купрюк,— объясняет нам арбакеш.— Здесь мы ненадолго выпряжем коня — пусть отдохнет животное, поест клеверу.

Возле чайханы много арб, лошадей, ишаков. В чайхане полно народу. Шум, гомон. Кипят два огромных в грязных потеках самовара, нечищенных, наверное, с прошлой осени.

Чайханщик — тощий человек лет пятидесяти — и на минуту не присядет. «Самоварщик, клеверу!», «Самоварщик, быстро — чайник чаю!» — слышится со всех сторон. А он бедняга, бегаёт из одного конца чайханы в другой: «Сейчас, сейчас!» Перед нами он со стуком ставит ржавый, допотопного вида поднос с двумя черствыми лепешками, чайник с надставленным жестью носиком и две чиненных скобками пиалы.

Мы с Агзамом достаём из сумки мягкие лепешки, которыми снабдили нас на дорогу наши матери, и с наслаждением пьем чай, — для нас это ещё одно удовольствие.

— Ух, упарился! — говорит Агзам, обмахиваясь подолом рубахи.

— Припекает солнышко, — степенно, по-взрослому говорю я, взглянув на небо.

Усталый арбакеш, молчком выпив две пиалы чая с куском лепешки, закладывает за губу щепоть насвая.

Лошадь клевер съела, и мы запрягаем ее, отправляемся дальше.

Начинается степь. Изредка виднеются усадьбы русских поселений.

Солнце в самой середине неба. Душно.

— Ну как, жарко? — спрашивает арбакеш, заметив, что мы начинаем проявлять нетерпение. — Держитесь, мальцы! Эти места не зря называют пустынной степью. Видите, трава посохла, — и он широко разводит рукой.

— А мне нравится, я совсем не замечаю жары, — уверяю я арбакеша. — Смотри, смотри, Агзам, горы! Высокие, высокие!.. Люблю горы! Красивые они... — Я запинаясь от захлестнувших душу радости и восторга.

Порой в чистом, сияющем от солнца небе появится коршун. Прочертит один-два круга и исчезнет неизвестно где. Иногда почти над самыми нашими головами пронесется стайка каких-то птичек, и в воздухе чудесной музыкой прозвучит хор звонких мелодичных голосов.

А я говорю и говорю не умолкая. То обращаюсь к Агзаму, то к арбакешу. Наконец, спрашиваю:

— Когда же мы приедем в Янги-базар?



— Дорога дальняя, два дня ехать нам, сынок,— говорит арбакеш. Он снимает войлочный колпак, вытирает пот со лба. От усталости, что ли, он обмяк в седле, сидит, изогнувшись набок.— Дорога вся такая вот, тяжелая. Да и сам Янги-базар никчемное место. Дивлюсь я, зачем только ваши отцы вызывают вас? Чудно! Кругом степь, пустыня.

В разговор вступает Агзам:

— Напрасно вы так, дядя. Я же знаю, Янги-базар — хорошее, людное место. Я много раз бывал там, видел.

— Э, какое там! Ну степь и степь. Прошел базар, и все затихло, никого не осталось. А базар — в неделю раз. Впрочем, ладно, свет мой, подождем, пусть вот и Мусабай посмотрит.

Однако я в душе одобряю Янги-базар, особенно казахов. Говорю арбакешу:

— Нет-нет-нет! Янги-базар очень хорошее место, я не раз слышал. Там много гор, долин, кумыса сколько хочешь...

— Правильно!— подтверждает Агзам.— Райское место! Я три раза бывал в Янги-базаре, отец возил нас с матерью.

— Помню, помню!— подхватываю я.— Ты одно время долго жил в Янги-базаре.

Разговаривая в таком духе, приезжаем в Дарвишак. На этот раз мы с Агзамом прыгаем, не дожидаясь, когда остановится арба. Конь, бедняга, весь мокрый от пота. Я чувствую жалость к нему, поглаживаю морду, треплю шею. Арбакеш спешит выпрячь его из арбы.

Жара стоит нестерпимая. Воздух горит огнем. Кругом голая, выжженная солнцем степь. Только маленькая приземистая мазанка — чайхана, да одно-единственное сухое дерево торчит рядом — и все!

Нас встречает невзрачного вида чайханщик, тощий и вялый. Чайхана еще беднее, чем в Гышт-купрюке. Старая пыльная кошма, выщербленные, испещренные скобками пиалы, чайники.

— А ну, подавай нам чаю, здорово пить хочется!— говорит арбакеш, устало опускаясь на кошму.

Мы и правда истомились от жажды. Тотчас бежим с Агзамом к колодцу. Старым помятым ведром достаем воду, поочередно пьем большими жадными глотками. Очень много пьем, хотя вода здесь солоноватая.

Арбакеш сердится, кричит на чайханщика:

— Пить же хочется, подавай чаю, говорят тебе!

— Сейчас, сейчас. Пусть покипит чуточку, — говорит чайханщик, лениво передвигаясь по чайхане.

На маленьком облысевшем подносе он подает нам две лепешки.

Осанистый, могучего склада старик-казах с белой благообразной бородой, со скучающим видом сидевший в чайхане, неожиданно ударил по струнам домбры. Я встрепенулся, весь превратился в слух — домбру я слышал впервые.

Под аккомпанемент домбры старик, точно жалуясь на невзгоды жизни, неожиданно чистым и звонким голосом затянул песню, протяжную и печальную. Мы все трое молча слушаем игру и песню. Хорошо, с грустью пел старик!

К концу дня, как только спадает жара, мы трогаемся в путь. Вечером у степи есть своя особая прелесть. Приятный живительный ветерок веет. Незаметно одна за другой загораются звезды. Небо — точно огромный купол невиданной красоты!..

Арбакеш тоже повеселел. Не умолкая, напевает что-то тихонько. А где-то далеко-далеко мерцают огни казахских аулов.

— Казахи, они вот так поздно ужинают,— объясняет мне Агзам.

Арбакеш, покачивая головой в такт шагу лошади, поет:

Не розы, а карагачи видал я в жизни, веры!  
Открой же путнику, открой, возлюбленная, дверь.

Я двери настезь распахнул, а там сидит луна!  
Бровями острию пера подобная она.

• Коса до пола, тонок стан. Лозиночка моя.  
Я за других гроша не дам, любя одну тебя!

Подхлестнув плеткой коня, арбакеш прикрикнул: «Чу!»— и умолк.

— Спойте, дяденька! Спойте еще какую-нибудь песню,— прошу я.— Я очень люблю песни. Погромче спойте.

Арбакеш выпрямляется в седле. Переменив положение, некоторое время едет молча, потом смеется:

— В дальней дороге песня — хороший друг. Вот послушайте,— говорит он и запевает снова:

Я еду с гор, а за спиной колчан да стрелы, милая,  
А ты откуда, девушка, веселая, красивая?!

Твоих глазенок озсрство — моей души отрада.  
Коней отдал бы за тебя! Да нет их — вот досада!

— Ну как, проголодались, друзья?— внезапно прервав песню, спрашивает арбакеш.

— Проголодались, дядя, но мы потерпим,— разом отвечаем мы с Агзамом.

— Добро,— говорит арбакеш.— Примечаю я, станция близко уже. Хорошего, с острой приправой, плова надо бы отведать нам, да денег нет, племяши,— со смехом продолжает он.— Ладно, попытаемся взять в долг. Добрый, жертвой стать за него, арбакешский плов соорудим. Я мастер по части плова. А вот дома, у детишек, жидкий рисовый суп, ностная лапша, похлебка с машем и рисовой сечкой да надоедная, будь она неладна, болтушка из муки. Беднячки мы, конечно. И не худо бы каждый день лакомиться пловом, да откуда денег возьмешь...

Едем мы долго. Небо усыпали звезды. Арбакеш, чтоб подбодрить, обманывает нас: «Вот-вот, уже подъезжаем!», «Вот уже приехали!». Ночь прохладная. Мы поеживаемся от холода. Спать хочется, но на арбе мешки, ящики — где тут уснешь?

До остановки мы добираемся уже в полночь. Все кругом спит, только собаки лают, не умолкая.

В чайхане чуть мерцает огонек. Рядом с самоваром чайханщик сидит, клюет носом. Мы с Агзамом в полутьме опускаемся на солому. Задав корма коню, в чайхану входит арбакеш.

— Эй, друг, довольно спать!— кричит он.— Мы проголодались до смерти. Добывай мяса, сала, моркови, луку, я сам в минуту приготовлю плов. Не будем мучить вот этих цыплят, шевелись же, ну!

— Плов? Какой плов?!— все еще не открывая глаз, спросонья говорит чайханщик. Потом с трудом приподнимает веки.— Э, брат! Моркови нет, рису нет, есть немного мяса, да и оно чуть с душиком. Ложитесь, настанет утро—плов не убежит от вас.

Арбакеш хмурится, но ничего не отвечает. Устало опускается рядом с нами на солому. Мы так настроились было на плов... Сидим, притихли.

Чайханщик поднимается, минуту недоуменно, будто впервые видит, тарачит на нас глаза. Потом нехотя поворачивается, при тусклом свете чирака долго возится в темном углу. Наконец, приносит на грязном подносе полторы черствых лепешки с чайником перестоявшегося теплого чая и опять погружается в дрему.

Арбакеш берет лепешки, ворчит: «Они ж черствые!» Напрягаясь, разламывает их. Ничего не поделаешь, мы

наскоро съедаем по куску лепешки и тут же на соломе укладываемся спать.

Два дня поглотав пыль в дороге, мы к вечеру добираемся, наконец, до Янги-базара. Останавливаемся то ли на площади, то ли на улице, широкой и пыльной, с одной стороны переходящей в степь, а с другой ограниченной рядом лавок — обыкновенных каркасных клетушек со стенами из глиняных колобков.

Неожиданно—я даже не заметил, откуда он появился,— к нам подбегает отец. Сняв меня с арбы, он целует меня в одну, потом в другую щеку, а я крепко обнимаю его за шею.

Агзам убегает домой, к своему отцу.

— Пойдем и мы, сын,— говорит отец.— Ты ведь знаешь Хасана?

— Знаю, он как-то раз заходил к нам.

— Вот мы к нему и пойдем. Он хороший человек.

Мы долго шагаем темными виляющими улочками. Но вот отец толкает низенькую калитку, и мы входим в большой просторный двор.

На террасе, мерцаая, горел чирак. Хасана дома не оказалось, нас встретил незнакомый мне человек, высокий и тонкий, как жердь.

— Добро пожаловать, гости!— улыбаясь, ответил он на мое приветствие.

Быстро разостлав на середине двора кошму, а поверх кошмы лоскутное одеяло, он усадил нас с отцом и сказал:

— Для парнишки я сейчас принесу чашку горячей шурпы, он проделал немалый путь. Муки дороги — муки могилы,— и скрылся куда-то.

Небо над головой бескрайнее, звездное. Тишина. Слышен только стрекот кузнечиков да хруст клевера, поедаемого лошадьми где-то в глубине двора.

Возвратился хозяин. Он поставил передо мной чашку шурпы, положил две лепешки.

— Ну, племянник, кроши лепешки и налегай на шурпу. Больше угощать нечем. Жена, дети — в Ташкенте, а мы скитальцы.

— Завтра будет базар. Ешь шурпу и ложись, я разбужу тебя пораньше, хорошо?— говорит отец, глядя на меня с ласковой улыбкой.

— Базар посмотришь, кумысу попьешь,— говорит хозяин.— А верхом на лошади умеешь ездить, племянник?— спрашивает он, кидая под язык щепоть насвая.

— Немного умеет, а теперь вот в степи станет настоящим наездником,— отвечает за меня отец.

§ — Если конь хороший, ездить не трудно, — говорю я уверенно.

Я торопливо ем шурпу, забираюсь под одеяло и крепко засыпаю.

\* \* \*

На базаре шум, гомон. В воздухе тучи пыли. С равнин и предгорий, из близких и дальних аулов сюда собрались казахи: кто верхом на лошади, кто на верблюде, кто на ишаке, а кто победнее и пешком. Всюду толпы мужчин, редко-редко увидишь женщину. Баи — продавцы баранов, чванливые и важные, объезжают базар верхом.

Я иду по базару. Вдруг из одной ближайшей лавки слышу голос Агзама. Бегу туда, приветствую отца Агзама, здороваюсь с ним за руку. Это полный, могучего склада человек с огромной чалмой на голове, с кустистыми бровями. Скрестив ноги, он важно восседал на толстой ватной подстилке, сложенной в несколько раз. В небольшой лавчонке от пола до потолка — куски ситца.

Я уговариваю Агзама:

— Идем, друг, побродим по базару, посмотрим.

— Да иди, иди, — кивает головой отец Агзама. — Торговать ты не умеешь, иди прогуляйся.

Агзам встает, чем-то недовольный. А выйдя из лавки, говорит понуро:

— Тугой старик! Готов убиться ради копейки.

— Правда? А совсем не похож на такого, — удивляюсь я.

Начав с одного конца базара, мы обходим подряд все лавки — парфюмерщиков, бакалейщиков, мануфактурщиков и прочих.

Кое-кто из лавочников интересуется:

— Не сын ли ты Таша-ака, свет?

Я краснею, стараюсь поскорее улизнуть, ташу Агзама за руку:

— Идем, идем живее!

Мы выходим к овечьему базару. Баранов тут уйма. И пыль здесь самая густая. Торговля идет живо. Богатые скотоводы сидят на корточках, вычерчивая прутиком какие-то узоры на земле. Покупатели — большей частью узбеки — придиричиво осматривают баранов, пробуют тяжесть курдюков, щупают бока. Вот один какой-то там берет руку хозяина: «Бараны неплохие. Давайте, старшой, соглашайтесь на цену, какую я назвал!» — и много раз встряхивает пухлую руку бая. Хозяин баранов равнодушно отвечает: «Ты

меня не уговаривай, баранов смотри. Видишь, все откормленные. Слово наше едино». И снова усаживается на корточки, гордый и неприступный. Обе стороны торгуются упорно, спорят, горячатся.

Пастухи — в большинстве бедняки, одежда на них рваная, сполщенное тряпье. Зато богатые казахи: бан, волостные — одеты хорошо, добротно. На головах соболевые малахан, а у некоторых сверкающие белизной войлочные колпаки.

Мы долго кружим. Потом заходим в чайхану. Здесь казахи сидят: одни — пьют кумыс, другие — крепкий «фамильный» чай.

— Кумыса много, и он дешевый. Жаль денег нет, — с досадой говорит Агзам.

И тут — надо же было так случиться! — мы увидели нашего приятеля арбакеша. А перед ним — четверть кумыса!

— Давайте, подсаживайтесь, племяши! Давай, давай! — приглашает арбакеш. — Что, или денег нет? — спрашивает он, заметив мою нерешительность.

Я признаюсь, краснея.

— Нет...

— Отец не дал, значит? — смеется он.

Я молча опускаю глаза. Арбакеш протягивает мне полную чашку кумыса. Затем подносит Агзаму. Кумыс крепкий, мы еле-еле допиваем каждый свою чашку.

— Что ж вы так, каналы? Кумыс, он ведь от всех болезней средство! — Арбакеш поворачивается ко мне. — Особенно ты налегай на кумыс, сразу поздоровеешь. Смотри, какой ты заморенный! — говорит он, покачивая головой.

После долгих скитаний по базару, мы, вконец усталые, выходим к мечети. Здесь никого нет, тихо, словно все залито водой. Стены у мечети толстые, мощные, а крыша камышовая. Внутри ничего, кроме двух-трех камышовых циновок. С правой стороны, из небольшой приземистой хибарки над обрывом слышится приглушенный гомон. Мы с Агзамом тихонько заглядываем через низенькую одностворчатую дверку. Напротив сидит дородный, с черной-пречерной бородой человек — учитель, одетый в просторный легкий халат с «духовным» воротником. Десятка полтора учеников галдят так, что вот-вот развалят хибарку. Среди них несколько мальчишек-казахов, остальные узбеки.

Перед моими глазами внезапно возник наш класс, наш учитель. От неожиданности я вздрогнул, даже побледнел, кажется. Видимо, то же испытывал и Агзам. Мы разом отпрянули от двери и бросились наутек.

— Вот не было печали!— с беспокойством говорю я Агзаму.— Что, если наши отцы прикажут нам ходить в школу?

— Мой не скажет, ему до этого дела нет,— беспечно машет рукой Агзам. Потом громко смеется.— А вот у тебя отец строгий, если прикажет, никуда не денешься.

Я не отвечаю, подавленный такой возможностью.

Остановились мы перед кузницей. Кузнецы-подковочники работали, не покладая рук. А казахам неймется, каждый торопит: «А ну, свет мой, кончай, кончай, быстрее!» Для строгих коней у кузни устроен станок из брусьев. Смирные лошади стояли спокойно, подняв ногу, словно говорили: ладно, подковывай. Но горные и степные кони все были дикие. Я сам видел, они даже мостов боятся, прыгают прямо через арык.

Кузнецы мучились. Мы с Агзамом сидели в сторонке на корточках, смотрели: так интересно нам!

Старший кузнец — ладно скроенный человек, с могучим торсом и с густой окладистой бородой. Второй — видно, его сын — смирный парень с густыми бровями, с крупной головой и широкими плечами, в силе, пожалуй, не уступит отцу. Он работал, обливаясь потом, и время от времени с любопытством посматривал в нашу сторону.

— Эй,— закричал кузнец сыну.— Занимайся своим делом, чего глазеешь на этих щеголей?— И неласково спросил нас:— Вы ташкентские?

— Да, из Ташкента приехали,— ответил я и с обидой прибавил:— Почему вы называете нас щеголями, мы такие же бедняки.

Агзам незаметно подтолкнул меня в бок:

— Оставь, друг, не спорь. Ну, сказал человек и сказал.

Так вдвоем мы обходим весь базар и возвращаемся каждый к своему отцу.

Мой отец сидел в маленькой полупустой лавчонке, низенькой и тесной.

— Куда ты ходил?— спросил он.

— Мы гуляли с Агзамом.

— Базар смотрели? И на овечьем базаре побывали?— ласково улынулся отец.

— Побывали. Баранов там много-много!

Я оглядываю лавчонку, потом вдруг поворачиваюсь к отцу:

— У тебя такая маленькая лавка? А где ж товары?— спрашиваю с недоумением.

— Э, чтобы товары иметь, нужны деньги, сын. Товаров на свете много, а вот денег у меня нет. Молод ты еще, не

знаешь невзгод жизни,— говорит отец с ласковой, чуть насмешливой улыбкой. Потом, помолчав, показывает рукой:— Вон, в бутылке кумыс, попей, сын. В воде он холодный, как лед. Только взболтай хорошенько, крепче будет.

Закусив губу, я старательно взбалтываю кумыс. Невольно вспоминаю, какая оживленная торговля идет в других лавках базара, в которых можно найти все — от простого ситца до атласа и бархата, и с огорчением думаю про себя, что мой отец бедный, что дела у него идут плохо.

В это время верхом на маленькой замороженной лошаденке мимо проезжает глашатай: среднего роста старик с белой бородой, на голове небрежно намотана грязная чалма, на плечах старый рваный чапан.

— Э, люди! Эй, люди!

Глашатай объявляет о пропаже коровы. Он едет по базару, повторяя одно и то же. Над ним начинают подсмеиваться. Один из казахов кричит:

— Эй, старый! Довольно уже, умурился, наверное. Тебе еще пригодится горло, а нам уши. Слышали уже, проваливай дальше, пустозвон!

— Э, объявится твоя корова, никуда не денется. Бродит, наверное, где-нибудь или привязал кто,— говорит другой.

— А может, уже проскочила через чью-нибудь глотку. Есть такие, что верблюда проглотят целиком, а тут только корова,— смеется третий.

Глашатай не обращает внимания на шутки, голос его постепенно удаляется.

Мне по душе его складная речь. Я торопливо отставляю в сторону полную пиалу кумыса и бегу вслед за ним.

— Эй, люди! Эй, люди! Пестрая корова пропала. Пестрая корова, куца, со сломанным рогом!..— Голос его порой уже хрипит чуть слышно — видно, не зря достается ему хлеб.

Старик едет верхом на смирной замороженной лошаденке. А я долго иду следом, нырая между лошаадьми, стараясь не пропустить ни одного его слова. Потом возвращаюсь к отцу.

К концу дня торговля идет бойчее. Особенно — у наставщиков, еле успевающих отпускать свой товар.

Близится вечер. Казахи толпами начинают разъезжаться — кто в горы, кто в степь.

Отец закрывает лавку.

— Пошли, сын,— говорит он устало.— Сегодня пойдем к Зульфн.



Зульфи — она доводилась племянницей отцу — встречает нас радушно.

— Вай, жертвой мне стать для тебя! Здоров ли ты, благополучен ли?— Она обнимает меня, чмокает в одну, в другую щеку.— В добром ли здоровье бабушка? Как мать, Кароматой?

— Все здоровы, вам салам наказывали передать,— отвечаю я сдержанно.

\* \* \*

Проснулся я, а весь двор уже залит солнцем. Осмотрелся: во дворе ни одного деревца, и арыка нет. Я вышел на улицу и умылся мутной водой из окруженного низкорослыми талами хауза, в котором кишмя кишели лягушки и головастики.

После чая пошел к Агзаму (он жил рядом, по-соседству). Вдвоем мы отправились на базар. На этот раз здесь было тихо. Редко-редко увидишь открытую лавку.

— Что-то отца не видать, уехал, что ли, куда-нибудь?— говорю я Агзаму.

— Все они вместе уехали на рассвете,— снисходительно, как человек осведомленный, говорит Агзам.

— Далеко?— спрашиваю.

— В Шароб-хану отправились. Там собираются для торговли люди из дальних степей. Понял?

Я промолчал.

Мы обходим овечий базар, конский базар. Всюду пустым-пусто, нет ни души. Усталые, мы присели на камень против какой-то закрытой лавки.

— Хорошо, правда, друг?— говорит Агзам, поводя кругом рукой.— Тихое, спокойное место. Вон и горы видны. А воздух какой! Очень нравится мне Янги-базар!

— А может, наши отцы в Чимкент уехали?— говорю я, не слушая Агзама.

— Эх, ну и чудной ты! Сказал же я — в Шароб-хану,— сердито глянул на меня Агзам.

— Если тут раз в неделю бывает базар — это же очень скучное место. А насчет воздуха ты правду сказал, воздух вон какой, как масло вливается в грудь,— говорю я, делая вид, что не замечаю раздражения Агзама.

— Вон те горы называются Козыгурт. Видал, какие высоченные!— говорит Агзам.

— Правда, горы красивые,— говорю я.— Только далеко они все-таки.

Так мы бродили, сидели, разговаривая о том, о сем. А когда это наскучило, разошлись по домам.

Я возвращаюсь к тетке Зульфи, кое-как провожу день, а вечером выхожу на дорогу встретить отца. В пламени заходящего солнца пылают дальние вершины. Я присаживаюсь на камень и долго люблюсь закатом, цветом неба, каждую минуту меняющего свою окраску.

Из сгущающейся темноты доносится стук копыт. А немного спустя, впереди, совсем рядом, возникает фигура всадника, слышится знакомый голос, ласковый и чуть насмешливый:

— Что ты торчишь тут, как одинокий кол?

Я радуюсь возвращению отца и в то же время испытываю некоторую досаду.

— Жалко, время позднее уже, а то бы я покатался верхом.— И с надеждой спрашиваю:— А завтра вы дома?

— Эх, сынок!— говорит отец, слезая с лошади.— Мы ведь совсем не знаем покоя. Завтра я опять поеду скитаться. Ты пока играй тут с товарищами, один не отлучайся далеко от дома. А теперь иди, спи.— И он легонько похлопал меня по спине.

Я молчу. Медленно, нехотя бреду к дому тетки Зульфи. Муж тетки, Закир-ака, высокий, худошавый человек средних лет, только что вернулся откуда-то. Мотнув коротко подстриженной бородой, он приглашает меня к дастархану:

— Ну, садись, малыш, сейчас будем есть машевую кашу с рисом и скобленным мясом.— И улыбается, добродушно поблескивая своими маленькими подслеповатыми глазками:— Знай, брат, что добрая машевая каша не уступит плову!

Я подсаживаюсь к дастархану, чувствуя, что сильно проголодался.

\* \* \*

На базаре все так же тихо. У лавок ни единого покупателя. Кучка молодежи, расположившись на цинковке у лавчонки насвайщика, играет в шашки. Игра идет живо, с шутками-прибаутками — как-никак забава все-таки.

— Подойди-ка сюда, племянник!— зовет меня хозяин соседней бакалейной лавки, темнокожий, с трахомными глазами.— Беги, принеси воды из хауза!— велит он, протягивая мне узкогорлый кувшин.

Я бегу к хаузу и мигом возвращаюсь с полным кувшином. Бакалейщик хвалит меня:

А — Молодец!— И тут же дает новое приказание:— Побрызгай перед лавкой малость, а то пыль одолела.

Я скупно брызгаю водой возле лавки и убегая, отметив про себя: «Как все-таки много здесь пыли!»

Все лавочники скупые до невозможности.

Мы с Агзамом уходим в степь.

Солнце палит здорово. Кажется, все кругом начинает плавиться и переливаться, как ртуть.

— Беркут!— внезапно вскрикиваю я.— Вон на камне сидит!

— А? Где?— Агзам оглядывается по сторонам.

— Да вон же, вон!— показываю я рукой.— Огромная птица, важная такая.

Агзам застывает с раскрытым ртом:

— Вот это — да!

Мы тихонько подходим ближе.

— А что, если камнем попробовать?— волнуясь, предлагаю я.

— Вот бы казахов сюда! Они бедовые, враз поймали бы,— уже оправившись от удивления, деловито рассуждает Агзам.

Мы начинаем бросать в беркута камни.

— Нет, не добросить!— говорю я.— Надо ближе подойти.— И тащу Агзама за рукав.

Пригнувшись по-охотничьи, мы осторожно подбираемся к тому месту, где сидит беркут. Затаив дыхание, швыряем по камню. Мимо!

Беркут нехотя, с достоинством поворачивает в нашу сторону голову, с минуту смотрит на нас, как бы раздумывая, стоит ли тревожиться, потом широко распахивает крылья и улетает. А мы остаемся с раскрытыми ртами и, задрав головы, смотрим ему вслед.

— Жалко!

— Какая досада!

Мы долго бродим, дивясь широте степных просторов, причудливой линии гор, замыкающих полукруг горизонта. Неожиданно выходим в низине к казахскому аулу и попадаем на свадьбу.

Одна юрта полна народу. Вокруг кучками лошади. Женщины здесь не скрываются от мужчин, все вперемешку. Свободно шутят, запросто похлопывают друг друга по плечу. У иных женщин бархатные платья, на кистях рук парные браслеты, в ушах большущие серьги и подвески. Но больше бедных, одетых в грязные, рваные, чиненые-перечиненные платья.

— Откуда они появились, эти мальчишки?— удивляется пожилой казах, когда мы заглядываем в юрту.— Заходите, заходите! Садитесь!— говорит он и усаживает нас на кошму.

А другой, видный такой старик, спрашивает:

— Чьи вы будете?

— Я сын Таша-ака,— отвечаю ему несмело.— А это,— показываю на Агзама,— мой товарищ, сын Таджи-ака.

— Мы бродили тут и невзначай попали на свадьбу,— объясняет Агзам.

— Вай-буй!— разом воскликнули несколько человек.— Таш-ака и Таджи-ака — это же наши тамыры. Мы с ними старые знакомые.

— А ну, налейте джигитам кумысу!— приказывает тот важный старик, а сам высыпает перед нами на дастархан пригоршню баурсаков.

— Вот, пейте, ребята!— говорит усатый мужчина, протягивая мне и Агзаму по глиняной чашке кумыса.

Нам очень хотелось пить, у обоих во рту пересохло от жары. Мы подняли чашки и разом опорожнили их.

— Молодцы!— засмеялся мужчина.— Еще налейте им!

— Хватит, дядя...

Хозяева настаивают, но мы краснеем, отказываемся:

— Спасибо, немного погода выпьем,— и дружно налегаем на баурсаки.

Певец-сказитель с длинной, ниспадающей на грудь белой бородой, приятным голосом запел под аккомпанемент домбры. Песни, юмористические импровизации, сопровождаемые одобрительными выкриками, смехом, не смолкая, следуют одна за другой.

Вскоре в юрту подается вкусная шавля, обильно приправленная мясом. Мы с аппетитом съедаем и шавлю, потом тихонько выбираемся наружу.

— А где же невеста?— шепотом спрашиваю я у Агзама.

— Невесты что-то нет,— говорит Агзам и по-стариковски пожимает плечом:— Чудно!

Вдруг казахи заволновались, забегали, бросились к лошадям, уже нетерпеливо бившим копытами,— начался улак. Это было так интересно, что мы с Агзамом застыли на месте, затаив дыхание.

Народу кругом уйма. А там, где был брошен зарезанный козленок, сгрудилась огромная толпа всадников. Каждый из них, позабыв обо всем на свете, старался пробиться в середину круга, чтобы как-нибудь изловчиться и схватить добычу. Вдруг какой-то уже пожилой рослый и

плотный казах с коротко подстриженной бородой поднял коня на дыбы и метнулся в самую гущу борющихся. Через мгновение он появился уже с улаком под стремянем, и умный конь, стрелой вылетевший из бурлящей толпы, помчал его прочь. Опешившие на какой-то миг участники состязания опомнились и, словно грозный вал бурной взбесившейся реки, ринулись вслед за ним. Зрители, толпившиеся возле аула, волновались не меньше, если не больше, самих участников состязания, они то затихали в ожидании результата очередной схватки, то раздражались громкими восторженным криками. А состязание разгоралось все сильнее... То один, то другой участник вырывал улака, пытался ускакать, его скопом преследовали остальные. Не только люди, лошади были охвачены азартом борьбы. Падали кони, валились выбитые из седел всадники, и, когда после очередной свалки участники игры пронеслись дальше, у одного упавшего оказывалась сломанная рука, у другого — нога...

Состязание кончилось, когда солнце уже перевалило за полдень. После этого в одной из юрт собрались девушки и молодые женщины. К ним вскоре вошла группа разодетых джигитов.

Вместе с джигитами входим в юрту и мы, и сразу же видим невесту — симпатичная такая девушка, что конфетка в бахромчатой обертке, круглолицая, щеки, будто два тюльпана, рдеют румянцем, глаза горячие с искоркой, а на голове венец, украшенный пушистыми перьями филина.

По казахскому обычаю девушки и джигиты начали песенное соревнование. Импровизируя, они так тонко и весело высмеивали друг друга и так быстро складывали ответ, что нам с Агзамом приходилось только удивляться их мастерству.

Когда очередь дошла до жениха, добротного одетого рослого джигита с широкой богатырской грудью, он зашел негромко, сильно смущаясь. Невеста звонким чистым голосом ответила ему так красиво и остроумно, что все гости разразились дружным смехом и громкими одобрительными возгласами.

Время проходило весело и бежало незаметно.

— Мусабай, нам пора уходить, а то запоздаем, — тихонько шепчет мне Агзам.

Уходить мне совсем не хотелось, но — что поделаешь — мы незаметно выскользнули из юрты.

— Эх жаль! — говорю я Агзаму, глядя на пылающий горизонт и темнеющее небо. — Как скоро день кончился.

Мы уходим, а там, в юрте, все еще слышатся звонкие голоса девушек, звенящий серебром смех.

Шагаем мы быстро и все-таки входим в кишлак уже затемно.

— Мерзавец!— сердито кричит отец Агзама.— Где ты шлялся весь день?

— Мы вдвоем с Мусабаем ходили...— нерешительно бормочет Агзам.

Я пытаюсь вступить за приятеля:

— Мы на свадьбе были, дядя. Кумыс пили, смотрели улак. Такая интересная свадьба была!..

— Иди домой!— строго приказывает Агзаму отец. Потом грозит, обращаясь ко мне:— Вот подожди, не я буду, если не нажалуюсь на тебя отцу!

Я молчу. Тихонько подхожу к своей калитке и с опаской шмыгаю во двор.

\* \* \*

Солнце палит нещадно. Бакалейщики, насвайщики, чайханщики одурели от жары и от скуки. Время от времени на площади появляется какой-нибудь казах верхом на лошади, на ишаке или пешком, покупает насвай, сахар или чай и опять скрывается в степи.

— Дядя, дайте я покатаюсь на вашем ишаке,— прошу я одного из казахов.

— Ладно, свет мой, садись,— соглашается он.

Обрадованный, я взбираюсь на ишака.

Лавочники смеются, подшучивают надо мной. Кто-то из них незаметно сует под хвост ишаку щепоть насвая или, может, перца. Ишак юлит задом, пускается вскачь. Кусает себе хвост, злится. Не удержавшись, я падаю, взвихрив облако пыли. А лавочники хохочут — рады случаю посмеяться.

Среди лавочников есть один тихий и ласковый старичок-бакалейщик — борода с проседью, лоб высокий, на носу очки, всегда с книгой. Книг у него много. Меня особенно интересовала «Тысяча и одна ночь». Но я умел читать пока только коран.

— Дядя, почитайте немного из «Тысячи и одной ночи», а я послушаю,— пристаю я к бакалейщику.

Старик качает головой.

— Почитал бы я тебе, да ты еще молод, младенец — можно сказать. В этой арабской книге много увлекательных фантазий, но есть стыдные места.

Я продолжаю приставать. Бакалейщик долго листает

тонкие страницы. Наконец находит подходящий рассказ, читает. А я молча слушаю, притихший.

— В рассказе много поучительного, — говорю я. — И описания интересные.

Бакалейщик смеется:

— У арабов много таких вот поучительных рассказов.

Так проходят дни.

В воскресенье, в базарный день, с утра начинают съезжаться казахи, среди них порядочно женщин. Присмотрелся я: у некоторых в руках палки, топоры, серпы.

Вместо того, чтобы идти по лавкам, казахи, разбившись на кучки, начинают оживленно обсуждать что-то. А часов в одиннадцать, наверное, точно не помню, вдруг с криками «Алаш!» затевают драку. Я со страхом смотрю на свалку. Потом срываюсь, бегу к отцу:

— Дада, дада! Казахи дерутся!

Отец спокойно машет рукой:

— А-а. Это один из казахских родов, наверное, требует с другого кун — плату за кровь или за обиду какую-нибудь. Понял? — говорит он и, взглянув в сторону шумной толпы, качает головой: — Да, суматоха эта, пожалуй, затянется до вечера. Значит, торговля, говори, нарушена...

Я хватаю за руку подбежавшего Агзама:

— Смотри, смотри! У них ножи, топоры!

Действительно, появляется новая толпа казахов, вооруженных топорами и ножами. С криками они бросаются в свалку. Шум и гвалт продолжаются долго. Появляются раненые — у одного голова проломлена, у другого выбит глаз.

Потом откуда-то появляются бии, начинают переговоры. Словесная перепалка тоже продолжается довольно долго, но в конце концов стороны приходят к соглашению.

Торговля уже не возобновляется, казахам, видно, не до покупок.

\* \* \*

Суббота. Отец рано закрыл лавку. Вместе со своими знакомыми он собрался поехать в горы Козыгурт. И меня обещал взять с собой. Я, конечно, обрадовался предстоящей прогулке.

Сели мы на лошадь — отец впереди, в седле, я сзади. Стоим, ждем, пока насвайщик насыпет в пузырек насвая. Вдруг — и надо же было такому случиться! — наш конь сцепился с другим. Я не успел ухватиться за отца, упал, и прямо на камень. Подбежал Хасан-ака — знакомый отца. Этот небольшого роста шустрый старичок, с козлиной бород-

кой и острым пронизательным взглядом, любил меня, часто шутил со мной, смешил разными занимательными историями. Он поднял меня на руки и внес в лавку. Следом прибежал и отец.

— Нога у него повреждена малость,— говорит Хасан-ака отцу, а меня успокаивает:— Ничего, сынок. Для джигита — это пустяк, а ты ведь богатырь.

Достав кусок кисеи, старик туго-натуго перевязывает мне ногу, и мы трогаемся в путь. Долго едем по взгорьям, увалам, крутым склонам с каменными осыпями.

Солнце уже склонилось к самому горизонту. Свежий ветерок предгорья, чистый воздух, как масло, заполняют легкие, радуют и веселят. Участники прогулки то обмениваются веселыми шутками, то умолкают, захваченные чудесной картиной, открывающейся взору. Очарованный окружающей меня красотой природы, я еду молча, любясь пунцовым закатом, золотыми бликами на горных вершинах, искрами, брызжущими из-под копыт, когда лошади минуют каменные осыпи, прислушиваюсь к мягкому конскому топоту, когда лошади шагают по траве. На душе у меня светло, только боль в ноге несколько омрачает мое настроение.

У подножия гор от ковра свежей зелени повеяло тонким ароматом цветов и разных пахучих трав. Деревьев здесь почти не было, лишь изредка то там, то здесь встречались небольшие приземистые деревца.

Лошади у всех были добрые. Поднимаясь в гору, они шли гордой поступью, с каким-то особым изяществом несли головы. Глаза умных животных весело поблескивали, они испытывали явное удовольствие от прогулки по таким чудесным местам. А какие красавцы есть среди них! Я люблю от всей души, искренне люблю лошадей!..

Мы то поднимаемся на взгорье, то спускаемся вниз. Время от времени на пути попадаются казахские аулы. Вокруг юрт табуны лошадей, верблюды, стада баранов. Поднимаются к нему клубы дыма от очагов.

Уже в глубокой темноте мы достигаем подножия величавой горы Козыгурт. Здесь расположился небольшой аул. Рядом, из гущи переплетающихся деревьев, выбегает звонкий ручей.

— Какая высокая гора, дада! Завтра поднимемся на нее?

— Обязательно, обязательно поднимемся!— кивает головой отец.

Все слезают с лошадей. Я тоже хотел было соскочить на



землю, но почувствовал боль в ноге и обеими руками уцепился за седло. Отец подхватил меня на руки:

— Что, болит?

Казах, встретивший нас, вынес из юрты большую белую кошму и расстелил ее на траве. Все участники прогулки располагаются на ней — кто садится, скрестив ноги, кто ложится, опершись на локоть.

Отец тревожно и растерянно поглядывает на меня.

— А ну, ступи ногой, попробуй!— говорит он, опуская меня на землю.

Закусив от боли губу, я делаю несколько шагов и валюсь на край кошмы.

Участники нашей дружеской компании достают из хурджумов чай, лепешки, сахар. Наполняют узкогорлый кувшин прозрачно-голубой водой, ставят его к очагу, вырытому в земле. Казахи режут молодого барашка и начинают готовить шурпу. У нас нет никакого освещения, кроме звезд в небе. Но вскоре одному из джигитов удается раздобыть где-то тускло горящую лампу с закопченным, наполовину отбитым стеклом.

Начинаются шутки-прибаутки, остроты и экспромты. Участники компании по очереди прикладываются к полой камышинке, опущенной в яму, в которую высыпана щепоть анashi и брошен уголек. Отец тоже делает короткую заставку.

Становится прохладно. Я набрасываю на плечи отцовский чапан.

Здесь много соловьев. Их звонкие голоса временами звучат так дружно, что кажется поет сам воздух вокруг.

Я с удовольствием прислушиваюсь к соловьиным трелям. Видимо, заметив это, старый Хасан-ака с улыбкой хлопает меня по плечу.

— Слушай, слушай, сынок. На свете нет улады выше, чем пение соловья. Мой покойный отец говорил, что в соловьиных трелях насчитывается девятьсот девяносто девять колен. Так оно и есть, наверное, сынок, соловей — самая редкостная птица. Понял?

Участники компании засниваются долго, затевают серьезную беседу и снова переходят к шуткам и остротам. Рассказывают про всякие удивительные случаи, передают разные давние истории из жизни дедов и прадедов.

Над темным ущельем золотым серпом повисает молодой месяц. Шум ручья, скачущего по камням, гул леса, исполненные скалы, грозно проступающие из темноты ночи,— все это кажется мне таинственным и загадочным до жути.

Отведав шурпы, я засыпаю тут же на кошме.

Открываю глаза — уже светает. Незаметно, словно по заранее установленной очереди, гаснут одна за другой звезды. Я прозяб. Утро свежее. Чуть пошевелился, а отец уже услышал, шепчет мне:

— Спи, сын, еще рано.— Потом, видно догадавшись, что я продрог, прикрывает меня полой толстого чапана.

Но сон уже не приходит ко мне. Соловьи поют, не умолкая. Воздух чистый-чистый. Отец тоже не спит, вздыхает часто. А немного времени спустя поднимается, идет с кувшином к ручью и разжигает огонь в очаге. Один за другим просыпаются и остальные участники компании.

По горизонту, очерченному причудливой линией горных вершин, разливается алая заря. Вскоре и солнце поднимается, брызжа золотом лучей... Не знаю, вечерняя ли заря красивее или утренняя? Одна красивее другой, одна другой прекраснее. Природа ведь так богата, щедра и так искусна!..

— Как, будем вставать, сын?— мягко спрашивает отец.— Ну вставай, вставай. Вон, взгляни-ка на горы!— и широко поводит рукой.

Я поднимаюсь, но не могу ступить на ногу, она у меня распухла и отяжелела.

Отец и Хасан-ака встревожились:

— Очень болит?— спрашивает отец.

— Болит...

— Тогда лежи, свет мой!— говорит мне Хасан-ака. Потом тихонько шепчет отцу: — Тяжелый ушиб, видно, — и тотчас поспешно уходит куда-то.

Отец приуныл, сидит молчаливый.

Закипел чай. На дастархане появляются огромное блюдо жирной баранины и горячие баурсаки. В это время с яйцом в руке возвращается Хасан-ака. Он осторожно разматывает кисею и старательно массирует яйцом мою ногу. Массирует долго. Мне и самому начинает казаться, будто боль утихает. После этого Хасан-ака еще туже заматывает мне ногу. Похлопывает меня по плечу:

— Теперь полежи. Не пройдет и минуты, как ты жеребенком начнешь взбрыкивать, малыш!

— Да-да! К вечеру уже сможешь на гору подняться, только потерпи, полежи, сын,— ласково говорит мне отец.

Я лежу, всматриваясь в небо. Чувствую, что нога моя пухнет все больше. Отец, часто и с тревогой поглядывавший на меня, видно, заметил, что мне хуже, и совсем расстроился.

Наступил полдень. Наши спутники начали готовиться к подъему на гору. Я говорю отцу:

— Идите. А я буду смотреть лежа.

Отец берет палку и вместе с другими участниками прогулки начинает взбираться на гору. Хасан-ака остается со мной. С одним из казахов, высоким молчаливым джигитом, они собираются готовить жаркое.

Я говорю старику:

— Не помогло ваше яйцо. Нога все хуже пухнет.

— Лежи смирно, скоро поправишься. Яйцо для тебя — самое верное средство! — улыбается Хасан-ака, продолжая крошить лук для жаркого.

Я лежу, смотрю на горы. Удивляюсь скалам, пропастям. Какие же это громады — горы! Я жалею, что не смог пойти вместе с другими. Досаую. Расспрашиваю Хасан-ака о горных оленях, кийках, о медведях.

— Э, сынок, здесь все есть. И волки есть, а может, и львы, — говорит Хасан-ака и многозначительно щурит глаз.

Отец и его спутники после долгой прогулки возвращаются усталые. Отец принес мне букет душистых горных цветов... Я рад подарку, горные цветы мне очень нравятся.

С аппетитом поев жаркого, мы к вечеру трогаемся в обратный путь.

\* \* \*

Я лежу на террасе один. Передо мной просторный, как степь, двор. И ни одного деревца! Прошло, наверное, уже около десяти дней, как я упал с лошади, а я все еще не могу ступить ногой. Еле-еле, сильно хромая, сделаю шаг-другой — и все; лежу с утра до вечера, уставившись в потолок.

Под крышей террасы много воробьиных гнезд. Я наблюдаю, как подлетают старые воробьи, как птенцы, запищав разом, вытягивают шейки, разевают желтые клювы. А когда это надоедает, развлекаюсь, глядя на петуха с курами, которых полно во дворе. Петух красивый, важный. Найдет зерно или кузнечика и сейчас же зовет всех. Куры с кудахтаньем окружают его, ссорятся из-за добычи. А если какая-нибудь курица вскочит на крышу или же вздумает забраться к соседям, петух сердито кокочет, гонит ее обратно.

Я отдаюсь раздумью. Мысли мои цепляются одна за другую. Воображение мое разыгрывается, дальние горы представляются мне совсем близкими. Среди гор видятся

сады, аллеи, дворцы. Внезапно, как наяву, встают передо мной джины, перн. Мысли мои путаются, усложняются. А я лежу, то забываясь в легкой дреме, то снова возвращаясь к яви.

Солнце палит нещадно, пышет жаром степь.

Тетка Зульфи подходит ко мне изредка. Спросит: «Вай, смерть моя! Все еще не прошла опухоль на ноге?»— и опять спешит по хозяйству: сбивает масло, заквашивает молоко. Часто забегает Агзам. Рассказывает, как скучает один, как дерется с ребятами.

— Выздоровливай скорее, вдвоем мы им покажем! Все они боязливые, все до одного трусы.

— Нет, друг,— говорю я,— есть среди них и отчаянные. Особенно тот, небольшой парнишка, помнишь? Так что ты остерегайся, в драку не лезь, здорово могут отколотить. И о нашей дружбе не забывай.

Агзам хмурится, молчит. Потом мы болтаем о том, о сем — о жадности сквалыжных баев, о скупости местных лавочников.

Отец каждый день скитается где-то верхом на своем иноходце. На закате или в сумерки заглянет ко мне, весь в пыли, усталый. Спросит:

— Ну как, хорошо ли себя чувствуешь, сын?— Иногда положит передо мной горсть джиды, десяток орехов, посидит немного и уходит.

Однажды посоветовались они с Закиром и решили повезти меня к какому-то казахскому лекарю. По холмам, по увалам ехали. Приезжаем мы в казахский аул. Сходим с коней. Нас встречает полная пожилая женщина в чистом белом платье, в безрукавке и кисейном платке. Когда мы входим в юрту, женщина подает мне чашку кумыса:

— Вот, выпей. Это утоляет жажду, светик мой.

В разговор вступает Закир-ака. Справившись, как положено, о здоровье хозяйки, о благополучии ее домашних, он говорит:

— Этот наш парнишка упал с лошади и повредил ногу. Вот мы и приехали к вам.

Старуха внимательно посмотрела на меня. Попросила:

— А ну, покажи, милый! — и сама осторожно развязала ногу и легонько раза два провела по ней рукой.

— Вывихнута,— сказала она, обращаясь к отцу и к Закиру. Потом повернулась ко мне:— Ничего, мигом поправишься, светик мой. Как жеребенок, резвиться будешь.

В душе я струсил немного. А она вдруг сильно нажа-

ла на ногу, там шелкнуло что-то: «Шнк!» Я невольно вскрикнул: «Ой!», но тут же почувствовал, что боль утихает.

— Все, все! Теперь ты совсем здоров, светик мой,— говорит женщина, ласково поглаживая меня по голове. Потом обращается к отцу:— Сколько заставили напрасно страдать бедного парнишку. Видите, как сразу ему полегало.

— Спасибо тебе, старая!— говорит ей отец с поклоном. Лекарка туго заматывает мне ногу, но я уже не чувствую боли.

Отец расплатился с хозяйкой, еще раз поблагодарил ее, и мы отправились в обратный путь.

А на следующее утро я уже принимаю участие во всех ребячьих играх — играю в чижика, в орехи, в ащички.

Проходит несколько дней. Как-то вечером отец, похлопав меня по плечу, сказал с ласковой улыбкой:

— Ну, сын, довольно. Завтра на рассвете поедешь в Ташкент. Погулял, порезвился, хватит.

Я промолчал. А про себя подумал: «И правда, я здорово провел время!»

— Агзам тоже едет,— прибавил отец.— Мы уже договорились с его отцом. Завтра тут один арбакеш везет в город пшеницу, с ним и поедете.

На следующий день рано утром мы с Агзамом отправляемся в дорогу. Сидим, кое-как приткнувшись на мешках с пшеницей.

Кругом пустынная степь. Широко, от горизонта до горизонта, раскинулась она. Осень. Солнце уже не жжет, как летом, а ласково греет. Дует приятный, свежий ветерок. В чистом голубом небе то там, то здесь медленно плывут легкие облака. Дальше горы подернуты синей дымкой. Мы едем притихшие и немного грустные.

Как и в первый раз, в дороге мы проводим два дня. Арбакеш, кроткий и ласковый человек с реденькой бородкой в несколько елосков, в каждой попутной чайхане кормит нас до отвала. То жирная шурпа, то плов, приготовленный им самим. Довольные, мы с Агзамом смеемся:

— Спасибо, дядя! Когда подрастем, мы сразу рассчитаемся с вами за все.

Арбакеш тоже смеется вместе с нами.

Поздно вечером мы въезжаем в Ташкент. Останавливаемся в доме арбакеша.

— Ребята,— говорит он,— сегодня вы ночуете у нас, время позднее уже.

Жена арбакеша уложила нас на террасе, постелив старенькое одеяло и продолговатую подушку.

Мы просыпаемся на рассвете. Хозяйка, такая же тихая и ласковая, как ее муж, угощает нас молоком и лепешкой. После этого мы прощаемся.

— А дорогу-то знаете вы, сорванцы?— спрашивает у нас арбакеш.— Смотрите, не заблудитесь!

— Дорогу мы знаем, нам близко, дядя.

— Вон, по улице Воров и выйдем прямо к дому,— уверенно говорит Агзам.

Миновав улицу Воров, мы выходим к нашему кварталу. Агзам бежит к себе. Его дом ближе, чем мой.

Босой, запыленный и грязный, я вхожу во двор. Все наши сидят за дастарханом. Мать, как всегда, разливает чай у самовара. Она первой вскакивает мне навстречу. Все обнимают меня, радуются.

Бабушка сразу же пристает ко мне с расспросами:

— Ну, рассказывай! Отец твой жив-здоров? Когда он приедет? Как он живет там?

— Разъезжает по степи. Вам передавал салам, а когда приедет, не сказал, — говорю я и торопливо, со всеми подробностями принимаюсь рассказывать о своих впечатлениях.

## *Глава четвертая*

### СНОВА В ГОРОДЕ

— Иди живее! Да под ноги смотри!— поминутно остерегает меня бабушка.

Бабушка в парандже, на голове у нее большой узел. У меня на голове — узел поменьше. Мы идем на завод чесать старую вату.

На улице людно. Из-за чего-то суматошатся мальчишки, орут, насканивают друг на друга. Я иду, оглядываясь по сторонам, и спотыкаюсь на каждом шагу,— глазею то на верблюдов, то на птиц, прыгающих на деревьях.

Миновав Чорсу, мы сворачиваем к клеверному базару. Хлопкоочистительный завод рядом с просторной площадью. Уже слышится шум воды. Бабушка сбрасывает с головы узел, вздыхает с облегчением:

— Ух... пришли, кажется...— и тяжело опускается на землю.

В это время со стороны канала появляется стая гусей. Все откормленные, белые. Может, их заинтересовали наши

узлы, не знаю, но они бегут прямо на нас, вытянув длинные шеи. Я отбрыкиваюсь, крепко ухватившись обеими руками за узел на голове. Бабушка помогает мне, машет на гусей широкими рукавами, приговаривая:

— Вай, смерть моя! Вай, смерть моя, что же такое? Да что же это такое? Гонн их, сынок, гони!..

Кое-как отделившись от гусей, запыхавшиеся, мы опускаемся на корточки перед заводом.

— Хей, сынок, подойди-ка сюда!— зовет бабушка показавшегося из ворот рабочего.— Очисти нам вот эту вату. Хорошенько очисти,— просит она и начинает обычные длинные-предлинные благопожелания:— На деток своих порадоваться вам, внуков-правнуков дожидаться!..

Худой, обросший волосом рабочий, одетый в грязные латаные штаны и такую же грязную латаную рубаху, забирает наши узлы и молча уходит.

Бабушка растерянно смотрит ему вслед.

— Чудно! Ни «да» тебе, ни «нет» не сказал, молчком подхватил узлы и бежать! А вдруг не вернется?

— Вернется, бабушка, не бойтесь!— говорю я беспечно и отправляюсь на берег канала.

Медленно вертится большущее водяное колесо. С него с грозным гулом рушится вода.

Подвигаясь понемногу, я незаметно оказываюсь на заводском дворе. Здесь всюду хлопок. Рабочие в пыли с головы до ног.

Побродив некоторое время, я возвращаюсь к бабушке и опускаюсь рядом на корточки. Вскоре появляется уже знакомый нам рабочий с нашими узлами, он кладет их перед бабушкой, смеется:

— Вот, смотрите, мать. Сами, пожалуй, не поверите. «Ах, вот это вата!»— скажете. Сколько дней пришлось бы вам спину гнуть, сидя на полу, распушивая вату хлыстами, а тут — раз!— и готово!

Бабушка щупает пушистую вату, белую, как снег, и невольно улыбается.

— Две теньги полагается с вас,— говорит рабочий.

Бабушка спохватывается, довольная, она снова и снова желает рабочему всяких благ, развязывает узелок платка и, пересчитав несколько раз, протягивает деньги. Потом, кивнув мне на один из узлов, сама вскидывает на голову какой побольше, говорит:

— Ну, пошли, внучек!

Хотя узлы стали объемистее против прежнего, мой теперь кажется легче филинова пера.

Домой возвращаемся мы через базар. Люди здесь кишмя-кишат, площадь — кипящий котел. На каждом шагу торгуют кислым молоком, каймаком, льняным маслом. Я иду, озираясь. А бабушка то и дело оглядывается, — боится, как бы я не отстал, не упал с узлом. Бранит меня:

— Перестань озираться! Под ноги гляди!

Тут внимание мое привлекает известный дивана-юродивый. Он, как всегда, верхом на ишаке, худой, тощий, на подбородке ни одного волоска, на голове грязная засаленная чалма, одежда рваная, вся в заплатках. На руке у него ворон.

Я пытаюсь остановить бабушку:

— Бабушка, смотрите, дервиш с вороном!

— Полоумный какой-то, провалиться ему! А ворон к чему? Ни к чему совсем. Идем. Идем же, сказано тебе! — кричит бабушка.

— Нет, подождите немного. Может, дервиш заставит ворона показать что-нибудь интересное?

Несколько уличных парней пристают к юродивому:

— Ну-ка, заставь его отколоть какую-нибудь штуку!

Юродивый слегка подталкивает ворона пальцем:

— А ну, спой, спой разок! — Потом оборачивается к мальчишкам и парням, окружившим его: — Знайте, други, ворон — священная тварь. На нем благословение нашего пророка, и живет он тысячу лет!.. — Ворон нехотя каркает, протяжно, с каким-то глухим скрипом. Дивана подхватывает. — Смотрите, смотрите! Заговорил бедняга, он напоминает вам о деньгах...

Караульщик, стоявший в стороне, внезапно выплескивает на голову юродивого ведро воды. Тот раздражается проклятьями:

— Чтоб тебе ослепнуть! Бойся проклятья ворона, глупый человек! — и понукая ишака, скрывается в соседнем торговом ряду.

Мне жалко юродивого, а еще жальче ворона. Я ругаю про себя караульщика: «Чтоб тебя, испортил все дело! И человека обидел ни за что...».

Усталые, мы с бабушкой идем дальше. И благополучно доставляем домой свои узлы с ватой.

\* \* \*

Помешанных в городе много. В нашем квартале Гавкуш тоже сошел с ума один скромный и смирный человек. Рассказывали, что он был участником одной компании, по очереди устраивавшей вечеринки с угощением. На одной из



таких вечеринок его друг пошутил: «А что, хватило бы у тебя смелости в полночь сходить на кладбище? Говорят, это очень страшно. Темень, мертвецы перешептываются тихонько». — «Раз так, могу сходить!» — отвечает тот. — «Но у меня есть условие: вы должны устроить богатое угощение на сорок человек!» Друг ответил согласием: «Хорошо, обещаю устроить такое угощение!»

Тот пошел на кладбище, а вернулся помешанным.

Заметно похолодало. В воздухе, раскачиваясь, парят опадающие листья. Осень.

Мы, кучка мальчишек, играем на улице. Вдруг из двора напротив выбегает помешанный. Он совсем голый. Мы — кто куда: один юркнул в калитку, другой прижался к подворотне. Нам и боязно и любопытно.

Помешанный бежит к мечети, подхватывает огромный, неподъемно-тяжелый общественный котел, лежащий на террасе, и швыряет его в хауз.

Испуганные, мы бежим по улице, кричим:

— Помешанный! Помешанный сорвался.

Помешанный бросается за нами.

Мужчинам, какие сбежались на шум, с большим трудом удается поймать беднягу, они уводят его домой и снова сажают на цепь.

Мы, мальчишки, очень боимся этого помешанного. Меня, например, если мне приходилось идти одному в сумерки, всегда тревожило и подгоняло опасение: «А что, если выскочит этот сумасшедший?!»

\* \* \*

В самый разгар забот и хлопот о дровах, угле, о запасах зерна, муки внезапно нагрянула зима. Холодная. С сугробами снега, с лютыми морозами.

Мы, мальчишки, как всегда зимой, с азартом катаемся по толстому льду хауза, по улицам, укатанным арбами и утоптаным пешеходами, с увлечением лепим снежных баб, с углями вместо глаз. А когда это надоедает, собираемся где-нибудь в затишке, у чьих-либо ворот, и рассказываем сказки.

Особенно мастерски рассказывал сказки Ахмад. Это был смысленный парнишка с живыми огненными глазами. Отец у него умер, воспитывался он у своей бабушки. А бабушка у него — неиссякаемый источник сказок. Ахмад слово в слово расскажет все, что слышал от бабушки, да еще и от себя пристегнет-прибавит. Поэтому мы чаще всего и приставали именно к нему. Да он и сам любил пофанта-

зировать и, рассказывая, подобно старикам и старухам, здорово умел приукрасить свои сказки всякими таинственными и страшными подробностями.

Заслушавшись Ахмада, мы подолгу сидели где-нибудь в подворотне, а то и прямо на улице, не обращая внимания на снег, на холод, на мороз. А когда Ахмад уставал, упрашивали Агзама, он тоже знал множество сказок.

Вечерами к нам часто приходила наша соседка — тетя Рохат. Склонившись над тесьмой, она любила рассказывать всякие занимательные истории. Рассказывала очень искусно, говорила складно. Этому она научилась у своего покойного отца. «Отец мой,— смеялась она,— был человеком бедным, нищим, но зато богатым на сказки».

Террасу мы не покидали до самой середины зимы. Широкий полог, которым занавешивали террасу со стороны двора, несколько защищал нас от хлопьев снега. Забравшись под одеяло сандала, я упрашивал:

— Тетя, милая, ну, начинайте. Из самых лучших, из самых страшных!

Мать и старшая моя сестренка Каромат сидели, вышивая тесьму и изредка перекидываясь словом. А тетя Рохат рассказывала все новые и новые сказки про дивов, ведьм, про львов, волков, легендарных птиц, каких и представить-то было трудно.

Сказки тети Рохат всегда были длинные-длинные, так что она, как в «Тысяче и одной ночи», обычно прерывала свой рассказ на самом интересном месте, брала свою рабочую сумку и уходила, обещая: «Остальное доскажу завтра».

\* \* \*

Наш квартал Гавкуш, благодаря бесконечным разделам новых поколений, в течение веков измельчал и состоял из напоминающих пчелиные соты, притиснутых один к другому, маленьких двориков-клеток. По этой же причине, наверное, большинство жителей квартала были в близком или дальнем родстве друг с другом.

Вообще квартал жил дружно, но по временам между отдельными семьями возникали кляузы, ссоры, даже драки. Особенно часто, как внезапный ливень, ссоры вспыхивали между двумя снохами Сарой Короткой и Сарой Длинной, а также между нашими соседями Гаффаром-ака и тетей Рохат.

Гаффар-ака никак не мог ужиться и со своей невесткой, вдовой старшего брата. У них были отдельные дворы,

отдельное хозяйство, и все-таки ссорились они довольно часто.

Вот и опять, слышно, скандалят. Старуха уселась на лестницу, прислоненную к ветхому дувалу, разделявшему их дворы.

— Хей, земля тебя поглотит, Гаффар-буян, и не стыдно тебе?— кричит она, простерши перед собой руку.— Единственный сын у меня, кроткий, тихий, уважительный парнишка, а ты только и знаешь — клянешь его, чтоб тебе язык отрезало!

Гаффар-ака, задыхаясь от гнева, орет со своего двора:

— Глупая старуха! Есть мне время! Я попытался лишь наставить твоего озорника-сына, только и всего. А ты разгавкалась. Слезай с лестницы! Убирайся домой!

Но где ему одолеть старуху! На его голову рушится новый поток проклятий:

— Вай, вонючий старик! Борода побелела уже, а ума все не набрался. Какое тебе дело, домой ли я пойду или по улице стану разгуливать? Мне самой это лучше знать. Я сама себе хан, сама себе бек. Прикороти свой язык. Посмей только еще хоть слово сказать сыну, я тебе бороду по волоску выдеру, тощее привидение!..

Гаффар-ака тоже не уступает. Отшвырнув недовязанный веник, он решительно подходит к дувалу:

— Замолчи, злобная старуха!..

Скандал разгорается еще жарче.

Собираются соседи. Все пока молчат. Тетя Рохат, стиравшая в глиняном корыте в дальнем углу тесного двора, только хмурится да время от времени насмешливо кривит губы.

Между тем Гаффар-ака и старуха поносят друг-друга такими словами, что и на лопате не удержать. Старик, красный, как гребень петуха, расвирепел и уже, вероятно, не понимает, что срывается с языка.

Брань и взаимные проклятья длятся долго. Наконец, вмешиваются соседи: «Довольно, довольно! Хватит вам!»— и кое-как тушат ссору. Гаффар-ака и старуха, уморившись ли, а может, устыдившись соседей, скрываются в своих норах.

\* \* \*

Каждый день — школа. За зиму я закончил коран. Однажды учитель подзывает меня к себе и говорит:

— Благородный коран ты заучил, высказав должное прилежание, хвала тебе, сын мой! Да... А теперь неси

«Суфи Аллаяра», только...— О! на минуту задумался, зажмурив глаза.— Только условие такое: вместе с «Суфи Аллаяр» принесешь блюдо жирного плова с мясом, узел сдобных лепешек и рубль деньгами. Хорошо?

Потупившись, я молча наклоняю голову и почтительно киваю в знак согласия. А после учения бегу домой. Кричу с ходу:

— Мама, мама! Я уже кончил коран, перехожу к «Суфи Аллаяр». Учитель сказал, надо принести блюдо плова, сдобных лепешек и рубль деньгами.— И обнимаю мать за шею.— Мамочка, я обязательно должен отнести все, что требует учитель, иначе...

Мать прижимает меня к груди.

— Жертвой мне стать за тебя!— говорит она улыбаясь и раз за разом целует меня. Однако радость, на один миг вспыхнувшая у нее в глазах, тотчас гаснет.— Учитель твой хороший человек, но есть за ним одна слабость — назойлив он и сорвать любит. Я со всей бы душой приготовила плов, да ведь в доме ничего нет. Как тут извернешься?..

Весь день я капризничаю, пристаю, надоедаю. В конце концов добиваюсь своего: на следующий день утром мать, бедняга, готовит плов. С этим подношением, а также с рублем денег и с новой книжкой я и отправляюсь в школу.

«Суфи Аллаяр»— маленькая книжонка с религиозными стихами. В ней есть стихотворные рассказы о пророках, а также полные ужасов рассказы о судном дне. Стихи простые, язык хороший, но — сплошное суеверие!

Каждый день я учу стихи, до хрипоты, до помутнения в глазах, и очень скоро начинаю читать их довольно лично.

Наступает весна. Всюду тюльпаны, яркая зелень трав. Журчит вода в переполненных арыках. Деревья в цвету. В поднебесьи плывут отливающие атласом облака.

Для встречи праздника науруза мы опять отправляемся за город. День проводим дурно — в схватках, в драках.

\* \* \*

Как-то утром бабушка, уходя из дому, прихватила с собой и меня. По дороге к нам присоединились Сара Короткая, Сара Длинная, невестка Гаффара-ака и еще немало других женщин нашего квартала.

Вышли на улицу, по которой бегают конка. На перекрестке по случаю пятницы кишат толпы народа. Мы идем вдоль крутого берега канала. Я шагаю впереди, на голове — большой узел со сдобными лепешками. Вдруг, смотрю, из яра навстречу нам скачет конь, видно, убежал, сбросив хозяина. Женщины в испуге метнулись в сторону. А я стою, как вкопанный, смотрю ему вслед — такой он могучий и красивый на редкость. Поэтому, наверное, я и не испугался, хоть мне показалось, что конь пронесся прямо у меня над головой. Вскоре из яра, прихрамывая, убежал хозяин, весь мокрый, запыхавшийся.

Переходим по мосту канал, долго шагаем улицей Алмазар. Минуем полицейский участок со свирепыми миршабами у ворот. Потом, не доходя Беш-агача, сворачиваем в какую-то узенькую улочку, тихую, прохладную, с журчащими арыками вдоль дувалов, с утопающими в садах дворами. За дувалами видны высоко поднятые на четырех столбах помосты, увитые виноградом, деревья, ветви которых свешиваются на улицу, глиняные крыши домов и других построек с коврами зеленой травы, расцвеченной алыми маками.

Справа показались огромные ворота с двухскатным навесом. Через эти ворота мы входим на просторный двор с двумя рядами новых помещений по сторонам, крытых камышом и глиной, но добротных. Во дворе много цветов: желтых, красных, белых — всяких. Здесь уже собрались толпы женщин и старух. Сновали кучки шумных и озорных ребятишек.

На середине двора, возвышаясь, словно громоздкое надгробье с куполом, на широком низком табурете восседала ишан-аим, тучная женщина с багровым, как гребень петуха, лицом, с широко распахнутыми бровями и подведенными сурьмой глазами. На ней был длинный черного бархата бешмет, под ним белое шелковое платье, на голове — тонкий кисейный платок, а поверх него еще один, шелковый фабричный, как у завязанной щеголихи.

Подходит толпа разодетых жен богачей. Одна за другой они бросают к ногам ишан-аим звонкие золотые, синие бумажные пятирублевки, красные десятки. Отходят в сторону, перемигиваются между собой, насмешничая над бедными старухами, принесшими сюда медные пятаки или чудом сэкономленные серебряные полтинники.

Ишан-аим, нахмурив брови, сидит молча, строгая и неприступная. Лишь время от времени повернет голову, с чуть приметной улыбкой шепнет что-то на ухо кому-либо

из спящих вокруг и снова застынет, как монумент. Наконец, она медленно поднимается с табурета. Женщины тотчас образуют широкий круг, ишан-айм, важно ступая, начинает радение. Старухи идут по кругу, выкрикивая «Хув-хув!», поводя руками и изгибаясь то в одну, то в другую сторону, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Очень скоро многие впадают в экстаз, теряют власть над собой, выкрикивают «Хув-хув!» все громче, уже с хрипом. А в это время пять молодых женщин нараспев читают по памяти газели Машраба, Хафиза. Две из них, совсем молоденькие, красивые и статные. На них скромные, но дорогие платья, длинные камзолы, на головах сверкающие белизной кисейные платки. Голоса у женщин приятные. Читают они с большим чувством, самозабвенно, и я слушаю их, позабыв обо всем на свете. Долго слушаю... Кажется, чудесная музыка заполняет мне сердце, проникает в душу...

В кругу радеющих Сара Короткая и Сара Длинная. При взгляде на них меня душит смех. Особенно в ударе Сара Короткая. Из горла у нее вырывается какой-то писклявый хрип, изо рта брызжет пена. Голос Сары Длинной низкий, рокошущий. Она идет в голове круга радеющих. Бабушка моя, бедняга, стоит в сторонке, и слабым, чуть слышным голосом выкрикивает вместе с другими «Хув-хув!». А в ворота валят все новые и новые толпы женщин.

Сначала все это занимало меня, но вскоре надоело. Я отправляюсь в сад, шагаю среди урюковых, ореховых деревьев, вишен, черешен, старых раскидистых яблонь. Таких, как я, ребяташек, здесь много.

Ягоды черешни только-только начали краснеть, наливаясь соками. Я хватаюсь за нижнюю ветку, потихоньку поднимаюсь все выше и незаметно оказываюсь на самой верхушке старой черешни. Торопливо обрываю ягоды, сую по карманам. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется старик-работник. Задыхаясь от злости, старик начинает орать на меня:

— Эй, ты куда залез, подлый выродок!

Я смотрю на него сверху, стоя на упруго покачивающейся ветке:

— Отец, не ругайтесь, здесь много женщин, стыдно!

— Сейчас же слезай вниз, ублюдок!— сердито кричит старик.

Я секунду раздумываю: попасть в руки старику — дело нешуточное. Оглядываюсь. Вижу внизу, рядом с черешней, приземистую кухню, изловчившись, спрыгиваю на земля-

ную крышу и — наутек. Старик опешил, застыл на месте, схватившись за ворот от удивления: «Ну и озорник!» А я, переходя с крыши на крышу, разгуливаю, как ни в чем не бывало, обрываю низко склонившиеся ветви урюка, вишни, черешни. Потом, обнаружив невысокий дувал, спрыгиваю с него во двор и убегаю на улицу.

У ворот собралась толпа мальчишек. Играют в чижика, в классы и другие игры. Потом затевают борьбу. Сначала борются малыши, подростки — 12—14 лет. Мне тоже хочется попробовать свои силы, но я не решаюсь выйти в круг, смелости не хватает. Затем очередь доходит до больших, они борются на поясах. Атаман-заводила, приземистый, грудь колесом, голова с большой глиняный кувшин — вертится тут же, распоряжается: «Давай, давай, выходи! А ты отдохни пока. Толку мало от тебя, на ровном месте спотыкаешься!» Для ребят бороться на поясах — большая честь. Атаман сам перепоясывает борцов. Кое-кто скандалит, капризничает: «Атаман, смотрите, смотрите! У него поясной платок совсем слабо подпоясан!» И шуму, и споров вообще много. Кое-кто из побежденных плачет от стыда. А иные скандалят: «Это нечестно, нечестно! Давайте снова!» Но вот в борьбу вступают два паренька. Ого! Оба мускулистые, жилистые, крепко сбитые и по всему видно — отчаянные. Они рывком приподнимают друг друга, кружат, валят на землю, но ни одному не удается положить противника на лопатки. Не менее получаса, наверное, возятся борцы, здорово стараются. Оба обливаются потом, а одолеть друг друга не могут. Тогда заводила кричит им:

— Все, хватит! Молодцы, спасибо вашим родителям! Обоим вам быть силачами!

Борцы запыхавшись, отпускают друг друга.

— Тебя как зовут? Из какого квартала ты? — вытирая пот, с достоинством спрашивает один из них своего противника.

— Я из Кукчи. Зовут Бутабаем. А ты?

Тот опускается на корточки:

— Я из Шейхантаура. Никого из родных у меня нет, одна старая бабушка. Живем мы бедно, я делаю кирпичи. Видишь, руки у меня какие жилистые.

Паренька из Кукчи я немного знаю. Это мне льстит, и я спешу вмешаться в разговор:

— В квартале Кукчи у меня много родни. Я тебя знаю, Бутабай, отец твой кожевник, — говорю я борцу. — Ты большим силачом станешь, вон какой ты жилистый!

Мы шутим, смеемся, вспоминаем разные случаи.

Недозрелая вишня и черешня, видно, здорово продрали мне желудок. Я захожу в ворота и тихонько шепчу бабушке:

— Есть хочется, терпения нет. Хоть кусок лепешки достаньте мне.

— Потерпи немного, стыдно же,— прикусив губу, говорит мне бабушка.

— Все приношения — узлы сдобных лепешек, блюда плова — ишан-аим уже велела спрятать и запереть на замок. И караульщицу выставила у кладовки, какую-то старушонку, маленькую, сморщенную, но ядовитую до крайности.

Близко к вечеру начали раздавать машевую похлебку. Бабушка раздобыла мне немного похлебки, на две чашки, усадила меня на корточки:

— На, поешь. Это святая пища!

Похлебка оказалась жидкой и к тому же прокисшей. Браня в душе ишан-аим, я все же быстро опорожнил чашку. Потом наклонился к бабушке:

— У вашей ишан-аим только деньги на уме. И вы, наверное, порядочно отвалили ей, а?

Бабушка ущипнула меня за бок и зашептала испуганно:

— Закрой рот, озорник! Это же грех! Ишан-аим чистая, непорочная женщина, с утра до вечера она в молитве, в служении богу. Она из потомков пророка!..

— Чудно!— говорю я, широко раскрыв глаза от удивления. — Зачем же чистой, непорочной женщине деньги?

— Замолчи!— незаметно ткнув меня локтем, сердито говорит бабушка.

Покончив с похлебкой, я нарочно со стуком ставлю чашку на землю, говорю негромко:

— Бабушка, бабушка! А у вашей ишан-аим четыре дочки. Я подсмотрел, они на внутреннем дворе. Одна щеголиха, фасон давит, другая зазнайка — нос дерет. А как расфуфырены, покрашены все!..

Бабушка морщится от досады, сердито тарашит на меня глаза:

— Помолчи, бестолковый! Опозоришь...— и опять ущипнула меня, да еще с вывертом.

Я, хоть и больно было, громко рассмеялся.

На закате солнца мы вместе с соседями возвращаемся домой.



— Мама, хочу есть!— заорал я, едва переступил порог калитки.

— Проголодался?— удивляется мать.— Неужели ты остался голодным в таком богатом доме?

— Ишан-аим такая жадная, куда до нее нашему учителю!— говорю я, доставая хлеб из ящика.

Бабушка промолчала, только хмуро взглянула на меня, резко повернулась и скрылась в амбаре.

Мать ставит передо мной чашку лапши, присаживается напротив. Слушает меня с чуть приметной улыбкой. А я, жадно поедая лапшу, со всеми подробностями рассказываю обо всем, что видел в доме ишан-аим.

\* \* \*

Гавкуш — тесная улочка, но на одном из поворотов она расширялась в небольшую площадку, на которой арбакеши обычно оставляли свои арбы.

Иногда, если надоедало играть в чижики, в орехи, мы пользовались этими арбами для своих забав. Девчонки и мальчишки все вместе усаживались на дощатый помост между высокими колесами, а кто-нибудь катал арбу по этой площадке.

Помню такой случай. Арбу до отказа заполнили ребята. Я обеими руками ухватился за оглобли, чуть приподнял их. Вдруг арба, перевесив, опрокинулась назад. Я вместе с оглоблями взлетел вверх и, не удержавшись, шлепнулся на землю. Заорал во все горло: «Ой, руки! Ой, ноги!» Ребята с испугу застыли на мгновение. Потом горохом посыпались с арбы, окружили меня.

— Что у тебя болит? Что повредил?

Я поднялся с земли. Прихрамывая, сделал два-три шага и громко расхохотался:

— Дурные! Сгрудились на задке и опрокинули арбу. Я думал, под самые небеса взмахнул

Все опять кинулись к арбе. В это время подъехал высокий старик с загоревшим на солнце морщинистым лицом.

— Прочь отсюда! Прочь, сорванцы! Еще убьетесь, сверзившись,— закричал он на нас, выпрягая из арбы свою невзрачную заморенную лошаденку, до крайности тощую, с побитой спиной.

Мы оставляем арбу и молча усаживаемся на корточки в ряд по краю улицы. Перешептываемся между собой, сочувственно посмеиваясь над стариковой лошадью:

— Бой-бой-бой, как хворостинка высохла! Другой такой тощей, пожалуй, во всем свете не сыщешь!

Старик, хмурясь, забирает с арбы свои пожитки, хлопает ладонью по крупу лошади. Бедняга, низко опустив голову и еле передвигая заплетающиеся ноги, устало бредет к знакомой калитке.

Старик вскоре возвращается к арбе. Арба у него ветхая, расхлябанная, вот-вот развалится. Она вся в жестяных заплатках, на ободьях обрывки старых шин.

Мы начинаем поддразнивать:

— Арба у вас добротная, прочная, только поскрипывает да бренчит-дребезжит малость.

Агзам шепчет мне на ухо, но так, чтобы всем было слышно:

— Арба редкостная, допотопных времен. Мастер будет жив-здоров, она еще не раз будет чинена-перечинена...

Старик молча продолжает заниматься своим делом: крепит порастрескавшиеся ступицы гвоздями, смазывая оси колесной мазью. Вытирая перепачканными мазью руками пот, он и лицо себе расписал черными полосами. Мы подталкиваем друг друга, пересмеиваемся.

Вдруг, откуда ни возьмись, заявляется известный в нашей округе Расуль-орус. Прозвище «орус» (русский, русак) ему дано за то, что в разговоре он к месту и не к месту любил вставлять русские слова. Длинный, лицо узкое, морщинистое, с резко выпиравшей нижней челюстью, глаза наглые, на пальцах огромные перстни, в руке палка, а в зубах неизменная папироса,— он был постоянно пьян, торговал на базаре железным ломом и всяким тряпьем, хвалился, что хорошо говорит по-русски, а собственно умел только ругаться.

— Марш, хулиганы!— заорал на нас Расуль. Потом напустился на старика:— Эй, ты, арбакеш! Пошел отсюда, свинья! Забирай свою арбу, весь дувал мне развалил! Где у тебя глаза? Смотри, что это?— и тыкал палкой в осыпающиеся от дождя и ветра места дувала.

Старик, дрожа от гнева, перетащил арбу на другую сторону улицы.

— Эй, послушай! Что могло статься с твоим дувалом? Вон он стоит на месте, ослепнуть тебе!

Расуль бросается к нему с поднятой палкой:

— Убью, сволочь!..

Старик выходит из себя, отвечает непристойной бранью. А Расуль, коверкая слова, продолжает осыпать

его русскими ругательствами, вот-вот полезет в драку. Собираются жители квартала.

— Сын блудницы, безбожник!— выкрикивает выведенный из себя старик.— Эй, люди! Извел он меня до смерти, этот скандалист! Я занимаюсь своим делом, до его дувала и пальцем не дотронулся! Нажрется водки, очумеет и начинает скандалить, никому жизни нет от него!

Расуль-орус снова подступает к старику с палкой.

— Подожди, вот пожалуюсь на тебя в полицию, заохашь тогда. Водку я на твои, что ли, деньги пью, сгореть тебе в могиле? Ну, отвечай сейчас же!..

При упоминании о полиции всех бросает в дрожь. Несколько человек пытаются унять Расуля.

— Довольно, довольно, перестань. Хоть сединам его уважение сделай!— уговаривают они и в конце концов спроваживают Расуля домой.

\* \* \*

В квартале почти не осталось ребят, все разъехались, кто куда. Тишина кругом такая, словно улицу залило водой. От скуки я настроил решето-капкан, ловлю горлинок, воробьев. Но бабушка сердится: «Грех же!» Мать бранится. А дни-то долгие-долгие.

Во дворе нашего соседа торчало единственное дерево — яблоня, высокая, уже старая, наполовину засохшая, но она еще родила. Яблоки на ней только-только начали поспевать. Хозяев дома нет — перекочевали за город, там у них усадьба с садом. Мы — Агзам, Ходжи и я — персмакнули через дувал, взобрались на яблоню. Яблоки червивые, безвкусные, как вата. Но нас это не смущало — мы наелись досыта, насовали яблок за пазуху. Потом начали трясти яблоню, что есть силы, но слезть и собрать яблоки не успели: снаружи неожиданно загремела цепочка, открылась калитка, во двор вошел хозяин дома. С длинной хворостиной в руке он подошел к яблоне и закричал, задрав голову:

— Слезайте, негодники!

Бледные, растерянные и жалкие, мы пританцались на яблоне. Слезать — боязно. И не слезать — нельзя. Бежать — как тут убежишь?! Чувствуя, как дрожат ноги, руки, мы медленно спускаемся на землю. Хозяин дома стоит над нами. Раза два замахнулся хворостиной, но почему-то бить не стал, а только пригрозил:

— Второй раз вздумаете перелезть через дувал, тронуть яблоню, ноги переломаю!

— Дяденька, больше никогда не тронем!— захныкали мы в один голос.

Хозяин ничего не ответил, молча повернулся и ушел в дом. А мы в одну секунду оказываемся на улице.

...Солнце палит. Пыль на улице раскаленным угольем поджаривает ноги. В воздухе, вычерчивая круг за кругом, медленно кружит коршун. Воробьи здорово дразнят его. Подлетят близко-близко и — раз! — нырнули вниз. Коршун, поддавшись на их уловки, бросается вслед, но всякий раз оказывается обманутым. Нас забавляет эта игра. Потом мы взбираемся на крышу высокого двухэтажного дома, ищем гнездо трясогузки.

— Нашел, нашел!— шепчу я товарищам.

Трясогузка сидела на яйцах. Она вспорхнула и улетела. Ребята с интересом рассматривают яйца, осторожно перекатывают их на ладонях.

— Ребята, не будем трогать,— говорю я.— Пусть она высидит птенцов.

Переходя с крыши на крышу, мы добираемся до Акмечети и затем до Балянд-мечети. Крыши горячие, воздух пышет пламенем, но мы не замечаем жары.

Бай и их сынки злятся, кричат снизу:

— Эй, что вы там делаете? Убирайтесь с крыши, нищее отродье!

Но мы не остаемся в долгу, выкрикиваем хором:

— Скупой бай! Жадный бай! Глупый бай!— швыряем комья земли и убегаем.

Так проходит время. Каждый день мы посещаем школу. Ученье дается с трудом. Многие ребята учатся по четыре, по пять, по шесть лет и бросают, дойдя до «Хафтияка». В учении нет твердо установленного порядка, правил, нет отдельных классов. В одной комнате громко, во весь голос, зубрим мы каждый свой урок. У кого есть усадьба, те всю весну и лето проводят за городом. А те, кто остался здесь, как я, например, хоть и дуреют от жары в душном классе, хоть учение опротивело нам до отвращения, вынуждены отсиживать положенное время в школе, завидуя счастливым и мечтая хоть о маленьком садике.

— Отец говорил: вот накопим денег немного и купим сад,— вздыхает один из мальчишек.

— Денег накопить можно, если быть бережливым,— вступает в разговор другой.— Дядя каждый годовой праздник дарит мне пятак, а я сейчас же прячу его в шкатулку

и запираю. Пусть это будет через тридцать — сорок лет, а на сад я обязательно накоплю. Отец говорит: капля по капле — озеро собирается...

Все мы громко хохочем.

— Сад — штука хорошая, да разве накопишь на него, собирая по пятаку?!

— Отец у меня парикмахер, — невесело говорит третий, — как мы можем накопить денег? Казан кое-как киятим, да и то один день — мучная похлебка, другой — постный суп...

Я молчу, понурившись.

На школьном дворе, у хауза растут красивые шелковицы с пышными кронами. Учитель приказывает нам перекопать в тень шелковиц. Поднимается суматоха, мы подхватываем циновки, старую ватную подстилку, облысевшую овчину учителя и бежим к хаузу.

— Дети! Смотрите, циновки истрепались уже. Несите по целковому кто побогаче, по полтиннику с остальных, — строго приказывает учитель.

Требование денег на циновки особенно огорчает и вызывает беспокойство у ребят из бедных семей.

Жара стоит нестерпимая. Замерли, не шелохнутся листья на шелковицах. Разморенные духотой, утомленные зубрежкой, полусонные, мы затихаем. Тогда учитель внезапно встает и начинает хлестать нас всех подряд плетью.

— Господин! Вот уже третий день, как запропал Али. Если разрешите, я схожу к нему домой, узнаю, в чем дело, — с поклоном спрашивает учителя Агзам.

— Сиди, учи свой урок! — сердито обрывает его учитель. Потом приказывает мне и двум пятнадцатилетним подросткам, отличавшимся силой: — Идите, разыщите и приведите его, подлого!

Радуюсь неожиданной свободе, мы все трое разом срываемся со своих мест и убегаем.

Дом Али в квартале Джар-куча. Мы входим во двор, здороваемся с его матерью:

— Ассалам алейкум! — Спрашиваем: — А где Али? Мы пришли за ним.

— За ним пришли? — говорит обрадованная мать Али. — Этот озорник на качелях качается вон на том дворе. Вы подойдите тихонько и сразу хватайте его, иначе он убежит.

Мы идем, осторожно ступая на цыпочки. Али и правда на качелях. А чуть дальше две хорошеньких девчонки собирают цветы в цветнике.

Качели устроены между двумя карагачами. Али с увлечением летает вверх-вниз.

Мы подбегаем внезапно. Али бледнеет, прыгает с качелей. Но один из моих спутников успевает схватить его и вывернуть ему руки.

— Идем, быстро! Пикнешь только, «пастилу» устроим — схватим за руки, за ноги и понесем,— пригрозил он.

Девчонки застыли, пораженные, поглядывают то на Али, то на нас. Встряхнув его хорошенько, парень освобождает руки Али.

— Ну, пошли!— говорю я.— Бери свою сумку.

Али с минуту молчит, понурившись. Потом, не поднимая глаз, начинает упрашивать нас:

— Учитель злой, прибьет... Сегодня вы не трогайте меня, завтра я сам приду.

— Идем, друг. Учение, конечно, дело не простое. Это все равно, что иглой колодец копать,— мягко говорит второй паренек.— Но ты все-таки не бросай школы, потом жалеть будешь.

Расфранченные соседские девчонки, хмурые и погрузневшие, уходят к себе домой. Али тоже, казалось, решил сдаться, он покорно вешает через плечо школьную сумку и первым выходит со двора. Но на улице, когда мы проходим мимо полуразвалившегося дувала, он ныряет в пролом. Мы разом бросаемся за ним. Али перепрыгивает через низенький дувал в соседний двор, а там по лестнице взбирается на крышу.

— На крышу убежишь, за ноги стащим, в землю зароешься — за уши вытащим!— грозит ему один из моих спутников.

Мы все трое быстро поднимаемся по лестнице. Али мечется с одного края крыши на другой, но деваться ему некуда. Мы настигаем его в конце концов и тащим к лестнице. Али тяжело дышит, запыхался.

— Пустите, я сам пойду,— говорит он.

Хмурые, обозленные, мы отпустили руки Али. А он внезапно отпрянул от нас, метнулся на противоположную сторону и спрыгнул на землю.

— Убежал, убежал!

Ребята метнулись с крыши, погнались за беглецом. Скатившись с лестницы, я тоже бегу за ними. Али летит стрелой, но ребята не отстают, грозятся: «Вот, погоди! Мы тебя...» Али убегает к Шейхантауру. Мы несемся за ним.

В конце концов, запыхавшиеся, усталые, мы ловим Али. Вывернув руки за спину, скручиваем его собственным

поясным платком и, браня и угощая тумаками, тащим в школу.

— Нет, не пойду!— говорит Али, упершись ногами в землю.

Он весь дрожит. Мы грозим ему. Упрашиваем, но он не поддается. Тогда мы тащим его: двое парней подхватывают под мышки, а я подталкиваю сзади.

Али ревет, брыкается, кусает нам руки. Лавочки и мясники смеются:

— Сбежал из школы? Тащите, так ему и надо!

Когда добраемся до Ак-мечети, Али со слезами начинает умолять нас. Мы не отвечаем, молча тащим его и доставляем, наконец, в школу. Втроем, перебивая друг друга, рассказываем обо всем учителю. Али дрожит. Учитель, крепко стиснув зубы, поднимает плеть. Но мы вступаемся, спрашиваем:

— Господин! Он покался, больше не станет убегать. Он крепко пообещал нам...

Учитель медленно опускает плеть и прячет ее под овчинную подстилку.

— Садись! Садись же!— кричит он сердито.

Али, то бледнея, то краснея, мешком опускается на свое место и раскрывает книгу.

\* \* \*

Почти каждый день, возвращаясь из школы, я наведываюсь в мастерскую к деду.

Однажды дед послал меня к своему приятелю принести правило и сапожного клею. Я бегу кривыми узенькими улочками. Захожу на чисто подметенный двор. Здесь пышно цветут базилик, разных сортов петушьи гребешки, мальва.

Мастер работал вместе со своими учениками и подмастерьями. Узнав, зачем я пришел, он пошутил:

— Правила у меня нет, малыш, украли джины.— И выдержав паузу, прибавил:— А вот лягушек предостаточно...

Я выхожу из себя. В нашем квартале любят давать каждому прозвища, но когда моего деда называют лягушкой, я злюсь.

Заскучавшие за работой подмастерья и ученики тоже начинают разыгрывать меня. Один, уже пожилой подмастерье, косой, картавый, заросший бородой, размяв щепоть табаку, раскуривает чилим. Предлагает, обращаясь ко мне:

— Отведай, братец. Такое удовольствие получишь!

Я отказываюсь, но он сует мне в рот чубук, а сам, приложившись губами, сильно дует в отверстие кубышки. Рот мой наполняется горькой ядовитой водой, я кашляю чуть ли не до рвоты. Мастер и все его подручные хохочут.

Получив правило и клей, я тотчас выбегаю из мастерской. А очутившись во дворе, оборачиваюсь, выкрикиваю:

— Откормленный баран! Откормленный баран!— и улетаю со всех ног.

Мастер нарочно кричит подмастерьям и ученикам:

— Держи! Держи этого лягушонка!— и хохочет мне вслед.

\* \* \*

В мастерскую к деду каждый день приходил кто-нибудь из жителей квартала провести время, от скуки поболтать о том, о сем. Был у него один знакомый, слушатель медресе, одинокий старый холостяк лет за пятьдесят, всегда чисто одетый, видный такой из себя, с умными, немного грустными глазами, с коротко подстриженной аккуратной бородкой. Он тоже иногда заходил и подолгу беседовал с дедом.

— Почтенный, расскажите нам что-нибудь из прошлого,— как-то попросил его дед.

Тот долго рассказывает о событиях в Кашгаре, в Китае. Я, затаив дыхание, слушаю его.

— Почтенный! Говорят, Худояр-хан стал пленником русского царя. А потом по слухам оставил своих жен в Туркестане и сам будто бы отправился в Мекку. Расскажите, как оно было. Правда, отправился он в Мекку или же до сих пор находится в плену?— спрашивает дед.

Старик степенно, не торопясь, начинает речь издали. Подробно рассказывает о падишахах, их женах, о беках, о разных событиях времен Тимура, об известных полководцах. Потом переходит к Худояр-хану.

— Худояр был ханом, слепым в своей жестокости, погрязшим в разгуле и разврате. И вот, он сгинул,— говорит старик.

— Все они на один покрой. Русские пришли — избавились от них. Только и царь тоже не отстаёт от них в тиранинстве,— говорит дед.

— Да, все они на один покрой,— соглашается старик. И помолчав, вздыхает.— Справедливого владыку-падишаха надо бы.



Я молча слушаю, прикорнув позади деда. А когда старик уходит, спрашиваю:

— Дедушка, он еще придет, этот ваш знакомый?

— Придет. На будущей неделе в четверг придет, сынок. Он долго жил в Кашгаре, а сам ташкентский. Редкостный человек, очень большой грамотей. Историю знает, как свои пять пальцев!— хвалит знакомого дед.

\* \* \*

Поднимая за собой легкое облачко пыли, я катаю обруч у калитки дедова двора. Внезапно появляется конный миршаб, очень свирепый и жестокий человек, с длинными усами, с коротко подстриженной бородой, в папахе и с саблей на боку. Он сосед деда. Все жители квартала очень боятся его, заискивают перед ним.

Резко остановив около меня лошадь, миршаб орет:

— Ты что тут пыль поднимаешь, мерзавец?! Лошадь мне испугал.

Задрожав от страха, я спешу поздороваться:

— Ассалам алейкум!— Бормочу растерянно:— Я так... играл тут... господин...

Миршаб громко стучит рукояткой плети в калитку деда:

— Суфи! А ну, идите сюда!

Перепуганный дед, спотыкаясь, выбегает со двора. Униженно кланяется, сложив руки на груди.

— Ассалам!..— Спрашивает, поглядывая то на меня, то на миршаба:— Что случилось, господин мой?

— Чей это мальчишка?— грубо спрашивает его миршаб, показывая на меня рукояткой плети.

— Господин, это мой внучок, вы же знаете. Он большой озорник, но... парнишка неплохой,— невольно улыбается дед.

Миршаб, конечно, хорошо знал меня, просто хотел покуражиться, чтобы показать свою власть. Сердито взглянув на меня, он напустился на деда:

— А почему он пылит на улице, а? Лошадь испугалась, чуть не разнесла...— Он строго смотрит на деда, бросает в рот целую горсть насвая.— Ну, ладно, на этот раз прощаю. Наказал бы как следует, да ради вас пожалею дурня. Раз он ваш, вы и проберите его хорошенько. Мы живем в царствование владыки мира белого царя! А где же порядок?

Дед с напускной строгостью грозит мне пальцем, потом заискивающе говорит миршабу:

— Ребенок он, ребенок же... Мал еще, простите его, братец!

Меня зло берет, но что я могу поделывать? Стою, молчу. Миршаб, не отвечая деду и все еще хмурясь, слезает с лошади у своей калитки и входит во двор.

Когда миршаб скрывается с глаз, дед-бедняга берет меня за руку:

— Идем!

Мы входим в мастерскую. Подмастерья, ученики, оба дяди интересуются:

— Что такое? Что случилось?

Дед объясняет им.

— Эх, ножом бы на куски исполосовать этого миршаба!— говорит один из учеников.

— Тиранов великое множество, други мои, прибегайте к аллаху, только это нам и под силу,— говорит пожилой подмастерье.

Дед наставляет меня:

— Этот проклятый миршаб — тиран и притеснитель, да что мы можем...— говорит он, усаживаясь на свое место.— Когда бы ни повстречался с ним, приветствуй его саламом. Обязательно. Непременно! Беги от тирана, держись от него подальше...

Но я зло молчу и вскоре отправляюсь домой.

\* \* \*

Бабушка, нацепив очки, латает что-то на террасе. Здесь же расположились с шитьем мать с сестренкой.

Время далеко за полдень. Жара адская. На террасе роем гудят мухи. Бабушка поминутно отмахивается от них, тихонько напевает про себя какую-то песню.

В калитку входит дядя Муслим:

— Ассалам алейкум!..

— А, заходи, заходи!— говорит ему бабушка. Она бережно кладет на полку очки, убирает работу.

Мать с сестренкой разом встают, приветствуют гостя. Потом мать уходит во двор, ставит самовар.

— Как здравствуете?— спрашивается у бабушки дядя Муслим, усаживаясь на узкую, стеганую на вате подстилку.

— Слава аллаху!— говорит бабушка и после краткой благодарственной молитвы спрашивается о домашних дяди:— Хайриниса-бану жива-здорова ли? Как невестка? Наверное, уже скоро родить ей?

Дядя Муслим высок ростом, у него густая окладистая борода, кустистые брови. На нем длинная просторная рубаха, поношенный халат, обычная замусоленная тибетейка. На грязных пыльных ногах огромные кауши из грубой кожи, одни зимой и летом.

Дом дяди Муслима тоже в квартале Гавкуш. Место это осталось ему от моего прадеда, отца бабушки. Двор у него большой, но дом и постройки низенькие, невзрачные. Во дворе на берегу арыка каждое лето цветут два куста чайных роз, ночные красавицы, петушки, шаровидный базилик.

Я часто бываю у дяди. На внешней половине двора у них растет старая тенистая яблоня. Каждый год она родит уйму кисло-сладких яблок, правда, червивых. В такую пору я часто там бываю и возвращаюсь с полным подолом яблок.

Дядя Муслим берет свисающую из-под тибетейки уже увядшую веточку базилика и протягивает ее Каромат:

— На, понюхай, свет мой. Это базилик, райская травка...

Сестренка с легкой улыбкой принимает подарок.

— Как ваши дела? Когда вернулись из Заркента?— спрашивает бабушка.

— Изворачиваемся кое-как, скитаемся в заботах о питании. Вот в город прибыл, два дня назад,— поглаживая бороду, степенно отвечает дядя.

Дядя Муслим ведет мелочную торговлю в Заркенте. Говорят, в лавке у него можно найти все, начиная от ниток-иголок и кончая ночными горшками и камышевыми трубочками под зыбки младенцев. Есть у него старая скрипучая арба и костлявая запаршивевшая лошаденка, которая никогда не видит зерна и постоянно довольствуется сеном да палыми листьями. Дядя до смерти прижмист и скуп. Эта особенность его характера известна всем и служит предметом постоянных насмешек.

Бабушка, поговорив о том, о сем, начинает жаловаться:

— Вот уже семь месяцев от Таша никаких вестей. Рис кончается, маш кончается, в хумах дно уже завиднелось. Чуточку пшеницы осталось, вот и все наши запасы. Невестка с внучкой тесьму ткут на продажу, тем и кипят котелок. Таш лишь изредка пришлет три—четыре рубля, и опять ни знака от него, ни признака. Забот-печалей много у меня, Муслимджан.

— Не огорчайтесь, потерпите. У Таша малость долгу есть, вот разделается он, тогда и заживете спокойно. Он щедрый человек...— говорит дядя, покачивая головой.

— Да пошлет ему аллах удачи и преуспевания в делах его! Пусть после меня долго живет он, детей своих растит,— со слезами говорит бабушка.

Они долго беседуют о всякой всячине. Дядя, заговорив о жене, тетушке Хайринисо, болезненной женщине, уже не поднимающейся с постели, жалуется:

— Все ей нездоровится. Измаялся я уже из-за ее болезни. И сама она в лучинку высохла. То требует муллу злых духов изгонять, то ворожею зовет. Канители столько,— говорит он и машет рукой:— Э-э...

Бабушка вздыхает.

— Жена твоя хорошая женщина. Извелась она от заботы, детишек ради старалась. Ты с ней по-доброму, по-хорошему. Хворь у нее тяжкая, пощедрей будь, Муслимджан, не скупись...

Мать приносит кипящий самовар.

Бабушка достает хлеб, сахар, изюм. Беседуя, они долго пьют чай.

— Ну, благословите, тетушка,— говорит дядя степенно.— Завтра приходите к нам. Принесу с базара голову, ноги, требуху. Люблю! Очень уважаю! Особенно голову и требуху. Хорошая еда! Было бы не худо приготовить вареной бараньей колбасы, начинив кишки и требуху мясом и рисом, да, жаль, дороговато обойдется, пожалуй. Впрочем, посмотрим, может, и соорудим, если попадется пошевле...

Бабушка, посмеиваясь, обещает.

— Добро, приду завтра. Скучно мне, ладно уж, поразвеюсь малость.

Сунув ноги в свои пудовые, твердые, как железо, кауши, дядя прощается. Как только он скрывается за калиткой, мать и сестренка весело смеются. А бабушка старается оправдать его (она хорошо знает характер и привычки дяди Муслима, но не любит, если кто-либо начинает подсмеиваться над ним);

— Основательный, расчетливый человек, рачительный хозяин. Худо ли, что он вовремя закупает пшеницу, рис по дешевой цене? Или он должен на ветер пускать богатство, добытое с таким трудом?

— Дядя Муслим хороший,— говорю со смехом,— только скупой. Лошадь у него — чудо из чудес. И арба тоже, как «чертово колесо», скрипит-дребезжит, вот-вот разва-

лится. Деньги он хранит в глиняном кувшине. На ногах — какие-то допотопных времен кауши. На голове — замусоленная тибетейка...

Бабушка сердится, бранится. А я убегаю на улицу.

\* \* \*

Я влетаю во двор, запыхавшийся, взволнованный.

Бабушка сидит за прялкой. Мать склонилась над шитьем, разложенным на коленях.

— Мама, мама, вот интересно!..

— Что такое?— спрашивает мать, не отрываясь от работы.

— Старая учительница сидела, читала коран, а одеяло под ней вдруг как вспыхнет, как запылает! Учительница вместе с Султаном-ака еле-еле затушили. Ух и здорово горело!— захлебываясь, говорю я.— Я сам видел, с крыши. Учительница говорит, это джины и пери подбросили огня. А Султан-ака, знаете, нахмурился, намекнул что-то на Ядгар. Пери, говорит, иногда к нам заявляются, это, говорит, их проделки.

Мать переглянулась с бабушкой.

— Чудно,— пожимает она плечами.— Говорят, Ядгар водится с пери, не знаю... И джины будто бы дружат с Ядгар. Как-то штора на окне у них ни с того, ни с сего вспыхнула вдруг. Однажды Султан-ака возвращался вечером с молитвы домой, только переступил порог калитки, как вдруг— трах! — кто-то треснул его по лбу. Оглянулся он, кто бы, мол это? Нигде никого не видеть. Короче, разговоров всяких много. Говорят, это проделки джинов, мне не раз приходилось слышать об этом от соседей.

— Бе!— машет рукой бабушка.— Я тоже слышала, да что-то не очень верю.

В это время во двор врывается Сара Длинная.

— Вай-буй!— выкрикивает она на ходу.— Что такое? Уши заложило вам, что ли, замстило, что ли?! Чудно! Во всем квартале переполох, учительница чуть не сгорела, а они сидят себе, шитьем занимаются!— Возбужденная, запыхавшаяся, Сара Длинная тут же плюхается на край террасы.

— Слыхали уже,— досадливо поморщившись, отвечает ей бабушка и продолжает равнодушно:— Огонь — штука опасная. Да сохранит аллах от бедствий наводнения, от бедствий пожара.

А Сара Длинная, скривив губы, заговорила так, что язык не успевает поворачиваться:

— Это не иначе, как проделки пери. Бой-бой-бой! Не угодишь им, жизни не будет от них! Только расставшись с невесткой, и смогут они избавиться от всех этих страстей. И учительница, и Султан...— Сара Длинная переходит на шепот:— Да и муж Ядгар, Эшбай, такой бездельник, день и ночь в чайной с уличными парнями анашу курит. Вот и не пришлось по нраву пери. Как-то раз, когда Эшбай спал, задавая храпака на весь дом, пери надавали же ему звонких пощечин!..

\* \* \*

Есть у меня товарищ, по имени Тургун. Мы с ним ровесники и закадычные друзья. Он порядочный хитрец и не отличается постоянством, но зато у него много и хороших качеств. Он ловок, сообразителен, боек на язык. В нашем квартале он поселился недавно, но мы с ним быстро подружились.

— Друг,— сказал он мне однажды,— я был на базаре, барабанов там столько — глаза разбегаются. Я купил бы, да отец бранится: какой, говорит, там тебе барабан при нашей бедности? Ругается: я, говорит, нищий штукатур, а у тебя все помыслы о барабане. Ни к чему это! Все мои надежды на барабан оказались напрасными.— Тургун горестно покачал головой:— Эх, барабан, барабан!

Отец Тургуна штукатур, хилый болезненный человек. Большею частью сидит без дела. Это был один из многих бедняков, влачивших жалкое, полуголодное существование.

— Когда мне приходится бывать на базаре, я почти все время верчусь около продавцов барабанов,— невесело говорит Тургун.— Слушаю, как они играют. А иногда попрошу: «Мулла-ака, дайте и мне сыграть».

Я и сам, когда бывал на базаре, заглядывался на барабаны и бубны. Поэтому сочувствую Тургуну, спрашиваю:

— Слушай, Тургунбай! Неужели отец так и не даст тебе денег на барабан?

— Э-э!— Тургун безнадежно машет рукой.— Умоляю, плачу — все без пользы. Барабан, он здесь у меня, в сердце!— говорит он, ударяя себя в грудь. И, помолчав с минуту, продолжает с горькой усмешкой:— Отец у меня до смерти скуп, тугой, как камень. Как-то говорит мне: «Лад-

но, куплю тебе барабан, только потерпи немного, терпение — золото». Наобещал, наполнил пазуху пустыми орехами, как говорят, на том все и кончилось.

Я бегу домой. Мать с сестренкой ткали тесьму.

— Мама, мама! На базаре уйма барабанов. Гремят звонко, играть на них просто... Купите мне!— Я прильнул к матери, принялся упрашивать:— Барабан — редкостная вещь, на нем что хочешь можно сыграть. Люблю барабан!...

Мать даже головы не подняла от работы. Спрашивает устало:

— Это еще что за прихоть?

— Барабан — забава для уличных парней. Не покупайте!— говорит Каромат, хмуря свои красивые брови.

— Вас это не касается!— сердито возражаю я сестренке и снова пристаю к матери. Плачу, капризничаю.

Только после того, как мать, вскочив, раза два больно стегнула меня прутом, я, потеряв всякую надежду, перестал хныкать.

\* \* \*

Во дворе мечети у хауза мы снова и снова в сотый, в тысячный раз повторяем опостылевшие уроки. У всех пересохло в горле, помутилось в глазах, но в руках дощечки с азбукой, хафтияки, кораны... Навои, Хафиз, Бедиль. Сидим, покачиваясь, и твердим, твердим без конца.

В хаузе квакают лягушки. На ветвях шелковиц шумно ссорятся воробьи. Азбука, стихи корана, газели Навои, Фузули, персидские бейты Бедилия — все это звучит вместе, переплетаясь и перемешиваясь, и над школьной площадкой в воздухе постоянно клубится непрерывный, невообразимый галдеж. Этот галдеж заполняет уши. От него тупеет голова, тупеет слух... А мы, кто — покачиваясь из стороны в сторону, кто — вперед-назад, кто — прикрыв глаза, кто — засмотревшись в чистое небо, твердим и твердим...

Как раз напротив школы, расположившись в ряд, сидят на корточках миршабы. Здесь их канцелярия — участок. Шныряют туда-сюда; одни заходят, другие выходят. Все злые, дерзкие, грубые и, как на подбор, безобразные.

Если учитель хоть ненадолго оставлял нас одних, мы гурьбой бросались на улицу и развлекались, глаза на постоянную суматоху у полицейского участка. Когда мимо участка на резвых иноходцах или на сверкающих лаком фаэтонах проезжали чванливые баи и их сынки, миршабы

дружно вскакивали и подобострастно кланялись им. А бедняки, поденщики, неимущие сами сгибались чуть ли не вдвое и дрожали от страха, боясь гнева и ярости свирепых блюстителей порядка. Я наблюдаю за всем этим и в голове у меня как-то сам собой возникает вопрос: «Почему все миршабы такие злые и вредные? Почему среди них нет ни одного доброго и милостивого к беднякам?..».

Появляется учитель, и мы стремглав бежим в школу.

Один из наших мальчишек, из байских сынков, похвалился мне:

— А я купил новый большущий барабан!— Он показал руками, как велик барабан.— После полудня, когда кончатся уроки, пойдем к нам, поиграем.

— Неужели купил?— недоверчиво спрашиваю я.

— Ну да. Вчера сказал отцу, а к вечеру, смотрю, уже приказчик бежит с барабаном. Денег у нас всегда сколько хочешь. А с деньгами — все можно. Захотел только — раз! — и барабан у меня в руках, — тихонько талдонит байбача.

— Я тоже куплю себе, как только мать получит деньги, — потупившись, не очень уверенно говорю я. А про себя думаю: «Если бы твоя мать долгими ночами при свете плошки сидела за тесьмой, а сам ты ради нескольких серебряных монет бегал по базару, ты бы, пожалуй, не трепал так языком!».

После уроков байбача потащил меня к себе.

На просторном внешнем дворе, вдоль большого шумного арыка, огромный, как луг, цветник. А по сторонам — красивые здания, террасы с резными решетками.

Байбача бежит на внутреннюю половину и возвращается со своим барабаном. Барабан такой — чуть тронул пальцем, отзывается звонким — бом! Байбача берет палочки и начинает беспорядочно колотить по туго натянутой коже.

Я громко хохочу:

— Друг! Играешь ты здорово, только ладу не знаешь.

— А ну, попробуй сам, посмотрим, — подвигая ко мне барабан, говорит байбача.

Играть на барабане я умел немного. Приходилось слышать и видеть, как играют на свадьбах и в праздники, особенно во время тридцатидневного поста, когда на Шейхантауре, на крыше медресе, били в огромный, как котел, барабан. Практика, правда, у меня была небольшая. И вместо барабана я пользовался обычно бабушкиным тазом. Но все-таки я кое-что понимал в этом деле.



— Не знаю, может, разучился уже,— говорю я байбаче, щелкая пальцем по барабану.

— Играй, играй, чего там!— ворчит байбача.

Я задумываюсь, стараюсь припомнить какой-нибудь мотив. Внезапно начинаю выбивать дробь и сам себе удивляюсь: получается!

— Ийе, да ты мастер, оказывается! Наверно, барабанщиком задумал стать?— говорит байбача, выпятив нижнюю губу. И тут же прибавляет, глядя куда-то в сторону:— Ну, хватит. Надоело уже.

Я досадую: только-только припомнил мотив и заиграл уверенно. Псворачиваюсь и молча ухожу со двора.

После этого барабан стал моей страстью, мечтой. Я каждый день пристаю к матери, плачу. Мать и бранила меня, и бить пробовала — ничего не помогало. Первой сжалилась надо мной сестренка Каромат, начала упрашивать мать, и в конце концов мы добились согласия.

В очередную среду мать завязывает в платок вытканную за неделю тесьму, и мы с Тургуном бежим на базар.

На Эски-Джува толкотня, давка. Особенно много женщин с тюбетейками и тесьмой. Торговля идет вяло, но со мной Тургун — озорной, хитрый и ловкий, он перехватывает каждого встречного:

— Купите, дядя! Очень добротная тесьма. Смотрите, какой шелк. А как туго соткана! Мы задешево отдадим, спешить надо, дело есть. Редкостная тесьма, берите, дядя, не ошибетесь!

В конце концов тесьма продана. Я бережно прячу деньги в потайной карман под рубахой, и мы с Тургуном отправляемся к ряду, где продают барабаны.

Каких только нет здесь барабанов! Мы долго ходим, присматриваемся. Под конец намечаем один небольшой барабан, какой подешевле.

Я потрогал барабан. Спрашиваю:

— Мулла-ака, сколько вам за него?

— Три теньги, братец. Очень добротный. Смотри, как натянута кожа — звенит!— говорит хозяин барабана, рябой мужчина.

— Что вы! Не стоит он этого,— говорит Тургун, стараясь сбить цену.— Величиной с льняное зерно, и не гудит, а фукает как-то...— Тургун дергает меня за рукав. Делаю вид, что барабан нам не понравился, мы отходим к другим продавцам.

Раза два так вот уходим и снова возвращаемся. В конце концов нам удается уговорить хозяина уступить. Платим

две с половиной тениги. Попеременно прижимая к груди барабан, бежим на свою улицу. Вокруг нас тотчас собирается толпа ребятишек.

— А ну, друг, оторви что-нибудь самое лучшее!— говорит Тургун, передавая мне палочки.

Я ставлю барабан на землю и выбиваю частую дробь. Ребята слушают, притихли.

— Как-нибудь мы заберемся с барабаном на крышу,— говорит Тургун.— Мусабай будет играть, а вы слушать и радоваться. А сегодня довольно.

— Ха, новая причуда!— говорит Сара Длинная, высунув голову из калитки.

— Теперь у всех ушные перепонки полопаются. От этого озорника никому житья нет,— сердито пищит из своей калитки Сара Короткая.

\* \* \*

Дядя Эгамберды кое-как держался некоторое время, но в конце концов болезнь одолела его, и он слег. Бабушка и особенно дед сильно волновались. А тетка, жена дяди, постоянно печальная, невеселая, копошилась еле-еле — всякая работа валилась у нее из рук.

Дядя то лежит, вытянувшись, то сидит, прислонившись к стене. Иногда, если здоровье чуть улучшится, немного пошутит, посмеется. Он осунулся, побледнел и похудел.

Дед одного за другим приводил табибов-лекарей, молодых и старых. Заставлял дядю принимать всякие лекарства, всевозможные травы. Но все это не помогало.

Я навещаю к дяде по несколько раз в день.

— А, заходи, заходи, племянник, — говорит дядя, подзывая меня к себе.

Иногда я задерживаюсь лишь на минутку, а иногда просиживаю около него часами. Мне нравится беседовать с ним.

— Как раз самая пора ловить перепелок подходит, племянник,— говорит дядя.

Я вижу в его глазах туман печали и страданий, тихонько вздыхаю. А дядя мечтает:

— Вот поправлюсь я, закатимся мы с тобой в степь. Всех перепелок силками подчистую переловим.

— Вот хорошо бы!— повеселев, подхватываю я.— Поправляйтесь скорее.

Дядя был большим любителем перепелок, очень умело воспитывал их, старательно ухаживал за ними. Постоян-

но высматривал мокриц, мух, доставал обрезки мяса, пчелиные соты с деткой и много всякой всячины. «Дядя твой — покровитель перепелок!» — тихонько шептали мне ученики и подмастерья.

Раньше, если ему удавалось заполучить нового перепела, он приглашал меня в комнату, таинственным шепотом приказывал закрыть двери, окна. Я тотчас исполнял его волю и тихонько подсаживался к нему.

— Голос подал, слышишь, племянник? Хорошо, а? Силен перепел! — искренне радовался дядя.

Побрызгав водой крылья перепелу, он бережно прятал птицу в рукав и отправлялся в чайхану. Если же перепел вырывался, пытался бежать, отдавал его мне. Смеялся:

— На, возьми. Это как раз по тебе птица.

Я сильно горевал, замечая, что дяде становится хуже. Высокий, ладный, большеглазый, с широкими сросшимися бровями, красивый, лежит он теперь в постели, пожелтел, осунулся, высох, как спичка. Я сижу рядом, притих, смотрю на него с жалостью. Дядя чуть слышно шепчет, не открывая глаз: «Одолела меня хворь... Одолела...». Чтобы скрыть невольные слезы, я бросаюсь на улицу.

На улице я скоро забываюсь. Неподалеку от нас жил бай, круглый, как шар, тучный человек с белой бородой и с огромным — арба мяса — животом. Вместе с выводком байских ребятишек я вхожу на просторный двор. На внешней и на внутренней половине двора роскошные, крытые железом дома. В комнатах всюду ковры, никелированные кровати, множество сундуков с разным добром. Меня подвели к какому-то блестящему новому ящику с большущей трубой. Один из мальчишек покрутил ушко сбоку. На ящике быстро-быстро завертелась черная плоская тарелочка, а из трубы вдруг зазвучала музыка, а потом кто-то вроде запел по-русски. Я ни слова не понимаю, но слушаю с интересом и с удивлением. Что за чудо?! Потом спрашиваю тихонько:

— Колдовство, что ли, тут? Как эта штука называется?

Ребята хохочут.

— Это граммофон. В Ташкенте таких вещей нет, отец из Москвы привез недавно, — поблескивая глазами, говорит один мальчишка. — Весь секрет в тарелочках, это они играют. — И тут же останавливает граммофон. — Ну, хватит, в другое время послушаешь.

«Вот бы потрогать его, — думаю я про себя. — И еще послушать бы!..».

Наступили мягкие, сентябрьские дни: пора созревания фруктов, арбузов, дынь. Но мне малодоступно все это. Денег у нас — не густо... Нет денег... Проходя мимо лавок, я лишь издали поглядываю на фрукты.

Отец приезжает редко. Иногда пропадает по полгода. Если появляется, то на несколько дней, и затем снова исчезает надолго. «У нас много долгов...» — чтобы как-то утешить себя, думаю я с горечью.

После школы мы, мальчишки, каждый день шатаемся по улице. Время от времени все увлекаемся какой-нибудь игрой. Я, например, стал мастером игры в ашички. А Ходжи и меня обскакал. По этой части мы с ним в квартале первые. Каждый день после полудня, а по пятницам и с утра до вечера, у нас только и забот, что ашички. Обыграв всех мальчишек нашего квартала, мы вдвоем отправляемся или к Балянд-мечети или же в квартал литейщиков. Потихоньку перешептываясь, мы и там обыгрываем всех подчистую и внезапно уходим. Мальчишки с криком бегут за нами. Если догонят, начинается драка. Но мы и в таких случаях не теряемся.

Девушки, ровесницы Каромат, играют у нас во дворе в мяч. Девушки всегда ищут для своих игр место поспокойнее, где нет взрослых джигитов, стариков. А наш двор как раз такой, подходящий для них.

— ...четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать...

Играет Саломат — рослая девушка с крепкими руками и с широким открытым лбом, живущая по соседству. Метнув мяч в стену, она быстро поворачивается кругом, ловит отскочивший мяч и тут же снова бросает его.

— ...семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать...

От сильного удара мяч метнулся высоко и улетел в дальний угол двора, угодив в арык. Хозяйка мяча вздыхает, согнутым указательным пальцем смахивает пот со лба и присаживается на край террасы.

Пошумев и поспорив: «Мой черед! Нет, мой!» — девушки продолжают игру.

Большая часть собирающихся у нас девушек живет бедно. Мячи они скатывают из ваты, а чаще — чтоб был

легче — из шерсти, а потом туго-натуго обшивают их разноцветным шелком. Если такой мяч шлепнется в арык, он тотчас набухает и тонет в воде. По этой причине девушки играют очень осторожно.

Играет Таджи — тоненькая, стройная, симпатичная такая девушка с искристыми глазами, изящным, как фисташка, носиком и с бесчисленным множеством косичек, спускающихся до колен. Она бросает мяч и кружится все чаще и чаще. Долго, очень долго кружится.

— А ну тебя! Привязалась к мячу. Все равно отстала, лучше передохни, — сердито взглянув на Таджи, говорит коротышка Саври.

Таджи не уступает и в свою очередь подкусывает Саври:

— Ты только и знаешь — язвить. Посмотрим, кто кого!..

Споры, ссоры и обиды то и дело возникают среди играющих. Когда становится невтерпёж, выступает их «матка», тараторка Салам, болтливая всезнайка. Она мирит: одну побранит, другую обманет, третью утешит чем-нибудь. И игра возобновляется. Играют они с искренним увлечением, до пота, до яркого, как тюльпан, румянца на тугих щеках.

Сестренка моя Каромат и в красоте, и в веселости, и в ловкости не уступает подругам.

Мне нравится наблюдать за их игрой, слушать их шутки и даже взаимные препирательства.

— Сгинуть тебе! Даровое представление для тебя тут? А ну, вставай, подавай нам мяч! — резко вскинув головой, приказывает мне Салам.

Я с одного прыжка ловлю мяч, забрасываю его на крышу и бросаюсь наутек.

Устав от долгой, часами продолжающейся игры, девушки усаживаются рядом на краю террасы и начинают разговор. У них всегда есть чем поделиться, над чем посмеяться, о чем посекретничать. Шепчутся, шепчутся тихонько и вдруг захихикают. Меня разбирает любопытство. Они негромко поют песни, читают на память газели. Говорят о любви, увлечениях, чаще всего намеками. Рассказывают друг другу о том, что приходили сваты, порой радуются, порой умолкают, погрустневшие, печальные.

Когда сгущаются сумерки, девушки расходятся по домам, кто прикрывшись паранджой, а кто просто легким халатом.

Часто девушки и молодые женщины приходят к нам вечерами, прихватив с собой свои рабочие сумки. Это у же

вошло в обычай. Занимаясь шитьем тюбетеек или вязанием тесьмы, участницы посиделок ведут веселые разговоры, часто перемежающиеся громким смехом. Поют песни. А иногда рассказывают сказки.

Прикорнув в сторонке, я радуюсь случаю, слушаю, притихший. Когда сказка кончается, упрашиваю: «Еще, еще какую-нибудь хорошую зачните!». Бывает, что я резко прерываю только что начатую сказку: «Другую давайте! Эту я слышал уже, знаю».

Такие посиделки, особенно в зимнее время, часто затягиваются до полуночи.

\* \* \*

Мы с Тургуном спешим на базар. Я в длинной рубаше, в новой тюбетейке, босой. В поясе у меня крепко-накрепко завязаны сорок копеек серебром и медяками.

Время — близко к полудню. Небо облачное. Солнце то блеснет на минутку, то снова скроется в облаках.

— Книжки, они дорогие очень...— осторожно намекает мне Тургун.— Лучше бы купить чего повкуснее...

— Нет-нет!— возражаю я, сразу разгадав, куда он клонит.— Это хорошая книга. Вот погоди, в ней есть такие стихи!.. Э, да ну тебя, не понимаешь ты...— И помолчав, продолжаю уже спокойнее:— Мороженое, конечно, штука вкусная, да боюсь матери. Деньги дали на книгу.

Протискиваясь в толпе, лавируя между арб, лошадей, ишаков, мы добираемся до книжных лавок. Здесь, в книжном ряду, тихо. Лишь изредка увидишь листающего книгу студента медресе в длинном легком халате и в грязной замусоленной чалме, тощего, бледного, обросшего.

Мы с Тургуном не раз и не два обходим весь ряд, оставаясь у каждой лавки. Неожиданно взгляд Тургуна задерживается на стае собак, сцепившихся на крыше.

— Эх, жалко!— говорит он, подталкивая меня в бок.— Откуда бы нам взобраться на крышу? Вон сколько их там. Выбрали бы и увели какую получше...

— Да ты сдурел?!— сердито возражаю я.— Они же разорвут нас!

Лавки полны религиозными книжками. В каждой обязательно есть коран. Много арабских, персидских книг.

— Дядя, нет ли у вас Муками?— спрашиваю я, остановившись у одной лавки.— Стихи о любви...

— Хо!— с мягкой улыбкой говорит продавец книг, об-

ходительный и ласковый седой старичок.— Молод ты еще. Мал, сын мой. Но Муками есть.

— Я читаю всякие книги,— поясняю я,— а эта девушкам понадобилась. Они любят читать Муками. У него есть хорошие стихи, дядя.

Старик хохочет. Потом неторопливо встает, начинает рыться на полках. Долго ищет. Наконец подает мне сборник.

Это небольшая книжка, хорошо оформленная, в красивой обложке. Я бережно беру ее, осторожно перелистываю. Шевеля губами, шепотом читаю про себя.

— Отец, сколько она стоит?— спрашиваю, закрыв книжку.

— Ничемная книжонка... Зачем она тебе? Идем!..— незаметно подталкивая меня локтем, шепчет Тургун.

Я тоже шепотом сердито объясняю:

— Муками — замечательный поэт. Ты же неграмотный, не понимаешь. А мать наказывала, чтоб я обязательно нашел эту книгу.

Старик смеется, добродушно щуря глаза:

— Твоя правда, сын мой. Хорошая вещь. С глубоким смыслом. Я встречал Муками. Приятного нрава, мудрый человек был покойник. В Коканде жил он. Большой поэт. А эта книга — кусочек сердца поэта. Цена ей две тениги, сынок. Бери, это бальзам для девичьего сердца.

«Сестренка как раз дала две тениги, значит, она знает цену», — отметил я про себя. Я осторожно развязал поясной платок, с поклоном вручил деньги хозяину. А книжку сунул за пазуху.

Выйдя с базара, мы присаживаемся на корточки на берегу канала, черпаем пригоршнями воду и пьем. Потом идем дальше. Я замедляю шаг и начинаю читать про себя, тихонько переворачивая страницу за страницей. А Тургун сердится, кричит:

— Э, если хочешь читать, читай вслух или идем быстрее!

Я смеюсь, не отрывая глаз от книги. Читаю негромко:

Черным-черны и без сурьмы блестят твои глаза,  
Любой восторженной душе грозят твои глаза.  
Все соловьи поют тебе, хваля твой тонкий стан,  
Лишь Муками один поет сто крат твои глаза!

— Ну как, понял, друг? Эта газель, сладкая, как песня, полна глубокого смысла.

— Мне она тоже понравилась. Только, купив рыбы, мы наелись бы досыта, а от этого стишка какой толк?— машет рукой Тургун.

Я не слушаю его, все мое внимание поглощено книгой.

\* \* \*

Солнце уже не жжет. Все чаще по небу проплывают облака. Начали опадать листья. И птицы уже, стая за стаяй, улетают в теплые края.

Меня одолевает забота: нет ичигов, калош. Скоро начнутся холода, неужели, думаю, придется ходить в школу босиком? От отца нет никаких вестей. Я уже и письмо писал. Молчит.

Мать, бедная, идет с жалобой к бабушке.

— Отец твой,— говорит бабушка,— тоже скуп, но, если попросишь, поплачешься, думаю, не откажет в паре ичигов. А вот с калошами — беда. Как-нибудь уж сама добудешь. Не успеешь оглянуться, холода настанут, так что ты уж торопись, позаботься о сыне.

Когда приходит дед, мать исподволь, мягко заговаривает с ним насчет ичигов. Дед хмурится:

— О, доченька, терпи, довольствуйся тем, что есть. Как говорят: у кого есть — по достатку, у кого нет — по возможности. Расходов у меня и без того по самую макушку.

— Отец, милый, к кому же мне и идти со своим горем, как не к вам? Зять ваш скитается где-то в степи. Котелок тем только и кипятим, что тесьмой добуду. Вы обязательно должны сшить ичиги Мусабаю.

Дед не отвечает, задумывается ненадолго. Потом медленно встает, уходит куда-то и немного времени спустя возвращается, улыбающийся, с парой ичигов в руках:

— Вот, мой мальчик, надевай. Добрые ичиги...

— Ну, носи на здоровье,— говорит обрадованная мать.

Крепко прижимая к груди ичиги, я бегу домой. Дед смеется мне вслед:

— Обрадовался!..

Наутро от отца неожиданно пришли деньги. Мы сразу же отправились на базар и купили калоши.

\* \* \*

Однажды в полдень перед концом занятий учитель позвал меня к себе и говорит:

— Ну, идем, сын мой. Ты уже большой стал, с нами вместе будешь читать молитву о вспомоществовании. Есть тут одна больная...



— Что вы?!— Я покраснел, потупился.

Учитель оглядел меня и, видимо, догадался о причине моего смущения.

— М-мм...— проговорил он задумчиво.— Ну что ж, беги тогда приоденься. Было бы чисто, и довольно.

Я стремглав бегу домой.

— Мама, быстро! Где моя чалма?

— Что такое?— не понимая, спрашивает мать...

— Мы молитву, молитву идем читать, о вспомоществовании!— Я торопливо надеваю стеганый ватный халат, новые ичиги с калошами. Срывая с колышка бабушкин кисейный платок, кое-как наматываю его на голову и бегу в школу.

В школе уже собралось с десяток мальчишек-подростков пятнадцати-шестнадцати лет. Я оказался самым маленьким среди них. Ребята при виде меня зашептались. Учитель догадался и пошутил:

— Он хоть и мал, да удал, вам не уступит.

Я краснею и отворачиваюсь в смущении.

Все мы во главе с учителем молча выходим на улицу. Сворачиваем в переулок и тут же натываемся на свалку: какие-то мужчины наскакивают друг на друга, тузят кулаками.

Учитель останавливается. К нему подходят старикки.

— Разведите, разведите их, почтенный!

Учитель бледнеет от гнева.

— Стой, стой!— кричит он.— Побойтесь аллаха, невежды!

Участники драки смущенные расступаются: у кого ворот разодран, у кого рукав чуть держится.

— Простите! Простите, почтенный!..

— В чем дело? Из-за чего скандал?— спрашивает учитель, еще не остывший от гнева.

Старикки поясняют:

— У одного бедняка подошел срок долгу, и он решил продать дом. Из-за дома и скандал. Нашлись люди с достатком, и тому хочется взять, и другому завидно...

Вскоре мы входим в угловой двор по левой стороне переуллка. Навстречу нам выбегает небольшого роста обходительный человек лет тридцати пяти-сорока. Больная лежит на просторной красивой террасе. Хозяин дома, сорвав с колышка большую шаль, торопливо прикрывает ею лицо больной. С поклоном показывает на разостланные одеяла:

— Пожалуйста, господни мой!

— Как ваша супруга? — спрашивается учитель, снимая кауши.

— Ей день ото дня все хуже, почтенный, — шепчет хозяин. — Может, после молитвы о вспомоществовании голову поднимет.

— Коран — слово божье. Молитва о вспомоществовании может сотворить чудеса, она и злых духов изгоняет. Да исцелит ее сам аллах! Душа, если она не отлетела, всегда таит в себе надежду. Неверие и отчаяние — от дьявола.

Учитель садится, скрестив ноги.

— Ну что ж, начнем! — говорит он, обращаясь к нам.

Мы рассаживаемся вокруг него на мягких одеялах и начинаем читать соответствующую суру корана.

Я украдкой приглядываюсь ко всему. Хотя двор был маловат, дом и терраса были уютные и напоминали изящную шкатулку. Крыша железная, столбы и наличники крашенные. Во дворе много цветов. Маленькая девочка, с трудом поднимая ведро, несла воду на кухню. На кухне какая-то старуха топила в большом казане курдючное сало. Аппетитный запах выжарок распространялся по всему двору.

Мы все читаем в один голос, торжественно и нараспев. Учитель время от времени дует на большую: «Суф!» Одновременно и мы все разом чуть наклоняемся в ее сторону. Читаем долго, все устали. Только у учителя голос остается чистым и ясным, усталости у него совсем не заметно.

Чтение продолжается ровно два часа. Закончив, мы все вздыхаем с облегчением: «Ух!» А учитель сидит важный и строгий.

— Воды... — чуть пошевелившись, тихонько шепчет больная.

Хозяин торопливо протягивает ей пиалу воды. Потом, сложив руки на груди, говорит, обращаясь к учителю:

— Прошу, почтеннейший! Прошу в дом.

Все мы во главе с учителем проходим в дом. Учитель садится на почетное место. На одеялах разложены мягкие подушки. Комната красиво убрана. Рядами стоят сундуки, в нишах много разной посуды. Напротив входа по углам стоят две чудесные китайские вазы. Все мы молча любуемся ими.

Учитель поинтересовался, что это за вазы. Бай чуть приметно улыбнулся.

— Покойный родитель наш привез их из Кашгара. Я

тогда еще молод был. Очень редкостные вазы,— сказал он с гордостью.

Расстилается скатерть. Появляются мягкие лепешки, сладости. Вносится бурно кипящий самовар.

— Берите, берите! Кушайте,— приглашает бай учителя и нас.

Наш подслеповатый чтец корана основательно налегает на сладости. А я стесняюсь, веду себя очень сдержанно.

Появляется жирный, обильно приправленный мясом плов. Учитель с аппетитом принимается за него, приглашая и нас.

— Берите, дети, берите! Очень вкусный плов получился. Такой плов, что во всех семи поясах земли не найти равного ему.

Тут мы тоже налегаем на плов. Потом пьем крепкий-крепкий чай. После этого учитель поднимает руки: «Омин!»— и долго читает всякие благожелания хозяину. Мы прощаемся и уходим.

К учителю частенько приходят посетители, кто с чашкой, кто с пиалой. Просят его:

— Господин! Напишите молитву на этой пиале.

У каждого своя причина: у одного «больна дочь», у другого «невестка прихворнула», у третьего «жене занеужилось». Учитель, не откладывая, тут же в классе приступает к делу.

— Молитва,— говорит он,— от всех недугов и затруднений средство. Пророк наш сказал: «Молитва исцеляет от любой болезни».

\* \* \*

Мы, ребята, вечерами, не зная устали, играем на улице. А как только стемнеет, сразу же, словно птицы по своим гнездам, скрываемся по домам. Я тоже боюсь оставаться один и бегу домой вместе с товарищами. Наши бабушки и матери уверяли, что после часа вечерней молитвы на берегу Почча-арыка, у большой проточной воды затевают свои игрища джины и прочая нечисть. Джинны будто принимают обличье кошек с огненной шерстью, коз, волков и тому подобных тварей. Если джин, выбираясь из какого-нибудь потайного закоулка, заденет хвостом человека, случайно попавшего навстречу, то человек этот обязательно или припадочным станет, или полоумным, или его парализует, одним словом, на него обязательно нападет какая ни есть хворь. Чтобы умилостивить джинов, старухи, женщины обычно оставляли вечерами на берегу арыка

горсть рисовой каши с мясом или просто каши. О проделках джинов среди женщин квартала ходило много всяких рассказней: «Перед таким-то джин пробежал в обличье кошки!», «Такой-то видел, как мимо огненный ком промчался!» Поэтому, когда мне случалось запаздывать, я с замирающим сердцем старался как можно быстрее миновать Почча-арык.

Джины собирались будто бы и вокруг хауза во дворе мечети. Площадка, где стояли арбы нашего квартала, тоже считалась опасным местом. Говорили, что джины до самого рассвета забавляются здесь, раскачиваясь на оглоблях. Проходя мимо этих мест, я тоже припускал со всех ног от страха.

Росказни о джинах и пери никогда не затихали в нашем квартале. Поэтому бабушка даже отца бранила, если случалось, что он возвращался домой поздно: «Шальной какой-то! Шляешься до полуночи по чайным. Как ты не боишься джинов?» Отец посмеивался: «Джинам до меня никакого дела нет,— говорил он.— Они знают, кого им задеть. Люди твердят «джинны, джины», а я дожил до таких лет и ни разу даже тени джина не видел». Бабушка испуганно махала руками и шептала на ухо: «Сейчас же скажи: «Помилуй, аллах!»— и сама читала молитву об избавлении.

Днем мы, мальчишки, иногда скуки ради рассказываем друг другу разные страшные истории о джинах и пери. Особенно много сказок о джинах знал Агзам. Он и сам верил в них и очень боялся. Ахмад высмеивал его:

— У меня бабушка по разным своим делам уходит надолго и днем и ночью. Я остаюсь один в пустом доме и ничего никогда со мной не случалось. Хоть бы раз, думаю, показались, посмотреть бы — какие они, джины. Нет, не показываются. Бывает, правда, и мне становится чуточку боязно, тогда я натягиваю на голову одеяло и стараюсь поскорее заснуть.

Я тоже часто думал о джинах и пери, пытался представить их, и мне казалось, что перед глазами мелькают какие-то страшлища. Иногда на улице или дома, если я оставался один, будто слышал чьи-то шаги, какие-то шорохи. Лишь много позже, когда я повзрослел, если заговаривали о джинах, я посмеивался, как отец.

\* \* \*

На улице пылает костер. С треском горят тополевые и урюковые поленья. Это — проводы месяца сафар, второго

месяца лунного года. По местным поверьям именно в этом месяце на людей обрушиваются всякие бедствия — засухи, наводнения, смуты. С наступлением месяца сафар прекращались все свадьбы. «Месяц сафар,— говорили старухи,— месяц напастей и несчастий, месяц забот и печалей».

Вокруг костра собралась толпа женщин. Какие помоложе — в паранджах или в накинутых на голову легких халатах, старухи расхаживали с открытыми лицами. У костра шум, гомон, крики. Ребята шалют, озорничают, один кружит над головой зажженной камышиной, другой швыряется горящими углями.

Распоряжаются: учительница, Сара Длинная и Сара Короткая. Бабушка, строгая и печальная, стоит у костра.

— А ну, ребята, быстро найдите какую-нибудь собаку!— с озабоченным видом говорит Сара Короткая.— Кадыр пообещал найти, да вот запропастился куда-то.

Ребята в один голос кричат:

— Сейчас он явится! Приведет собаку!

— Тургун, подойди-ка ко мне! — говорит Сара Длинная.— У нас есть собака, веди ее сюда!

— Да, таков обычай, таков обряд,— говорит бабушка, как бы рассуждая сама с собой.

— Положено хорошенько поколотить собаку и заставить ее перепрыгнуть через костер,— строго хмуря брови, с видом знатока говорит Сара Короткая.

Костер горит, как положено, пламя взметывается высоко, под самые небеса. Неожиданно появляются Кадыр, Агзам, Махкам и Ахмад. Запыхавшись, они тащат полудохлую дворнягу, пойманную где-то в квартале Ак-мечеть. Собака тощая, кости выпирают, ребра можно пересчитать, шерсть свисает с нее клочьями.

— Бе, тоже — нашли!— говорю я насмешливо.— Старая, сама скоро околеет. Бездомная, все время шлялась тут.

— И правда, она забегала иногда. Совсем отошала, бедняга,— говорит мать с жалостью. И умоляет Сару Длинную:— Вы для порядка только слегка побейте ее, жалко беднягу. Это самая несчастная из собак.

А ребята и слушать не хотят:

— Будем бить как положено! До смерти забьем!

— Убить, убить непременно!— говорит какая-то престарелая женщина.— Как можно не убить собаку при изгнании месяца сафар? Только этим и можно отвести джинов, пери и всякие напасти.

Шум, гвалт усиливается. Ребята, с криком, с визгом

начинают прыгать через костер. Собака испуганно пятится от огня, скулит, дрожит, как в ознобе. В глазах ужас, поглядывает на всех, словно умоляет сжалиться.

Мальчишки и женщины с криками бьют собаку, чем попало, понуждают ее перепрыгнуть через костер. На глазах у бедняги выступают слезы, но мальчишки подталкивают ее в огонь, кричат: «Сафар бежал! Сафар бежал!» Мать умоляет женщин: «Довольно, довольно же! До смерти забили беднягу!» Собака вдруг прыгает через огонь с краю костра и, не переставая скулить, убегает в сторону квартала Ак-мечеть. Мальчишки бросаются в погоню. Тем временем молодые женщины начинают прыгать через костер. А старые стоят вокруг. Все женщины глубоко верят в приметы, в старые обряды, обычаи. Особенно чтит их Сара Длинная. Она чувствует себя распорядительницей, полна энергии. Мне нравится прыгать через костер. Я прыгаю вместе с женщинами.

Мальчишки возвращаются, так и не поймав собаку.

— Жалко, упустили из рук! — с досадой говорит Махам. — На этот раз не все получилось как следует.

— Ничего, — говорит учительница, — выполнили ведь что положено. Собака — щит от всякой нечисти, вы до смерти забили ее, этого довольно.

Женщины потихоньку расходятся. А мы еще долго играем, разбрасывая пепел и угли.

Такие ночи, напоминавшие игрища джинов, до сих пор сохраняются в моей памяти и встают передо мной, возникая из далекого прошлого.

\* \* \*

Осень. Отец приехал из Янги-базара. Втроем они — бабушка, отец и мать — вечером долго шепчутся о чем-то. Я сижу в сторонке, прислушиваюсь. Каромат вышивает тюбетейку в старой кладовке. Иса рассказывает ей что-то.

В небе тускло поблескивает из-за туч луна. На террасе еле-еле мерцает огонек чирака. Под сандалом горячие угли — на дворе уже прохладно.

— Скоро сыграем свадьбу, — говорит отец, чуть приметно улыбаясь и бросая под язык щепоть насвая. — Дядя срочно вызвал меня письмом. Думается, это подходит нам.

— Говорят, если нашел ровню, отдавай задаром. Турабджан — смиренный и разумный молодой человек, хороший добытчик, если не за него, то за кого же и отдавать нам. Я давно пообещал ему, мол Каром будет твоей, зна-

чит, надо стоять на слове. У них и сад за городом...— говорит бабушка, видно, довольная.

— Верно, верно,— соглашается отец,— он по душе мне.

Мать сидит невеселая, молчит. Отец поворачивается к ней, спрашивает:

— А ты как? Тебе нравится он? Почему ты отмалчиваешься?

— Что ж, вам лучше знать. По мне он тоже хорош, только... отовсюду много сватов приходит. И из родни тоже кое-кто намекал. Турабджан, он разумный джигит, да...— Мать запнулась.— Очень уж черный он, как эфиоп... Решать судьбу — дело трудное, не худо было бы и Каромат спросить. Ровня с ровней, говорят, а кизяку место в куче.

Бабушка и отец бледнеют от гнева.

— Что за глупость?!— ворчит отец.

Морщинистое лицо бабушки еще больше мрачнеет. Сердито звякнув четками, она сует их в рукав. Говорит с досадой, выпячивая губы:

— С ума ты, видно, сошла, Шаходат! Каром ведь согласна. Да мы и не станем смотреть, согласна она или не согласна, все равно отдадим ее за Тураба.— И насупившись, поворачивается к отцу:— Давай людям ответ! Знаешь пословицу: чем зерно за облаком, лучше солома да под боком.

— Ладно. Значит, такая ее судьба,— говорит мать, печально опуская глаза. Она умолкает и больше не произносит ни слова.

Наутро отец отправляется к старшему брату Умару. После долгих переговоров устраивается сговор. Видный из себя смугловатый, всегда принаряженный, дядя Умар весело смеется, довольный.

— Готовься, Таш! Я сам в голове стану. О всяких там выплатах-кладке посветуемся потом. Старики говорили: свадьба по доброму совету никогда не будет нарушена.

Отец скромно опускает глаза:

— Что вы скажете, так тому и быть,— говорит он.

\* \* \*

Вскоре после этого с узлами и узелками к нам заявлялась разнаряженная тетка. Опустившись на одеяло, она начала с длинного ряда благопожеланий:

— Пусть Каром будет счастливой! Пусть высоко стоит звезда ее счастья! Пусть куча детишек окружит ее. Внуков-правнуков дождаться ей!

Бабушка благоговейно проводит руками по лицу:

— Да сбудется по вашему слову! Да сбудется по вашему слову, милая! Добро пожаловать!

Собрались женщины из соседних дворов, на террасе шумно. Бабушка вне себя от радости, настойчиво угощает соседок: «Берите, берите, милые! Кушайте!» Мать тоже старается казаться довольной, улыбается молча, но на душе у нее какая-то тайная печаль.

Женщины стрекочут, перешептываются:

— Значит, высоко стоит звезда счастья Тураба, вон какую девушку берет, что ясная луна! — говорит старуха-соседка.

— Жених тоже и тихий, и смирный, и разумный. Черненький, миленький такой парнишка! — перебивает старуху тетка.

Я слоняюсь по двору, прислушиваюсь к разговорам женщин, толкусь у котла. Потом иду в кладовку. Пригнувшись у низенькой дверки с чуть приоткрытыми створками, Каромат шьет тюбетейку. Я смеюсь про себя: «Это же она для жениха шьет!» Спрашиваю весело:

— Сестрица, зачем вам работать, ведь свадьба уже? Лучше я принесу вам сдобных лепешек.

Каромат промолчала, потом вздохнула и грустно сказала:

— Перестань, не поддразнивай! Есть я не хочу.— А после минутной паузы продолжала негромко:— Такова воля неба, судьба моя такая, видно, Мусабай. Много горя-печали у меня на душе, на сердце. Очень много, а вот средства от него нет. Это и называют судьбой...

От ее слов у меня больно заныло сердце. Я ничего не сказал, стрелой метнулся к двери и выбежал на улицу.

Не прошло и недели, как настал день свадьбы. Собрались жители квартала, родственники. На девичник сошлось много девушек. Под аккомпанемент дутара они спели несколько песен, а потом, поспорив по обыкновению: «Выходи ты! Нет, ты выходи!» — начали танцевать.

Наутро был совершен обряд бракосочетания. День прошел в обычной суматохе, в шуме-гомоне. Как и на всякой свадьбе. Дом жениха был близко, через улицу, калитка в калитку. Женщины квартала, родственники — одни со слезами, другие со смехом запели свадебные частушки:

Краса стремительной реки —  
Утесы скал, яр-яр!



А брови девушки моей  
Краше похвал, яр-яр!

Что ни надень, то и пойдет  
К твоим глазам, яр-яр!  
На свадьбе надо песни петь —  
На то байрам, яр-яр!

Валят к нам валом женихи —  
Все стук да стук, яр-яр!  
А ровню дочери моей  
Найдешь не вдруг, яр-яр!

Эй, песня, свадьбу украшай!  
И радость пой, яр-яр!  
Девичья свадьба, как цветок,  
Как луч весной, яр-яр!

Не плачь же, девушка, не плачь,  
Пир этот твой, яр-яр!  
И, словно золотой, блестит  
Дом этот твой, яр-яр!

И вот, сестренка моя Каромат уже молодая женщина, невестка в чужой семье.

Помнится, прошло два-три дня. Отец, хмурый, то и дело закладывая насвай, сердито заговорил с бабушкой и с матерью:

— Расход большой понесли — и все так, попусту. Опять мне пришлось товару в долг взять. Никак не вылезти из забот бедной моей голове. Правду говорил покойный отец: «Пусть будет горе-печаль, только долгов не было бы!»

На следующий день с рассветом отец уехал. А в доме пустым-пусто, ничего не осталось кроме пригоршни муки на дне мешка.

\* \* \*

Из школы я вернулся вялый, с ощущением противной слабости во всем теле и с нездоровым горячечным румянцем на щеках. Взойдя на террасу, я тут же свалился на подушку.

Ко мне подбежала мать.

— Вай, помереть мне, что с тобой?— Она потрогала мой лоб.— Ох, да он горит весь!

— А ну тебя, с твоими страхами, Шаходат!— заговорила бабушка, спокойно перебиравшая четки.— Озорной он, милая, этот твой сын. По крышам, по дувалам шастает, вот и притомился, наверное. А если жар поднялся, лучшее средство — горячий рисовый суп.

Слова бабушки обидели меня. Я рассердился, крикнул:

— Я же горю весь. От озорства, что ли это, глупая старуха!— и отвернулся от нее.

А мать, бедняга, побежала на кухню варить постный рисовый суп.

Я начал метаться. Бабушка, наконец, пошевелилась, встала. Сунула четки на полку, не торопясь подошла ко мне, сухими морщинистыми руками потрогала лоб.

— И поделом тебе, озорной козел. Минуты покоя не ведаешь, все мечешься, вот и терпи теперь!

Я обозлился, оттолкнул бабушку руками:

— Уходи, уходи, старая! Что я тебе сделал, чем обидел?

Из кухни с чашкой приготовленного наспех супа вернулась мать. Заправила суп кислым молоком, помешала деревянной ложкой.

— Вот, откушай чуточку, сразу поможет.

Поднявшись через силу, я съел две-три ложки супа и снова откинулся на подушку.

Наутро температура у меня поднялась еще выше. У меня перехватило горло, пересохло во рту, потрескались губы. После завтрака бабушка, склонившись над моим изголовьем, внимательно посмотрела на меня и потянулась в нишу за своей старенькой латаной паранджой:

— Шаходат, придется, видно, позвать Урин-буви. Похоже, сглаз у него, у этого дурня.

— Правда, мама, я и сама уже подумала об этом,— обрадовалась мать.— Идите, зовите.

Бабка Урин или Урин-буви известна во всей округе. Жила она неподалеку, в нашем же квартале Гавкуш. Основное ее занятие — повитуха. Толковая, расторопная, решительная и властная, она принимала роды у женщин всех ближайших кварталов. А иногда за ней приходили и из дальних частей города. В трудных случаях она встряхивала роженицу, подхватив под мышки, катала, положив на одеяло, но как бы там ни было, а родить помогала. У нас, например, она принимала всех, начиная от старшего моего братишки Исы, сестры Каромат, меня, до младшей сестреники Шафоат. Вторая профессия старухи — изгонять сглаз. Поэтому она и одного дня не сидела дома. С бабушкой они были закадычные приятельницы, верные подружки «до

скончания века» и виделись не реже, чем раз в три-четыре дня.

Очень скоро бабушка вернулась вместе с Урин-буви. — Мусабай, светик мой, что с тобой случилось? — сбросив накиннутый на голову халатишко, Урин-буви поправила платок на голове и сейчас же начала засучивать рукава. — А ну, Шаходат-бану, быстро давайте чашку отрубей да четыре комочка соли. Одно дело — заболеть, другое дело — умереть. Ничего страшного, просто сглаз вошел в него. Мусабай, он приглядный у вас.

Старуха усаживается около меня, скрестив по-мужски ноги. Мать приносит из кухни чашку отрубей, но Урин-буви продолжает болтать с бабушкой о всяких пустяках. Это раздражает меня. Я кричу:

— Мама, воды! Ледяной воды! Горю весь...

Урин-буви поворачивается к бабушке:

— Не иначе, как сглаз это, подруженька. Видите, я еще не начала, а он уже мечется.

Внезапно у нее начинается приступ кашля, она долго не может передохнуть. А прокашлявшись, просит мать:

— Какой-нибудь платочек мне, хозяйюшка! — и тут же принимается изгонять сглаз: — Не моя это рука, преподобной наставницы моей рука... — Она притворно зевает, кружит у моей головы завернутую в кисейный платок чашку с отрубями. — В голову ли дитятки моего вошел — сгинь, в ласковые ли глазоньки его вошел — сгинь. Сгинь, сгинь, сгинь! Не сгинешь — тебе проклятье, не изгоню — мне проклятье.

Старуха снова и снова притворно зевает. Потом осторожно разворачивает платок.

— Вай, подруженька! И лютый же сглаз поразил нашего мальчонку! Смотри, смотри, как вздулись отруби.

Она опять шепчет что-то про себя, читает какие-то молитвы, заклинания. Кружит чашку с отрубями вокруг моей головы, вокруг груди. Твердит что-то, повторяя свое «сгинь, сгинь». Долго, около часу, колдует надо мной.

Дымя исырыком, положенным на четыре горящих угля в совке, подходит мать.

— Бабушка, вы уж попутно и исырыком окурите его, — улыбается она и протягивает совок Урин-буви.

— Хорошо, милая хозяйюшка, — говорит Урин-буви и кружит надо мной совок с исырыком, приговаривая нараспев:

Ты гори, гори трава,  
Огонек заветный,

Ты спали дотла, трава,  
Всякий сглаз секретный!

Несколько раз повторив свои заклинания, она возвращается совок матери:

— Вот, теперь сыночек твой поправится, будто с ним ничего и не было, как конь, будет здоров. Мои локровительницы-пери дали мне знать, что все недуги уже покинули его. А здоровье, говорят, превыше всякого богатства, свет мой.

Мать расстилает перед бабушкой и гостьей скатерть с угощениями, и у них начинается долгая беседа.

Я, закрыв глаза, прислушиваюсь к разговору старух.

— Подруженька, смотри, Мусабая на сон потянуло. А сон приходит, когда уходит болезнь, вот именно!— говорит Урин-буви.

— Да будет по вашему слову, милая!— говорит бабушка, отпивая из пиалы глоток чая.

Пролежав три-четыре дня, я поднялся.

Я тогда верил в сглаз. И тому, что джины и пери могут принести человеку много зла,— тоже верил. Лишь много лет спустя сознание мое прояснилось, и я избавился от всяких суеверий.

\* \* \*

В полдень, выйдя из школы, мы все бежим на перекресток.

— Чудо! Чудо!

— Диво! Диво!

— Трамвай это, трамваем называется!— говорит один из мальчишек.— Я слышал от больших, он бегаёт без лошадей!

Густо валит снег. На мне старый ватный халат, на голове истрепанная, замызганная шапка, на ногах ичиги с протертыми задниками и дырявые калоши со стершимися скользкими подошвами. Усевшись журавлиным рядом по краю тротуара, мы поджидаем трамвая.

Откуда-то прибегает запыхавшийся Тургун. На нем поношенный камзол. Поверх тюбетейки повязан грязный платок — в холод Тургун всегда так прятал уши.

— Вот интересная штука!— говорит он, втискиваясь между Агзамом и мной.— Я до самого Каръягды бегал. Внутри какой-то человек продает ярлыки. Я пристроился было на ступеньке, да ярлычник закатил мне такую затре-

щину, что я еле ноги унес. А все-таки интересно. Прямо новый дом, сняет весь. А внутри скамейки ряд за рядом. Как припустит, не успеешь оглянуться, а он уже за версту укатил.

Мы слушаем, раскрыв рты.

— А двери есть в нем?— интересуется кто-то.

— Ну да! Есть дверь для входа, есть дверь для выхода. Понимаешь, лошадей нет, а он летит себе, погромыхи-вает только...

— Чудо! Чудо!— говорит один из мальчишек.

У чайхан, у бакалейных лавок по краю тротуара сидят, опустившись на корточки, помрачневшие, притихшие старики.

— Конец свету настает. Всякие чудеса являются. Все это знаки могущества всевышнего, по его воле,— говорит какой-то старик, теребя жиденькую бороденку.

Неожиданно со стороны Хадры, с грохотом, с беспре-рывным звоном подкатывает трамвай. Мы все шумно вска-киваем, окружаем новенький сверкающий вагон. Трамвай внезапно трогается и быстро удаляется, а у Катартерека опять останавливается. Запыхавшиеся, мы гурьбой бежим вслед. Но добежать не успеваем, он снова трогается и катит дальше.

— Ничего, сейчас другой подойдет!— дергает меня за руку озорной, обо всем осведомленный Тургун.— Видал, Мусабай! Целый дом, большой, просторный.

— Чудо! Я слышал сейчас, будто вон по той проволоке какая-то сила течет, правда это, друг?— спрашиваю я, показывая глазами на провод.

— Этого я не знаю,— говорит Тургун, потирая покрасневшие от холода руки,— но бегают он, сам видишь, без всяких лошадей.

Появляется какой-то мусульманин, он старательно очищает трамвайные пути. Понаблюдав за ним, Тургун говорит:

— Если бы меня взяли на работу — я вполне справился бы с этим делом!

— Ступай, ступай отсюда! Нос прежде утри,— обрывает Тургуна рабочий.

— Эх, вот бы прокатиться на этой штуке в свое удовольствии!— мечтательно говорит один из наших товарищей.

Не зная устали, запыхавшиеся, мы носимся от Баланд-мечети до Хадры, от Хадры до Катартерека, встречая и провожая каждый трамвай. Бегаем долго и расходимся по домам только в сумерки.

Пятница, начало июня. Наступила летняя жара. Ребят на нашей улице немного. Агзам и Ахмад поступили учениками к ремесленникам.

Из дома выбежал Тургун в старенькой рубашке, в грязных штанах, а на голове новая тюбетейка.

— Вот, посмотри на вышивку, Мусабай. Это называется «Цветок на лугу»,— говорит Тургун, протягивая мне свою тюбетейку.

— Тюбетейка неплохая,— говорю я, поворачивая ее в руках.— Только вышивка не очень умелая, да и сшита тюбетейка нескладно. Смотри, какие закладки между строчками, наверное, из грубой хрустящей бумаги.

— Ну-ну! Ничего ты не понимаешь,— говорит Тургун, вырывая у меня тюбетейку.— Ее подарила мне тетка. Ты на свою взгляни: допотопная, и нищий не наденет, а ты носишь ее на голове.

Мы в шутку хорохоримся некоторое время, толкаемся, наскакивая друг на друга, как петухи.

— Хватит, друг, довольно! Шутки хороши в меру. Послушай, что я тебе скажу,— говорит Тургун.— На крышах уже трава пожелтела, играть там нельзя. Не лучше ли нам отправиться куда-нибудь, где прохладнее? Возьмем с собой корову дяди. Тетка у меня скупая до смерти, над глотком молока дрожит, а корове лишнего клочка сена не даст. Дядя частенько ругает и колотит свою жену, чтоб наставить на путь, да все без толку. Есть у них одна дочка, и та замарашка. Тетка втайне от дяди продает молоко и собирает деньги — копит для дочки одеяла, сюзане, покрывала, всякую всячину. Не пьет, не ест, только и знает, добро копит...

— Хватит, хватит!— обрываю я Тургуна.— Ты болтлив, как старуха. Пошли! Давай, веди свою корову. Возьмем с собой по лепешке, и довольно. По пути, когда начнутся сады, можно незаметно урюку насшибать.

Завернув в пояс по лепешке, мы идем к дяде Тургуна. Отвязав корову, ведем ее к воротам. Вдруг, откуда ни возьмись, тетка — встала нам поперек дороги, растопырилась, побледнела:

— Вай! Куда это вы, подохнуть вам?

Тургун, краснея от злости, подтолкнул меня:

— Растолкуй ей!

Я осторожно объясняю:

— Мы попасем ее за городом, накормим так, что у нее

живот, как мех, раздуется. Может, и вам яблок, урюка принесем.

— Вай-ей!— всплеснула руками обрадованная тетка.— Удачи вам, в жизни, милые! И правда, сена нет, клевер дорог, голодает коровушка моя. Вы и мешок прихватите с собой, травы нарвете там, жертвой мне стать за вас!

Тетка мигом приносит откуда-то и сует мне в руки большущий домотканый мешок. Тихонько шепчет мне, оглядываясь на Тургуна:

— Этот озорник как бы не загубил корову. Ты сам посмотри за нею, Мусабай. Ради тебя только и отпускаю ее, милый...

— Чух-чух! А ну, шагай, животина!— кричит Тургун, подгоняя старую тощую, как палка, кущую корову с ладанками и черными, в белую крапинку, бусами на шее.— Да иди же ты! Эта надоедливая женщина никогда не перестанет болтать!— злится Тургун, но говорит, чтоб не слышала тетка.

Мы угоняем корову. Миновав Балянд-мечеть, поднимаемся к Бешагачу. Жарко. Душно. Горячая пыль обжигает ноги. Особенно тяжело бедной корове. Заплетая ногами, бредет она еле-еле.

На Бешагаче, в густой тени могучих талов, много чайных. Под мостом вода ревет, бушует. Длинные ряды мелочных лавчонок; в них рис, маш, морковь, лук, сушеный урюк, изюм. Чего только тут нет!

Мы даем корове передышку. Тургун, прогуливаясь около ишаков и лошадей, привязанных у воды, насобирал охапку сена и клевера.

— Хорошо сделал, плут!— похвалил я друга, привязывая корову в сторонке к талу.— Пусть немного полакомится животина.

Корова так умиралась, что и на корм взглянуть нет у нее силы,— возьмет губами былинку и жует еле-еле. Мы понуждаем ее, сеем к носу пучки клевера. «Му-му! Ешь, ешь, животина! Идти далеко, наедайся».

У нас животы подвело от голода. Я достаю из пояса черствую лепешку и говорю Тургуну:

— Твоя лепешка пусть полежит, потом съедим,— и делю лепешку на две равные части.

Опустившись на корточки на берегу канала, мы отламываем от своих половинок по куску и бросаем в воду выше по течению. Куски размокают, пока доплывают до нас. Мы съедаем их и бросаем в воду еще по куску. Так, поедая

лепешку, мы одновременно и развлекаемся: чей кусок быстрее доплывет.

Мы поднимаемся и продолжаем путь.

Корова наша вот-вот свалится. Тургун ташит ее за бечевку, я подгоняю сзади. Начинаются сады. Чем дальше, тем больше садов и огородов по сторонам.

— Корова совсем выбилась из сил,— говорю я Тургуну, пытаюсь отвлечь его от мысли добраться до Аскии.— Вон, видишь, ячмень, клевер, картошка кругом. То же, наверное, будет и в Аские. Тут по берегам арыка много аджарыка. А аджарык, он, знаешь, лакомство для коровы!

Тургун неожиданно соглашается:

— До Аскии уже мало осталось, да ладно, пусть коро-ва попадется немного, потом двинемся дальше.

Пустив корову пастись, мы присели отдохнуть. Наперегонки съели оставшуюся лепешку и тихонько пошли вдоль арыка.

— Мусабай!— внезапно останавливаясь, говорит Тур-гун.— Смотри, слив сколько.

Я взглянул на дерево, обрадовался:

— Вай-буй, сколько родилось! Только у этого дерева, наверное, хозяин есть?

Но нигде никого не видно. Тургун решительно карабка-ется на дерево, набивает рот, бросает горсть слив на землю.

— Бери, ешь. Чистый сахар!— и лезет еще выше.

Я подбираю с земли брошенные им сливы.

— Очень вкусные. Бросай еще.

— А ты залезай сам,— предлагает Тургун.— Наедемся и за пазуху наберем. Смотри, как я высоко забрался. Кру-гом никого нет, не бойся.

Я уже больше не раздумываю, проворно карабкаюсь на дерево, встаю на толстую ветку. Набрав горсть слив, хочу сунуть их за пазуху, как вдруг слышу снизу грубый окрик:

— Ах, мерзавцы! А ну, слезайте!

Сердце у меня вздрогнуло и остановилось. Тургун тоже притих. Я скосил глаза: под деревом стоял высокий худо-шавый человек и сердито смотрел на нас, задрав голову.

Мы нехотя слезли с дерева. Человек схватил нас креп-кими, как клещи, руками:

— Откуда вы явились? Из города, что ли?

— Да, из Ташкента. Хотели корову попасти,— не смея поднять глаза, тихо ответил я.

Тургун насупился, сказал со злостью:

— Мы идем в Аскию, к родне. На дерево только-только залезли. Отпустите!— и попытался вырвать руку.



Хозяин дерева громко расхохотался:

— Он уверяет, что только залезли, несчастный! А пазуха-то полна слив!

Тургун одной рукой рванул подол заправленной в штаны рубахи. Взглянув на рассыпавшиеся сливы, сказал с издевкой:

— Тоже богатство, полдесятка слив! И еще ругается из-за этого!

— А у тебя?— повернувшись ко мне, спрашивает хозяин сливы.

— Нет-нет, дядя! Ей-богу, у меня ничего нет. Вот посмотрите!— Я встряхиваю подол рубахи.

— Из какого квартала вы?— снова спрашивает хозяин.

— А вам какое дело? Пустите!— говорю я, пытаюсь вырваться.

— Из квартала Гавкуш,— отвечает за меня Тургун.— Это я во всем виноват.

— Ага!— смеется хозяин.— Значит, из квартала Гавкуш — из квартала воров, где быка украли и зарезали...

Развернувшись, он бьет Тургуна по щеке. Потом замалчивается на меня, но я мгновенно приседаю, закрыв руками лицо, и пощечина меня минует.

— Хитер, мошенник!— сердится хозяин.— Вот я сейчас расправлюсь с вами!

В это время рядом остановились два каких-то благообразных старика.

— Пощечину вашу мы издали слышали,— обращаясь к хозяину, говорит один из них, похожий на ученого.— Ну, так за что же вы бьете парнишек?

Когда хозяин дерева коротко рассказал о случившемся, заговорил второй старик.

— Это же просто ребячье озорство. Вы бы разъяснили им, поговорили бы с ними по-хорошему,— строго сказал он хозяину и, повернувшись к нам, продолжал уже ласково:— Дети мои, прежде всего сливам надо дать созреть. После этот человек, сорвав ли, стряхнув ли с дерева, вынесет их на базар, вот тогда вы и сможете купить их на деньги. Таков порядок, мальчики, за все положено платить.

Хозяин разжал свои пальцы-клещи.

— Такие они бессовестные — ни за что не отпустил бы их. Только ради вас,— сказал он старикам.

Поблагодарив в душе стариков, мы бросились бежать. Вслед нам послышался дружный смех.

— По обе стороны дороги везде посева, и с циновку нет места попасть корову. Давай лучше отправляться домой,

чтоб еще не столкнуться с какой-нибудь бедой,— на ходу упрашиваю я Тургуна.

— Твоя правда, друг. Вот и корова забралась в горох, значит, надо бежать отсюда поскорее,— говорит Тургун.— Аския очень подходящее место, да вот не вышло у нас. Смотри, щека у меня огнем горит. У этого болвана железная рука!

Вернувшись на Бешагач, мы опять отдохнули немного. Дальше пошли мимо земляной крепости. Здесь в маленьких низеньких клетушках, кое-как слепленных, жили русские рабочие. У этих хибарок толпились кучки женщин, раздраженных, гневно кричащих что-то. Мы остановились. Я тогда совсем не понимал по-русски. Спрашиваю одного парнишку:

— Что за шум у них, братец?

— Э-э,— говорит паренек,— мастеровые, особенно их жены, недовольны властью. Царя ругают. Говорят, нечем кормиться, мяса давно не видели.

Мы долго стоим здесь, смотрим. Откуда-то появляются полицейские, они угрозами пытаются разогнать женщин, но те не уступают, продолжают выкрикивать ругательства, а иные начинают швырять в полицейских камнями. Подъехал отряд конных миршабов, они с криками набрасываются на толпу. Мы с Тургуном спешим угнать корову.

Претерпев тысячу мучений, мы возвращаемся домой, усталые до смерти. Солнце еще высоко, корова голодная, мешок пустой.

У тетки Тургуна глаза на лоб полезли.

— Вай, помереть мне!— вскричала она.— Что же вы так рано вернулись? А где трава?

— Э-э, весь свет занят посевами, ни травы нет, ни места корову попасти,— говорит Тургун.— И вы тоже, довели корову, что вот-вот ноги протянет. Тысячу раз крикнешь «чух», прежде чем она сделает один шаг.

— А что ж, корова, как корова,— говорит тетка, поглаживая животину по крупу. Потом поворачивается ко мне:— И ты такой же непутевый, подохнуть тебе! Что вы там делали? Столько времени шлялись и мешок пустым принесли.

Я молча поворачиваюсь и отправляюсь домой.

— Что ж ты так рано?— спрашивает мать и, оглядев меня, начинает упрекать:— Уморился, как собака! И какая тебе нужда шляться, сидел бы в такую жару дома.

Опустившись на край террасы, я рассказываю матери о том, что мы видели в Земляной крепости:

— Жены русских мастеровых взбунтовались. Их разгнали русские полицейские и миршабы.

— Правда?!— вскричала мать.— Только бы все мирно кончилось. У них, у бедных, тоже положение тяжкое. У всех бедняков жизнь одинаковая.

Мы долго сидим, разговариваем с магерью.

## Глава пятая

### ПИР ДЛЯ ВСЕХ

В дни поста я любил вставать на рассвете, хотя соблюдать пост у меня не хватало терпения. Поститься надо было с утра и до вечера, а я уже к обеду, а то и раньше чувствовал голод. Бабушка сердилась, бранилась: «Обжора! Согрешил уже? Хотя бы по три дня — в начале поста, в середине и в конце попустился. Привычка к воздержанию умеряет голод».

— Я еще мал, а у маленьких, я слышал, рот все время должен быть занят, так повелел сам аллах. Вот, когда состарюсь, как вы, тогда и буду соблюдать посты,— возражал я и тем еще больше сердил бабушку.

Мать в эти споры не вмешивалась, но наедине говорила мне: «Ты, сынок, можешь изнурить себя. Пост обязателен для нас, для больших, а ты думай о своих уроках».

Во время поста на Шейхантауре устраивались так называемые ночные базары. Вечером мы, кучка ребят, бежим на Шейхантаур. Здесь горит много лампочек. В чайханах чисто, прохладно. В одной из них с группой музыкантов выступает певец Туйчи-ака. Все сидят тихо, слушают. Повара готовят шашлык, плов, шурпу, торговля у них идет бойко.

Вот мальчишки и джигиты под гармонь катаются на карусели. Здесь тоже давка, каждый, у кого в кошельке есть полтеньги, может получить удовольствие, прокатившись верхом на деревянной лошадке или в кузове «тележки». Но у нас денег нет, и мы довольствуемся тем, что глязем на карусель со стороны.

Есть и кино, окруженное дощатым забором. Показываются разные трюковые картины. Много ребят бродит по закоулкам «ночного базара», но лишь немногим счастливым удаётся посмотреть картину, забравшись на дерево. Миршабы, если заметят, гонят их.

Неподалеку от кино панорама — небольшая площадка, огороженная пологом с деревянной скамейкой внутри. За пологом орудует какой-то щеголеватый человек с длинными, закрученными усами: через специальную подзорную трубу с двумя окулярами он показывает портреты разных «знаменитостей» и всевозможные картинки — белого царя, его семью, министров, сановников, халифа всех мусульман (турецкого султана), виды Стамбула и прочее, сопровождая приказ громогласными объяснениями. Когда усач умоляет, из-за полога, оживленно переговариваясь, гурьбой выходят зрители, и, если он в это время отлучается за чаем ли, за хлебом, мы тотчас проскальзываем за полог и липнем к окулярам. Но и здесь удовольствие наше длится недолго: возвращается хозяин панорамы и выгоняет нас.

Бакалейщики в своих маленьких лавчонках торгуют до полуночи. Каких только сладостей нет у них! Халва разных сортов, фисташки, миндаль, урюковые зерна, леденцы, парварда, фигурные пряники («хлебцы-лошадки»), петушки. Нам, конечно, это недоступно, для нас даже со стороны поглазеть на все эти богатства большое удовольствие.

Не зная устали, мы бродим по ночному базару, заглядываем во все уголки. А незадолго до полуночи бежим на крышу медресе. Заискиваем перед барабанщиком, который уже стоит у костра, подогревая огромный барабанище: «Дяденька, дайте мне — я подогрею!» «А я дрова в костер буду подкладывать!» Тучный барабанщик, продолжая заниматься своим делом, строго кричит на нас. «Ступайте, ступайте отсюда! Убирайтесь!» Мы отходим в сторонку, присаживаемся на корточки и с нетерпением ждем наступления полуночи. Ровно в двенадцать раздается грохот подогретого барабана: «така-тумбака-банг», сопровождаемый звонкими трелями сурная. Мы слушаем, позабыв обо всем на свете. Бой барабана оповещает о наступлении полуночи. Все мусульмане от малого до старого поднимаются для очередного разговенья. Смотри по достатку, готовят плов, шурпу, шавлю, а те, кто победнее, довольствуется хлебом и чаем.

Послушав барабан, мы отправляемся по домам. Бабушка с матерью каждый раз встречают меня укорами:

— Ты и страха не знаешь, джиннов и тех не боишься! Я оправдываюсь:

— Да я один, что ли, хожу? Я с товарищами.

Как-то вечером я никуда не пошел. Соскучившись один, рано лег в постель. Но часов около десяти, наверное, во двор вбежали взволнованные ребята.

— Вставай, Мусабай!— с ходу закричал Тургун, поблескивая глазами.— Слышал, что случилось? Белый царь в войну вступил! С германом, что ли,— название, чтоб его, трудное такое,— воевать будет. На Шейхантауре разговоров всяких — полно!

Я вскочил с постели:

— Правда?!

— Конечно! Белый царь, он, знаешь, в самом Петербурге живет!— поясняет всегда и обо всем осведомленный Тургун.

— А на Шейхантауре — все до одной лампочки потушили. Шуму поднялось! Народ сразу врассыпную,— говорит один из мальчишек.

— Что там такое?— спрашивает со двора мать.

В это время из-за дувала доносится звонкий голос тети Рохат:

— Подружка, слышали? — Стоя на лестнице, она продолжает громким шепотом:— Война, говорят, начинается. Белый царь указ дал. Муж только что прибежал с улицы. Говорит, несколько больших царств вступают в войну...

— Аллах да отвратит от нас лик войны!— печально говорит мать.

Спотыкаясь в темноте, во дворе появляется учительница:

— Несчастье обрушилось на голову народа, слышали, Шаходат-бану?

— Да-да, слышали,— разом отвечают мать и тетя Рохат.

Учительница всходит на террасу, садится у чирака. Обернув вокруг головы один конец платка, другой забрасывает за спину. Говорит:

— Россия — далекая огромная страна. Ни конца ей, ни края нет. Вот, Туркестаном враз овладела. Младший брат мой говорит, что сила царя Николая велика, как у орла, к примеру, и солдатам его будто бы счету нет, как муравьи кишмя-кишат. Но брат говорит, что царь германов, он тоже хитер и коварен. Словом, светопреставление начинается, Шаходат-бану. Пусть сам всевышний сохранит нас, мусульман, пусть он сам будет нам прибежищем и защитой!

— Мусульмане смирные, как овцы, они самые кроткие из всех рабов божьих,— говорит мать.

В разговор вступает из-за дувала тетя Рохат:

— Трудно, ой как трудно будет беднякам! Цены теперь, вот посмотрите, подскочат до самых небес.

Обменявшись новостями, они расстаются — учительница уходит со двора, тетя Рохат слезает с лестницы. Расходятся по домам и мои товарищи. А я еще долго лежу, предаваясь размышлениям.

Приготовив плов, мать велит будить бабушку.

— Бабушка, бабушка, война началась! — тихо шепчу я.

— А? Что он болтает тут? Не накликай лиха! — вздрагивает бабушка.

Я подтверждаю новость. Бабушка сурово хмурит брови:

— Недаром сон у меня был беспокойным, кошмары всякие виделись. Всевышний да смилуется над нами, мусульманами! Николай здорово-таки давил народ, вот ему и наказание. — Она подходит к арыку и шумно плещется, умываясь.

\* \* \*

Баи Туркестана, помещики, кулаки радуются. Воят: «Его величество белый царь вступил в войну. Мы безусловно одолеем врага, закончим поход победой!» Царская полиция держит жителей Ташкента в еще большей строгости. В народе нарастают беспокойство, тревога.

— Остерегаться надо! — шепотом наставляет дед своих подмастерьев и учеников. — В последнее время полиция рыщет всюду, шпионов-соглядатаев развелось видимо-невидимо. У них есть тысячи всяких способов, хитростью, обманом наведут на разговор, а потом возьмут да и схватят. Никогда не жалуйтесь, что жизнь стала тяжелой, что на голову нашу обрушилось много бед и несчастий. Знаю, жизнь наша стала трудной, очень трудной. Но горе и гнев надо таить в себе. В чайханах, на улице помалкивайте. А если заприметите какого соглядатая, сейчас же вставайте и уходите.

— Э, отец, что суждено, того не минуешь, — говорит пожилой подмастерье.

В доме у нас еще чаще, чем прежде, стали собираться соседки. Раньше говорили о ворах, бродягах, о распутных мужьях. Но с началом войны такие разговоры были забыты. «Матка» этих посиделок, старая учительница, рассказывает все, что слышит от родни, от своего младшего брата.

— Слушайте! Нет конца ужасам. Все государства разделились на две стороны. Всюду начались жестокие сражения, — говорит старуха. — Тяжко, тяжело народу, очень тяжело! Сгинуть им, царям, разве нельзя было всем государствам жить в ладу, в дружбе?! У каждой стороны сол-

датами хоть пруд пруди. На морях корабли гибнут, тонут. Да, все, что я говорю вам, сущая правда, от младшего брата своего слыхала. Особенно велики коварство и хитрость германа: разные там исполинские пушки у них, всякое уму непостижимое оружие. Словом, всего и не счесть.

У всех только и разговоров, что о войне, и о том, что происходит в Ташкенте.

— Ваш Гаффар, сдохнуть ему, принес откуда-то новость,— говорит тетя Рохат, вскидывая сплошные, наведенные усьмой брови и продолжая заниматься разложенной на коленях вышивкой.— Несколько мужчин пили будто бы в чайхане чай. Один бедняга возьми да и пожалуется на трудность жизни. А в сторонке, неподалеку от них, сидел какой-то незнакомый человек, с виду простачок будто бы, невзрачный такой, с бельмом на глазу, с коротко подстриженной бородкой. А на самом деле он был шпионом-доносчиком, подслушивал, о чем говорят люди. Вот сидит он, будто ничто его не касается, даже нарочно задремал вроде. А тут вдруг как вскочит. «А ну-ка, идем, говорит. Здорово, говорит, ты нажаловался тут, смуту поднял!»— И тащит того беднягу. Тот рот раскрыл, ничего не понимает, дрожит весь с ног до бороды. Люди вокруг незаметно по одному, по одному начали разбегаться. Тот бедняга умоляет со слезами: «У меня, говорит, детишек много. Я допустил ошибку, простите, господин! Я парикмахер многосемейный, каюсь, простите!» А доносчик, сгореть его могиле, и внимания не обращает, все грозит ему. Тут вступились старики, тоже стали просить: «Сынок, говорят, не обижай несчастного, смилуйся!» А доносчик подлый, кричит будто бы: «Идем, говорит, в полицию!»— и тянет того беднягу за руку. Там же, в чайхане был какой-то джигит. Сидел он молча, опустив голову и не вмешиваясь в разговор, а тут вдруг вскочил со своего места и манит доносчика, мол, отойдем, разговор есть к вам. Отвел его в сторону, что-то начал шептать ему нарочно. А тем временем тот бедняга кинулся в окно и убежал. Доносчик набросился было на людей, мол: это вы, помогли ему бежать, да так ни с чем и ушел. Ваш Гаффар каждый день мешок всяких слухов приносит. Выйдет на базар с вязанкой веников и пока продаст, целую арбу новостей соберет. А что до цен, то они каждый час скачут все выше и выше.

— Да, тяжело нам, худо нам,— говорит мать.— Цены и правда до небес подскочили. Сердце у всех горем-заботой до краев переполнилось. Вот доносчики и настораживают уши во все углы.

— У баев, сгнуть им, всегда нож в сале, потому что едят жирно. Перебесились все, шеголяют нарядами, кичатся, нос задирают,— говорит Сара Длинная. Широкое платье на ней все в заплатках, на голове грязная затасканная повязка.— Сгнуть им, строят роскошные дома, подворья, сады, покупают по тридцать-сорок танапов. Как началась война, столько новых богатеев объявилось из тех, какие торгуют мукой, маслом, всякими припасами. Короче: худые времена настали, видно, скоро свету конец...

— Все улемы, подвижники и те за деньгами гонятся, в распутстве погрязли. Вот, на Себзаре есть большой ишан,— вступает в разговор учительница.— Сам святой подвижник будто бы, много мюридов-учеников имеет, а на поверку оказался бабским угодником. Четыре жены у несчастного, одна другой красивее, так он недавно прогнал старшую и женился на пятнадцатилетней девчонке. По обету была отдана ему бедняжка.

— Э-э,— говорит Сара Длинная,— святых подвижников, какие были прежде, совсем не осталось. Рушится белый свет.

Бабушка, копошившаяся во дворе, строго прикрикнула:

— Довольно, довольно. Улемов, святых подвижников не касайтесь, злословие и смута к хорошему не приведут. Улемы — служители шарната. А вот на баев, на кровопийцу царя пусть обрушит аллах гнев свой!

Соседки на минуту умолкают. А Сара Длинная возражает:

— От жалоб наших стон стоит. Жизнь день ото дня становится труднее. Что ж нам таить свои печали, мы говорим то, что есть.

Но разговор уже не клеится. Соседки расходятся. Ближится вечер. Мать идет к очагу и разжигает огонь. Поджарив немного луку на масле, затевает постную похлебку из маша и рисовой сечки.

— Опять машхурда?— злюсь я.— Опротивела она уже!

— А что я могу поделать? Если сегодня приготовить плов, потом целую неделю котелок не с чем будет кипятить. Изведет, видно, меня беспечность твоего отца,— тихо говорит мать.

— Зачем клянeshь его?— сердито взглянув на мать, говорит бабушка.— Если он скитается, то не ради забавы, а ради заботы о пропитании, тебя, меня, детишек ради. Терпи. Хорошая жена, говорят, если дом вода зальет, воду выпьет всю, если камень свалится, камень изложет.



Народ в тревоге, волнуется. На базарах, на улицах, в трамвае,— всюду только и разговоров: «Его величество белый царь издал указ мобилизовать на тыловые работы, на рытье окопов джигитов мусульман по всему Туркестанскому краю. Его превосходительство губернатор уже разослал указ по городам всех уездов, по кишлакам и в степь по аулам».

Элликбаши — правитель квартала, и все элликбаши будто бы дали губернатору такое обещание: «Это указ его величества белого царя, значит, наш долг — повиноваться. Раз его величество белый царь повелел, мы дадим джигитов на тыловые работы. Сами выберем сильнейших и лучших!» Жители города волновались, высказывали недовольство: «Сынков баев, купцов, кулаков, конечно, нет в списках!» — говорили они.

В нашем квартале Гавкуш тоже смута, скандал. Все в один голос заявляют: «Элликбаши почтенный! В списки в первую очередь пишите сынков баев, купцов. Они всюду были впереди, вот и теперь пусть идут первыми, а мы посмотрим».

Кичливый элликбаши нашего квартала в своей щегольски намотанной чалме, в длинном чесучевом камзоле с толстой цепочкой от серебряных часов через всю грудь,— кричит, тараша свои острые, как колючки, глаза:

— Люди, расходитесь! Отправляйтесь по своим делам. Все совершается по воле аллаха. Баи, купцы наша гордость, наша слава, глупые!

— Прибегайте к аллаху, молитесь ему, и он поможет вам во всех ваших затруднениях! — улещает народ кто-то из богачей.

Народ, возмущенный и озабоченный, расходится с тревогой в сердце. Баи квартала, элликбаши, имам и прочие шепчутся между собой, держат совет. Все они заодно, все тянут в одну сторону.

Однажды вечером, как всегда, неожиданно, возвратился из степи отец. Мать, проворно расстилая для него одеяло и подсовывая ему за спину подушку, спрашивает:

— У казахов тихо или там тоже беспорядок?

— Э-э, что спрашиваешь! всюду смута, схватки, драка... Как здесь, родственники, близкие, все ли благополучны? Я из-за этого и поторопился приехать. Очень тревожно стало в степи.

— Здесь все на волоске держатся,— вздыхает мать.

Отец то и дело закладывает насвай, сидит, молчит, по-  
нурий.

— Да пошлет аллах мир и спокойствие сартам, киргизам, казахам — всему народу, и тиранам внушит справедливость и милосердие! — сквозь слезы говорит бабушка. — Говорят, Россия очень далекая страна, как бы сартовские, казахские парни, лучшие наши джигиты не погибли там от холода, от голода. Беда на всех нас свалилась!

Мать приносит самовар.

— Ты особенно не беспокойся, я сыт, — сплевывая насвай, говорит отец. — Мне довольно одного чаю.

Я говорю несмело:

— Белый царь грозит залить кровью весь край, если подданные Туркестана не дадут джигитов. Говорит, брошу солдат с пушками, с винтовками, сокрушу их, и пепел развею по ветру.

Отец с нескрываемым удивлением смотрит на меня пристально, потом говорит негромко:

— Будь она проклята, война! Это — бедствие. Но Николай, как сказал, так и сделает, не отступится. Если решил взять джигитов, значит, обязательно возьмет. Это жребий, выпавший на долю всего народа, и никакого выхода тут нет... — И большими жадными глотками пьет чай.

— Вставай-ка, сын мой Мусабай, — велит он мне. — Иди, привяжи к яслям коня и подложи ему сноп клевера из амбара.

Я проворно вскакиваю и бегу в конюшню.

\* \* \*

Нашу школу перевели во вторую Ак-мечеть. Это новая красивая мечеть неподалеку от нашего квартала, участок ее издавна принадлежал вакуфу.

Учитель наш каждый день начинает урок с сообщения новых пугающих известий и призывает крепко держаться веры, молиться от всего сердца, прибегая к аллаху и к его великому посланнику пророку.

Возвращаясь из школы, мы на перекрестке у Балянд-мечети наталкиваемся на шумный спор.

— Вы спрашиваете, из-за чего мы шумим? А мы и будем шуметь. Бедняки, неимущие, ремесленники — все мы вопить станем. Почему сынки купцов, чиновников, баев остаются, а мы должны идти на муки?! Нет, так дело не пойдет! Пусть и они идут. Вместе с нами пусть идут, тогда и мы слова не скажем, отправимся. Ну, чего тарашнишь глаза?! — кричит распаленный гневом отчаянный джигит.

— Сынок, будь же справедлив, свет мой!— умоляет элликбаши какой-то старик.— Ну ладно, мы бедняки, мы неимущие, но почему все-таки сынки людей денежных остаются в стороне, а? Ну, скажи?

Элликбаши с минуту молчит, потом кричит, выходя из себя:

— Подлецы! Бессовестные! Мерзавцы! Расходитесь, прячьтесь по своим норам, иначе сейчас же полицию вызову!

— Да хоть вешай!— кричит кто-то из толпы.— Жизни нет от вашего тиранства. Где у вас стыд? Есть ли у вас хоть капля совести?!

— Горе нам! До гибели довел нас Николай! Жизни нет от тиранов-чиновников!— кричат женщины, проклиная баев, купцов и их приспешников элликбаши.

Элликбаши орет на женщин, но те и не думают уступить:

— Не дадим своих сыновей!

— Сам иди, сгореть твоей могиле!

— Беднякам хватит мучений, какие они испытывают здесь! На тыловые работы пусть идут сынки богачей!

— Да-да! Пусть богачи идут!

Элликбаши кричит, багровея от гнева:

— Прочь отсюда, бесстыжие! Отправляйтесь и сидите по домам!

Такие споры и смута идут в каждом квартале каждой из четырех частей Ташкента. Весь город охвачен пламенем народного гнева. Всколыхнулись и все города Средней Азии, все кишлаки. Об этом мне приходится слышать от взрослых.

Народ складывает об элликбаши едкие частушки.

Твой дом богат, Садахмад,  
Ты носишь шелковый халат.  
Но ты продать джигитов рад —  
Будь проклят же, Садахмад!

Всех бедняков переписал,  
Взвалив на лошадь грузный зад,  
— Джигитов мы дадим!— сказал  
Элликбаши Садахмад.

Привет, подлейшему, привет,  
Здоровы ль вы, элликбаши?!  
Рабочих тылу дали вы,

И подпись тут — «элликбаши»!  
За деньги трижды продал нас  
Блудницы муж, элликбаши!

Ташкент содрогается, словно огнедышащая гора, в кратере которой уже клокочет лава, и гнев внезапно прорывается.

Рано утром я пошел к Балянд-мечети купить клевера. На перекрестке необычный шум, суматоха. Из Шейхантаура, Себзара, Кукчи, направляясь в сторону Алмазара, текут возбужденные толпы народа. Вместе с мужчинами, проклиная белого царя, с плачем, с воплями идут женщины.

Кое-как выпросив у лавочника, торопливо закрывавшего свою лавку, четыре снопа клевера, я вскидываю их на спину и бегу домой. Швыряю клевер в ясли и тут же стремглав бросаюсь к калитке. Мать, стиравшая во дворе, кричит мне вслед:

— Куда ты, шальной! Из-под коня убрал бы!

Даже не обернувшись на оклик, я выбегаю на улицу.

То вприпрыжку, то быстрым шагом вместе с народом я добираюсь до полицейского участка на Алмазаре. Здесь уже много народу. Толпа бурлит. Цепляясь за окрашенную в зеленое ограду, окружавшую двор и сад участка, люди гневно выкрикивают:

— Проклятые тираны! Не дадим сыновей!

— Сгинуть Николаю, довольно мы терпели от него!

Перемежающиеся с воплями проклятья женщин, брань мужчин грозным валом возмущения вздымаются у ограды полицейского участка.

В окнах, в дверях канцелярии мелькают бледные, искаженные страхом физиономии миршабов.

— Прочь, безумцы! Прочь, проклятые! — кричат миршабы.

На них никто не обращает внимания. Толпа мужчин и женщин с яростным ревом раскачивает ограду. С треском валит ее, врывается на просторный двор участка. В окна летят камни. Напуганные миршабы прячутся и стреляют из укрытия. Толпа подается назад, но уже в следующую минуту, охваченная гневом и яростью, снова рвется вперед. Двор участка кипит, как огромный котел. Женщины в старых рваных паранджах, запыленные с головы до ног, многие с отброшенными сетками чачванов, с открытыми лицами, не отстают от мужчин.

— Отступники! Предатели!

— Смерть белому царю!

— Бей тиранов!

Известный своей жестокостью полицмейстер Мочалов, открыв дверь, выходит наружу, но при виде разъяренной толпы, бледнеет, пятится назад и захлопывает за собой дверь.

Жители старого города хорошо знали Мочалова. Он статен и широк в плечах, у него пышные усы, но выражение багрового лица полицмейстера желчно, сурово, даже свирепо. Когда Мочалов проходил по улицам, все — стар и мал, лавочки, купцы и чайханщики, словом, каждый встречный со страхом и трепетом спешил приветствовать его саломом. Если кто по неведению или просто потому, что не заметил, своевременно не поприветствует его, он сейчас же обрушится на «виновного» с плетью, сопровождая расправу самой непристойной бранью. А на расправы он был непревзойденным мастером, и плеть всегда носил с собой особую, с длинным тонким хвостом. Я сам хорошо знал Мочалова и, когда встречал на улице, замирал на мгновение и торопливо бормотал «салам!», а в душе отпускал в его адрес крепкое ругательство.

Возмущение толпы нарастало с каждой минутой. На канцелярию участка рушилась туча камней, были выбиты все окна. Вдруг со стороны нового города внезапно появился отряд конных казаков. Обнажив клинки, казаки внезапно врезались в толпу. Загремели выстрелы. Послышались вопли и проклятья женщин, брань и яростные выкрики мужчин. Многие были сбиты с ног, ранены, убиты. У коекого из джигитов заблестели в руках ножи, но что они могли сделать? Плотная до этого толпа распалась. Плача то ли от страха, то ли от бессильной ярости, я вместе с народом отступаю из сада полицейского участка.

Дома я подробно рассказываю обо всем виденном бабушке, матери, соседям. Среди жителей квартала только и разговоров, что об этом страшном событии. Все переживают, все в тревоге. Носятся слухи один страшнее другого. Говорили, будто губернатор по телеграфу просил у царя разрешения «потопить в крови сартов, сжечь старый город, превратив его в груды пепла».

Из-за дувала показывается голова тети Рохат.

— Гаффар-ака только что принес с улицы новость. Говорят, Ташкент будут обстреливать из пушек. Пропали мы, что будем делать?

Бабушка лежит на постели, устроенной на террасе, у нее паралич.

— Было бы лучше уехать нам куда-нибудь за город,—

говорит она матери, — да на чем переедешь и чем кормиться там станешь. Родственники примут ли, не примут. И я вот слегла. Так что если даже Ташкент гореть будет, сидеть нам дома, куда денешься...

— А, что будет, то будет! — говорит мать. — Неужели власти из-за этой вспышки сожгут такой большой город?!

— Угроза велика, — говорит Сара Длинная, сидящая у изголовья бабушки. — Купцы, пузатые баи на арбах, на извозчиках, бегут в свои загородные усадьбы, а беднякам трудно, ой как трудно! Огню ли будет предан Ташкент, земля ли его поглотит, нам сидеть тут и покорно ждать своей участи.

— Да-да, от того, что суждено, не уйдешь и не убежишь, — говорит старуха соседка.

Они долго горюют, потом соседки одна по одной расходятся по домам.

Вечером я побывал на перекрестке. Народу здесь заметно меньше против обычного, открыты лишь немногие лавки. Но глухой Юсуп спокойно торговал клевером.

Откуда-то подбежал запыхавшийся Тургун.

— Тебя не было, Мусабай, большой переполох получился!

— Эхе! Да я в самый разгар бунта был там. Тебя искал и не нашел.

— Да, я запоздал немного, — Тургун смущенно почесал висок. — А женщины, знаешь, отчаянные оказались. Две были ранены, кровью залиты, я сам видел. Разгромили народ. Многих конями смяли, а сколько под пули попало!..

Я перебиваю друга, спрашиваю озабоченно:

— Говорят, Ташкент огню предадут, правда это, Тургун?

— Э, слухи одни! — по-взрослому машет рукой Тургун. — Баи, правда, бегут из города, это я заметил. А отец мой затаился дома, без перерыва читает молитвы, со слезами шепчет какие-то заклинания, — на бога надеется. — Тургун замаялся. — Знаешь, друг, а не махнуть ли нам куда-нибудь в степь или в горы? Пожили бы там спокойно, без канители. Миршабы здесь, понимаешь, хуже прежнего бьются, гады, никакого терпения нет.

— Что, трусишь? Нет уж, что будет, то будет, — говорю я Тургуну.

В это время мимо, отбивая шаг, проходит отряд солдат с пушками, погруженными на арбы. Люди на перекрестке притихли, помрачнели. Мы тоже, не обмолвившись больше ни словом, отправляемся по домам.

Дома я рассказываю о виденном матери. Мать тяжело вздыхает:

— Да смилуется над нами всевышний, да оградит он нас от всяких бед!

А Гаффар-ака громко кричит со своего двора:

— Не бойтесь, они страшат просто. Зачем властям сжигать такой великий город как Ташкент, он им самим нужен!

Мы немного успокаиваемся. Долго разговариваем, понизив голос. Когда расстелили одеяла и приготовились ложиться спать, явился отец. Мать и я рассказываем ему все, что слышали, что видели. Отец долго сидит молча, потупившись в землю. Потом говорит тихо:

— Весь город в страхе, в смятении. Подождем, потерпим, что будет, то будет...

\* \* \*

Солдаты заняли известную в старом городе обитель дервишей. Утром часов в одиннадцать, в двенадцать мы с опаской идем туда с Тургуном. Видим вышагивающих у входа солдат и незаметно скрываемся.

Точно не помню, кажется, дня через два — через три солдаты вернулись в новый город.

\* \* \*

В нашем квартале, как и всюду в старом городе, горе, скорбь, слезы, плач. Джигиты, назначенные к отправке на тыловые работы, прощаются с семьями, с родными. Я, Тургун, Агзам, Ахмад и еще несколько наших товарищей отправляемся на перекресток к Балянд-мечети. Люди верхом, на арбах, на трамваях, а большинство пешком спешат на вокзал. Мы идем вместе со всеми. По дороге Тургун сумел как-то повиснуть на ступеньках трамвая. Проезжая мимо, он кричит нам:

— Я буду ждать вас у княжеского сада!

Агзам смеется:

— Ну и пройдоха!

— Хлесткую пощечину заполучит от кондуктора,— говорит Ахмад.

Мы долго шагаем по улице. Наконец, усталые, добираемся до княжеского сада. Еще издали видим расхаживающего там Тургуна. Агзам бранит его.

— А что?— огрызается Тургун.— Ну, прокатился я,

удовольствие получил. И кондуктор видел, а промолчал.

— Враки!— говорит Ахмад.— Если бы кондуктор видел, он бы с тебя шкуру содрал.

Мы идем дальше, то и дело останавливаемся, через железную ограду заглядываем в княжеский сад. Высокие деревья, тенистые, чисто подметенные аллеи... Красивый, пышный дворец... и не хотел бы, засмотришься. У подъезда — сверкающая лаком карета. Строгие два аргамака, холеные, шерсть отливает, нетерпеливо бьют копытами. На сиденье шегольски разодетый кучер сидит, нос задрал.

Мы тихонько подходит к карете. Часовой у двери громовым голосом кричит:

— Чего вы тут? Прочь отсюда! Если вдруг выйдет князь...

Мы убегаем.

Так вот, останавливаясь из любопытства то там, то здесь, мы в конце концов добираемся до вокзала.

На перроне уйма народу, давка. Плач, вопли, суматоха. Пробираясь через толпу, мы долго ищем джигитов нашего квартала, но найти не можем. Я начинаю плакать: сын дяди, двоюродный брат мой, Мумин, тоже отправляется в числе мобилизованных, а где его найдешь?

Шипят паром паровозы, иногда внезапно раздается гуток, мы пугаемся, вздрагиваем от неожиданности.

Вот стоит кучка улемов, казиев. Один из них говорит речь. Я прислушиваюсь издали.

— Его императорское величество ведет сейчас жестокое сражение, у него много забот и трудностей, служите же ему верно, джигиты!

Он еще говорит что-то, но я уже не слышу его за шумом и гомоном тысячной толпы.

Поезд неожиданно трогается. Плач, рыдания становятся громче. Поезд убыстряет свой бег и вскоре скрывается. Я громко плачу.

— Перестань! Когда-нибудь вернется твой брат,— говорит Ахмад, обнимая меня за плечи.

Мы долго стоим, глядя вслед уже скрывшемуся поезду. Наконец Тургун первым напоминает нам:

— Пошли! Живот так подвело, что кишки стали тонкими как луковое перо.

Я пришел домой усталый, разбитый, а дома, оказывается, бабушка Таджи сидит с заплаканными глазами, горюет о Мумине.

— Что так долго?— спрашивает мать. Я так беспо-



коилась за тебя. На вокзале был? Брата Мумина видел?

Я молчу какое-то мгновенье, потом, глядя прямо в глаза бабушке Таджи, говорю:

— Мумина-ака я видел. Долго искал, потом нашел все-таки, попрощался с ним. Мумин-ака велел передать всем салам. Говорил, что скоро вернется, пусть не горюют.

Бабушка Таджи громко рыдает.

Я коротко отвечаю на расспросы бабушки, матери, потом надолго умолкаю, перебирая в памяти все виденное и пережитое.

Отец, оказывается, тоже побывал на вокзале. Он возвращается поздно. А наутро с рассветом снова отправляется в степь.

\* \* \*

Учитель наш читает коран, пишет на блюдцах, пиалах, чашках молитвы-заговоры для исцеления больных. Если ученики расшались, хлещет их плетью. Устанет, закроет глаза, вздремнет сидя. А в сумерки отпускает нас по домам.

Однажды, когда я зубрил Суфи Аллаяра, учитель незаметно прислушался к моему чтению и сказал с улыбкой:

— Ты читаешь так гладко, будто ручеек воды струит, хватит тебе, мой мальчик!

— Я три раза подряд прочитал Суфи Аллаяра, много газелей знаю на память!— ответил я, смущенный похвалой.

— Правда?!— удивился учитель.— Да, ты парнишка толковый, молодец! Завтра начнем с тобой Навои,— сказал он. И ухмыльнулся.— Только условие: жирный плов, корзина сдобных лепешек и кредитка с большим портретом. Слышишь?

Вечером я пристаю к матери. Мать будто соглашается: «Хорошо». Но, подумав немного, легонько треплет меня по плечу:

— Дороговизна, сынок. Учитель твой, чтоб его, любит плов, знаю, да никак не извернуться мне. Корзину сдобных лепешек и рубль деньгами дам, так и быть...

Наутро мать дает мне корзину лепешек и рубль денег (деньги день ото дня уже начали падать в цене), и я, довольный, отправляюсь в школу, сунув в сумку сборник газелей Навои.

Учитель берет у меня книгу, кладет ее на низенькую табуретку перед собой. Говорит:

— Ну, начнем. Во имя аллаха!..— И, не торопясь, начинает читать. Я повторяю вслед.

Стихи Навои — любовные, философские — исполнены глубокого смысла. Душа моя вдруг как бы озаряется, внезапной вспышкой света, — его аллегории, афоризмы, безукоризненно звучные рифмы западают мне в самую душу.

— Газели Навои любовные, но это любовь к аллаху, чистая любовь, — говорит учитель. — Продолжай читать, придет время, сам поймешь.

## *Глава шестая*

### ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ

И снова весна. Уже набухают почки на деревьях.

Мальчишки квартала носятся с крыши на крышу, запуская бумажных змеев, обыкновенных и большущих — куроки.

Однажды — видимо, в начале марта, и, кажется, в пятницу — я, забросив курок, с утра слонялся на гузаре. Тут из толпы взрослых в уши мне молнией стрельнули слова:

— Николая свалили с трона!

— Престол вдребезги разнесли!

— Избавились от тирана!

— Сгинуть Николаю! Довел, что подышаем с голоду.

По всему базару пошла молва из конца в конец.

Оказывается, губернатор, чтобы скрыть от народа то, что произошло в Петрограде, приказал придержать в первые дни все телеграммы, и все-таки народ узнал правду.

Наутро, наспех попив чая, я побежал на улицу. Хожу, прислушиваюсь ко всему, что говорится на перекрестке. Вдруг со стороны Хадры показалась группа людей, с виду интеллигентов. Среди них несколько ремесленников, бедняков. Слышится духовая музыка, но такая сумбурная, что и мелодии не уловить: оркестр недавно только введен в обиход, и все музыканты — любители из народа.

— Чудно! Слышали, объявилась такая штука — «музыка»? — спрашивает своего соседа один из лавочников, имея в виду оркестр.

— Чудеса! — удивляется сосед.

А интеллигенты кричат:

— Конец деспотизму! Долой кровопийцу Николая! Да

здравствует Временное правительство!— И удаляются в сторону нового города.

Вслед за ними повалили люди нашего перекрестка, мы, мальчишки, тоже присоединяемся к толпе.

В новом городе собралось много русских рабочих и интеллигентов. Оратор, какой-то рабочий, что-то с жаром говорит. Я не знаю по-русски ни слова, стараюсь хоть что-нибудь понять по глазам окружающих, по выражению их лиц.

Домой я возвращаюсь далеко за полдень и до мелочей рассказываю обо всем матери.

— Подлого тирана Николая сквырнули с трона и спровадили в ад. Слышно, что поводья взяло в руки какое-то Временное правительство...

— Слыхали, слыхали. От соседей слыхали уже,— говорит мать.— И Рохат откуда-то принесла эту новость. Николая, подохнуть ему маленьким, прогнали, и очень хорошо сделали!

\* \* \*

Баи, владельцы земли, купцы неистовствуют больше прежнего. Роскошные пиршества, разгул принимают невиданный размах. Улемы получают огромные доходы от вакуфов. А народ по-прежнему разут, раздет, бедняки, немощные нуждаются в куске хлеба.

Между улемами и джадидами начинается распря, дело доходит чуть ли не до драки. И те и другие кричат, пересыпая речь арабскими и персидскими словами, грозными цитатами из корана. Джадиды вопят о «просвещении нации», «о славном прошлом Туркестана» и вместе с баями организуют «Шура ислам»— Совет Ислама. Улемы создают «Общество улемов».

Помнится, в июне началась подготовка к выборам в думу. Она сопровождается острыми столкновениями. На ноги встают все улемы. К ним присоединяются русские реакционеры, часть местных баев. Народ, не разобравшись, поддается агитации улемов, и они одерживают верх в старом городе.

30-е июля. У Баянд-мечети собрались тысячи людей. Улемы, довольные результатами выборов, выпускают листовку с «Изъявлением благодарности». Кто-то из моих товарищей сует мне один экземпляр: «Читай!»

«Хвала аллаху! Исполненные благочестивого рвения и благородного усердия, жители Ташкента — мусульмане на

гласных выборах 30-го июля сего 1917 года, выполняя необходимую и непреложную национальную обязанность и наиважнейший долг свой, следуя за досточтимыми улемами, коим уготовано быть нашими наставниками на этом евете и предстателями-заступниками в загробной жизни, и на деле руководствуясь их указаниями, преисполненные доверия, с открытым сердцем, жители каждой общины утром к 9-ти часам дружно собрались у своих участков, бережно, как бесценный дар, храня в руках своих выборные конверты и отвращая слух свой от дьявольских наущений некоторых коварных обманщиков и соблазнительей, пренебрегая усталостью и не поддаваясь раздражению, ожидали с должным терпением и выдержкой, даже если приходилось стоять по четыре-пять часов; дехкане оставляли на попечение всевышнего дома свои, своих жен и детей, убеленные сединами старцы держали себя, как полные сил юноши, больные же, как здоровые телом, и без всяких обид друг на друга, без ссор и драк при таком великом и опасном скоплении народа провели эти трудные выборы мирно и весьма спокойно и в предвидении будущей счастливой и блаженной жизни, разумом и совестью сознавая, какой стороне отдать свои голоса, в полном сознании своих выгод и интересов отдавали предпочтение спискам именно той стороны и по своей склонности принадлежащие им выборные «шары» клали в надлежащие места без всякого на то побуждения и по своей доброй воле!

Хвала всем! Да здравствуют истинные мусульмане! Да принесет вам счастье наступление дней свободы! И да будет благословенна наша новая дума!»

Этим длиннейшим обращением, чуждым народу и по языку и по содержанию, улемы пытались сбить трудящихся с толку, устранить их от борьбы. Они ведь умели ловко обманывать и запутывать народ, используя как свое оружие религию.

А что касается джадидов, то они полностью снюхались с буржуазией, кричали «нация», а все свои надежды полагали только на «цвет нации» — баев.

\* \* \*

Я еду на арбе, запряженной могучим справным карабаиром и до отказа нагруженной красными летними яблоками. За арбой клубится туча пыли. Разморенный жарой, я вяло покачиваюсь при каждом толчке, задумчиво поглядываю на пожелтевшую пыльную траву по сторонам, на изрезанные ущельями горы. Спрашиваю арбакеша:

— Дедушка, жара страшная, далеко еще до остановки? Арбакеш, ласковый сухошавый старичок с жиденькой бородкой, в пропыленной рубаше и в глубоко надвинутом грязном войлочном колпаке, лениво отвечает:

— До остановки далеко, сынок, потерпи малость. Сейчас как раз середина лета — самая пора созревания ячменя, пшеницы, всяких плодов-фруктов, так что пусть палит, свет мой. Солнце — штука премудрая. От его тепла большая помощь. Даже больные, зарывшись в песок, в пыль, находят облегчение от своих недугов. Словом, от солнца всему живому польза, его свет и тепло — бесценный дар...

— Я, дедушка, спрашиваю про остановку, сколько верст осталось? — нетерпеливо перебиваю я старика.

— Далеко, далеко, потерпи, — отвечает старик, подхлестывая лошадь. И помолчав, улыбается: — Ты бы песню спел, что ли. Или из благородного корана какую-нибудь трогательную суру прочитал.

— Мне и так наскучило без конца твердить коран. Он от начала до конца весь по-арабски, дедушка. Его смысла даже многие муллы не понимают. А песни петь я не умею, способностей нет.

— Голос, говоришь, скрипучий, а, братец? — смеется старик.

Вдали, суля прохладу, синее цепь величественных гор. А степь пылает огнем. Трава, цветы — все посохло. Вдоволь наглотавшись пыли, мы, наконец, добираемся до остановки.

Здесь стоит большой обоз арб с пшеницей из Янгибазара. В обозе внезапно заболела лошадь. Хозяин, толстый бородатый человек средних лет, задыхаясь от ярости, кричит на арбакеша:

— Мерзавец, сожрал коня! Подожди, я тебе покажу, сын собаки!

Арбакеш, парень лет девятнадцати-двадцати, оправдываясь, говорит сквозь слезы:

— Хозяин, никакой вины на мне нет, я бедный человек...

Какой-то старик из числа столпившихся здесь арбакешей склонился над лошастью, пощупал у нее за ушами.

— Перестань! — выпрямляясь, сказал он молодому арбакешу. — Издох, и конец делу. Может, мышьяки, может, еще какая болезнь, словом, издох и плакать теперь бесполезно. — И к хозяину: — А ты, свет мой, — этот парнишка смиренный, тихий — не трогай его.

— Тихий, видишь ли, этот сын распутницы! Лентяй он

и в лошадях ничего не понимает, мерзавец!— закричал хозяин.

Он внезапно набросился на парня и начал избивать его. Мне стало жаль беднягу, я заплакал. Старик-арбакеш побледнел. Оттолкнув в сторону парня, он закричал на толстяка:

— Хочешь зло сорвать, мошенник? Если нужно возмещение за коня, я сам уплачу тебе!

Хозяин притих, насупился. А старик уже распорядился, обращаясь к другим арбакешам:

— Довольно стоят! Разделите его груз по два мешка на арбу и давайте трогайте, чтоб засветло быть в Ташкенте. Надо помнить о деле!

Мой старичок долго стоял, глядя вслед удаляющемуся обозу.

— Меняются времена. Смотри, как он... на хозяина?!— сказал он, не то удивляясь, не то радуясь, и покачал головой.

Пробыв два дня в пути, мы вечером приехали в Янги-базар.

\* \* \*

Отец, одетый поверх рубахи в длинный камзол, как и в первый раз, встретил меня на широкой улице.

— Идем, сын,— сказал он.— Помнишь насвайщика Карима, он звал к себе.

Вдвоем мы шагаем грязными, занавоженными пыльными переулками. Быстро сгущаются сумерки. Над горизонтом колышется нежный атласный занавес, но уже хмурится вдали величавая гора Козыгурт, и небо густо усыпано звездами. Прямо передо мной сияет вечерняя звезда. Я люблю ее: мне кажется, что здесь она и ближе и ярче, чем в городе.

Когда мы вошли во двор Карима-насвайщика, хозяин уже сидел с несколькими торговцами мануфактурой и лавочниками на глиняном возвышении на внешней половине двора. Увидев нас, насвайщик заулыбался и с места протянул нам кончики пальцев.

После нас пришли два-три лавочника. Все они здесь худые, тощие, скупые, и большей частью мелочные люди. Всех я их знал еще по лету прошлого года.

— Мусабай, что нового в Ташкенте?— спросил у меня рябоватый лавочник, пальцем выгребая из-за губы насвай. Я коротко рассказываю кое-что из того, что знал:

— В Ташкенте тревожно. Время трудное, простые люди голодают. Мастеровые возмущены, требуют, чтобы установили работать по восьми часов в день и чтобы плату прибавили... Нет хлеба, мяса...

— Эха!— вздыхает какой-то незнакомый мне пожилой лавочник.— Вон оно как. Николая убрали, и дела, значит, пошли все хуже. А радовались, мол: тирана Николая скинули с трона, кончился, мол, будь он проклят, белый царь, кричали «ура». И все-таки, по моему разумению, белый царь был хорошим, справедливым был, хоть и страх навел на людей. Люди боялись его. У полиции всегда были наготове плети, вот и порядок был. А сейчас? Нет сейчас порядка.

— Верно, верно!— подхватывает веснушчатый рябоватый мануфактурщик.— Какой там порядок! Временное правительство слабо ведет дело. Деньги Керенского — никчемные бумажки. И маленькие совсем,— говорит он и показывает кончики пальцев:— Вот такие всего. А деньги, они должны внушать уважение человеку.

— Э, рушится порядок, ваша правда. Цены, например, сами знаете, что ни день скачут,— вступает в разговор небольшого роста шеголеватый человек с узкими прорезями глаз.— Говорят, будто правовые дела возглавляют справедливые улемы. Им будто бы будут поручены дела веры, вопросы шариаата.

— Все это правильно!— дружно поддерживают его все лавочники.— Простым народом должны руководить улемы!..

Отец сидит молча, потом, ни к кому не обращаясь, говорит сдержанно:

— Да пошлет всевышний людям мир и спокойствие, времена настали трудные.— И прибавляет раздумчиво:— И все-таки знающие люди из народа должны найти правильный путь!

Хозяин выносит большое блюдо с нарыном, приготовленным из вяленого и присоленного мяса. Лавочники, забыв о политике, с возгласом: «Во имя аллаха!»— набрасываются на еду. А насытившись основательно, сверх того выпивают еще с десяток чайников чая и затем расходятся по домам.

Мы с отцом заворачиваем в пустую чайхану с тускло мерцающим чираком. Тесная и низкая, с обветшавшими дырчатыми кошмами, чайхана эта, кроме базарных дней по воскресеньям, почти все время стояла закрытой, и отец ютился в ней, когда не бывал в отъезде.

— Охо, Мусабай приехал!— воскликнул внезапно появившийся откуда-то чайханщик.

Отец велел ему приготовить для меня постель.

От усталости я заснул, как только голова моя коснулась подушки.

\* \* \*

Отец каждый день отправлялся на рассвете верхом с хурджунами, набитыми ситцем, бязью, нитками, иголками, и возвращался лишь вечером. Только по вторникам и субботам оставался со мной, потому что в эти дни в степи у казахов не было базаров.

В один из таких свободных дней отец беседовал со своим другом, единственным здесь портным со швейной машиной, обшивающим казахов этой округи. Я приткнулся в сторонке, задумался о своей заветной мечте — о стригунке.

— Потерпи. Надо уметь терпеть, дурень,— говорит отец, догадавшись о моих заботах.

Я сразу оживился:

— А вы купите? Правда? Когда вы купите?

Портной, довольно невзрачный на вид человек, тихонько шепчет мне:

— Есть хороший стригунок, такой красавец!..

Отец сердится на своего друга, укоряет его:

— Перестань! Зачем смущаешь мальчишку? Прежде всего нужно деньги иметь.

Портной смеется, говорит, обращаясь ко мне:

— Во-первых, ты еще не можешь ездить верхом, худ, как щепка, слетишь с лошади. Немного поправиться надо, чудак. А поправиться ты сможешь, если станешь пить бузу. Буза, она полезная, как лекарство, казахи постоянно пьют ее.

Отец тотчас подхватывает:

— Верно, сын, верно! Буза и правда полезная, я сам пил.

Я понимаю, что оба они хотят отвлечь меня, чтоб не приставал с покупкой стригунка, но молчу. А когда они снова увлекаются беседой, убегаю на улицу.

С досады я отломил ком сухой глины, хотел запустить в кур, копошившихся в пыли, но, уже замахнувшись, остановился с поднятой рукой: среди кур оказался петух — и какой петух! — крепкий, коренастый, и сияет весь червонным золотом. В голове у меня внезапно вспыхивает мысль: «Вот бы поймать петуха! Такой петух ни одному боевому пе-



туху. в Ташкенте не даст спуску!» Я начинаю гоняться за петухом. Куры с истошным кудахтаньем разбегаются в паническом страхе. Петух, позабыв о своем достоинстве, тоже припустил, вытянув шею. Потом, отчаянно захлопав крыльями, перемахнул через дувал. Словом, на этот раз и здесь, я потерпел неудачу.

\* \* \*

Однажды рано утром отец сказал мне:

— Сегодня пятница, базар в степи. Поедем со мной, сын.

Я хватаю свой старый войлочный колпак, надеваю поверх грязной рубахи пропыленный камзол. Отец, напичкав журджуны ситцем, бязью и разной мелочью, перекидывает их через седло, садится на иноходца. Упершись ногой в стремя, торопит меня:

— Ну, давай садись!

Как только я устроился на подстилке позади седла, конь сам трогается, словно понимает, что уже можно отправляться в дорогу.

Примерно через час пути по буграм и увалам мы добираемся до базара, который расположился на длинном пологом холме на невысоком плоскогорье в степи. Базар здесь довольно большой и оживленный. Казахи из дальних степей приобретают здесь все необходимое для себя. Узбеки из Ташкента, Чимкента, Янги-базара и из других мест привозят сюда выюками на лошадях аршинный товар (мануфактуру), местную бязь, сушеный урюк, орехи, джиду, изюм, разных сортов нитки, иголки, ламповые стекла и прочую мелочь.

Пока отец располагаетя со своим товаром, я привязываю в стороне коня, подбрасываю ему клевера и отправляюсь бродить по холму. Незаметно добираюсь до конского базара и тут вдруг вижу красивого рыжего стригунка. Хороший рост, шея чуть изогнута, сторожкие уши стоят торчком, глаза живые и по-человечьи осмысленные. Стригунк сразу пришелся мне по душе, буквально приворожил меня. Хозяин похаживает около него, то погладит по крупу, то потерплет шею. Я подхожу незаметно, глажу морду конька, легонько расчесываю пальцами короткую гриву. Спрашиваю не очень решительно:

— Сколько он стоит, дядя?

Толстый, почти круглый казах в белом войлочном колпаке и в чекмене из верблюжьей шерсти, с косящим левым

глазом передает повод работнику и самым равнодушным тоном лениво отвечает мне:

— Уходи отсюда, племянник, отправляйся! И стригуна оставь, не трогай! Зови отца, если конь понравился.

Краснея от смущения, я стараюсь объяснить ему, как важно для меня знать цену. Но толстяк отмахивается от меня:

— Валяй, валяй отсюда, не приставай! Не возьмешь ты, конь дорог. Беги, веди отца, тогда и торговаться будем.

Я опять пристаю, спрашиваю:

— Дяденька, милый, ну скажите цену!

Но хозяин стригуна только молча ухмыляется в ответ.

Я хорошо знаю, что отец не придет, сколько бы я ни просил его. Даже слушать не станет, оборвет: «Уходи, не приставай!» В последний раз обхожу вокруг стригунка и удаляюсь, расстроенный и приунывший.

Часа в четыре пополудни все кругом вдруг в одно мгновение заволакивается пылью. Внезапно поднимается сильный буран. Люди, растерянные, в тучах пыли разыскивают овец, коз, коней, верблюдов, ишаков. Неожиданно налетевший откуда-то вихрь еще больше умножает всеобщее замешательство. Я едва удерживаюсь на ногах. Отец, бедняга, растопырившись, припал к хурджунам. Хорошо еще, что он не успел запихать в них все свои товары. Оба мы — и отец и я — в пыли с головы до ног. А пыльные вихри появляются, волооча подол по земле, и верхушкой взмывая под самые небеса, исчезают и снова возникают один за другим.

Буран, продолжавшийся около часу, как начался внезапно, так же внезапно и затихает. Но базар, прерванный в самый разгар торга, уже не оживляется. Казахи понемногу начинают разъезжаться, угоняют баранов, лошадей, верблюдов. Купцы и разъездные торговцы тоже один за одним садятся на лошадей и отправляются кто в Бешиктау, кто в Караташ, кто в Чимкент, кто в Янги-базар. Мы с отцом едем не в Янги-базар, а совсем в другую сторону. Едем долго, — у меня уже в животе начинает посасывать. Отец все время хмурится, видно, недоволен базаром, то и дело достает из кармана пузырек с насваем.

Уже садится солнце, и горизонт пылает кроваво-красным пламенем. Повеяло вечерней свежестью. То там, то здесь завиднелись аулы. Молодые казашки шли кто за водой, кто встречать скотину. Женщины в огромных элечеках красовались серьгами, бусами, монистом. У девушек яркими маками цвели платки на головах.

Отовсюду слышалось перепелиное «пит-пылдык». А перепелки — моя болезнь.

— Смотрите, смотрите, перепелка! — кричу я, показывая отцу на внезапно взлетевшую перепелку. — Смотрите, вот она нырнула вниз!

Отец бормочет в ответ что-то неразборчивое.

Впереди показался казахский аул. Идут стада коров, телят, овец, коз. Кое-где женщины уже доят коров, овец. Кизячий дым от очагов тянется к небу. Отец сразу повеселел, заулыбался.

Подъехав к аулу, мы слезаем с коня. Женщины приветствуют нас низким поклоном. Из юрты, у которой мы остановились, выходит старик. Он здоровается с нами:

— Ассалам алейкум!

— Это мой сын, озорноват несколько, — говорит отец.

Поздоровавшись за руку, старик приглашает нас:

— Что ж, проходите в юрту, прошу!

Отец с хурджунами через плечо входит в юрту, вздохнув с облегчением, садится. Я опускаюсь рядом с ним. Юрта средняя, но чистая. Отец, поговорив о том, о сем, вдруг приказывает старику:

— Кстати, подложите корма коню, чтоб не стоял голодным.

— Хорошо, почтенный, сейчас, сейчас, — говорит старик.

Я удивляюсь и, когда хозяин выходит, говорю отцу:

— Стыдно же так, дада!

Отец весело смеется, тихонько поясняет мне:

— У них много кормов, дурень. И по натуре они все щедрые.

Я задумываюсь. А отец продолжает, улыбаясь:

— У них такой обычай: если прибыл в аул гость — верховой ли, пеший ли, знакомый ли, незнакомый, в холод ли, в жару, в снежную бурю, все равно — казахи хорошо принимают каждого. Сена, клеверу — пожалуйста. Бедняк ли, богач ли, всю еду поставят перед тобой, что есть — по достатку. Это исстари стало обычаем у казахов.

Внимательно оглядевшись по сторонам, присмотревшись к сундукам, шкатулкам, паласам, кошмам и обрешетке юрты, я говорю отцу:

— Юрта неплохая, видно, хозяин человек обеспеченный.

— Наверно, — говорит отец. — Коров-телят, овец-ягнят у него порядочно.

Вернувшись, старик разостлал дастархан. Поставил перед нами масло в небольшой чашке и в чашке побольше

баурсаки. Затем, предварительно взболтав содержимое кожаного меха, налил отцу в чебольшую крашеную деревянную чашку кумыса. Отец со словами: «Во имя аллаха!» — выпил кумыс и возвратил чашку старику. А я с голоду налег на баурсаки. Старик и мне подал чашку кумыса.

— Пей, джигит, пей!

Я жадно припал губами к чашке, но опорожнил ее лишь до половины и поставил на дастархан:

— Какой крепкий!

Старик засмеялся:

— Слабоват ты, оказывается, малыш.

— Он же ташкентский, не привык еще. В Ташкенте ведь кумысу нет, уважаемый, — говорит отец. — Зато он у меня грамотный, и письмом владеет, и книги умеет читать, даже коран без запинки читает по памяти.

— Вай-буй, правда?! Такой ученый?! — удивляется хозяин. — Наука — дело хорошее. А у нас никто не знает грамоты.

Молодая женщина вносит большую чашу бешбармака. Мы быстро расправляемся с этим кушаньем, в котором больше мяса, чем теста, и, пробормотав благодарственную молитву, проводим руками по лицу.

Я тихонько встаю и выхожу наружу. В небе уже поднялась луна, круглая, как колесо. Сквозь обрешетку юрта там, то здесь мерцают тусклые огоньки чираков, пламя очагов. Свежий ветерок доносит смешанный запах разных трав. Где-то в темноте звенит песня. Слышится непрерывный лай собак и время от времени — блеяние овец и коз. Конь наш с хрустом поедает свежий клевер.

Я долго брожу, перебирая в памяти свои впечатления за день. Смотрю на звезды. Потом возвращаюсь в юрту и сразу валюсь в постель.

Утром просыпаюсь, а отца рядом нет. Старик хозяин, кончив молитву, поворачивается ко мне, улыбается:

— Отец твой сбежал, бросив тебя.

— Неправда! Сегодня четверг, на базар, наверное, уехал?

Хозяин продолжает улыбаться.

— Вставай, свет мой, — говорит он. — Погода хорошая. В арыке ледяная вода журчит, иди умойся.

Я встаю с постели, выхожу наружу. Из-за гор, позолотив облака, поднимается солнце. Я спускаюсь в овраг позади юрты. С наслаждением умываюсь (вода в ручейке и правда ледяная) и возвращаюсь в юрту. А после завтрака, состоявшего из баурсаков и кислого молока,

иду с женщинами и ребятами собирать курай. Вдали виднеются стада овец, ягнят. Я бегу по косогору, останавливаюсь около пастуха, худощавого старика с морщинистым лицом и реденькой бородкой, в грязном войлочном колпаке, в грубом рваном чекмене и латаных чариках. Приветствую его:

— Ассалам!..

Старик внимательно посмотрел на меня. Спрашивает:

— Откуда ты?

— Из Ташкента. А сюда к знакомым приехали.

Старик прилег на бок, я подсел к нему. Начинаем беседу.

— Дедушка, скажите, волки есть в этих местах? — интересуюсь я.

— А как же, есть. Появляются, свет мой.

— А какие они бывают, волки? Говорят, они душат барана, сразу вскидывают на спину и уносят.

Старик смеется:

— Неужели ты не видел? Никогда не видел волка!

— Нет-нет, никогда не видел. Даже не представляю, какие они. Слышал только, что злые... от бабушки, от матери, от товарищей.

Старик сплевывает насвай. Подумав, говорит:

— Волк злой, хищный зверь. При одном слове волк у пастухов душа подступает к горлу. Волчий род жаден до овец. Овца она смиренная тварь. А волк тихонько подберется и выжидает, оглядывая стада. Потом сразу бросается, душит овцу и убегает, вскинув ее на спину. Но пастухи, они сметливые. Собаки у них тоже чуткие и в хитрости не уступят волку. Есть такие, что в открытую схватываются со зверем. Случаев всяких с волками много можно рассказать, сын мой, только слушай.

Я даже рот разинул:

— А ну, расскажите, дедушка, хоть один. Говорят, волки и на лошадей и на ишаков набрасываются, это правда?

— Верно, сынок. Если волк голоден, он становится донельзя свирепым, и лошадь и ишака может зарезать.

Мне сразу пришелся по душе этот мудрый и знающий старик. Но беседа наша была неожиданно прервана. Откуда-то появились двое конных: один лет тридцати пяти-сорока, расфранченный, с плоским красным лицом и с недобрый взглядом прищуренных глаз, второй молодой худощавый джигит с жиденькими усами. Я вскочил, поприветствовал их саламом. Но всадники даже не посмотрели

на меня, только бормотнули что-то в ответ. Старик тоже не торопясь поднялся.

— Почему ты оставил скот и болтовней занимаешься тут? — закричал на него красномордый.

Старик, заметно смущенный, начал было оправдываться:

— Господин, скотина пасется спокойно, и пастухи все на местах...— Но сразу же овладел собой.— Ну, а вы, наверное, уже в Турбате побывали? Проигрались подчистую и теперь — кошелек пуст, хурджуны пусты — на нас зло срываете?

— Старый пес, тебе-то какое дело? Или ты моему скоту хозяин? — Багровея от ярости, бай поднял плеть, но ударить видимо не решился. Пробормотал только: — Борода седая у тебя, а то бы...

Видимо не зная, на ком сорвать зло, он вдруг повернулся ко мне:

— А это что за сартенок? Убирайся отсюда! Отправляйся своей дорогой!

Я понимаю, что спорить с ним бесполезно, молча поворачиваюсь и возвращаюсь в аул.

В ауле много подростков, ребят — моих сверстников. Я быстро перезнакомился со всеми. Вместе с ними ездил верхом и на коне, и на ишаке, и на муле, побывал у конских табунов, овечьих отар. Вместе с женщинами и детишками собирал кизяки, курай на топливо. Не в пример тому, краснорожему баю, эти люди действительно были душевными, отзывчивыми и щедрыми в своем гостеприимстве.

Через три дня приехал отец.

— Ну как, — спрашивает, — пить кумыс научился? Поварилось тебе в ауле?

— Мне было хорошо здесь. Много товарищей нашлось, — ответил я. И это была правда.

Попив чаю и немного отдохнув, отец на прощанье подарил хозяину юрты пачку чая и пригоршню сахара. Мы сели на пшоходца и отправились в Янги-базар.

В Янги-базаре я не стал задерживаться, вскоре уехал в Ташкент и наутро, перекинув через плечо сумку, уже пошел в школу.

В школе все было по-прежнему: тот же нудный галдеж, та же непрерывная зубрежка. Только учитель наш теперь передко среди урока, прервав занятия, начинал жаловаться на смутность времени, твердил, что умножается число лурных людей, и наставлял нас: «Да облегчит всевышний все наши затруднения!.. Уважайте улемов, дети мои, по-

мните о шариае, о судном дне. Улемы — единственные наставники народа, его заступники и руководители!»

После школы я, как всегда, провожу время на улице, на крышах, на гузаре.

\* \* \*

Большая часть жителей квартала Гавкуш ремесленники. Ахмад и Агзам поступили учениками к сапожнику. Я часто захожу к ним. Сапожник, полный, коренастый человек. Руки у него всегда в работе, и на секунду не знают покоя, но сам он веселый, и поболтать любит.

Однажды, как только я переступил порог мастерской, Ахмад, проворно соскочив со своего места, бережно взял с полки в нише толстую книгу и протянул ее мне:

— Взгляни-ка!

Я с интересом перелистываю книгу. Спрашиваю, шупая обложку:

— Где ты взял? Совсем новая!

— Накопил денег и вот купил, — улыбается Ахмад.

— А ну, почитай нам, грамотей, а мы послушаем. Хорошая книга, одни сравнения от начала до конца, — говорит мастер, поправляя очки.

Книга эта — перевод с персидского, она состояла из легенд и мифических сказаний о богатырях, о жестоких войнах и сражениях. Ахмад, продолжая забивать в кауш деревянные шпильки, слушает, весь отдавшись рассказу, сосредоточенный, словно мысленно пытается разобраться в прочитанном. Агзам старательно строчит дратвой голенище ичига, лежащего на коленях, а сам волнуется, вздыхает время от времени: «Ух, ну и удалцы», Или: «А кони у них, как облака быстрые!»

Я читаю без остановки. Звон наводящих ужас богатырских мечей, посвист стрел, поединки на копьях со щитами, искусство и отвага богатырей, хитрость и коварство женщин — все это рушится на моих слушателей без перерыва.

Агзам не может спокойно сидеть, волнуется, переживает.

— Люди в те времена были исполинами, как дивы, — говорит он. — Голова с котел, ростом под небеса, плечи — мостом между двух гор могли служить. А потом мельчали, мельчали и вот мы уже стали с кошку.

— Постой, помолчи! — сердито прерывает его Ахмад. — Битва в самом разгаре, дай послушать.

В книге между описаниями шумных сражений есть та-

кие яркие места, такие чудесные рассказы, что невольно захватывают мое воображение и уносят меня в далекие края.

Мастер опрыскивает кожу водой: «Пуф-пуф», ухмыляется, пристаёт к Ахмаду:

— Вот, Ахмадбай, был бы ты возлюбленным пери...

— Сказал бы я вам, мастер, словечко, — перебивает его Ахмад, — да вы мне в отцы годитесь, жалею. — И ко мне: — Давай, Мусабай, читай про Рустама-дастана, про Афросиаба!

Я продолжаю чтение. Переживаю из-за богатырей, погибших в бою, время от времени незаметно смахиваю невольные слезы. Вхожу в замки, в дворцы гордых цариц, вижу страдания влюбленных царевен в разлуке, ненавижу коварных соглядатаев, пылаю любовью к героям, подобным Афросиабу.

В мастерскую неожиданно вбегает запыхавшийся Тургун:

— Идем, быстро! Бросай свою книгу, все это брехня сплошная.

Положив закладку, я закрываю книгу.

— Что случилось?

— В нашем квартале идет такая потасовка! Идем быстрее!

— Ты что, караульщик квартала или миршаб? Не шуми, отправляйся отсюда! — кричит на него мастер. — Читай, Мусабай, дальше.

Я молча кладу книгу на полку и выхожу вслед за Тургуном на улицу.

— Эх, и знаменитый скандал там идет, вот позабудемся! — захлебываясь, говорит Тургун. — Расуль-орус со своими поденщиками схватился на кулачки. Поденщики требуют расчета, а Расуль отказывается, зря, говорит, требуете.

Расуль, слывший среди жителей квартала безбожником-кяфиром, никогда не посещавший мечети, однажды неожиданно заявился туда, покаялся перед имамом и дал обет построить минарет. Слово свое он сдержал, минарет строить начал, но очень экономил и всячески прижимал рабочих.

Я отмахиваюсь:

— Ну тебя! Тебе бы только драками забавляться! — и тащу Тургуна на Шейхантаур, где по слухам должно было состояться какое-то собрание.



Во дворе мечети на Шейхантауре толпится народ. Много молодых людей в ярких шелковых халатах, надетых поверх чесучевых или белых коломенковых камзолов, среди них немало франтов, одетых с явной претензией на шегольство. То там, то здесь белеют огромные чалмы, обладатели которых облачены в просторные полосатые или из шелковой бенаресской ткани халаты. Но большинство — люди бедные в грязных латаных халатах или в длинных рубахах и в грубых каушах на босу ногу.

Прислушиваясь к разговорам, мы с Тургуном обходим двор и затем опускаемся на корточки, прислонившись к стволу толстого карагача. Неподалеку от нас на террасе вокруг стола, покрытого потертым сукном, расположился президиум из десяти-пятнадцати человек — все ученые-интеллигенты, в большинстве джадиды.

На трибуне рядом со столом — оратор, одетый в коломенковый камзол, человек с тонкими усиками, острыми жесткими глазами, покатым лбом и с бархатной тубетейкой на бритой макушке. Брызгая слюной, он долго говорит о «славном прошлом Туркестана», о вере, о шариае, о «напоенных национальным духом обычаях и установлениях». Восхваляет Временное правительство и обещает возвращение былой славы Туркестана, если «объединятся в основном люди достойные — богатые купцы, владельцы больших поместий». Определяет, как главную задачу: «по-настоящему, помня о святости веры, развивать школы и медресе введением таких наук как геометрия, астрономия, математика и им подобные. Наконец, уморившись, умолкает, занимает свое место за столом и тут же кидает под язык горсть насвая.

Тургун толкает меня локтем под бок:

— Пошли, пройдемся по кладбищу. Ребята, наверное, там в ашички играют.

— Постой, послушаем немного, — говорю я и показываю пальцем в сторону президиума. — Смотри, вон новый говорун выходит на трибуну.

Но Тургун машет рукой:

— Э, чего тут интересного? — Оттолкнувшись от карагача, он решительно вскакивает и исчезает куда-то.

Ораторы и правда, будто сговорившись заранее, все как один прежде всего напоминают о вере, о шариае, затем восхваляют Временное правительство и твердят о «постепенном, с помощью аллаха, прогрессе Туркестана».

Из толпы кто-то кричит:

— Ей богу, ну что это за разговоры? Все только и знают читать наставления. Народ в хлебе нуждается, а не в наставлениях! Почему улемы, баи, ученые ни словом не обмолвятся об этом?

Я срываюсь с места и стараюсь пробраться к бросившему реплику.

Им оказался знакомый сапожник, работавший в маленькой тесной мастерской у Баянд-мечети. К нему подступили несколько щеголей в шелковых халатах, орут на него с пеной у рта:

— Убирайся отсюда! Проваливай, нечего сеять смуту в народе!

Вокруг слышится ропот, возмущение. Я подхожу к сапожнику, отдаю салам. Тот улыбается:

— А, и ты здесь?

— Я уже давно сижу, слушаю, — отвечаю я и, понизив голос, шепчу с искренним восхищением: — а вы здорово поддели баев, мастер!

Сапожник, усмехнувшись, молча кивает в сторону преидиума.

Из-за стола поднимается плотный приземистый человек, с черной, коротко подстриженной бородой. На нем — просторный шелковый халат, одетый поверх новенького чесучевого камзола, на голове — изящно намотанная, сверкающая белизной чалма. Это один из руководителей шураисламистов по прозвищу Кары.

Кары говорит густым басом внушительно, подчеркивая каждое слово:

— Господа! Досточтимые улемы! Туркестан встает на ноги, избавившись от векового мрака. Наш небосклон проясняется. В Петрограде у власти встали очень разумные и распорядительные люди во главе с известным нам господином Керенским...

Видимо, уловив настроение собравшихся, он упоминает о дороговизне: «Дороговизна растет сверх всякой меры, бедные, неимущие терпят нужду. Но, положившись на аллаха, будем надеяться, что затруднения этим придет конец, и наш народ получит довольно и ячменя и пшеницы». Даже бросает упрек баям за то, что «глаза их не видят ничего, кроме своего кошелька». Но суть его речи сводится все к тому же призыву: «Объединиться досточтимым улемам, баям и ученым-интеллигентам и, перепоясавшись поясом рвеня, с усердием и верой решить главную задачу: вызволить народ — ремесленников, рабо-

чих — из тьмы невежества, воспитывать их, наставлять в вере ислама».

Заканчивает он обычным: «Омин! Да облегчатся все наши затруднения!» и, улыбаясь на довольно жидкие хлопki в ладоши, отходит к столу.

Время уже позднее. Ко мне возвращается Тургун. Не сговариваясь, мы проскальзываем к выходу и бежим домой.

\* \* \*

Побродив по улице, я захожу в одну из сапожных мастерских нашего квартала. Хозяин мастерской — добродушный, с рыхлым ноздреватым носом, уже довольно старый человек, но живой и общительный. А единственный его подмастерье, смирный и тихий ферганец, не в пример хозяину большой молчун. Мастер иногда начнет рассказывать какую-нибудь побасенку, а подмастерье строчит себе голенище ичига и только хмыкает: «Хм... хм...» Мастер в конце концов выходит из себя, сердится:

— Что ты сидишь, будто воск закусил? Разговаривай! Но и работы не прерывай. Жизнь, она беспокойная, нудная, чтоб не посмеяться, не пошутить — никак нельзя. А ты — сидишь, молчишь, только гляделки свои тарачишь. Тридцатый год тебе, а ты — ни «тпру», ни «ну»...

У подмастерья был товарищ, рабочий хлопкового завода, тоже ферганец лет тридцати двух, рослый, плечистый, со смуглым лицом, с острым взглядом и широким открытым лбом. Он иногда заходил в мастерскую проведать земляка. Когда я вошел, он уже горячо говорил мастеру:

— Вот такие дела, мастер. Русские рабочие очень не любят заводчиков и фабрикантов. Они ведь тоже бедные, как и мы все. В мощну фабрикантов, заводчиков, баев, купцов, особенно хлопковиков, деньги валом валят, они хлеще прежнего кутят, распутничают. Вот русские рабочие и говорят: «Белого царя скovyрнули с трона, а буржуи, помещики все еще измываются над нами. Теперь черед дошел до буржуев, их тоже надо спровадить в тартарары!»

Мастер долго сидит, хмурит брови.

— Я понял, сынок, — говорит он. — Рабочих, дехкан, всех нуждающихся очень много на свете, им счету нет. А баи, купцы, ростовщики, земли владельцы и все прочие дармоеды на горбу у них сидят. И правда, насилие всякие пределы перешагнуло. Вот, если бы нашелся знающий, разумный, справедливый и мудрый вожак, голова! Чтоб мог отделить скорлупу к скорлупе, а ядро к ядру. Да где он, ведь нет его.

Рабочий достал из кармана пачку дешевых папирос, закурил. Сидит, дымит, задумался. Подмастерье снял с правила ичиг, молча отложил его в сторону и вдруг запищал тоненьким голоском:

— Вот, если бы пророк наш Мухаммад алайхсалам вдруг поднялся, тогда сразу были бы облегчены все наши затруднения!

Рабочий и мастер некоторое время смотрят на него с удивлением. Потом рабочий раздражается громким смехом, говорит, обращаясь к подмастерью:

— Чудно! Таким молчуном был ты, Махмуд. — И уже серьезно продолжает: — Какая польза вспоминать пророка? Ты думай о нынешних наших бедах. О голодном, разутом-раздетом народе думай. Баи наши скупые, жадные, а сынки их предаются разгулу. Вот, об этом поразмысли.

Подмастерье опять пропищал:

— Э, все от бога, все в воле божией...

— Я не против аллаха, — говорит рабочий. — Но ты взгляни на жизнь. Богачи и владельцы земли — все низкие, подлые люди. А народ голоден, разут-раздет.

Мастер опрыскивает кусок кожи водой, расправляя его, говорит сердито:

— Пусть подчистую сгинут все купцы и все буржуи! Мудрый, разумный и почитаемый всеми вожак нужен нам. Только ведь нет такого вожака.

— А вот и есть. И из мастеровых есть люди, понимающие дело, и вообще среди русских есть люди знающие, ученые. Все науки идут от русских. И организации есть у них, я знаю.

Мастер удивленно приподнимает бровь. Говорит:

— Учение — дело хорошее. У ученого человека и ум полнее, он все может знать, что только делается на свете. Мы все, к сожалению, сплошь темные. Но ты, Садык, должен сказать, здорово говоришь по-русски. В тот день, помнишь, когда приходил этот мастеровой, я диву дался, как ты запросто щебетал по-ихнему. Ты, Садык, обязательно приставай к ним, к русским рабочим.

Садык, довольный, говорит, покручивая ус:

— По-русски я мало-мало говорю, а вот грамотой не владею. Побегал немного в школу, да в доме начались затруднения, навалилась нужда. А учителю каждый четверг надо нести сдобных лепешек, пирожков с мясом и прочее. Я и забросил учение. Поскитался по Фергане, потом приехал в Ташкент, на завод поступил. Я и сам думал пристать к русским рабочим, но как-то все не могу

решиться. Впрочем, посмотрим, посмотрим. Краем уха слышал я, будто бы рабочие Петрограда собираются скинуть Временное правительство. Рабочие Ташкента тоже по-моему усиленно готовятся к чему-то.

В мастерскую неожиданно входит Расуль-орус. Ему уже под шестьдесят, у него гноятся глаза, но он все еще торгует железным ломом, тряпьем, старьем, недавно женился на хорошенькой девушке, постоянно полупьян и не дает покоя жителям квартала.

Остановившись у порога, Расуль сердито тычет перед собой палкой:

— Так, мастер, о чем это вы болтаете тут с тем вон джигитом? Он что-то трепался насчет мастеровых.— Он вдруг изрыгает непристойное русское ругательство. Потом поворачивается к Садыку, кричит, стукнув палкой об пол:— На хлопковом заводе работаешь? Обязательно донесу на тебя баю! Рабочий должен быть предан хозяину, а не разводить смуту. Так что, смотри у меня, знай, куда ступить, иначе кубарем полетишь и угодишь прямо за решетку!..

Мастер, Садык, Махмуд застыли, ошеломленные. Первым спохватывается мастер.

— Тебе-то какое дело? — разозлившись, говорит он.— Ну, поговорили тут о том, о сем. Насчет богачей позлословили малость.

Расуль прищурил трахомные глаза.

— Расхваливаете мастеровых, снюхались уже, шушукаетесь тут, знаю!— и показывает палкой в сторону мастера.— Это от тебя исходит всякая смута, мастер, напасть на твою голову! Смотри у меня, не покаешься, голову сниму!

— Убирайся отсюда! Иди в мечеть, там тебя каменщики ждут с деньгами. Пусть минарет твой до небес достанет и тебя к самому престолу всевышнего вознесет, старый пехтук! — выходя из себя, кричит мастер.

Молчун-подмастерье фыркает и громко смеется в глаза Расулю.

— Валяйте, валяйте! Топайте домой и перебирайте четки. Да на молитву в мечеть не опаздывайте, вы дали обет мулле, а то как раз шуганут вас в преисподнюю.

Мастер и Садык негромко смеются.

— Мы пошутили, Расульджан,— говорит мастер уже серьезно.— Сам знаешь, жизнь настала трудная, дороговизна. Людям с достатком все равно, а у нас много забот, горя.

Расуль, обругав мастера, закуривает папиросу. Говорит:

— Остерегись, мастер, иначе быть тебе в аду! — и уходит.

После долгой беседы, близко к часу вечерней молитвы Садык попросался и ушел на завод. Мастер с подмастерьем отправились домой. А я, встретившись с ребятами, задержался на улице до позднего вечера.

\* \* \*

В среду утром, сговорившись с Тургуном, я подошел к его матери:

— Тетя, отпустите Тургуна, мы ходим на базар. Он ловкий, сразу найдет покупателя. Мы быстро продадим тесьму и сейчас же вернемся.

— Ты всегда так, — недовольно ворчит мать Тургуна — улестишь-обманешь меня и уведешь его невесть куда. Сегодня мне постирать надо, пусть за детьми присмотрит, воду поможет таскать, дров нарубит.

— Да вы оглянуться не успеете, как мы прибежим! — говорю я, подмигивая Тургуну.

И вот, я уже рыскаю по торговым рядам с тесьмой, вытканной матерью. А рядом со мной хитрец и пройдоха Тургун.

Народу на базаре много. Особенно старух, молодых женщин и девушек. И все продают тесьму, тюбетейки, вату, мотки пряжи. Лавочники обманом-уговорами морочат женщинам голову и почти задаром берут их товар. Но я свое дело знаю, а Тургун и вовсе мастак по части продать-всучить.

На Эски-джува есть чем поразвлечься. Вот латальщик обуви, починая чьи-то ичиги, гундит что-то себе под нос — доволен, наверное, что представилась возможность заработать несколько медных монет. А вон рябой Махсум-журавель, потряхивая своими лохмотьями, веселит народ: надует щеки и выбивает на них барабанную дробь, — тоже старается зашибить копейку. Нишим, ворожеям-гадальщикам, попрошайкам — счету нет. Вот толпа странствующих дервишей — в рубищах, в высоких конусообразных шапках — ходит по базару, выкрикивая: «О аллах, истины друг!» — в руках длинные посохи, а у поясов тыквянки для сбора подаяний.

Тургун любил злить дервишей.

— Лентяи! Дармоеды! Анашисты! — выкрикивает он и убегает со всех ног. А я — за ним.

Расположившись на земле, жужжат своими смычками чинильщики посуды. Мы останавливаемся около одного.

— Бой-бой, как он ловко орудует смычком! — говорю я.

— Да, вот это занятие! — говорит Тургун. — Смотри, раз — и готова пиала. Вот, наверное, загребает человек деньгу. Конечно, я обязательно стану чинильщиком посуды!

Мастер улыбается:

— Говорят: кувшины бьются не в урок, но каждому кувшину дан свой срок. Что ж, добро, становись чинильщиком посуды, малыш!

От чинильщиков посуды мы идем к хозяину «панорамы», важному на вид усатому старику с запрятанными под ключьями густых бровей глазами. Обычно тихий и приветливый, человек этот показывал через окуляры разные снимки — пустыни Аравии, реку Нил, пирамиды, виды Багдада, улицы Стамбула, мечети Айя-Софии и Султана Абдул-хамида. Развлечение стоило копейку, но у нас, к сожалению, нет ни гроша. Оба мы тихонько подсаживаемся к старику.

— Дедушка, милый, можно разок посмотреть? Только в долг, сегодня у нас нет денег. Завтра я обязательно добуду копейку, ладно? — спрашивает Тургун.

Старик, отпивая из пиалы чай, ворчит:

— Давай, давай, уходи отсюда! Не трогай трубы. Нет денежек — все, и не мечтай об Аравии, о Стамбуле!

— Тогда сиди тут один и корми собой мух! — насмешливо говорит Тургун, вскакивая с места.

Время — близко к полдню.

— Идем, друг, надо быстрее продать тесьму, — говорю я и, разделив тесьму на две части, одну отдаю Тургуну. — Смотри, не подкачай, как следует торгуйся с покупателями, хорошо?

— Не учи, сам знаю, — отмахивается Тургун.

Мы опять отправляемся на толкучку. «Вот тесьма! Хорошая тесьма! Редкостная тесьма!» — рыская по базару, кричит Тургун. Женщины бранятся, глядя на него: «Шайтан, настоящий шайтан! Путается всюду под ногами. Смотришь, исчез, не успел оглянуться, он уже тут как тут!» А Тургун, раскрасневшийся, знай расхваливает тесьму, сует ее чуть ли не под нос каждому встречному.

Набегавшись до усталости, мы в конце концов все-таки успеваем продать тесьму, правда, немного дешевле, чем хотелось бы. Пересчитав выручку, я крепко завязываю

деньги в поясной платок, и мы еще долго бродим по базару, дергая за хвосты лошадей, верблюдов, ишаков, мулов. Потом возвращаемся на Эски-джува. Тургун тащит меня в медресе «Беглар бегим»:

— Смотри, сколько там знатного народу собралось!

Во дворе медресе и правда собралась тьма народу: чалмоносцы в огромных чалмах, студенты медресе, пузатые бай... Один за другим выступают ораторы и все большие улемы.

Тургун подталкивает меня в бок:

— Пошли! Болтают, болтают, только и знают читать наставления. Бедняки голодные, голые, а эти все кричат о вере. Лучше бы хлеба дали!

Я громко смеюсь:

— Верно, друг! Твоя правда.

\* \* \*

Сидим мы в тесном дворике позади мечети на берегу арыка, протекающего между густых талов, и громко зубрим на разные голоса. Учитель расположился в стороне на свернутом вчетверо одеяле. Рядом с ним тучный бай, в новом сияющем легком халате без подкладки, с огромной чалмой на голове и с розой за ухом, — левой рукой он легонько шевелит кончик густой бороды, а правой пропускает меж пальцев янтарные четки. Я сижу близко и слышу их разговор. Учитель время от времени подливает в пиалу крепкого чая и с должным почтением подносит баю.

— Положение очень трудное и очень путаное, уважаемый, — говорит бай. — Улемы своими наставлениями и научениями, с великим трудом, правда, начинают подтягивать поводья черному народу, иначе бы люди совсем отбились от рук, но... Не знаю, последние, что ли, времена настают, — много развелось дурных людей, смутьянов и бунтовщиков. Слышал я, будто какие-то профсоюзы, что ли, будь они прокляты, объявились, а к чему они, не могу уразуметь. И ремесленники будто бы уже стакнулись с русскими, мутят народ. А там кое-кто из этих еретиков-джадидов вопреки разуму требует какой-то «реформы школы», попирая тем самым шариат. Да, время настало трудное, почтенный, и нам ничего не остается, кроме как обратиться с молитвой к богу, он один в силах облегчить наши затруднения.

Учитель поддакивает ему, подливая в пиалу чаю, и строго поглядывает на учеников.



— Бой-бой-бой, какая жара, а, почтенный! — говорит бай, опахиваясь платком и отирая пот. — В России, особенно в Петербурге, как я слышал, тоже нет порядка. Его величества белого царя не стало — и началась смута. Временное правительство понемногу наводит порядок. Так что придет время, все уладится. К тому же есть слухи, что аристократы и руководители правительства в Петербурге возможно нового царя поднимут на трон. Досточтимые улемы и люди достойные, с достатком, должны оказать великое рвенние, чтобы наставить народ на правильный путь, на путь покорности властям. Время сейчас, как полая вода беспокойная. Но, даст бог, умиротворится.

Бай и учитель беседуют долго и в дружном согласии. В полдень бай поднялся, потянувшись, вытер пот с лица, потом попрощался с учителем и степенно, не торопясь, ушел со двора мечети.

Ученики уже устали, охрипли и проголодались. Перешептываются: «День-день, наступил полдень! Школярюв доля — наступила воля!» Учитель говорит: «Все!» Ребята живо, громко, нараспев читают отрывок из корана, разом встают и в одно мгновение с шумом разбегаются.

Последнее время я стал увлекаться петушиными боями. Петуха я нарочно привез из Янги-базара (мне в конце концов все-таки удалось поймать того, золотистого!).

На этот раз моим противником оказался Ахмад. Я прежде всего оглядываю его петуха, а потом уже отпускаю на круг своего. Петухи схватываются, азартно треплют друг друга. Ребята притихли, а обо мне и говорить нечего, я весь дрожу от волнения, побледнел даже. Петух Ахмада силен. Но и мой бьется хорошо, не уступает ему. С бойцов летят перья, головы их покрываются кровью, они шатаются от изнеможения. Ребята начинают кричать: «Довольно, довольно! Пусть отдохнут немного». Мы разводим петухов. Я прижимаю своего к груди, глажу по перьям, целую в окривавленный гребень. Ребята уже спорят между собой, одного хвалят, другого хаят. А Тургун тихонько шепчет мне на ухо:

— Смотри, не загуби петуха! Петух Ахмада вредный и похоже сильный.

— Ладно, на то и риск. Но по-моему наш сильнее, я уверен.

Дав петухам передохнуть, мы опять бросаем их на круг. Бой разгорается сильнее прежнего. Оба петуха бьются отчаянно. Покружат, покружат и опять начинают трепать друг друга. Одно время кажется, что петух Ахмада одоле-

вает, но мой делает внезапный наскок один, затем другой, и тот не выдерживает, вдруг выскакивает из круга и убегает. Ребята поднимают крик, шум, свист. Я подхожу к своему петуху, подхватываю его, счастливый, дрожащей рукой поглаживаю ласково. Ребята толпой бегут за мной и тоже тянутся приласкать победителя, некоторые целуют даже. Так, гордый победой, сопровождаемый отрядом мальчишек, я шагаю домой.

\* \* \*

Сентябрь... Однажды в голову мне приходит мысль заняться торговлей. Я пошел за советом к Тургуну.

— Знаешь, сейчас поспевают фрукты. Найдем дешевых яблок, слив у дехкан, потом сядем где-нибудь на углу и продадим. Что ты скажешь?

Тургун даже привскочил:

— Здорово! Вот это ты здорово придумал! Фруктов всяких на базаре много. Особенно быстро расходятся сливы, они же дешевые. Но ведь денег нет? А для оборота нужны деньги,— говорит он, подумав.

— У меня было накоплено немного, у отца, у матери выпросил в разное время, но, сам знаешь, во сколько мне перепел обошелся (было у меня и такое увлечение!), теперь осталось всего шесть серебряных монет по одной тьнге. Ты проси отца, Тургунбай, прибавишь столько же, и начнем дело.

Мы идем к Тургуну. Отец Тургуна, чахоточного вида человек, сидел на террасе, грелся на солнышке, прислонившись к стене и подложив за спину подушку.

— Дада, послушайте,— заискивающе говорит Тургун, опускаясь на корточки перед отцом.— На базаре много фруктов, ох и много!

— Правда, фруктов много, да вот денег нет у нас,— улыбается отец Тургуна.— Особенно, когда о дынях заговоришь, у меня слюнки текут, малыш. Корку хотя бы погладить...

Тургун сердится:

— Э, не поняли вы! Вы послушайте сначала, о чем речь. Мы с Мусабаяем на базар собираемся. У Мусабая есть шесть монет наличными, да я прибавлю столько же, купим мы слив по дешевке, у садоводов возьмем, поторговавшись как следует, потом вынесем их в Ак-мечеть и продадим в розницу.

Тут и я принялся обхаживать старика. Тот подумал-подумал и говорит:

А верно, придумано не худо. Только Мусабай, сынок, ты сам знаешь Тургуна, он привирает часто. Денег я дам, только как бы он не просл их на пельмени, на шашлык, на разные сладости.

Старик, бедняга, оторвался от подушки, достал из-за пазухи кошель. Пересчитав несколько раз, протянул Тургуну шестьдесят копеек серебром и медяками.

На фруктовом базаре торговля шла вяло. Народу почти никого, если не считать нищих и попрошайек. Мы рыщем всюду в поисках слив. Слив на базаре много, но дороги очень.

Наконец находим, как будто по нашему карману. Правда, они недозрелые, мелкие, даже мало чем похожие на сливы.

Тут к нам начинает приставать какой-то старик:

— Идите-ка сюда. Тоже мне — сливы! Тьфу! Воючие, есть никто не станет, — шепчет он тихонько. — Вы полюбуйте этими вот персиками! Смотрите, не успеешь языком шевельнуть, как сам проскочит в горло. И цена сходная...

Мы осматриваем персики.

— Ладно, давайте! Почем они? — спрашивает Тургун.

— По теньге за фунт. Почти даром, как вода в арыке. Очень дешево, светы мои.

Начинается великий торг. Поспорив, погорячившись, мы договариваемся по теньге без пятака за фунт и берем на шесть монет — половину нашего капитала. Хозяин отвешивает нам персики, стараясь подsunуть побольше раздавленных, гнилых, уже почерневших. Мы укладываем их в большущую корзину, прихваченную из дома. Покидаем базар и бегом спешим к Балянд-мечети.

На перекрестке у Балянд-мечети много чайных и мелочных лавок. Мы располагаемся на корточках на берегу водоема, поставив перед собой корзину.

— А ведь у нас весов нет, Тургун? — вдруг вспомнил я. — Что теперь будем делать, а?

— Стой, в кладовке у дяди я видел какие-то весы, — вспомнил Тургун. — Я сейчас сбегаю и принесу. Я быстро... Я остался у корзины один. Мимо проходят люди, большие и малые, а на персики никто и не глядит даже, никому до них дела нет. Если и появлялся какой покупатель, то шел прямо к лавкам напротив и покупал там свежие, хорошо созревшие персики.

Вернулся Тургун с весами — каждая чаша с котел, щепочки — одна короче, другая длиннее, есть даже веревки

вместо цепочки, гири — фунтовик обыкновенный, а вместо полуфунтовика кусок жженого кирпича.

— Продал что-нибудь? — спрашивает Тургун.

— Нет, покупателей нет.

Изредка к нам подходят мальчишки, старухи. Спросят о цене, постоят, постоят и уходят: «Гнилые они». Наконец, когда мы, подавленные неудачей, теряем всякую надежду, у корзины останавливается какой-то парсnek. Повертел в руках персики, спрашивает:

— Почем они?

Мы вдвоем принимаемся нахваливать:

— Редкостные персики! И дешевые! По тениге за фунт!

— Свешай полфунта.

Тургун расправляет весы, отвешивает и, для почина, с походом:

— Вот, друг, какая сторона тяжелее — твоя!

Поздним вечером, когда на улице прекращается всякое движение, усталые, с весами под мышкой и с корзиной на голове, мы возвращаемся на свою улицу. Злосчастных персиков кое-как продано всего два-три фунта. Тургун подавлен, сердится, нервничает:

— Что ж я скажу отцу?

Мы оба обдумываем, как нам быть. Я, как кассир, еще и еще раз пересчитываю деньги. Подвожу итог:

— Три тениги и четыре копейки с полушкой. — Оставляю у себя мелочь, а три тениги протягиваю Тургуну. — Вот, бери три тениги. Отдай их отцу. Завтра мы пораньше встанем — и на базар. Продадим, друг, обязательно! Так что не огорчайся, входи домой веселый, чтоб старик не догадался, как у нас идут дела. А персики припречь подальше.

\* \* \*

Мне нравится бывать у ремесленников — медников, жестянщиков, сапожников и слушать их рассказы, шутки, остроты.

— Ремесло медника — самое высокое, самое редкое из всех ремесел. Оно досталось нам от праотца Адама. А ему дано было по воле всевышнего архангелом Джабраилом, да пребудет над ним мир, из пределов райских. Так записано в уставе нашего цеха — цеха медников! — трогая длинную бороду, говорил мне старый медник.

— Самое благое и угодное богу занятие — бакалейная торговля, — уверял меня лавочник Карим. — Бакалейщик удовлетворяет нужды людей, снабжает их всем необходи-

мым. Вот, скажем, торговля солью. Соль — это приправа, которая делает нашу пищу съедобной и вкусной. Тысячу раз клади мяса, сала в котелок, а без соли пище вашей грош цена.

Я внимательно слушаю медников, лавочников. А когда наскучит, иду к сапожникам в одну мастерскую, в другую.

Вот маленькая тесная мастерская против Баянд-мечети. Имени сапожника я уже не помню, это безносый (на месте носа у него прилеплен кусок толстой белой бумаги), но до смерти франтоватый мужчина лет, наверное, тридцати, а, может, и меньше, не знаю. На голове у него всегда новая тюбетейка с вышивкой «цветы на лугу», на кистях рук нитки разноцветных бус. Особенно смешили меня эти бусы. У него был ученик, паренек лет семнадцати по имени Абрар, ради которого я собственно и заходил сюда почти каждый день.

Переступив порог мастерской, я приветствую мастера:

— Здравствуйте, мастер! Как дела? — и опускаюсь на корточки поближе к двери.

— Неплохо, братец, неплохо. И поговорить есть о чем, — улыбается мастер. Раскраивая на колоде кожу, он начинает без умолку болтать о всякой всячине.

Абрар, сидя у окошка на низенькой табуретке, продолжает молча заниматься своим делом. Потом вдруг спрашивает меня:

— Ну, Мусабай, как идет учение?

— Да все по-старому, надоело уже! — отвечаю я.

Мастер подхватывает:

— Э, учение это — дело сытых, бог для них придумал школы, а беднякам — куда там! Говорят, главный добыток — от ремесла прибиток, братец мой Мусабай. Шей ичиги, кауши, стрижкой-брижкой занимайся, становись медником, лавочником, или вот, как мы, сапожником, словом, учись добывать себе на жизнь. Доброму молодцу и сорока ремесел мало, говорят старики, — учись ремеслу.

— Ваша правда, мастер, ремесло — это клад. Но самый большой клад — это школа, учение! — блеснув в нашу сторону умными глазами, говорит Абрар.

— Ишь, разошелся! — усмехается мастер и тут же протягивает мне глиняную чашку. — А ну, племянник, беги, принеси воды!

Я охотно выполняю его поручение. Бегу к водоему, здесь же на перекрестке. Зачерпнув полную чашку воды, возвращаюсь в мастерскую.

Вслед за мной в мастерскую входит приятель мастера,

трамвайный рабочий, довольно убого одетый мужчина лет тридцати пяти. Едва поздоровавшись, он громко, во весь голос (такая у него была привычка) начинает что-то рассказывать мастеру.

Абрар молча тачает шов. По его лицу, по глазам видно, что он глубоко задумался о чем-то своем.

— Я работаю на Пьян-базаре,— говорит приятель мастера.— Трамвайные пути открываю то в одну, то в другую сторону.

— Ключи от трамвайных путей у тебя, говоришь? — смеется мастер.

— Да, вы угадали, мастер. Если бы я чуть задумался, прозевал, и трамвай вместо одних путей покатил бы по другим, тут началось бы такое светопреставление — не приведи бог дожить до такого дня! — говорит рабочий.— Потому-то и нужно быть всегда настороже. Занятие мое не плохое, только жалованья маловато, чтоб его. Впрочем, кое-как хватает на пропитание моим цыплятам. Погонщики трамвая и ярлычники-билетеры получают получше. Но все равно из прибыли, какую дает трамвай, девять частей из десяти попадает в кошелек хозяев! Поняли, друг? Вот, в чем вся беда!..— Он на минуту задумывается и ведет речь дальше: — Николая скинули, и для таких, как мы, солнышко взошло вроде. Только поводья все еще в руках у богатей. Впрочем, ладно, пусть их, время теперь как-никак наше, мастер, в конце концов мы все возьмем в свои руки. У рабочих есть организация. Друзья мои и меня каждый день приглашают, вступай, мол, к нам, в профсоюз. А я, несчастный, русского языка не знаю, неграмотный — ни книгу почитать, ни газету — куда мне? — Он кидает под язык целую горсть насвая и задумывается.

Тут вдруг поднимает голову Абрар.

— Нет, братец! — горячо говорит он.— В организацию рабочих вы вступайте, и чем скорее, тем лучше. А читать, выучите азбуку и довольно,— читать не такое уж трудное дело!

— Да неужели?! — удивляется и радуется рабочий.— Тогда, пожалуй, надо подумать, посоветоваться с домашними.

— Веры ислама надо держаться! — говорит мастер.— Досточтимые улемы умеют различить, где белое, где черное, вот с ними и посоветуйся.

— Улемы, улемы! — сердится Абрар.— Нет, дядя, вам лучше всего держаться своих друзей-рабочих!

Беседа продолжается долго. Мастер и рабочий говорят

о жизни, о дороговизне, о войне. Я развожу клейстер, смолю дратву и по-своему стараюсь разобраться в том, о чем идет речь.

А на закате солнца бегу домой.

\* \* \*

По своему обыкновению я выхожу к Баянд-мечети. На перекрестке только и разговоров, что о дороговизне, о росте цен на ячмень, пшеницу, жалобы, сетования...

Захожу в мастерскую знакомого парикмахера, общительного и словоохотливого человека.

— Что сидите, заскучили, или дело идет вяло? — спрашиваю, подсаживаясь.

Парикмахер потягивается: «Ху-у-у!», стонет: «Ох, ох, спина!». Потом говорит:

— Жить трудно, дружок. Дома пусто, в ячменном хлебе, и в том нужда. Наши почтенные баи не перестают курить. Денег у них целые листы, полны кувшины золота. Вот оно как вертится, колесо судьбы, чудачок! Во всем свете дрянь-дело!

Я молчу, выжидаю, глядя на него. Парикмахер продолжает:

— Эй, послушай меня! Учитель твой отсталый человек, сгореть ему в могиле. Только и учения у него — коран да хафтияк.

— Ваша правда, очень все по-старинному, вы угадали.

— Учись, и все-таки учись, дурачок. По-русски учись, изучай русский язык, большая польза будет. Россия — огромная могчая страна. Рабочие, мастеровые, — он понижает голос до шепота, — рабочие, мастеровые говорят: земля, заводы, фабрики — все это принадлежит народу, понялы ты, а? — И еще тише. — Но канители много предстоит, Мусабай. Владельцы земли, хозяева фабрик, заводов, богачи Туркестана выставляют вперед Временное правительство, обманывают народ. От тех, кто читает газеты, слышал я, будто в Петрограде члены правительства, богачи требуют продолжать войну до победы, прокляты! Да, братец, время трудное, беспокойное.

Парикмахер берет сделанный из тыквянки чилим, засыпает в него горсть табаку. Булькает водой в тыквянке, раскуривает от спички. Долго кашляет, выпуская в бороду дым. Грязным платком вытирает выступившие слезы.

— Ну, расскажи что-нибудь, чудак! — говорит парикмахер и неожиданно смеется: — Эх, плова с горохом бы

посеть! Пусть без мяса, ничего, был бы сверху острый лучок!.. Хай-хай-хай!..

Лицо парикмахера вдруг снова становится серьезным.

— Завтра-послезавтра наступит зима, а у бедных людей одежонка убогая и ни горсти муки. Что с нами будет, а, братец? Меня зло берет. Улемам до бедняков, неимущих дела нет; только бы вера крепка была да шарият. Только и знают твердят: молитесь-крепитесь, будьте кроткими, покорными, аллах облегчит все ваши затруднения.

Парикмахер с горечью говорит о своем собственном положении, о бедственном положении народа. Я поддакиваю ему время от времени. А когда он переходит к разным житейским мелочам, вдруг спрашиваю:

— Дядя, мне очень нравится костюм со штанами, я всегда завидую, если вижу на ком-нибудь такой костюм.

Парикмахер хохочет:

— Велик аллах! Фасон захотел давить, вай-вай! Вот подрастешь, станешь добытчиком и будешь одеваться, как тебе нравится. Однако одежда все-таки лучше, когда она подлиннее.

— А почему лучше подлиннее? Ведь некрасиво, когда одежда длинная.

— Носить длинную одежду повелось у нас исстари — и прилично, и видно, что мусульманин. — Парикмахер чихает, откашливается. — Раз ты мусульманин — все, знай, куда ступать!

Вот, и пойми его. То бранит улемов, ругает учителя, а тут... «знай, куда ступать».

В мастерскую заходит какой-то усатый, плечистый человек. Парикмахер проворно вскакивает:

— А, приятель, жив-здоров? Ну как, немцы одолевают или русские? А каково положение рабочих? Рассказывай! — Он усаживает клиента на стул, закрывает ему плечи полотенцем и, смочив голову водой, принимается массировать ее руками, чтобы мягче были волосы.

— Э, друг, — говорит усач, — Николай скovyрнулся, и весь мир расцвел. Теперь осталось потерпеть еще немного, и будет покончено со всеми нашими муками-страданиями. Мы ведь только рвы-окопы рыли. Надоело, правда, но, как бы там ни было, вернулись живыми-здоровыми. Вот русские хлебнули горя. А какие они смелые в бою! Пришлось мне и в Петрограде побывать. Вот где рабочие отчаянные и бесстрашные! У них там есть сильная организация.

Парикмахер слушает, продолжая заниматься своим делом.



— Сгинуть ей, войне; душу вымотала! — говорит он, не отрывая рук от головы клиента. — А смотри, что с ценами делается!

— Верно, верно, перешагнули всякие пределы, — говорит усач. — Но, побывав на фронте, поговорив с рабочими, мы узнали, что к чему. Теперь сами выроем могилу богачам, буржуям и помещикам.

— Хвала тебе, братец, хвала! — восторженно говорит парикмахер. — Значит, все-таки правда когда-нибудь засияет вдруг, как солнце. Только ведь мы держимся веры ислама, общины пророка Мухаммеда, братец мой, Мир-Карим?

Мир-Карим улыбается:

— Вера — это одно, а буржуи — другое, отец!

Парикмахер доволен, смеется и со словами: «Во имя аллаха!» — начинает ловко скользить бритвой по голове Мир-Карима.

Неожиданно я вижу Тургуна: обливаясь потом, он с натугой тащит по улице свою сколоченную наспех тачку, полную мелкого, как пыль, угля. Я подбегаю к нему:

— Что такое, друг?

Тургун останавливается, вытирает рукавом пот со лба:

— Э, заботы всякие, из города иду. Отцов приятель дал вот угля, почти даром, можно сказать. На рассвете ушел и вот только вернулся. Проголодался, как собака, и щепотки соли еще не было во рту.

Я сочувствую бедняге Тургуну. Спрашиваю:

— Что, далеко угольный склад?

— Э, у самого вокзала. До сдоха уморился.

— Ну, хватит, хватит хныкать! Давай мне твою арбу, — говорю я и с трудом качу тяжело нагруженную тачку.

\* \* \*

Пятница. Всюду уйма фруктов. Особенно много винограда всяких сортов: караджанджал, бедана, сахиби, дили, кафтар, буваки.

У меня глаза разбегаются, но нет монеты. Пешком я отправляюсь в Ак-тепе к дяде. Дорога покрыта горячей хлюпкой пылью. Я шагаю босой. Проворный и крепкий, быстро добираюсь до Ак-тепе. Бабушка Таджи, возвышаясь, словно купол надгробья, собирает на крыше просушенные зерна урюка. Она тотчас спускается по лестнице, обнимает, целует меня.

— Работы много. Дрова рубили, урюк подчищали. Скоро будем готовить патоку из винограда, придешь помочь?— говорит она, улыбаясь.

Глаза мои невольно тянутся к персикам, к винограду. А бабушка Таджи, усадив меня перед собой, надоедливо расспрашивает о здоровье бабушки, матери, о других. Наконец, после долгих назойливых расспросов, берет нож, ведро и скрывается в винограднике.

Как только я остался один, ко мне подошел соседский мальчишка. На руке у него галка.

— Вот галка,— говорит он.— Возьми, хорошая птица.

Я обрадовался, потянулся к галке:

— А ну, дай посмотреть!

— Будешь давать ей понемногу мяса, она хорошо ест,— советует мальчишка.

От радости я обнял его. Потом осторожно накрыл галку большой чашкой.

Вернулась бабушка Таджи. Я здорово наелся винограда с хлебом. А потом решил прогуляться, вышел на дорогу. Здесь всюду хлопковые поля богатых землевладельцев. Как раз было время массового раскрытия хлопчатника. Десятки батраков и поденщиков собирали на полях хлопок.

Дорога, по которой я шел, привела меня к чайхане. Здесь собралось много народу. На деревянном помосте, растопырившись, гордо восседал какой-то бай: кустистые брови, толстый, почти круглый, с двойным подбородком.

— Ослепнуть ему! Содержал его, кормил, одевал, обувал подлеца! — ругал кого-то бай.

Я оглянулся и увидел сидящего на корточках в сторонке батрака, лет тридцати с небольшим, а на лице густая сетка морщин; крепкий, жилистый, но худой, как щепка.

— Страшись аллаха, проклятый! Был ты смиренным, покладистым человеком и вдруг испортился. Или ты спутался со смутьянами-отступниками?

Батрак побледнел, лицо его стало песчано-серым. В глазах вспыхнула ненависть.

— Довольно! Пожил, наелся помоев, намучился. Скоро восемь лет, как я в вашем доме, и изо дня в день, изо дня в день в работе: лошади, арба, пахота, сев, сбор хлопка, клевер — все было на моих плечах.— И обращается к собравшимся в чайхане:— Совесть у него нет!

— А где ты шлялся три-четыре дня? Ну, говори! Станулся с мерзавцами, которые вернулись из России, встречался с русскими мастерами, по собраниям бегал, агитацию-наставления всякие слушал, мерзавец? Я все знаю,

ою

обо всем слышал! Отрекся от веры, от шарната? — говорит бай и по примеру батрака обращается к людям: — Помилуй, аллах, этих отступников накажет вера ислама. Гнев аллаха вызовут на весь народ эти проклятые!

Батрак резко вскакивает. Страхнув полы своего рваного камзола, садится на помост и требует чаю. Потом поворачивается к хозяину:

— Бай-ака! Вы и ругали меня всячески и били, я все терпел, ни разу слова не сказал поперек. Но когда-нибудь вы ответите за все ваши издевательства. Правда, справедливость когда-нибудь да выбьются на свет. А теперь довольно, давайте мне, что положено!

Бай, будто не слышит его, говорит улыбаясь:

— Ладно, простил я тебе твои грехи, свет мой, иди на работу. Только не водись с отступниками. Ну, довольно, довольно, отправляйся в поле, хлопок не ждет. Скоро зима настанет. Пострадать немного — это и пророк велел. Я же на правильный путь хочу наставить тебя, дурень! — И тут же поворачивается к друзьям-приятелям: — Трудное дело приучать людей к работе. Все они упрямые, своевольные.

Один из зажиточных согласно мотает головой:

— Верно, бай-ака, меняется время, рушится порядок.

В чайхане сидит кучка батраков, они пьют чай, перешептываются. Батрак бая снова поворачивается к хозяину:

— Хватит, мы довольно положили сил! Теперь сами поработайте на своих полях. Попробуйте попотеть, тогда узнаете.

Бай бледнеет от злости.

— Вы смотрите, что он говорит?! — взывает он. И к батраку: — Подлый родом, мерзавец, ослепнуть тебе! Со звоном денежки отсчитывал тебе, мошенник, и вот, как ты отблагодарил!

Один из батраков, обращаясь к баю, говорит учтиво:

— Бай-ака, будьте же справедливы! Этот бедняга восемь лет в холод, в снег, в дождь, в жару честно трудился. Мучился, не знал покоя. Возможно, он взял какую-то часть денег, но за вами еще много, подсчитайте-ка!

Бай смеется с издевкой:

— Эха! Теперь понятно, откуда все — казнев много развелось. Ну что ж, посмотрим. Скажу только, что за мной ничего не осталось. Можно прикинуть на счетах, и все станет ясным.

Бай явно хитрит, хочет обмануть батрака, и в душе у меня возникает неприязнь к этому человеку.

Перебегая с крыши на крышу, мы уходим далеко от дома. Как всегда играем, деремся, миримся. Иногда берем под обстрел какой-нибудь байский двор — забрасываем его комьями сухой глины и убегаем без оглядки. Мы — дети нового времени, и не любим баев.

На обратном пути, уже усталые, по своему обыкновению, заворачиваем к мечети и по разу — по два прокатываемся, соскальзывая по перилам лестницы, ведущей на башенку муэдзина. Это тоже одно из наших постоянных увлечений.

А дома меня встречает заплаканная мать:

— Где ты был? Дедушка умер...

Я застыл, смотрю на нее растерянно.

— Правда?! — спрашиваю с дрожью в голосе.

— В минуту скончался. Лишились мы твоего дедушки...

Я заплакал в голос. Не переставая плакать, торопливо надел халат, подпоясался и, босой, опережая мать, побегал в квартал Ак-мечеть.

Дед мой (по матери) умер шестидесяти двух лет. Полный, плечистый, он был еще крепким стариком. Он и болел-то, кажется, всего три дня.

Когда мы достигли калитки дедова двора, несколько человек, печальных, понурившихся, уже подходили с похоронными носилками из мечети. Я с громким плачем вбежал во двор.

Бабушка уже перестала причитать и сидела молча, суровая, с глазами полными слез. Дядя и другие родственники еще плакали. Я припал к дедушке, содрогаясь от рыданий, обнимал его, целовал и горько-горько плакал. Дед всегда благоволил ко мне, мы были очень дружны с ним, любили друг друга очень.

И вот уже прочитана заупокойная молитва. Мать громко голосит и провожает похоронные носилки до самой улицы.

С кладбища мы возвращались на закате. Войдя в дом, я расплакался, не в силах сдержать слез. Бабушка обняла меня, ласково потрепала по плечу:

— Не плачь, дитяtko. Лучше почитай «напутствие».

Я сажусь и читаю «напутствие». Читаю с чувством, с глубокой скорбью, впервые вот так переполнившей мою юную душу. Потом долго сижу молча, задумавшись. Дедушка еще живет в моих мыслях, в моей памяти.

По перекрестку, обгоняя верблюдов, арбы, извозчиков, промчался автомобиль. Я смотрю ему вслед, раскрыв рот. Спрашиваю, обращаясь к одному из лавочников:

— Видали? Занятная штука!

Лавочники смеются:

— Это автомобиль. Его прислал из Петрограда господин Керенский,— говорит один из них.

— А почему внутри одни женщины?

— Один мужчина есть, ты просто не разглядел. А остальные жены генерала,— смеется лавочник.

Я выражаю сомнение:

— Вы, наверное, не знаете. Я слышал, русские берут только по одной жене.

Лавочник, заложив за губу щепоть насвая, соглашается:

— Верно у русских есть такой закон, или по-нашему канун. Родит, не родит, все равно одну жену только может держать.

— Э-э, ну тебя!— говорит второй лавочник.— Спасибо нашему шарпату, у нас до четырех жен разрешается брать. Сам Мухаммед, пророк наш, столько жен имел, и нам велел.

По тротуару, оживленно разговаривая, проходят два прилично одетых молодых человека, у одного в руке книжка. Я догоняю их, спрашиваю:

— Мулла-ака, что это за книжка у вас?

Молодые люди смеются, один из них, постарше который, замедляет шаг:

— Что, малец, в школе учишься? — И поясняет: — Это сборник поэта Тавалло. Он пишет о темноте, невежестве, о нашей жизни, напоминающей ад.

Я бегу домой.

— Мама, я слышал, Тавалло пишет хорошие, поучительные стихи.

— Э, уходи прочь! Каждый день у тебя новая причуда. Не понимаешь ты, как грудно живется нам. Сидим без грша.

Выручил меня брат Иса. Кое-как выклянчив у него пятьдесят ли, шестьдесят ли копеек, я бегу на Хадру и вскоре возвращаюсь с книжкой Тавалло под названием «Пробивающийся ислам». Ложусь ничком на террасу и принимаюсь читать. Тавалло резко критикует пышные пир-

шествия, разгул и распутство баев, безграмотность, темноту и отсталость народа.

В это время в калитку вбегает Тургун:

— Что ты тут делаешь? Опять стихи? Э, брось ты, идем на перекресток.

Я смеюсь:

— Чудак! Ты слышал о Тавалло! Здорово пишет о темноте, о невежестве, о старых обычаях.

Тургун сердится:

— Друг! Идем, лучше наперегонки попробуем.

— Ладно, завтра. А сейчас садись, я почитаю тебе, — говорю я, листая книжку. — Ну, садись же!

Недовольный и хмурый, Тургун присаживается на край террасы. Я читаю ему:

Когда добрые люди, спасаясь от зноя, наденут  
Белоснежные легкие ткани на стройное тело,  
Мы не скинем — хоть лопни! — подбитые ватой халаты,  
Хотя тело, давно истомившись от жара, взмолело  
Под камзолами, что под халатами ватными носим,  
Опясав их поясом длинным на восемь размахов!  
А штаны до колен обнажают нечистые ноги,  
Волосатую грудь открывает без страха рубаха..

Тургун хохочет. Повторяет отдельные строки — стихи сразу запомнились ему.

Внезапно во двор с шумом врывается толпа ребят. Слышатся насмешливые возгласы:

— Вон, посмотрите на нашего заводилу! Тоже начал понимать толк в книгах! Видал, как слушает!

Тургун, подмигнув ребятам, поворачивается ко мне:

— Хватит, друг, убирай свою книгу. Завтра почитаем, если будет время. — И соскакивает с края террасы.

\* \* \*

Отец мой все еще скитается в степи. Поэтому в доме у нас постоянно женщины, одни уходят, другие приходят.

Особенно часто забегает старая учительница, болтливая, обо всем всегда осведомленная женщина. Ее муж торгует в бакалейной лавке в Хумсане, а она ходит по родне, по гостям.

— Была я у родственников, столько новостей! — говорит она матери, занятой тканьем тесьмы.

— Расскажите, послушаем, — говорит мать, не отрываясь от работы.

Ут... — Халиф Стамбула, его величество падишах, торжественно, с тысячами тысяч войска, с великим множеством пушек и другого оружия, навьюченного на лошадей и верблюдов, идет походом на Туркестан. А войска Энвер-паша, зятя его величества султана, вели у Стамбула сражение с — как их там — да, с инглизами, с франками. После кровавой битвы он всех недругов с их оружием опрокинул в море. У Турции великое множество всякого оружия, великое множество! А его величество халиф и Энвер-паша такие отважные богатыри, что равных им нет во всем свете. Да... Если его величество халиф со своим войском идет на Туркестан, значит, бог даст, мы скоро увидим его в Ташкенте!..

Подходят и другие соседки. Разговор все больше оживляется. Вот затараторила тетя Рохат. Перевирая то, что слышала от мужа, и прибавляя от себя, она рассказывает об организации батраков, поденщиков и ремесленников. Говорит, что муж ее, Гаффар-ака, пока вступать не решается, боится улемов.

Потом в разговор вступает Сара Длинная:

— Наставница моя говорит, что наступают последние времена. Возможно, скоро явится антихрист Даджал. Почаще, говорит, молитесь богу, не скупитесь на пожертвования.— Потом поворачивается к учительнице: — Атынбуви, вы тут расхваливали его величество халифа? А он сидит себе на своем троне и будто бы о походе сюда и не думает. Слышно, будто его больше интересуют придворные красавицы!..

Учительница злится, возражает, краснея от негодования. Кажется, пусти их, они, как петухи, сцепятся и начнут трепать друг дружку. Я сижу, посмеиваюсь, подтруниваю над ними. Учительница и все соседки гонят меня:

— Милый, вставай, беги на улицу. Зачем тебе сидеть с женщинами?

Огрызнувшись раза два, я отправляюсь на улицу и тут неожиданно сталкиваюсь с Тургуном.

— Что это тебя не видно?

Тургун тихонько шепчет:

— Я к колдунье ходил... мать посылала. Ты же знаешь, она у меня больная, капризная. А сейчас вот мясо несу...

— И правильно, друг! Лучшее лекарство от всех болезней — пища. Если твоя мать будет хорошо есть, она быстро поправится.

— Э, какая там хорошая пища, у нас хлеба нет досыта! Это для колдуньи, мать велела.

Мы с Тургуном идем к ним.

— Хорошее мясо! Я каждый день во сне вижу такое, — смеется Тургун. — А колдунья сделает нарын и весь заберет с собой. Мы еще и курицу зарезали, отец с базара принес, жирная такая курица. Тоже, матери даст кусочек, а остальное унесет домой. Знаешь, когда к дяде вызывали колдунью, резали барана, так она всего унесла. Та колдунья — сильна была! Недавно она умерла. Эта тоже не из последних. Вот посмотришь, она здесь, у нас, в доме сидит, — шепчет мне Тургун.

Я на цыпочках всхожу на террасу и осторожно заглядываю в открытое окно. Больная лежит на постели — голова замотана чем-то белым, а на одеяле сверху пучок тонких таловых прутьев. Колдунья — тонкая, длинная, черная, как эфиопка, глаза косят, сведены к носу, лицо загадочное, в глубоких морщинах, одета во все темное, даже повязка на лбу темная, цвета дохлой уже почерневшей печени, — сидит рядом на подстилке, выбивает в бубен что-то непонятное, покачивается из стороны в сторону, призывно кивает и глухим таинственным голосом зазывает своих покровительниц пери. Одним своим видом она наводит страх на меня.

Сзади тихонько подходит Тургун:

— Ну, как колдунья? Правда, как смерть страшна и рожка противная. Мать упросила меня, я долго искал ее дом и нашел на краю большого яра. Двор темный-претемный, прямо заросли глухие, чашоба. И на цепи три кобеля, каждый с ишака ростом. Я струсил даже. А на террасе три брата — три ее сына, сразу видно бездельники, — сидят, анашой дымят, чилим изо рта не выпускают, в карты режутся, — есть такая игра — карты, знаешь, из азартных самая азартная. Самой колдуньи дома не оказалось. «Сейчас придет, подожди немного. А пока подавай нам чилим!» — говорит мне один из братьев. Ну, подождала, тут и колдунья с какими-то узлами и узелками заявила: Я начал упрашивать ее, умолять. А старуха присела на террасе и прежде всего принялась бранить сыновей: «Подохнуть бы вам маленькими! Бросайте вашу игру, сгинуть ей!» Потом повернулась ко мне. «Вон, тот, говорит, по тридцать второму году, тот шайтан по двадцать восьмому, а вот этому красавчику моему двадцать пять годков исполнилось. Только все они, говорит, бездельники, лентяи и дармоеды. Много есть красивых девушек и каждая рада бы выйти за любого из них, а им, проклятым, больше нравятся холостая жизнь!» «Старая! Каждому делу свое время



и свой час. Я-то, ладно, может и бобылем прожжву, ты лучше своего младшенького жени, если он пожелает. Найди ему хорошенькую, как конфетка, девчонку»,— говорит старший из братьев. Второй поддакивает ему: «Младшего жени, мать, он озоровать начинает, этот твой шеголь». Тут и младший привстал, приподнявшись на локте. «Мамочка,— говорит,— я же маленький, младенец, можно сказать! Впрочем, хорошая девушка, говорят, что бобровый воротник, красит человека. Если найдешь такую, ладно, не откажусь.— И ухмыляется.— Только, говорит, условие мое такое: каждый день ты должна подсыпать мне в карман звонкой монеты!». Колдунья, ткнув в одну, в другую ноздрю щепоть насвая, чихнула раза два: «Апчхи, апчхи!»— потом и говорит: «Ну, я пошла. А вы тут самовар поставьте себе. Есть горячий, с мясом плов, его поешьте». И пошла со мной.

— Вот, такие-то дела, друг, канитель одна,— говорит Тургун.— Вон, колдунья уже вскочила, вопить начала. Вот подлая! Смотри, смотри как быстро вертится, настоящая ведьма!

Я рассмеялся:

— Верно! Это она, видно, пери и джинов изгоняет. А ты правду сказал: противная, страшная старуха. Только, по-моему, все это один обман.

— Смотри, смотри! — зашептал Тургун.— Уже матери на спину уселась!..

Завывания колдуни вызывают у меня отвращение и страх, я выбегаю на улицу.

\* \* \*

Я сижу в приземистой кузнице на нашем перекрестке. Кузнец, худошавый человек с морщинистым лицом, с реденькой бородой и широким, потемневшим от пота и огня лбом. Подручным у него — здоровенный, крепко сколоченный парень, одетый зиму и лето в старый рваный чапан.

Кузнец, выхватив из горна кусок раскаленного железа, бьет по нему молотом, вытягивает, плющит и опять сует в огонь. Подручный старательно раздувает мех. Куски железа под молотом кузнеца превращаются в кетмени, топоры, подковы, гвозди для арб и прочие необходимые в хозяйстве вещи.

Между делом кузнец рассказывает разные истории, жалуются на трудности жизни.

Железо, свет мой, пророк Давид нашел и расплавил

его, как ртуть,— говорит он.— Ну да, огонь, говорят, зубов не мает, сухое ли, сырое — не разбирает. После пророк Давид сделал из железа лемех для плуга, кетмень и дал их своей общине. Он был искусным мастером и владел многими тайнами.— И, помолчав, продолжает:— Небо, судьба, только и знает устранять всякие каверзы. Но есть пословица: если на долю кому достался пир, его не миновать, не в лето, так в зиму, а пировать. Времена меняются, братец, придет день, и бедняки, голодные, неимущие увидят свет. А ростовщикам, пузатым баям не миновать возмездия за все их преступления. Если на свете есть правда, так оно и будет. Правда, справедливость, племянник, великое дело. К примеру, русские мастеровые уже подняли головы, говорят, власть должна быть нашей. Так что, обязательно выйдем на свет, племянник.

Я слушаю его, не перебивая. Неожиданно в кузницу входит приятель кузнеца, плотник, он высок ростом, у него густая, с проседью борода, густые брови, хитроватые глаза.

— А-а, как дела? Что не показываетесь? — спрашивает кузнец.

— Новостей много,— отвечает плотник.— Вот союз ремесленников каждый день собирает собрания. А улемам это не нравится. Досточтимые улемы пугают всех муками ада, грозят, мол: «Разогнать надо этот союз отступников, подлецов и мерзавцев! Самосуд учинить над ними, камнями побить!»

— Ну, почтенные улемы, они блюдут свои интересы, это ясно. Им до народа дела нет,— говорит кузнец.— А что союз ремесленников сколотили, это, по-моему, хорошо, времена меняются...

Подручный кузнеца отлучился куда-то. Я становлюсь на его место, раздуваю мех и прислушиваюсь к беседе приятелей. Кузнец продолжает бить молотком по кетменю так, что звон, наверное, слышен до самой Балянд-мечети. Плотник присаживается на завалинку. В руках у него сумка с несколькими горстями маша, он бережно кладет ее на колени.

— Новостей много, друг,— говорит он,— только прекрати ты хоть на минуту свой стук-перестук.

Кузнец смеется:

— Ладно, приостановим работу. Рассказывай.

— Говорят, и на фронте и в Петрограде волнения. В Ташкенте вот тоже беспокойно. А кокандские баи вкупе с интеллигентами-джадидами, слышно, болтают насчет «автономии».

— А кто такие — интеллигенты? — спрашивает кузнец.  
— Интеллигенты, что ли? Да... не знаю, и сам как сле-  
дует не пойму. Судя по рассказам, интеллигенты — это лю-  
ди ученые, образованные.

— А значит, куцехвостые, щеголи! — смеется кузнец.

— Не знаю, куцехвостые — не куцехвостые, а говорят,  
они ученые, — твердит плотник.

— Ну ладно, рассказывай дальше, — просит кузнец.

Плотник подсаживается поближе к нему. Говорит:

— Был я в новом городе. На обратном пути ненадолго  
задержался в саду, который с аллеями. Ну, ты знаешь сам,  
где это. Народу там — тьма! И солдат порядочно. На три-  
буну один за другим выходят мастеровые, речи держат.  
Говорят: «Долой Временное правительство, оно поддержи-  
вает богачей! Заводы, фабрики, земля, вода — все наше!»  
Люди кричат им: «Молодец! Ура!» Речи держали по-рус-  
ски, я кое-что сам понял, а чего не понял, узнал от стоящих  
рядом.

— Мастеровые, они знают, что к чему! — говорит куз-  
нец. — Значит, говорят, что фабрики, заводы, земля долж-  
ны быть отданы нам — правильные речи.

Я выхожу из мастерской и бегу прямо к Тургуну:

— Давай, пошли в город! — и рассказываю коротко о  
том, что слышал.

Мать Тургуна сердится. Кричит с террасы:

— Дров накопи, провалиться тебе!

— Я сейчас, — говорит Тургун.

Мы выходим на улицу. Здесь в разгаре игра в мяч. Тур-  
гун командует:

— А ну, друзья, в город!

Ребята бросают игру и присоединяются к нам. У Ба-  
лянд-мечети мы держим совет. На трамвай без денег не  
сядешь, билетер увидит, задаст добрую трепку. Можно  
прицепиться к арбе. Потом, если действовать осмотритель-  
но, и на извозчике можно прокатиться, прицепившись сза-  
ди. Мы отбираем из всех ребят шесть порасторопнее, а ос-  
тальных отправляем по домам. На первую попутную арбу  
прицепились мы с Агзамом. Тургун прицепился к коляске  
извозчика. Остальные отстали. Проехали немного, смотрю  
Тургун пластом упал на землю, видно кучер кнутом достал.  
Я подаю ему знак.

Но тут и нас арбакеш заметил, кричит, грозясь прутом:

— Пошли прочь, озорники!

Мы с Агзамом вовремя прыгиваем и тем спасаемся от  
прута.

— Ну как, Тургун, схватил прута? — спрашивает Агзам.

Тургун хмурится:

— Чутьочку задело. А тебе не досталось?

— Ладно, хватит болтать! — говорит Агзам. — Потопали на своих!

Так, поддразнивая друг друга, мы добираемся до Шейхантаура. Ненадолго присаживаемся на корточках в тени какой-то лавочки передохнуть. Вскоре Тургун сумел подкатиться к какому-то арбакешу и взобрался на арбу. Мы с Агзамом пошли пешком.

— И вас бы посадил, — сочувствует нам арбакеш, — да груза много, светы мои.

Доходим до Урды. Тургун уже стоит на мосту, дымит папиросой, поджидая нас.

— На, покури! — предлагает он мне. — Это папиросы «Роза». Какой-то русский старик бросил, не докурив, а я подобрал.

Агзам вырвал из рук Тургуна папиросу и швырнул в реку.

У моста много мелочных лавок и мастерских. Внизу, у самой реки, чайная с харчевней. Из харчевни доносится запах шашлыка и жареного мяса.

— Мы дошли до границы, — говорю я, присаживаясь на край моста. — Дальше новый город.

Тургун засмотрелся в сторону харчевни.

— Хороши пирожки, бой-бой! — говорит он с завистью. — Когда стану большим, вот посмотрите, обязательно открою харчевню! И тогда, будьте спокойны, зазвонит у меня монета-серебро. Агзам будет поддерживать огонь в очаге, Муса подавать кушанья, а я, как хозяин, восседать на почетном месте. Мое дело — деньги подсчитывать...

Агзам обиделся и — хлоп Тургуна по скуле. Тургун тоже вскочил было, но я встал между драчунами и развел их.

Мимо проехал отряд конных солдат с винтовками. Солдаты хмурые, суровые.

Мы пошли дальше, шагая по трамвайным путям.

— А русские ребята нас не застукают? — вдруг спрашивает Агзам.

Тургун отвечает:

— Русские ребята хорошие, дети рабочих нас не тронут. Как-то иду я здесь с мешком пшена на загорбке. Весь взмок от пота, отдыхаю на каждом шагу. Вдруг, смотрю,

ТА догоняют меня двое каких-то русских парней, оба просто одетые, один в грязной шапчонке, лет пятнадцати, но рослый и крепкий, другой — поменьше. Посмотрели они на меня и видно пожалели: какой побольше, подходит, показывает на мешок и говорит: давай, говорит, мне. Я стою, не знаю, отдавать, не знаю, нет. Потом решился все-таки, отдал. Рослый вскинул мешок на спину, пошли мы. Он что-то говорил, да я не понял, только знал твердил: «Испасиба! Испасиба!» Это отец научил меня, мол: скажешь «испасиба» и все будет хорошо. Так вот, несут они мой мешок, вскидывая на спину по очереди. Дошли до Карьягды. Русские ребята, мол: вот и старый город, передали мне мешок. Я вскинул его на спину и здорово благодарил их, повторяя свое «испасиба».

— А еще какие русские слова знаешь ты? — спрашиваю я Тургуна.

— Знаю слова «хорошо», «товарищ», — улыбается он.

Когда солнце уже перевалило за полдень, мы, усталые, добрались до Пьян-базара (так называли Воскресенский базар). Тургун, он бедовый, сразу же узнал новости.

— Митинг в Александровском саду, похоже, уже подходит к концу, — говорит. — Рабочие говорят: раздавим буржуй!

— А что такое буржуй? — спрашивает Агзам.

— Буржуй — это такая штука... ну... вроде купца или барышника что ли.

...На митинге в Александровском саду большинство русских, но есть и мусульмане. Когда мы подошли, на трибуну взошел просто одетый, но ладно сложенный человек, смугловатый, с коротко подстриженной бородой. Он горячо говорит о насилии, жестокости, несправедливости. Я слушаю, затаив дыхание. На ярких примерах оратор показывает, как тяжело положение трудящихся, в какой роскоши, разгуле живут баи и заканчивает свою речь словами:

— Страна наша добьется свободы, права и справедливости. Мечты народа непременно сбудутся!

В толпе со всех сторон слышатся одобрительные возгласы. В это время к нам подходит знакомый каменщик.

— Хе, что вы тут делаете? — спрашивает он. — Идите домой, заблудитесь еще.

— Мы на митинг пришли, — отвечаю я. — Жаль только, он уже кончается.

— Что-нибудь интересное говорилось? Расскажите, дядя! — просит каменщика Тургун.

— Мастеровые говорят: долой баев,— отвечает каменщик.— Временное правительство, говорят они, поддерживает богачей, потому что и Временное правительство и богачи — одна напасть.

Неожиданно заговорил довольно бедно одетый молодой рабочий узбек, стоявший рядом с нами.

— Пойдите, братец,— негромко сказал он, обращаясь к каменщику.— Я так слышал: все рабочие, все бедняки, трудящиеся собираются сейчас вокруг большевиков. Это люди из рабочей организации. Среди них есть немало и рабочих-мусульман, батраков, бедняков, ремесленников. Слыхали вы о таких людях, как Шер Халмухамедов, Султан Касымходжаев, Абдушукур Абдурашидов — все они вместе с большевиками. Большевики, они заботятся о народе, они говорят: все фабрики и заводы, какие находятся в руках богачей, должны быть конфискованы и переданы трудовому народу.— Рабочий заговорщицки подмигнул нам.— Ха, дел тут много, братишки! На митинге рабочие требовали, чтобы земля, вода были отобраны у баев и переданы беднякам и батракам. Ораторы, какие выступали с речами, говорили: ячмень, пшеница, словом, всякое зерно, припрятанное баями, должно быть отобрано и роздано народу, трудящимся. Вся страна, вся власть должны перейти в руки рабочих, батраков, бедных дехкан — в руки народа.

— Хвала русским рабочим, они откроют нам глаза! — говорит каменщик.

— Да, мастер. И рабочие и солдаты — все решительно требуют: «Долой Временное правительство! Вся власть Советам!» Сейчас в Ташкентском Совете немало большевиков. В Петрограде, я слышал, рабочие взяли в руки оружие. Здесь тоже будто бы тайно вооружаются...

Я слушаю его с вниманием. Хотя я и мал был, но уже стал понимать кое-что, так как за последнее время разговоры о баях, бедняках, о Временном правительстве, о власти велись всюду.

Начинало темнеть. Поблагодарив рабочего, мы отправились домой и в темноте еле-еле добрались до своего квартала.

Мать, бедная, уже беспокоилась за меня.

— Ох и много новостей, мама! — говорю я, входя во двор и опускаясь на корточки у арыка, чтоб помыть руки.— Мы в городе были...

Мать сердится:

— Совсем ты бродягой стал!

— Мама, есть! — говорю я, присаживаясь на край террасы.

Мать приносит машевой каши.

— Буржуев уже водой подмывает! — говорю я.

— А кто такие буржуи? — спрашивает мать, подсаживаясь ко мне.

Подумав, я отвечаю:

— Русские баев называют буржуями!..

\* \* \*

Я отправляюсь на базар купить насвая для матери. Проходя мимо напоминающих птичьи клетки лавчонок тюбетечников, вижу тесную землянку, битком набитую людьми. Оказалось, это союз ремесленников, штукатуров, поденщиков. Я тоже просунул голову в землянку. Почти у всех собравшихся здесь одежда рваная, латаная, многие босиком или же в старых чариках. Напротив входа за столом, сколоченным из неотесанных досок, сидит президиум — из пяти-шести человек.

Оратор — видный из себя крупный человек с белой бородой и умными глазами, поблескивающими из-под кустистых бровей. На нем легкий халат без подкладки, надетый поверх белой чистой рубахи, на голове тюбетейка темно-зеленого бархата.

— Кто это? — спрашиваю я у одного паренька, пригнувшегося к двери.

— Это Ачил-ака, — шепотом отвечает паренек, — голова ремесленников.

Ачил-ака, обливаясь от духоты потом, говорит внушительно, подчеркивая каждое слово и перемежая речь понятными примерами, пословицами, поговорками.

— Друзья, товарищи! Дело такое: время теперь наше. Но чтобы добиться своих прав, достигнуть своих заветных желаний, нам — всем ремесленникам, штукатурам, поденщикам, всем трудящимся — надо объединиться и сплотиться с русскими друзьями-мастеровыми. Рабочие Петрограда говорят: заводы, фабрики, земля, вода, словом все должно быть отобрано у баев, потому что все это принадлежит трудовому народу. Русские рабочие Ташкента, объединившись, стали могучей силой. Они создали свой Совет и уже крепко работают. Мусульманские баи, с одной стороны, досточтимые улемы, с другой стороны, обманывают народ, выставляя вперед веру ислама. Товарищи! Если мы объединимся с русскими рабочими, и дружными усилиями прогоним Временное правительство, мы избавимся от насилия и жесто-

кости баев, купцов, добьемся свободы и счастья. Наш долг — показывать дорогу трудящимся, руководить ими в этой борьбе.

Слышатся возгласы:

— Правильно! Правильно!

Ачил-ака долго говорит о тяжелом положении рабочих, о хитрости и коварстве улемов, баев. Затем выступают еще три-четыре человека, они тоже говорят о трудном положении ремесленников, бедняков, неимущих, о необходимости объединиться всем трудящимся.

Средних лет человек с коротко подстриженной бородой сказал:

— Говорят, надо объединиться улемам, баям и всем трудящимся и встать под знамя веры ислама. Говорят об автономии Туркестана. Они хотят обмануть нас пустыми словами и снова накинуть петлю на шею. Товарищи, будьте настороже! Давайте вести дело в дружном согласии всех трудящихся, всех рабочих и бедных дехкан с русскими рабочими, чтобы быть с ними как одно тело и одно сердце!

Потом с речью выступил какой-то смахивающий на джадида шеголеватый человек в чесучевом камзоле, в новой бархатной тубетейке, с золотыми очками на носу. Он начал с истории и долго зудел насчет «величия Тимура», насчет «золотой земли Туркестана».

— Господа! — кричал он. — У всех у нас одна вера, один бог, один пророк с его сподвижниками. Мы есть племя тюрков, история наша светом озарена, прошлое наше, слава и честь наши велики. Конечно, нельзя сказать, что у нас нет скупых баев, и мы молим аллаха, чтобы он наставил их на путь справедливости и чести. Если мы объединимся дружно, даст бог, возродится наше счастье. Самоуправство недопустимо, надо подчиняться Временному правительству нашему и верно служить ему. Господа! Наши наставники улемы и...

В землянке поднимается шум, слышны выкрики:

— Довольно! Довольно!

— Хватит болтать, байский хвост!

— Да он и сам из купцов! Валяй отсюда, пошелкивай копытами!

Оратор пытается продолжать, но люди уже не слушают его, ропот усиливается. Оратор бледнеет и дрожит весь то ли от страха, то ли от бессильной злости.

Взмокший от пота, я кое-как выбираюсь из землянки наружу. Покупаю в табачном ряду насвая, затем отправ-



ляюсь к знакомому еврею, продавцу шелковой пряжи, купить шелку по наказу матери.

\* \* \*

Осень. Медленно падают листья. Ночи уже холодные, с заморозками. Прошли два-три дождя. Но сегодня прояснело, голубеет небо.

Отец приехал из Янги-базара и, кажется, надолго. Он каждый день доставляет домой дрова, уголь, сало, маш — все необходимое по хозяйству. Цены поднялись невиданно, — весной не было дождей, не уродились пшеница, ячмень. Отец купил джугары.

Утром после чая я сел на иноходца и поехал к оврагу. В овраге заросли талов, карагача. Тишина. Я отпустил повод, жду, когда напьется конь. Внезапно в воздухе прогремело несколько винтовочных выстрелов. Что бы это значило? В новом городе, что ли? А кажется, что стреляют где-то неподалеку.

Когда я выехал из оврага, перестрелка участилась. Подстегнув коня, я скачу к перекрестку. Лавочники, посетители чайханы тревожно переглядываются между собой: «Что такое?»

Вернувшись домой, я торопливо привязываю коня в конюшне.

— Что еще за напасть? Из ружей стреляют будто? — говорит занятая стиркой мать.

— На гузаре, говорят, это восстание...

Мать растерянно оглядывается. А я опять бегу на перекресток. Люди здесь в тревоге. Никто ничего не знает. Лавочники, ремесленники закрывают лавки, мастерские. Но в чайной народу полно. А перестрелка все разгорается.

Извозчики, нахлестывая лошадей, катят со стороны нового города. А туда один за другим бегут пустые трамваи.

— Восстание! Большое восстание! — отвечая встречным, кричат едущие на извозчиках.

\* \* \*

Я шныряю всюду, прислушиваюсь к разговорам. В полдень отправляюсь домой. Стрельба в новом городе не стихает, наоборот, все больше набирает силу.

— Мама, новостей сколько! — говорю я, присаживаясь на террасе. — Идет восстание. На одной стороне Временное правительство с баями, на другой стороне рабочие, бедняки.

— Слыхала уже, приходила учительница, рассказыва-

ла, — говорит мать. — В России есть город — как-то он там называется? — так он целиком перешел в руки рабочих.<sup>12</sup>

— Петроград называется тот город! — подхватываю я. — Революция оттуда началась. Не знаю, говорят: «революция», «революция». А мастер говорит: «Это солнце свободы, братец!»

Вечером прибегает Тургун.

— Мусабай! Идем, быстро!

— Что случилось, друг? Где ты пропадал? — с тревогой спрашиваю я. — Идет восстание, слышишь, стреляют из ружей?

— Э, друг, ты сам сидишь тут, забился в дом. У меня уйма новостей! — говорит Тургун, облизывая губы от волнения.

Я заинтересовался, тороплю его:

— Ну, давай, рассказывай!

— Мы отравились за город к тетке. Далеко, верст двадцать-тридцать будет. Ну, пришли, попили чаю, потом начали собирать опавшие листья. Понимаешь, моему телку — я выпросил его у дяди — нужен корм. А там много опавших листьев, сколько хочешь мешков можно набрать. Ну вот, вдвоем с отцом смели мы листья в кучи большой метлой. Рядом большой арык воды бежит. В нем полно рыбы, я сам видел. Жаль, удочки не было со мной, а то — ух и наловил бы!..

Я перебиваю нетерпеливо:

— Вот, дурень! Хватит тебе, развел болтовню!

— Друг! Потерпи, послушай, ты же сам перебиваешь. Вот так мы почти три дня собирали опавшие листья. Потом отцов приятель, старый его знакомый, дал нам большущий, в обхват, арбуз. Другой знакомый дехканин дал фазана. А муж тетки подарил мне нож, такой острый! Я дома спрятал... чтоб не затупился...

— Ну и болтун же ты! Тянешь, тянешь, — сержусь я.

— Э-э, как раз дошел до самого интересного, а ты опять палку вставил, дурень! Ну ладно, слушай. Так вот, отец и говорит: сегодня уже поздно, переспим эту ночь, а завтра отправимся. Тетка жирную лапшу приготовила. Я здорово наелся. Вечером зять — муж тетки — с отцом долго говорили о прошлом, о бедности, о Временном правительстве, о баях, бедняках-неимущих. Старик многое знает о батраках-мусульманах и русских рабочих. Утром чаю попили с густым каймаком. После чая вместе с отцом сложили листья в угол сарая. Отец, бедняга, туго-натуго набил листьями большущий чувал, завязал его, потом вскинул на

спину и обмотал веревкой крест-накрест через грудь. Тетка дала мне порядочно джиды, большую тыкву и еще сюзмы прибавила. Ну, попрощались мы с зятем, с теткой, пообещали через неделю прийти за листьями и отправились в дорогу. Долго шли. Отец совсем уморился: очень много листьев натолкал в чумал. Часто отдыхая, мы в полдень едва-едва добрались до нового города. Смотрим, на улицах никого. Только время от времени слышно стреляют где-то: «Бах-бах, бах-бах-бах». Да кучки солдат, пригибаясь, пробегают куда-то. Редко-редко какой-нибудь случайный прохожий попадет. Идем с опаской, оглядываемся по сторонам. Русские женщины запирают двери, ставни на окнах. А старики, выглянув наружу, кричат: «Хей, уходите! Скорее добирайтесь до дому. С ума, что ли, сошли, держитесь ближе к домам, стрельба идет!» Отец растерялся, стоит, как вкопанный. А я держусь смело, объясняю ему: «Идем, говорю, это восстание началось. Я же говорил вам, что рабочие не дураки, что они еще покажут буржуям!» Долго кружили мы по всяким обходным улкам-закоулкам. Вдруг, смотрим, рабочие: у всех в руках ружья, лежат, за деревьями прячутся и — бах-бах! — стреляют. И солдат между ними порядочно. Какой-то мусульманин кричит нам: «Эй, друг! Что вы тут делаете? Еще под пулю попадешь. Валяйте отсюда!» Мы свернули в затишек. Всюду среди рабочих видны и мусульмане с ружьями. Они подшучивают над отцом: «Какие могут быть листья в такой суматохе?» А один кричит сердито: «Уходите отсюда, да побыстрее!» Долго шли мы, виляли туда-сюда, смотрим, а под деревом лежит раненый. Подзывает отца, стонет: «Воды, воды!» Я положил на землю все, что у меня было в руках, сбегал, принес воды в тубетейке, напоил его. Он благодарит: «Спасибо, спасибо! Молодец!» — и показывает рукой: иди, иди, мол, уходите скорее. Перебегая с улицы на улицу, а потом переулками позади сада князя, выбрались на Урду, и только на закате солнца добрались до дому. Так-то, друг. Считаю, что Временное правительство скovyрнули сегодня.

Я тоже рассказываю Тургуну, что видел и слышал.

— Это, — говорю, — революция, друг. Великая революция!

— А что такое революция? — спрашивает Тургун.

Я объясняю как умею:

— Революция — это когда свобода, воля. Когда настает время трудящихся.

Бой продолжался четыре дня. Ставленники Временного правительства, казаки, богачи сопротивлялись ожесточен-

но, но рабочие, солдаты, трудящиеся мусульмане в конце концов взяли верх. Реакционеры во главе с генералом Коровиченко заперлись в крепости и пытались оказывать сопротивление. Но рабочие и солдаты, окружив крепость, вынудили контрреволюционеров к сдаче.

Утром я вышел на базарчик на нашем перекрестке. Всюду толпы народа, чайные переполнены. Люди, взволнованные, радуются, обмениваются новостями:

— Революция!

— Революция, друзья!

— Ташкентский исполком, вся власть перешла к рабочим и дехканам!

— Вот и мы увидели свет!

— Взяли свои права!..

\* \* \*

Я почти все время нахожусь среди кузнецов и ремесленников нашего перекрестка. Всюду радость, праздник. Ни у кого руки не поднимаются работать.

Особенно часто друзья заглядывают к сапожнику Гуляму-ака.

— Уф! — устало вздохнув, рабочий хлопкового завода присаживается на низенькую табуретку.

— Так, говорят, ты здорово дрался. А ну, рассказывай! — торопит его мастер.

Гость закуривает папироску, делает несколько глубоких затяжек. Откашливается.

— Разговору много, братец. Четыре дня бились мы. Вай-буй, очень жестокий бой был. Но в конце концов мы одолели! — говорит он с гордостью. — Русские рабочие — это настоящие люди, крепко стояли, и вот, наша взяла. Мусульмане тоже неплохо дрались, все мы вместе опрокинули врага.

Мастер торопливо собирает обрезки кожи.

— Ну-ну, рассказывай, рассказывай, братец, а мы слушаем, — говорит он.

Рабочий ненадолго задумывается, рассказывает о том, что видел. Потом улыбается добродушно:

— В новом городе сейчас большой праздник, мастер. На улицу вышел весь народ, много рабочих, солдат. Что вы засели тут в своей норе, идите в город и сами посмотрите, — говорит он и кивает на улицу: — Видите, вон они, герои!

По улице проезжает группа конных. Среди них извест-

ный большевик Низаметдин Ходжаев. У всех всадников винтовки, у Низаметдина револьвер.

Мастер выглядывает на улицу, а когда конные проехали, говорит рабочему:

— Низаметдин — истинный боец, видал, как он сидит на коне! В городе все любят его от малого до старого. — И помолчав, прибавляет: — Надо сказать, он очень грамотный молодой человек, по-русски так и режет. Учился потому что!

Рабочий улыбается:

— Да, Низам по-русски здорово говорит. — И опять начинает рассказывать про уличные бои. — Бились жестоко. Война — это не шутка, братец. Прилетит какая пуля — и кончено дело. Вот, мы человек девяносто товарищей похоронили. Все руководители на похороны пришли, все коммунисты. В крепости из пушек палили, и все мы попрощались с ними, преклонив колени. Пели «Вы жертвою пали». Я не мог сдержать слез, заплакал, очень хорошие джигиты были...

— Что ж, братец мой, без жертв победы не добудешь. Пролитая ими кровь священна. Мы будем хранить их всех в своей памяти... — говорит сапожник, низко опустив голову.

— Всего доброго, мастер! Пойду, проведу свою старушку, беспокоится, наверное, бедняга, — поднимаясь, говорит рабочий. — И Россия и Туркестан избавились от засилья богачей, а может ли быть счастье больше?! — Он улыбается и, попрощавшись, уходит.

— Хороший джигит и смельчак, наверное, — говорю я, обращаясь к мастеру.

— Если бы не было таких героев, жизнь стала бы адом, свет — тьмой! — говорит он, хлопая меня по плечу.

\* \* \*

У всех на устах слово «революция». Бан, землевладельцы, богачи — все в страхе попрятались по своим норам. На улицах люди труда, молодежь, подростки, слышатся песни, смех...

Я стараюсь поспеть всюду и с волнением слушаю рассказы о событиях в Петрограде, о записе «Авроры», о штурме Зимнего дворца, об аресте Временного правительства, о побеге Керенского. Об удивительной жизни Ленина. О том, как он скрывался в Финляндии, а затем тайно вернулся в Петроград, с каким восторгом встретили его рабочие, солдаты. Все это я слышу от народа. У всех на устах: «Ленин! Ленин!» Ясным солнцем входит Ленин в нашу жизнь и на-

вечно поселяется в сердцах трудового народа. Самое сокровенное место занимает Ленин и в моем юном сердце.

Дома я с радостью говорю матери:

— Мир залит светом, мама! Взошло солнце свободы, революции.— И смеюсь весело: — А бай попрятались по своим норам!

— Настал и для них час возмездия! — сурово говорит мать.

\* \* \*

Каждый день я встречаю веселых шумных ребят, выбегающих из новой школы на Хадре. Я завидую им, мечтаю учиться вместе с ними.

Однажды мне повстречался наш сосед по кварталу Акбар-ака. Он один из тех, кто закончил русскую школу в новом городе. Я часто видел его сидящим у своих ворот с русской или узбекской книгой. Иногда присаживался рядом и слушал, а он читал вслух.

— Ну, ты что шатаешься? — спрашивает меня Акбар-ака рокочущим басом.— На Хадре открылась новая школа, хочешь там учиться?

— Эх, вот бы! — вырвалось у меня.— Если вы поведете меня, буду учиться. Это мое давнее желание! — торопливо отвечаю я.

Акбар-ака сметеся:

— Хорошо. Учись, учись, человеком станешь. Завтра утром я буду ждать тебя на Хадре.

Я со всех ног бегу домой. Решительно заявляю матери:

— Я поступаю в новую школу. Хватит, со старой школой кончено!

Мать откладывает в сторону тесьму, говорит серьезно:

— Время переменялось. Новому времени подходит новая школа, учись, сын мой. Что до отца, ему все равно, где бы ты ни учился. Отец твой тоже стал понимать новое.

На следующее утро я вне себя от радости бегу на Хадру. Перемахнув через ступеньки сторожки у ворот, врываюсь во двор. Во дворе играли мальчишки большие и малыши. Были здесь и франтоватые кичливые сынки баев. Но большинство составляли дети людей труда.

Из двери здания вышел Акбар-ака с какой-то круглой штукой, окрашенной в коричневый и голубой цвета.

— А, пришел? Ну, идем! — говорит он, подзывая меня.— Ты видел когда-нибудь земной шар? Вот это глобус, модель земного шара.

Акбар-ака ведет меня в канцелярию школы. Там сидят

несколько видных из себя престарелых русских учителей и несколько учителей из узбеков и татар, скромно одетых.

Поставив глобус, Акбар-ака говорит мне:

— Ну, садись.

Я стыдливо подсаживаюсь к столу. Он кладет передо мной листок бумаги, ручку и начинает что-то диктовать, а я пишу красивым каллиграфическим почерком. В комнату входит приземистый человек, он смотрит на мой почерк, хвалит:

— Ты красиво пишешь! — Спрашивает: — А арифметику знаешь?

Я краснею:

— Цифры писать умею, а действия не знаю.

— Старая школа учит только вере да шарияту, — смеется Акбар-ака. — Пойдешь во второй класс, арифметики не знаешь. — Он поворачивается к тому, приземистому. — Так, да?

Каюм-ака достает из шкафа и подает мне тетради и ручку. Я выхожу из канцелярии и иду искать второй класс. В классе и большие ребята и совсем маленькие.

На первый урок пришел русский учитель по рисованию. Мы все разом встали, приветствуем его, потом садимся. Учитель кладет на стол шляпу. Говорит по-узбекски:

— Начинаем рисовать, дети!

Я раскрываю тетрадь и с радостным волнением жду, что скажет учитель.

В новой школе много учителей. Мы изучаем родной язык, арифметику, естествознание, географию.

Незаметно я и ростом вытянулся. Меньше стал озорывать, увлекаться играми. Полюбил газету «Иштиракиюн» («Коммунист») и в ней революционные стихи. Стихи стали моей жизнью.

Я собираю целые тетради стихов. Читаю. Сам пишу. Дум и мечтаний — целый мир!.. Новый светлый мир!

# СОДЕРЖАНИЕ

5

Солнце не померкнет  
*Перевод Б. С. Пармузина*

203

Детство  
*Перевод Н. Е. Ивашева*  
*Стихотворения в переводе Н. И. Татариновой*

## АЙБЕК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ IV

Перевод с узбекского

Редактор Д. БЫХОВСКИЙ

Художник В. ШУМИЛОВ

Художественный редактор М. КАРПУЗАС

Технический редактор Е. ПОТАПОВА

Корректор А. РТВЕЛАДЗЕ

ИБ № 3263

Сдано в набор 13.01.86. Подписано в печать 14.04.86.  
Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская № 1. Литературная  
гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,84 +  
+0,42 вкл. Усл. кр.-оттисков 22,26. Уч.-изд. л. 24,42 +  
+0,3 вкл. Тираж 45000. Заказ № 1872/156. Цена 1 р. 90 к.

Издательство литературы и искусства имени Гафура  
Гуляма 700129, Ташкент, ул. Навои, 30.

Набрано на Г. П. ТПО «Матбуот» Государственного  
комитета УзССР по делам издательства, полиграфии и  
книжной торговли, сматрицировано и отпечатано в ти-  
пографии № 2. 702891 г. Янцзюль, ул. Самаркандская, 44.